


# РАЕМ- МОИ ПОЗЫВНЫЕ

ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ



ГОДЫ  
и  
ЛЮДИ

## Annotation

Известный полярник, Герой Советского Союза Э.Т. Кренкель рассказывает в своих воспоминаниях о героических этапах освоения Арктики. Автор книги участвовал в походах «Сибирякова» и «Челюскина» с О.Ю. Шмидтом и В.И. Ворониным, летал на дирижабле «Цеппелин» с Умберто Нобиле, дрейфовал на льдинах с «лагерем Шмидта» и с первой советской станцией «Северный полюс», возглавляемой И.Д. Папаниным, зимовал на маленьких полярных островах. Интересны его встречи с лётчиками Чкаловым, Леваневским, Водопьяновым, Молоковым, с учёными Бонч-Бруевичем, Визе, Самойловичем, с отважными полярниками и моряками.

Книга насыщена колоритными подробностями и вся пронизана добрым юмором.

- [Эрнст Кренкель](#)
  - [От автора](#)
  - [Папа, мама, родственники и я](#)
  - [По ту сторону семнадцатого года](#)
  - [В гимназии для богачей](#)
  - [Я становлюсь взрослым](#)
  - [Его величество случай](#)
  - [Бравый солдат Кренкель](#)
  - [Длинный рассказ о коротких волнах](#)
  - [Красный флаг над землёй Франца-Иосифа](#)
  - [Сорок шесть человек, сто пять тысяч кубометров](#)
  - [Под чёрными парусами среди льдов](#)
  - [Неудачный полёт](#)
  - [Второй ледовый поход](#)
  - [Лагерь Шмидта](#)
  - [Возвращение](#)
  - [Северная Земля](#)
  - [К перекрёстку меридианов](#)
  - [Лагерь у земной оси](#)



**Эрнст Кренкель**

**RAEM — мои позывные**

## От автора

Недавно в одной книге я обнаружил великолепную фразу: «Когда вы читаете биографию, помните, что правда никогда не годится для опубликования». Это — слова Бернарда Шоу. Отдавая должное его саркастическому юмору, постараюсь все же быть предельно правдивым. Иначе мои воспоминания просто никому не нужны. Ведь писать буду о том, что делал, с какими людьми встречался, свидетелем и участником каких событий бывал. Двумя ногами всю жизнь стоял на грешной земле, не под стеклянным колпаком. Наверное, в этом самое главное, самое интересное.

Моя жизнь начиналась на разломе эпох. Появись я на свет пятьюдесятью годами раньше, не знаю, кто бы из меня получился. Но «разлом эпох» сделал свое дело, и я стал счастливым человеком.

Случайное и закономерное переплелось в моей жизни. Однако, когда я воздавал хвалу случаю, жена укоризненно говорила:

— Да, тебе действительно везло. Ты попадал во многие интереснейшие экспедиции. Но не забывай, как упорно ты туда стремился!

В экспедициях я вел дневники. Если сложить все эти записи, получится толстая стопа. В ней лучшие годы моей жизни.

Я был бы счастлив, если бы стал писателем. Но писать могу лишь о том, что видел, слышал, знаю. Через мои руки прошли тысячи слов, написанных корреспондентами разных уровней и рангов. Передавая их в эфир, я невольно шлифовал свой литературный вкус.

Иногда мне и самому выпадала роль корреспондента. В журналиста я превращался в тех местах, где для профессиональной прессы не хватало места. Было так и на Северном полюсе. Корреспондентами по совместительству были все четверо. Я представлял «Правду». Редакционное удостоверение, выданное главным редактором, храню и поныне. Непонятным осталось лишь одно — кому я должен был предъявлять это удостоверение, там, на полюсе. Время шло. Мои газетные и журнальные сочинения, как и любые статьи периодики, умирали. А пока они тонули на библиотечных полках, родилось новое поколение читателей. Отсюда

желание написать книгу. Но мешала лень, нормальная человеческая лень, которую кто-то назвал инстинктом самозащиты. И кто знает, взялся ли бы я за перо, если бы в один прекрасный день мне не позвонили из редакции журнала «Искусство кино». К пятидесятилетию советской кинематографии меня просили ответить на вопрос: какова роль кино в моей жизни?

Глубоко убежденный, что советская кинематография не пострадает без моих глубокомысленных рассуждений, я отбивался как мог. Но настойчивость сотрудницы редакции победила.

— Мы пришлем к вам опытного журналиста, — проворковала она в телефонную трубку. — Он приедет с магнитофоном, а вы что-нибудь ему расскажите!

Дальше отказываться было неудобно. Я назначил время. Через два дня мой рассказ обернулся вполне съедобной заметкой.

Так мысль о воспоминаниях стала материализовываться. И мне и журналисту Михаилу Арлазорову, в содружестве с которым написана эта книга, пришлось изрядно поработать. Мне хочется от души поблагодарить моего друга (за время работы мы очень подружились). Наверное, если бы не наша встреча, мои воспоминания так бы и не были написаны. Что же касается заметки, давшей толчок нашей совместной работе, то журнал «Искусство кино» ее просто не опубликовал. Вероятно, редактору она понравилась гораздо меньше, чем мне. Однако рассказ о первых годах русского кино, поклонником которого я стал с детства, включен в эти записки.

## Папа, мама, родственники и я

*Чем занимались мои предки. Где я родился. К нам едет тетя Гульда. Домик на Боярах. Общественная жизнь под абажуром с висялками. Домашние спектакли. Поездки за границу. Звонок полицмейстеру. Специальная комиссия. Мы переезжаем в Москву.*

Аристократы кичились древностью своих родов. Специалисты по родословным, копаясь в старых бумагах, рисовали, а иногда и подрисовывали в угоду клиентам сложную крону развесистых генеалогических деревьев. Эти времена прошли. Современный человек, охваченный стремительным темпом жизни XX века, как правило, почти ничего не знает о своих предках. В лучшем случае ему известны годы рождения отца и матери, на дедушек и бабушек эрудиции уже не хватает, а прадеды проступают в воображении какими-то едва осязаемыми контурами. Вопрос же о еще более далеких предках возникает сегодня редко. Мы не всегда знаем, были ли они воинами или священниками, крепостными или золотоискателями... О крупных исторических сдвигах мы узнаем из книг. О событиях семейной летописи до нас не доходит и сотой доли того, что рассказывают книги.

Мои предки пришли в Россию из Германии. Еще в екатерининские времена для наблюдения за отарами овец на Украине из Тюрингии выписали ветеринара Кренкеля. В XIX веке в Харькове трудился другой мой предок, пекарь Кренкель. Там же, в Харькове, 28 апреля 1863 года родился мой отец. Когда же совершился переезд в Прибалтику, не знаю.

Деда моего звали Эрнст, отца — Теодор. Так уж повелось в семье: два имени — Эрнст и Теодор. Я — Эрнст, а мой сын опять Теодор.

Дед был акцизным чиновником. Женился на Вильгельмине Грюнберг. В приданое за ней дали большой дом и фруктовый сад с малинником, старинной липовой аллеей и множеством цветов.

Отец мой родился на две недели раньше срока. Прележав две недели в вате, едва выжил. Счастливая бабушка дала зарок посвятить сына богу. Так отец попал в Дерптский университет (город Юрьев,

ныне Тарту) на богословский факультет и готовился стать пастором. Дело подвигалось. Оставалось два года учебы. В захудалых церковках в виде практики уже были произнесены первые воскресные проповеди. И вдруг отец внезапно огорчил мою бабушку. Он перешел с богословского на филологический факультет. Стал изучать греческий, латынь и санскрит.

После кончины деда денег на завершение образования не хватило. Отец поехал в Псков и сдал экстерном экзамены на звание учителя немецкого языка с правом преподавания в казенных гимназиях, во всех классах.

Через некоторое время его пригласили преподавать в имение какого-то крупного помещика в Лифляндии. Там он познакомился с молодой преподавательницей Марией Яковлевной Кестнер и вскоре, в 1896 году, женился на ней. Это была моя мать.

Если родословную отца я почти не знаю, то генеалогическое древо семьи Кестнер известно мне начиная с 1510 года, когда мой предок Филипп Кестнер ткал полотно в городке Вальтерсгаузене (Тюрингия). Из соображений гуманности не буду обрушивать на голову читателя все подробности семейной хроники, составленной каким-то пастором на основании архивных материалов по заказу моего дяди Фридриха Кестнера.

Среди представителей русско-балтийской ветви Кестнеров, обосновавшейся в нынешней Прибалтике, были ремесленники и мясники, виноделы и купцы, акцизные чиновники и лесничие, аптекари, пасторы, учителя...

Имела эта семья и своих знаменитостей, упрочивших славу рода. Поговаривали, что какой-то Кестнер женился даже на настоящей графине. Другой сородич прославился тем, что неподалеку от города Лимы нашел в перуанских Кордильерах какие-то гигантские кактусы. Третий Кестнер упоминается как выдающийся ученый, прочитавший в Вене доклад об уходе за кожей лица. Шарлотта Кестнер состояла в приятельских отношениях с Гёте. Гёте посвятил ей несколько дружеских стихотворений, подарил закладку для книг, ставшую семейной реликвией, и описал в «Страданиях молодого Вертера», даже сохранив фамилию Кестнер.

Отец начал казенную службу в Сарапуле, затем переехал в Баку, из Баку в Белосток. Чуть забегаю вперед, замечу, что он дослужился до



статского советника (в те годы чины и ордена давались, как правило, за выслугу лет) и имел три ордена: Анны третьей степени, Станислава первой и второй степени.

Мое появление на свет сопровождалось некоторыми движениями в мире многочисленных родственников, о чем неоднократно, с обилием подробностей рассказывал мне отец. На помощь матери вызвали сестру отца, тетю Гульду. Это была моя любимая тетка, чудная женщина с истинно ангельским характером. По рассказам отца, очень живым и непосредственным, я представляю себе ее приезд по случаю моего рождения так, словно сам присутствовал при этой встрече.

Даже лошади заулыбались, когда в последних числах декабря 1903 года тетя Гульда в зимней дорожной пелерине цвета пыли и поблекшей травы, которую носили женщины нескольких поколений, вылезла из вагона третьего класса на перрон станции Белосток. На голове у нее возвышалось какое-то невообразимое сооружение, долженствующее изображать шляпу. На шнурке, перекинутом через шею, — муфта из плюша, сбоку на ремне — сафьяновая сумка, по голубой крышке которой вышиты бисером алые розы. В одной руке тетка держала корзину с домашней снедью, в другой — дорожную подушку в полотняном чехле.

С трудом сторговавшись с извозчиком (тетка была не сильна в русском языке), она покатила на окраину Белостока, называвшуюся Бояры. Мы снимали там у ветхой генеральши небольшой домик с большим садом. Поселилась наша семья так далеко потому, что квартиры в Боярах были куда дешевле, чем в центре города.

Если приезд тети Гульды известен мне лишь по рассказам, то Бояры я помню отлично. Подъезжать к нашему дому приходилось между двумя глухими заборами. Но это было бы не страшно, если бы пространство между этими заборами не заполняла лужа, известная всему Белостоку, достойная соперница знаменитой миргородской лужи, описанной Гоголем. В морозы лужа замерзала. Что же касается жары, то она была ей совершенно нипочем. Лужа не высыхала даже в самое засушливое лето, исполняя обязанности своеобразного рубежа в извозничьих тарифах. Когда нанимали извозчика на Бояры, он всегда спрашивал: до лужи или за лужу? «За лужу» стоило на пятак дороже.

Лужа играла не последнюю роль в нашей детской жизни. Когда извозчик, боязливо оглядывавшийся на глухие заборы, прилагал все усилия, чтобы вырваться со своей пролеткой, завязшей по ступицы колес, на противоположный берег, на заборах появлялись мы, мальчишки. С криками команчей, ставших на тропу войны, открывали бомбардировку. Камни летели в лужу, обдавая извозчика и седока каскадами грязи. Взбешенный седок шел жаловаться. Мать порола меня линейкой, которая долгие годы украшала мой письменный стол.

Со временем мы переехали из Бояр поближе к училищу. Новая квартира была рядом с городским садом, у реки Белой. Впрочем, Белой эту речку можно было назвать лишь из уважения к ее прошлому. От того, что спускали в нее кожевенные заводы и многочисленные мануфактурные фабрики, вода была такой густой, что почти не текла.

Отца в городе знали, и был он «персона грата». Выходя из дома, он останавливался и ждал, когда подъедет конка. И хотя от нашего дома до остановки было далеко, конка всегда останавливалась прямо у наших ворот. Кондуктор приветствовал отца. Обращаясь к нему по имени и отчеству, спрашивал, собирается ли он ехать в город.

— Да, поеду, — отвечал отец, — только жена сейчас подойдет!

Лошади махали хвостами. Отец вел светский разговор с кондуктором о погоде. Пассажиры терпеливо ждали.

Как в каждом маленьком городе, в Белостоке было принято часто ходить в гости и принимать гостей. Общественная жизнь текла вокруг семейного стола под керосиновой лампой с большим абажуром и висюльками из бисера. Угощение подавалось скромное, но не в нем была суть. Люди собирались, чтобы отдохнуть. Мать аккомпанировала на фисгармонии священнику, прекрасно исполнявшему украинские песни. Приходил к нам и сын одного из местных фабрикантов, обладатель архимодных жилетов и тоненьких, как иголки, усов. Закадычным другом отца стал местный пастор.

Во время визитов гости обсуждали самые различные проблемы — от самых далеких до очень близких. И землетрясение в Мессине, и дела в Триполи, и, разумеется, свои белостокские события, которые всем собравшимся казались не менее значительными. Для каждого из нас время течет по-разному. В молодости — медленнее, в старости — быстрее. В больших городах обычно стремительнее, чем в маленьких

провинциальных местечках. При безделье куда тише, чем в напряженной работе...

Я вспомнил об этом потому, что неторопливость провинциального Белостока оделила меня детством человека XIX века (хотя, как уже говорилось, я родился через три года после того, как XX век вступил в свои права).

Одна из причин популярности моего отца среди жителей города — попытка расширить общественную жизнь и вывести ее из-под абажура керосиновой лампы.

Он стал инициатором, режиссером и душой любительских детских спектаклей. Исполнителями были ученики всех классов. За много месяцев до спектакля о нем уже говорил весь город. Мамаши вступали в бой — каждая хлопотала для своего птенца роль позаметнее, повыигрышнее. Репетировали спектакль, рисовали декорации, шили костюмы...

Наконец наступал великий день. Местные дамы с утра трудились над изготовлением несметного числа бутербродов. И зрители, и юные актеры собирались в школе, в актовом зале. Собирались как можно раньше, боясь опоздать и, естественно, увеличивая сутолоку. Духовой оркестр из учеников увеселял публику громоподобными звуками вальса и других танцев. Распорядители с голубыми бантами на плече пытались обуздать шумную непокорную стихию.

Когда спектакль заканчивался, один из его участников читал со сцены поздравительный адрес и под гром аплодисментов вручал его отцу. Обычно адрес печатали золотыми буквами на меловой бумаге и вкладывали в роскошный бювар. На следующий день местная пресса, не щадя красок и превосходных степеней, описывала чудеса минувшего вечера. Отец был счастлив, счастлив выполнением своего общественного долга.

Разумеется, спектакли были наивными, больших актерских талантов от исполнителей не требовали. Главное достоинство их заключалось в том, что они занимали многих ребят. А какое удовольствие доставлял их родственникам сам процесс узнавания под самодельным гримом исполнителей! В одном из таких спектаклей, где дело происходило в игрушечном магазине, участвовал и я. Исполнял роль трубочиста. На мне был прилегающий блестящий костюм из черного сатина, отцовский цилиндр, маленькая черная лестница,

веревка с грузом и метелка. С этой ролью куклы я справился вполне, тем более, что мои обязанности ограничивались лишь пребыванием на сцене, и не более.

Отец любил путешествовать. Зимой тщательно разрабатывались планы летних поездок. Иногда это были и зарубежные вояжи. Два раза вместе с нами, детьми, родители уезжали за границу.

Попав в Германию, при виде первого шуцмана — полицейского в остроконечной каске, исполненного сознанием своей значительности, я спросил отца: — Уж не кайзер ли это?

Из путешествия запомнилась мне смена караула в Берлине. Солдаты выбрасывали ноги чуть ли не на высоту плеча, показавшуюся мне в первый миг совершенно недостижимой для обычного человека. Обед проходил в кабачке, который я запомнил на всю жизнь, хотя с тех пор прошло уже более полувека. Только болезненное воображение могло придумать такой антураж для «семейного кабачка», как называлось заведение. Кабачок был оформлен под средневековые. Вместо стульев — бочонки. В углу — страшные и не во всем понятные орудия пыток: топор, плаха, дыба и еще что-то другое, от чего у меня на коже проступили мурашки и сразу же пропал аппетит.

Вернувшись домой, отец наделял сувенирами всех друзей и рассказывал о поездке. Таких рассказов хватало на много вечеров... С большим юмором, с обилием подробностей отец вкусно рассказывал о заграничных приключениях.

Провинциально-неторопливая жизнь Белостока была далека от идиллической. В некоторых отношениях этот город имел мрачную славу: если уж начиналась полоса еврейских погромов, без Белостока не обходилось.

Антисемитизм всегда вызывал отвращение у моих родителей. Естественно, что гонения на евреев, опасности, которым они подвергались, вызывали у отца и матери сочувствие к преследуемым и желание защитить их от погромщиков.

В 1906 году во время погрома через забор нашего сада перелез еврей, за которым гналась группа хулиганов. Напуганный до смерти, он умолял мою мать спасти его. Все обошлось благополучно. Мать спрятала его. И еще долгие годы этот человек приходил к нам в дом с благодарностью.

То же самое, только в больших масштабах, делал и мой отец. Он был инспектором коммерческого училища, а во время отсутствия директора заменял его. Училище — красивое, с колоннадой, здание екатерининской постройки — помещалось на одной из центральных улиц. Как-то рано утром прибегает сторож с тревожной вестью — погром!

Послав сторожа за извозчиком, отец стал облачаться в форму. Он надел сюртук с тремя орденами. Треугольную шляпу. Вооружился шпагой. Она была явно неполноценная и входила в форму лишь как дань традициям. Вместе с ножнами эта тонюсенькая шпага протыкалась через специальную дырку в левом кармане сюртука. К тому же моими стараниями она давно уже была сломана. Но поскольку отец не собирался вытаскивать ее из ножен, шпага имела вполне презентабельный вид. Для его целей это и было главным. «Оружие» словно ставило точку, превращая вполне штатского учителя в лицо сугубо официальное.

Улицы были пустынные. Опасаясь погромщиков, жители предпочитали отсиживаться по домам. Поминутно поторапливая извозчика, отец добрался до училища.

Начиная от вестибюля все классы и широкие коридоры были забиты не только ребятишками всех классов, но и их родственниками чуть ли не до седьмого колена.

Плачущие женщины, библейские старики в ермолках, лапсердаках, с белыми пейсами, растерянные, перепуганные дети. Все это выглядело печально и тревожно.

Что делать? Ведь разнесут все на свете, и массовое побоище неминуемо. Выход найден.

— Барышня, соедините меня, пожалуйста, с господином полицмейстером. Барышня соединила. — Канцелярия полицмейстера слушает. Отец встречался с полицмейстером на всяких вечерах и был с ним знаком. Конечно, и полицмейстер хорошо знал отца.

— Передайте, что звонил Кренкель. Тут в училище большое скопление учеников и их родственников. Убедительно прошу прислать официальную охрану, то ли полицейских, то ли солдат, чтобы не случилось беды.

Ответа не последовало. Кто-то посопел в микрофон и положил трубку. Через несколько минут второй звонок. Снова сопение, и трубка

опять положена. На третий звонок последовал ответ. Голос официального чиновника из официального учреждения Российской империи, четко произнеся слова, сказал:

— Мы ваше жидовское училище сейчас на воздух поднимем!

Услыхав звук отбоя, повесил трубку и отец. Но что же делать дальше?

Совсем недалеко, в конце квартала, за солидной оградой находился спирто-водочный завод, или, как его обычно называли, — монополька. Еще рано утром там появилась команда солдат, ставших на его охрану. Такие ценные объекты нельзя было подвергать опасности разграбления.

К счастью, офицер, которого отец попросил о помощи, оказался честным, хорошим человеком. Без всяких околичностей он приказал двум солдатам стать у дверей училища и охранять его.

Во всю ширину улицы двигались погромщики. Впереди два степенных бородача несли царский портрет, увитый трехцветной лентой государственного флага. Нестройное пение «Боже, царя храни» перемешивалось с дикими криками, угрозами и матерной бранью. Звенели разбитые окна, но стоящие на посту солдаты произвели впечатление. Толпа прошла мимо. Потолкавшись у монопольки, погромщики исчезли. Дети, женщины и старики были спасены.

Погромы весьма нелестно для России освещались в зарубежной печати. Царское правительство вынуждено было провести следствие, хотя бы показное, для успокоения умов. В город прибыла «высокая» правительственная комиссия.

Как очевидец событий был вызван на заседание этой комиссии и мой отец. Огромный темный зал, блестящий паркет, стол, Покрытый зеленым сукном. За столом — большой сановный чин в штанах с золотыми лампасами, в мундире, со множеством неизвестных обычным смертным орденов. Рядом — военные и благообразные штатские господа. Все это под сенью огромного, во весь рост, портрета государя императора.

Отец по простоте душевной рассказал все очень подробно. Сообщил о разговоре с канцелярией полицмейстера. Выразил свое возмущение. Упомянул фамилию офицера, поблагодарив его за спасение училища.

Неизвестно, чем кончилось это следствие для офицера, а отцу посоветовали «по состоянию здоровья» покинуть государственную службу.

## По ту сторону семнадцатого года

*Дом в Орликовском переулке. Редисочные плантации в банках из-под копчушек. Мамина муфта.*

*Посылки из Юрьева. Оазис ломовых извозчиков. Мелочная лавка. Волшебное парикмахерское царство. Великий немой. Мясники и интеллигенты. Игра в пёрышки. Пожар. Тётя Кюнель. Мой богатый дядя. Поход в баню. Аврал на пасху.*

В 1910 году мы переехали из Белостока в Москву и поселились в Орликовом переулке, во втором или третьем доме направо, считая от Садовой.

В то время Орликов переулок выглядел совершенно иначе. Там, где сейчас находится огромное здание Министерства сельского хозяйства, стояли маленькие домишки. На углу мясная лавка, рядом трактир. Дома одноэтажные, невзрачные, как на окраинах провинциальных городов. Переулок, да и сама Садовая вымощены булыжником. Днём и ночью от бесконечных верениц ломовых подвод, едущих к вокзалам, стоял несмолкающий грохот...

Район никак нельзя было считать респектабельным. Выбор квартиры здесь, как и выбор домика на Боярах в Белостоке, определялся её стоимостью. Как и в Белостоке, хозяйкой двухэтажного дома оказалась старая генеральша, которая жила тут же, внизу. Первый этаж кирпичный, ярко-розового цвета, второй-рублёный, из брёвен, покрашенных в тёмно-зелёный цвет. Смелое, хотя и весьма неожиданное сочетание красок.

Мы разместились во втором этаже. Имелось подобие гостиной, затем малюсенькая столовая, оклеенные дешёвенькими обоями, и такой же скромный кабинет отца, в котором стояла лампа с тяжёлой медной ножкой и зелёным, прозрачного стекла, резервуаром для керосина. Из гостиной вверх в две мансардные комнаты вела крутая и очень узкая лестница. Налево-спальня родителей, направо помещались сестра и я. Комнатки были крошечными, а потолки настолько низкими, что их легко удавалось достать рукой. Двери дощатые, со щелями. Отопление голландское.



Вход в нашу квартиру шёл через крутую деревянную лестницу, которая начиналась прямо со двора. Дверь закрывалась огромным железным крючком. В кухне висел колокольчик, от которого вниз к дверям тянулась проволока. Ни канализации, ни водопровода дом, разумеется, не имел. Водовоз на кляче ежедневно привозил воду. Ведро воды стоило полкопейки. Перед входом в квартиру, одновременно чёрным и парадным, стояла дубовая кадка с водой.

Однажды мать, вынося ведро с водой сверху, споткнулась и опрокинула его. Через многочисленные щели в полу вода хлынула на голову домовладелице. Последовал неприятный разговор и сугубая осторожность при мытье полов.

Первое время переезд в Москву приносил маме сплошные огорчения. Квартира, по сравнению с белостокской, убогая. Знакомых, с которыми можно отвести душу, нет. Всё непривычно и неудобно. Но делать было нечего, и оставалось одно-привыкать, пускать корни на новом месте. Ревмя ревела и сестра, вспоминая своих подруг и уютный Белосток.

Моя сестра старше меня на пять с половиной лет. Она родилась 24 июня, а я 24 декабря. В пору нашего переезда в Москву ей исполнилось двенадцать лет, и родители сразу же определили её в женское коммерческое училище на Новой Басманной. Ходила она в форменном тёмно-зелёном платье с чёрным передником и белым воротничком.

В этом же училище преподавал немецкий язык отец. Домой он приносил груды ученических тетрадей, стопками возвышавшихся на его письменном столе. Осторожно, чтобы не мешать, я подходил к отцу, тихонько садился сбоку и с уважением смотрел, как он черкает в тетрадях красным карандашом.

Лицо отца снизу мягко освещалось лампой. Он много курил и обычно сам набивал папиросы. Не отрываясь от тетрадей и не глядя на меня, спрашивал:

— Ну что?

Я подходил поближе, и он меня ласкал. У него были рыжие, жёсткие усы, которые так приятно щекотали и пахли табаком.

Отец на несколько минут прерывал работу, отвечал на мои вопросы, что-нибудь рассказывал или рисовал мне картинки, а затем снова принимался за свои бесконечные тетрадки...

Как во всякой приличной семье, командовала в доме мама. Всё делалось с её ведома, и последнее слово всегда оставалось за ней. Не могу сказать, что отца это угнетало. Обычно он соглашался со всеми замечаниями и предложениями мамы. Отец был добрым и ласковым человеком. Таким он и запомнился мне.

Дни папиных получек всегда были радостным событием для нас, детей. Мы смотрели во двор, где появлялась его фигура с кулками в руках. Мы знали: в этих кулках обязательно будут конфеты и другие вкусные вещи.

Зимой окна в гостиной и столовой замерзали и покрывались толстым слоем льда. На подоконник ставилась лампа, и лёд постепенно стаивал. Приятным занятием было откалывать ногтём кусочки льда и гонять их по мокрому стеклу. В погоне за более толстыми кусочками я однажды пустил в ход столовый нож. Дело кончилось неприятностью-проткнул стекло, после чего ускорять таяние льда мне категорически запретили.

Зимой излюбленное занятие-цепляться сзади за сани, конечно, с оглядкой, чтобы, упаси боже, не увидела мама. Или обследовать каждый сугроб на улице. Домой появлялся мокрый, наполняя комнату густым запахом конского навоза.

Летом игры происходили в небольшом, но уютном старинном дворике, какие любят изображать художники. Двор зарос травой, лопухом и ромашкой. Посреди стоял старый, бездействующий колодец. Подходить к этому колодцу нам строжайше запрещалось, и потому он выглядел в наших глазах особенно таинственным и привлекательным.

Вместе с приятелем, золотушным, худым, длинным мальчиком, сыном нашего дворника, мы, каждый в меру своих талантов, выдумывали страшные истории и рассказывали их друг другу до тех пор, пока сами не начинали верить собственным выдумкам. В этих историях фигурировали сброшенные в наш колодец трупы, подземные ходы, клады.

И рассказывать и слушать такие истории было очень приятно, и я не заставлял себя ждать, когда мой приятель начинал гундосить под окном:

— Анис! Анис!

«Анис» в его транскрипции означало «Эрнст». Выговорить моё имя иначе он не мог. Буква «р» и недостаточное количество гласных были для моего компаньона по играм непреодолимой преградой.

Весной отец торжественно сажал редиску в две-три маленькие коробки от копчушек. Затем под карнизом, где всегда сидели голуби, собирали в бутылки помёт, разбалтывали его с водой, и это шло на поливку редисочных плантаций. Сбор помёта отец сопровождал просветительными рассказами о том, что в Америке есть места, где высятся целые скалы помёта, только не помёт, а гуано.

Не помню случая, чтобы редиска хотя бы в малой степени походила на настоящую. Наша редиска получалась длинной и не толще нормальной спички. Но это не смущало отца. Он приглашал гостей на званый вечер, предупреждая, что «гвоздём» его будет собственноручно выращенная редиска. Гости получали по две спички-редиски.

Водка в нашем доме как-то не водилась: отец предпочитал пиво, особенно Трёхгорного завода. Оно продавалось в высоких бутылках с гранями, сужавшимися кверху.

Ели мы дома сытно, но без разносолов — на них не хватало средств. Бюджет был довольно хлипкий. И хотя все расходы скрупулёзно записывались, это не помогало.

Мать любила ходить по магазинам, даже ничего не покупая. Но иногда она нарушала твёрдое правило. Обычно это происходило в четверг. Четверг был волнующий день. Именно в этот день во всех мануфактурных магазинах продавались остатки шелков, бархата и прочей милой дамскому сердцу дребедени.

Совершив такую покупку, мать гордая возвращалась домой. Отец, несмотря на явное нарушение экономии, должен был выражать — и выражал — свои восторги по поводу поразительной дешевизны её замечательных приобретений.

Большим событием, к которому вся семья долго готовилась, стала покупка муфты. Мать по несколько раз обошла все наиболее известные меховые магазины. Вечерами мы выслушивали её обстоятельные доклады о ценах, фасонах и качестве всех имевшихся в Москве муфт. Деньги откладывались в продолжение половины зимы. Только и разговору было, что о муфте. Наконец наступил долгожданный день. В семье всё притихло — мама ушла за муфтой.

Муфта была удачной подделкой под дорогой мех, как говорится, «недорогая, но миленькая». Мне разрешалось её только слегка гладить. А плохую погоду муфта не выводилась. Даже мысль об этом казалась кощунственной. Если на муфту попадало несколько снежинок, вся семья волновалась.

Помню московскую конку. Как-то раз поехали с матерью в город. У Цветного бульвара была остановка — тут пристёгивали дополнительных лошадей, чтобы одолеть горку по направлению к Сретенке.

Когда мне исполнилось семь лет, меня отдали в детский сад на Мясницкой улице. Первый раз в детский сад меня привела мама. Все мамаш вошли в класс со своими детьми. Ребят усадили за парты, а мамаш попросили удалиться. Многие заревели. Был близок к слезам и я. Но вскоре все перезнакомились, и детский сад стал не таким страшным, как в первый день. Начиналась новая полоса жизни.

Зимой приходилось вставать рано. Было темно. В холодных комнатах горели керосиновые лампы. Умывание ледяной водой было неприятной процедурой и сводилось главным образом к смачиванию носа и ближайших к нему частей лица.

Мать тем временем готовила бутерброды, наливала нам с сестрой чай с молоком, отцу кофе. Проводив всех троих, она отправлялась по хозяйственным делам и закупкам.

Ко дню рождения кого-либо из нашей семьи и к другим праздникам всегда приходила посылка от тёток из Юрьева. Особенно обильными и интересными были рождественские посылки. Каждый свёрток аккуратно завёрнут в бумагу и перевязан ленточкой. На наклейке с именем получателя каллиграфическим почерком тёти Гульды написаны всякие праздничные поздравления. К каждому пакетику привязана маленькая ёлочная веточка.

В рождественской посылке обязательно имелся мороженный гусь, домашние пряники, орехи. Я получал коробки с оловянными солдатиками, отец носки — собственноручной вязки тётки Алисы.

На квартире в Орликовском переулке мы прожили два года и переехали в переулок Добрая Слободка, дом № 24(теперь этот переулок называется улица Чаплыгина).

Как и Орликов переулок, Добрая Слободка не могла претендовать на фешенебельность и аристократизм. На углу переулка и Садовой —

Черногрязской стояла монополька — магнит для ломовых извозчиков, ездивших по булыжной Садовой. Ломовики останавливались, привязывали лошадей, зная, что тут всегда найдётся и выпить и закусить. Торговки продавали из вёдер огурцы, селёдку и капусту. Тут же у лоточников можно было купить за три копейки два горячих пирожка. Пироги, чтобы не остывали, закрывались подобием попоны тошнотворного вида, и никого не смущало, что лицо лоточника порою могло служить иллюстрацией учебника по венерическим болезням.

В винной лавке обращал на себя внимание каменный изразцовый пол и железная решётка с очень маленьким окошечком, за которой, как зверь в клетке, сидел продавец. Касса, вернее ящик с деньгами, тоже помещались за решёткой, предусмотрительно отдалённая от окошечка.

На полках загадочно поблёскивали сотни «мерзавчиков». И всего — то цена шесть копеек. Пять копеек — содержимое, копейка — посуда.

Весь низ дома покрывала рябь красных отметок. Происхождение их было вполне определённое: бутылку горлышком прижимали к стене и лихим движением освобождали от сургуча, оставляя красный след на стене. Затем — удар рукой по доньшку, и живительная влага тут же на улице лилась в горло.

У ломовиков за пазухой всегда было несколько пустых «мерзавчиков» от предыдущих остановок около монополек. Эти пустые бутылки ходили на уровне свободно конвертируемой валюты и принимались в уплату всеми торговками. На нашу мальчишечью долю от этих возлияний оставались пробки, которые мы собирали в водосточной канаве. Пробки в наших играх тоже были валютой.

Мы жили в третьем доме от угла, рядом с мелочной лавкой, неотъемлемым атрибутом каждого переулочка старой Москвы. В этой лавочке продавалось всё, начиная с керосина и кончая марками и почтовой бумагой. Конечно, всё было низкого качества и не первой свежести, но если приходили нежданные гости, то кухарка бежала туда за чёрствыми французскими булками и копчёной колбасой, поседевшей от старости.

Иногда отец и мать давали мне одну или две копейки. Приходилось думать, как истратить такую сумму денег с наибольшим вкусовым эффектом. За копейку можно было купить стакан подсолнухов или две ириски. Можно было купить два чёрствых

мятных пряника или две конфеты. Летом деньги, конечно, тратились на мороженое. На копейку давали один шарик. Бумажка от мороженого не только облизывалась, но тщательно ещё жевалась.

Лавчонка была маленькая, тёмная. Ароматы разнообразной снеди забивались оглушающим запахом керосина. Красовались всякого рода рекламы кондитеров и табачных фабрикантов, знаменитые гильзы «катык» с головой то ли бедуина, то ли эфиопа на коробке.

Лавочник всегда настораживался, когда мы гурьбой в пять человек являлись для закупки семечек на одну копейку. Но коммерция имеет свои законы, и нас обслуживали так же, как и любого другого покупателя.

За углом, за монополькой, размещалась парикмахерская: бритьё десять копеек, стрижка пятнадцать. Туда я ходил с отцом. Тут было сплошное благолепие. В витрине загадочно улыбались восковые господа с чудными усами и проборами. Сразу после того, как замирал звякнувший на входных дверях колокольчик, тебя охватывал тёплый, душистый воздух. От шипения газовых горелок, блеска зеркал и позвякивания в полном безмолвии ножниц начинало клонить ко сну.

Мастера в белых накрахмаленных халатах казались неземными существами: так они были изящны, ловки и красивы. Как — то даже неудобно было их, таких чудесных и возвышенных людей, утруждать стрижкой своей лохматой головы. Если даже сильно щипало, всё равно терпел молча.

В 1911–1912 годах, вплоть до революции, на Земляном валу действовал рынок. Площадь его ограничивалась с двух сторон двумя огромными домами. В одном из них — напротив Гороховской улицы — помещалось городское училище. В другом — напротив Доброй Слободки — второразрядная гостиница «Фантазия».

Кухня гостиницы была в подвале. Окна её закрывались железными сетками. Днём и ночью гудели мощные вытяжные вентиляторы. В холодные зимние дни здесь толпились нищие и оборванцы: тепло и пахнет вкусно. Этот гудящий дом казался мне большим военным кораблём во время боя.

По узким проездам мимо домов протискивались трамваи и обозы. Часто возникали заторы, сопровождающиеся шумными спорами: ломовики пускали в ход мат, вагоновожатые отвечали трамвайными звонками.

В самом начале Покровки, во втором доме налево, помещался писчебумажный магазин «Одесса». Глаза разбегались от множества интересных вещей. В магазине густо пахло клеем и ремнями от ранцев. Продавались листы с вырезными игрушками, переводные картинки, пёрышки всех сортов и видов, тетради, ранцы, карандаши, пластилин для лепки, разноцветная бумага.

Напротив «Одессы», во втором этаже углового дома, выходившего на Покровку и на Садовую — Черногрядскую, я познакомился с Великим немым. Там располагался небольшой кинотеатр. После революции его называли «Спартак», а в ту далёкую пору он носил имя другого римлянина — императора Нерона, известного в истории негодя. Большим достоинством маленького кинотеатра было то, что цены на первые ряды были весьма доступны.

Первые ряды — длинные деревянные скамейки — хозяин кинотеатра «Нерон» обил кровельным железом. Это было сделано, чтобы мальчишки, занимавшие самые дешёвые передние места, не ковыряли сиденья перочинными ножами.

Помню, что уже в 1910 году я видел в «Нероне» цветные фильмы. Запомнился зелёный пруд, затянутый тиной, зелёный до ядовитости. На берегу пруда девица в розовой кофточке ломала руки. У неё в недалёком прошлом явно произошли какие — то неприятности, от которых она торопилась уйти, нырнув в этот зелёный пруд. Давно забыл причину неприятностей, одолевших бедную девицу, но отлично помню другое. В зависимости от переживаний её розовая кофточка то тускнела, то разгоралась ярким красным цветом. Объясняется всё очень просто — тогда каждый кадрик раскрашивался вручную.

Прошло несколько лет. Фильмы изменились, но они по — прежнему ещё не были явлениями настоящего искусства. Помню, как поразил моё воображение фильм «Тройка червей». В нём было много автомобилей и ещё больше выстрелов. С одного автомобиля стреляли по шинам другого, а попали в бак, располагавшийся между передними и задними колёсами. Страшнейший взрыв! Кадры крупно снятых колёс, летевших по воздуху, и сейчас у меня перед глазами...

В те времена на экране фигурировали Макс Линдер, Поксон и Глупышкин. Глупышкин карабкался на дома, срывался с карнизов, попадал под трамвай, опрокидывал торговцев на базаре. Чем больше

было битья посуды и окон, тем восторженнее принимали кинофильм зрители.

Существовала серия отечественных кинодрам. Она так и называлась «Русская золотая серия». Главные исполнители — Мозжухин и Лисенко. Обязательными в этих лентах были рысаки, цыганский хор, яхты и вечерние туалеты. Непременно хотя бы одно убийство, а на худой конец самоубийство — из ревности или просто так, по глупости.

Картины этой серии носили названия «Молчи, грусть, молчи», «Пара гнедых», «У камина» и т. д.

В кинематографе я всегда старался остаться на второй сеанс, пытаюсь обмануть бдительную билетершу, но иногда в дверях появлялся отец и уводил меня домой.

Наш дом был деревянным, плохоньким. Во дворе, во флигелях, жили разносчики яблок, портнихи и мелкие чиновники. Не переводились и коечные жильцы, которые за три — пять рублей в месяц ютились в комнатах за ситцевыми занавесками.

При въезде в ворота нашего дома, чтобы они не пострадали от телег, были врыты две здоровенные каменные тумбы. Такие тумбы стояли тогда у ворот по всей Москве. Они служили желанным местом для лиц, расположенных к общественной жизни и к созерцательности. Ворота походили на крепостные. Все железные части добротные, кованые, рассчитанные на века.

Наша квартира размещалась во втором этаже. Под нами жила семья мясников. Лавка их была недалеко, за углом.

Строгий старик в купеческом кафтане, с волосами, стриженными «под горшок», и в картузе держал в повиновении всю семью. Жена его, забитая старуха, одевалась в ситцевые платья старого русского покроя, голову покрывала повойником и славилась своей стряпнёй. Два великовозрастных сына гнушались его деньгами. Один из этих раскормленных лоботрясов на левой руке всегда носил чёрную перчатку: однажды, приучаясь к ремеслу, он отрубил себе пальцы.

Мясники презрительно относились к нашей семье. Это было естественным проявлением чувств купца к захиревшей интеллигенции.

В первом этаже — пост, иконы, водка и пироги. Во втором — стопки ученических тетрадей, энциклопедия, скудные обеды и



изобилие музыки. Запахи пирогов и кулебяк часто волновали семью бедного учителя.

Квартира состояла из четырёх комнат, тёмной передней, тёмного коридора и полутёмной кухни. Отопление голландское, вода имелась, но электрического света не было. Над обеденным столом висело сооружение из меди с большим стеклянным абажуром. Теоретически лампу можно было опускать и поднимать благодаря противовесу с охотничьей дробью, но всегда наверху что — то заедало, и поэтому трогать её не рекомендовалось.

Большим событием явилась замена керосиновой горелки на керосинокалильную. Надевался колпачок из тончайшей сеточки, лампа разжигалась несколькими каплями денатурата — и вся семья восторгалась ярким мертвенно — белым светом.

На кухне стояла русская печь, топили её редко, в основном накануне больших праздников. Тогда здесь пахло кардамоном, гвоздикой, шафраном. Меня и сестру в такие дни отсюда было невозможно прогнать. Мы деятельно помогали матери. В награду нам отдавали на вылизывание миски из — под гоголь — моголя или сладкого теста. С детства и до сего времени я очень люблю есть сырое тесто.

Кухонька была маленькая. Окно выходило на чёрную лестницу, со стенами, обитыми железом. Кухарка спала в маленьком куточке за печкой, за ситцевой занавеской. Кухарки иногда менялись. Запомнилась мне одна — сухонькая, маленькая старушка Дарья. Она носила повойник, соблюдала все посты. Во время поста угощала меня како — то особенной, очень вкусной кисло — сладкой похлёбкой, состоящей в основном из дрожжей. Дарья умела рассказывать страшные сказки.

Хорошо было сидеть за кухонным столом, покрытым клеёнкой, и слушать эти незатейливые сказки. От маленькой лампы, висевшей на стене, пахло немножко керосином, от печки — дровами. По печке изредка пробегали тараканы и, шевеля усами, исчезали в своих щелях. Когда рассказ становился очень уж жутким, я боялся поднять глаза и взглянуть на тёмное окно — вдруг там появится какая — нибудь ужасная рожа. После таких рассказов страшно было идти через тёмную переднюю в жилые комнаты.

Накануне великого поста в Москве бывал так называемый постный базар. Это происходило у Устьинского моста. В палатках торговали мороженой рыбой, всеми видами баранок, бубликов и сушек, клюквой, сушёными и солёными грибами.

Дарья всегда делала запасы на время поста, и я лакомился у неё всем этим.

Зимой ходил гулять с матерью по бульвару Чистых Прудов. Там для детей устраивалась ледяная высокая горка, но у меня санок не было. Я ревел белугой и требовал санки. Реветь и ждать пришлось долго.

Летом играли в бабки, лапту и пёрышки. Современным детям, оснащённым новейшей техникой в виде самопишущих и шариковых ручек, неведом тот пёстрый и разнообразный мир ученических пёрышек, который так памятен людям моего поколения. Пёрышки выпускались десятками типов, с двузначными и трёхзначными номерами — от мягких или тоненьких до широких лопаточек рондо, позволявших писать с немыслимой сегодня витиеватостью. Не знают современные дети и азарта игр, связанных с пёрышками, игр, в которые можно было играть не только на переменах, но и на уроках, с соседом по парте, замаскировавшись спиной впереди сидящего. Вооружившись пёрышком, надо было одним движением перевернуть пёрышко другого игрока «на спину» — и тотчас же переходило в твою собственность. Карманы были всегда полны перьями всех фасонов и видов.

Много хлопот выпало моим близким, когда я заболел не то скарлатиной, не то дифтеритом. Сестра этой болезнью не болела. После семейного совета ей вместе с отцом пришлось переселиться в паршивенькие мебелирашки «Волга». Сестра ревмя ревела — моя болезнь совпала с рождественскими школьными каникулами. Срывались и гости, и подруги, и ёлка.

За мной ухаживала мама. Когда мама и кухарка уходили из дома, я, раздетый, босиком шёл в комнату, где стояла ёлка, чтобы рассмотреть ёлочные украшения и подарки, присланные тётками из Юрьева.

Ясно, что вставать и бродить по комнатам мне строго запрещалось. С трудом, опираясь о стены, шатаясь от слабости, я добирался обратно до кровати. Приходила мама, и у меня хватило

хитрости просить её подробно рассказать о подарках, которых я якобы не видал.

Когда я выздоровел, приехали какие — то страшные дяденьки в белых халатах с особым ведром. Они заклеили окна и двери бумажными полосками и что — то жгли в этом ведре. Во всей квартире долго стоял противный резкий запах.

Зимой по воскресеньям отправлялись в Сокольники кататься на лыжах. Готовили и упаковывали бутерброды. Тепло одетые, мы на шестом номере трамвая подкатывали прямо к Сокольническому кругу.

Под залог верхней одежды получали лыжи и отправлялись в глубь Сокольников — к Богородску, к лабиринту, к Чёртову кругу.

Вдоволь набегавшись на лыжах и съев промёрзшие бутерброды, от которых в зубах ломило, мы в сумерки возвращались домой. Нас уже ждали с обедом. Несмотря на усталость, после обеда громоздились на трамвай № 31 и ехали на Арбатскую площадь в кинотеатр «Художественный». В нём фильмы шли первым экраном.

Отец был очень весёлым человеком, любил пошутить и частенько подтрунивал над нами. Однажды, я уж не помню, что он сказал, но шутка мне не понравилась, и я замахнулся на отца...

Ай, что тут было! Отец меня ни разу в жизни не порол, это было делом моей мамы. С особенным рвением принялась она тут же за экзекуцию. Я, вероятно, орал так, что слышно было на улице. Напрасно было цепляться ногами за стулья, столы и косяки дверей. Меня нещадно выпороли. Родительская власть утверждала себя на моих ягодицах.

Потом я униженно просил прощения и, всхлипывая, должен был ещё выслушать страшное нравоучение о том, что у тех, кто поднимал руку на родителей, после смерти из могилы вырастает рука. И не поймёшь, что неприятней — порка или такие мрачные перспективы.

Мать давала уроки немецкого языка в богатых домах. Я часто провожал её до трамвайной остановки на углу Покровки Садовой и вместе с ней дожидался трамвая. Наступала минута горькой разлуки. Мать уже на площадке, смотрит на меня и ласково прощается, а я плачу:

— Мама, мне скучно без тебя, не уезжай!

Мама, конечно, огорчалась, а я, захлёбываясь слезами, пытался догнать трамвай. Наконец, видя тщетность этой попытки, я

останавливался и уныло брёл домой. Да, плохо, когда уезжает мама...

Однажды, услышав разговор родителей о трудностях жизни и искренно желая помочь им, я предложил: буду рисовать картинки и продавать их на углу. Для осуществления этого плана мне выдали гривенник на акварельные краски и кисточки. Была перепорчена вся бумага в доме, но повысить уровень нашего благосостояния не удалось.

Ещё в Белостоке мать брала уроки пения и даже выступала на благотворительных вечерах. В столовой стояло пианино и маленькая фисгармония. Мать часто пела украинские песни и, конечно, все модные романсы и песенки: вальс «Осенний сон», «Осенние скрипки». Новинкой 1912 года было и аргентинское танго. Блузки — танго, чулки — танго, конфеты — танго, не изобрели разве что только котлет танго.

У отца была сослуживица по женскому коммерческому училищу — Ольга Фёдоровна Кюнель. Ольга Фёдоровна, или «тётя Кюнель», как мы её звали, была у нас частой гостьей. Мы её любили: она была весёлой и всегда приносила что —нибудь вкусное: конфеты, пирожное, торт или фрукты.

В те времена мода была на полных женщин. В оценке качеств невест тех времён не последнюю роль играл их чистый вес. С этой точки зрения тётя Кюнель была сверхмодной женщиной. Она поражала всех своими мощными формами и походила на настоящую валькирию.

В журналах в угоду моде печаталось много реклам различных средств для развития бюста. Некоторые объявления были украшены соответствующими иллюстрациями — «до и после употребления». «До» — худая, как щепка, несчастная на вид женщина. «После» — необъятный бюст и довольная физиономия с кокетливым взглядом: дескать, знай наших. Так вот бюст тёти Кюнель был явно как «после употребления».

Приходя к нам, тётя Кюнель нежно прижимала мою голову к бюсту. Я задыхался и чувствовал себя так, словно с головой окунулся в квашню с тестом. Но принесённые конфеты примиряли и с этим неприятным обстоятельством.

Второй нашей постоянной гостьей была Сашетт. Так все её и звали — просто Сашетт. Она тоже была учительницей. В отличие от тёти Кюнель — маленького росточка и сухонькая. Годы шли, а Сашетт

неизменно сохраняла вид вечной старой девы. Всегда весёлая, она очень следила за своей внешностью и нарядами.

Сашетт обычно приезжала на извозчике. Зимой на санках. Иногда и нас, детей, она катала по вечерней зимней Москве на санках. Было много снега, в переулках горели керосиновые фонари, а на главных улицах шипели и мигали электрические фонари с угольными электродами. Возвращались, топая по деревянной скрипящей лестнице, в нашу маленькую уютную столовую с модными тюлевыми занавесками, гарнитуром резной столовой мебели из светлого ореха, с шипящей керосинокалильной лампой.

Обстановка столовой была подарена друзьями отца в день его свадьбы. Она путешествовала с моими родителями из Юрьева в Баку, из Баку в Белосток, из Белостока в Москву и просуществовала до 1924 года. В 1924 году, когда наша семья стала распадаться, (отец умер, сестра уехала, я отправился на свою первую зимовку в Арктику) и матери пришлось из отдельной квартиры перебраться в одну комнату, всё, за исключением часов с боем, подаренных с пожеланием, чтобы они отбивали только счастливые времена, было продано.

Но всё это произошло через много лет, а до этого под нашей лампой с бирюзовыми висюльками было проведено много счастливых минут.

Большим событием стала покупка письменного стола для отца. Родители долго ходили, выискивали и приценились. Наконец стол куплен, привезён и водворен на место. Дешёвый, то, что сейчас называется «ширпотрёб», но обтянутый полагающимися в таких случаях зелёным сукном, он выглядел вполне представительно. Так как вместе с родителями мы прочувствовали все разговоры, сомнения и соображения, предшествовавшие его покупке, стол вызывал у нас глубокое почтение. Опасение, как бы не задеть его во время детских игр, не оставляло нас ни на минуту.

Вскоре верхняя доска рассохлась, и сукно лопнуло. Священный страх перед столом стал уменьшаться. Затем кухарка опрокинула чернильницу. Скандал по этому поводу продолжался несколько дней, но ореол стола померк. Трещина и пятно сделали своё дело, мы стали с ним запанибрата, опять можно было спокойно двигаться и дышать. Мне запомнилась эта история — свидетельство того, сколь тягостно соприкосновение с безупречным.

В угловой комнате жил один из семи братьев моей матери, дядя Гуго. Дядя жил на полном пансионе и, видимо, щедро платил, так как его пожелания были для всех, и в первую очередь для кухарки, законом.

Дядя Гуго был закоренелым холостяком. Жгучий брюнет, с бледным цветом лица, он не возбуждал детских симпатий, да и не умел с нами ладить.

Работа в качестве главного бухгалтера фирмы Феттер и Гингель в Варсонофьевском переулке, торговавшей всякими металлическими изделиями, хорошо оплачивалась и позволяла ему жить вполне безбедно.

В комнате у него было интересно. Там всегда имелись образцы всех товаров его фирмы: столярный и плотничный инструмент, ножи, вилки, ложки, всякого рода замки, ружья, револьверы, металлическая посуда, сервизы из польского серебра, бритвы и т. д. Некоторые из этих вещей сохранились у меня до сих пор.

Особое внимание мой богатый родственник уделял своей одежде и внешности. Тёмные и светлые костюмы, сшитые по последней моде, в идеальном порядке висели в шкафу на специальных патентованных вешалках. Десятки галстуков, красивых шёлковых платочков для грудного кармашка, обувь всех цветов и фасонов — всё это было в мужском арсенале дяди.

Волосы он причёсывал на косой пробор и так обильно мазал бриолином, что голова блестела, как чёрный монолитный шар. На том месте, где он обычно сидел за столом, от дядиного затылка на тёмно — бордовых обоях образовалась жирное пятно. Когда наш дом пошёл на слом, я прибежал смотреть на его разборку и видел это пятно на обоях.

В качестве головного убора, как все денди своего времени, дядя Гуго признавал только котелок. Когда в тёмной передней никого не было, я украдкой брал дядин котелок, гладил его и заглядывал внутрь. Внутренний ободок котелка (самого лучшего и обязательно заграничной марки) был из нежнейшей светло — жёлтой кожи, обивка (назвать её будничным словом «подкладка» язык не поворачивается) — из искрящегося, белого, как фирновый снег, шелка. В центре донышка — фабричные марки: короны, британские львы, какие — то сказочно — заманчивые гербы. Обязательно надо было понюхать: хороший бриолин и хороший одеколон давали приятный

букет. Во время своих изысканий я всегда был начеку, чтобы не быть пойманным врасплох. Услышав шаги, клал котелок обратно и встречал вошедшего с невинным видом.

Дядя пил коньяки только заграничных марок, душился только заграничными духами, носил лайковые и замшевые перчатки по последнему воплю моды и вообще казался нам неземным существом. В наших глазах он был просто набобом. Но этот набоб болел туберкулёзом и закончил своё земное существование в 1915 году в полном одиночестве, среди чужих людей, в лёгочном санатории в Финляндии.

Большим событием было субботнее посещение бани. Баня была недалеко, за три дома от нас. Она и сейчас ещё существует.

Вместе с отцом шли в первый разряд. Сразу же, начиная с вешалки, нас встречала оранжевая атмосфера. Пахло сырыми простынями, паром, мылом и вениками. Коврики и дорожки скрадывали все звуки. На диванах сидели пышущие жаром, распаренные посетители.

Вытянутая нога лежала на табуретке, свеча в медном подсвечнике освещала ногу, и старичок в ситцевой длинной рубашке, как жрец, священнодействуя, бритвой старательно скрёб мозоль.

Когда открывалась железная, плачущая потом дверь в баню, слышался адский грохот шаек, нечленораздельные выкрики и плеск воды. Покупалось казанское мыло — жёлтый прямоугольник был охвачен деревянной рамкой — и кокосовая круглая, как блин, мочалка. Это блины у продавца были нанизаны на палку.

Торжественно отмечали в доме различные праздники. В дни рождений мать извлекала старинный рецепт, написанный выцветшими чернилами на полуистлевшей бумаге, и пекла традиционный крендель. Вокруг кренделя — маленькие свечи, число которых соответствовало исполнившимся годам, посередине большая свеча — предстоящий год.

И всё же манипуляции, сопутствовавшие дню рождения, меркли по сравнению с тем, что происходило в нашем доме на пасху. Вот уж был воистину большой аврал. И хотя никто не подавал команды «свистать всех наверх», вся семья собиралась в кухне, напоминавшей в эти дни встревоженный муравейник. Трудились не покладая рук.

В кипятке отмачивалась шкурка сладкого миндаля. Сестра не знала, как приступить к очистке: ведь кипяток горячий, пальцами в

него не влезешь.

— Дочка, а вот смотри, в северо-западной части Патагонии существует такой способ доставания отмоченного миндаля из кипятка... — И, взяв чайную ложку, отец доставал миндаль.

Всем семейством до одури протирали творог сквозь сито, на тёрке обдиралась цедра лимона, толкли в ступке корицу, мускатный орех. Пахло праздником, все были заняты. У матери от жары на кухне лицо приобретало цвет спелого помидора.

Красить яйца было делом детей. Для лучшего блеска уже покрашенные яйца смазывались шкваркой от грудинки. Часть яиц обкладывалась луковичной шелухой и на ночь заматывалась в тряпочки с крепким уксусом.

Кухарка получала пасху, кулич и яйца отдельно. Свои яства она носила в церковь святить.

В первый день пасхи на дворе все мальчишки были чистенько одеты. Дворник ослеплял своей красной рубашкой с надетым поверх чёрным жилетом.

Хотя православная и лютеранская пасхи не совпадали и вообще мы слыли за нехристей, но, тем не менее, появлялись и с чёрного и с парадного хода вереницы поздравителей: дворник, городовые, почтальоны, трубочист и вообще множество каких — то лиц, которых никто никогда не видел.

Господа (отец и мать) с любезными улыбками принимали поздравления по случаю воскресения Христа. Кучка полтинников и двугривенных, специально приготовленных по случаю такого радостного события, таяла. С часу дня уже начиналось время приёма гостей.

Когда праздники проходили, родители с облегчением переводили дыхание.



## В гимназии для богачей

*Шинель или не шинель? Рысаки и керосиновый бидон. Мои соученики — Соня Гаррель, Анатолий Горюнов, Борис Ливанов. «Царь Эдип» и «Красная Шапочка». За музыкантским столиком в богатом доме. История солдатских ботинок. Мои друзья — книги. Коллекция дореволюционного школьника. Бегство от пристава. Упаковщик посылок и расклейщик афиш.*

Родители хотели дать мне хорошее образование, а для этого надо было, прежде всего, окончить гимназию. Почему — то считалось, что в казённых гимназиях преподают хуже, чем в частных, и меня определили в реформатскую гимназию при швейцарской церкви. Плата там, как и в большинстве частных учебных заведений, была значительно выше, чем в казённых. Вероятно, поэтому они и считались лучшими. Отдавая меня в реформатскую гимназию, родители руководствовались самыми лучшими намерениями и, конечно, желали мне добра. Им и в голову не приходило, какое множество детских огорчений и неприятных переживаний достались мне пребывание в этой «лучшей» гимназии.

Теперь, вспоминая своё детство, я понимаю, что неприятности имели классовую подоплёку. Это, быть может, звучит несколько громко, но было именно так, хотя тогда этого не понимали ни отец, ни я. Боюсь, что сведения моего отца о классах ограничивались восемью классами школы, где он преподавал, а также, первым, вторым и третьим классами на железной дороге. О всех прочих классах, существовавших в человеческом обществе, отец пребывал в блаженном неведении.

В частных гимназиях форма не была обязательной. Но зачем же тогда становиться гимназистом, если не носить шинели?

К счастью, родители поняли жизненную важность этого вопроса. И наступил, наконец, тот долгожданный день, когда мы с матерью пошли в магазин готового платья.

Увы! Покупка шинели принесла мне лишь разочарование. Шинель и не шинель...

Из практических соображений была куплена не шинель, а похожая на неё зимняя шуба на вате. А соображения эти были крайне просты — мать купила шубу, потому что она стоила на несколько рублей дешевле, так как была сшита из какой — то мягкой тёмно — серой материи, совсем не похожей на серое со стальным оттенком, жёсткое гимназическое сукно. Я попытался, было, что — то лепетать, но спорить с матерью было делом безнадёжным.

Так восторжествовало известное положение о базисе и надстройке. В нашей семье был неважный базис, отсюда неважной получилась и «надстройка» — мышинного цвета, да ещё с какими — то пырышками. Но шинель была не единственным огорчением.

...Уже была пора идти в школу, но кончился керосин, и я, схватив привычный двадцатифунтовый бидон, обёрнутый старыми газетами, на рысях помчался в ближайшую лавочку.

На этот раз меня ждал страшный удар. Он настиг меня не из — за угла, а посередине дороги. Навстречу мне на чудном рысаке, со здоровущим кучером на облучке, укрытые медвежьей полостью, промчались в школу мои одноклассники — братья Рабенок, сыновья мануфактурного фабриканта. Они жили в собственном особняке в конце переулка.

Свет померк! Всё кончилось! Они меня заметили, и теперь весь класс будет обсуждать злободневную тему: а Кренкель керосин носит. По нравам нашей гимназии это было занятием совершенно неприличным.

С керосиновым бидоном в руках, обливаясь слезами, я рассказал матери о случившемся, но особого сочувствия не встретил и после безрезультатных заявлений, что не пойду в школу, не хочу в школу, всё же в зарёванном виде был туда отправлен.

В нашей гимназии было совместное обучение, что в царское время случалось не часто. Находилась гимназия на Маросейке между Армянским и Девятинским переулками, потом переехала в Трёхсвятский переулок (сегодня — Большой Вузовский).

Учились в ней преимущественно дети состоятельных родителей — коммерсантов, чиновников, адвокатов, представителей разных фирм. Сын школьного врача Густав Тюрк, сын ещё одного учителя и я представляли собой наименее имущую часть класса. Разумеется, отношения с одноклассниками мерялись не только имущественным

положением. Далеко не все были детьми миллионеров, не все приезжали в гимназию на рысаках. Среди моих школьных товарищей были славные ребята, а некоторые стали впоследствии людьми известными.

Не так давно, посетив свою бывшую одноклассницу Соню Гаррель, артистку Московского Художественного театра, я вспомнил с ней товарищей нашей юности. Соня — не единственная служительница искусства, вышедшая из стен нашей гимназии. Вот, например, братья Бендель. Младший — наш одноклассник, второй был на класс старше. Именно этот второй и стал впоследствии народным артистом РСФСР А.И.Горюновым, игравшим в Театре имени Вахтангова, а также раскрывшим своё блестящее комедийное дарование в фильмах «Праздник святого Йоргена», «Три товарища», «Вратарь» и других.

К сожалению, я плохо помню Анатолия Горюнова в гимназические годы. И это, вероятно, естественно. Он, как и народный артист СССР, Борис Ливанов, был на класс старше, а старшеклассники для нас, как, впрочем, для школьников всех поколений, выглядели уже совсем другими людьми, чьи тумачи по школьной иерархической лестнице мы аккуратно передавали своим младшим товарищам. Но если с Горюновым после школы встретиться не довелось, то Борис Ливанов несколько раз бывал у меня, доставив огромное наслаждение своими рассказами, на которые этот потрясающе интересный человек великий мастер.

Не помню точно, был ли в нашей гимназии драматический кружок, который позволял моим одаренным товарищам как — то развернуть свои актёрские способности. Но полагаю, что такой кружок был, так как с интересом гимназистов к театру, которого, сознаюсь, я не проявлял, связано ещё одно воспоминание. Дело в том, что отец мой в поисках заработка перерабатывал на школьный лад разные произведения — от «Царя Эдипа» до «Красной Шапочки». Хорошо помню, как время от времени директор приказывал мне:

— Скажи-ка отцу, чтобы он завтра прислал с тобой «Красную Шапочку»!

На следующий день, кроме тяжёлого ранца, я пёр в школу перекинутые через плечо связки этой проклятой «Красной Шапочки». Впрочем, если это способствовало первым шагам к сцене моих

товарищей, ставших знаменитыми актёрами, то я больше не жалею об этом.

К началу моей учёбы в гимназии относится и история, которую я сейчас расскажу. Она произошла в 1913 году. Мне было тогда девять лет.

В погожий день, рано утром, моя мать почему — то обратила особое внимание на моё утреннее умывание. Были осмотрены и уши, и шея, и ногти. В дальнейшем всё прояснилось — мы идём встречать царя! Это, конечно, здорово интересно. По такому случаю можно было, и помыться, тем более — кто его знает? — может быть, царь заинтересуется моими ушами и шеей.

И вот мы стоим с матерью на тротуаре на Тверской улице напротив Английского клуба (ныне Музей революции). Царь прибывал на Белорусский вокзал и должен был проследовать по Тверской в Кремль на празднование трёхсотлетия дома Романовых.

Публики было не очень много. Стояли вдоль тротуаров. Важные приставы в парадной форме, в белых перчатках, поглядывая на верхние этажи домов, покрикивали: «Закройте окна». Первый ряд — цепочка дворников в белоснежных фартуках и с надраенными до блеска медными бляхами. Огромные городовые, все усатые (где только их всех набрали?), с огромными револьверами на боку, олицетворяли власть предрежущую.

А вот и кортеж. На дутике (так назывались пролётки на дутых колёсах, кстати, это были самые дорогие извозчики) ехал генерал — губернатор. Отличный рысак, лакированная на совесть коляска, на козлах бородатый кучер с иконописным лицом в кучерской шляпе с павлиньими перьями, перевязанный по синему кафтану ярко — красным кушаком.

Двигались медленно. Раздавалось громкое цоканье копыт по булыжнику Тверской улицы. Губернатор ехал стоя, держа руку всё время под козырёк. Левой рукой он держался за кушак кучера, а лицо всё время было обращено к царю.

Царь ехал в просторной открытой шестиместной карете. Он был в форме полковника и сидя, поворачиваясь, то налево, то направо, козырял. Рядом сидела царица, вся в белом, в огромной белой же шляпе со страусовыми перьями. Все кричали «ура», и я кричал.

Шестёрка белых лошадей, украшенных султанами, вместе с царём исчезла в направлении Кремля. Вечером на Театральной площади была иллюминация. На фронте «Метрополя» электрическими лампочками была выведена надпись: «Боже, царя храни».

Как известно, это пожелание не было выполнено.

Много, много лет спустя я посетил купеческий особняк в нынешнем Свердловске — последнее обиталище последнего царя. Самое сильное впечатление произвела на меня узенькая зелёная полоска — хлебная карточка самой плохой категории. В графе «занятие» было написано «Бывший император».

Одна из первых социальных неприятностей, на которые гимназия как — то не скупилась, связана с Робкой Карнацем, сыном владельца карандашной фабрики, носящей ныне имя Сакко и Ванцетти. Однажды на рождество Робка пригласил в гости одноклассников вместе с классной дамой. Ничего хорошего не получилось.

Собрались мы в особняке с островерхой крышей, рядом с фабрикой. До недавнего времени он ещё стоял на Валовой улице. Теперь его снесли.

Уютная столовая. Потолок тонет в темноте, а лампа под огромным абажуром ярко освещает празднично убранный стол. Милые! Чего там только не было! Несколько тортов с невероятными украшениями, вазы с фруктами, варенье, пастила, орехи, кексы, невиданные по красоте конфеты — всё это переливалось всеми цветами радуги.

Но мне не повезло. За круглым столом, на котором возвышалось это великолепие, не хватило мест. Вместе с Густей Тюрком я был посажен за музыкантский столик в углу, в темноте. Мы с Густей были друзьями и, как я уже писал раньше, своего рода незаможниками среди отпрысков всяких дельцов и фабрикантов. Своими кулаками я благородно защищал хилого Густю, в дальнейшем почему — то ставшего толстовцем.

Так вот, с будущим толстовцем мы и сели, как изгой, за этот чёртов музыкантский стол. Тут было всё иначе. Торт дали только одного сорта, да и то по куску без роз. Чая с лимоном не дали, а из кувшина налили остатки какао. Мы мрачно жевали то, что перепало с большого стола, и удивлялись щебетанию нашей классной дамы, живописавшей родителям Робки, какой он чудесный мальчик. Потом

всех развезли на хозяйских лошадях, а мы с Густей поехали на трамвае.

Впрочем, музыкантский стол был для меня сладким воспоминанием по сравнению с другой историей, историей с ботинками, надолго запомнившейся и мне, и моим одноклассникам.

У меня было много дядюшек. Они потихонечку один за другим умирали, а их доспехи поступали в мою пользу. Я был рослым пареньком. Некоторые вещи годились даже без перешивки, и я поневоле донашивал модные в клетку пиджаки и полосатые брюки моих усопших родственников. Но если со штанами и пиджаками ещё можно было, как — то мириться, то обувная проблема достигла для меня воистину шекспировского трагизма. Носил я недоношенные все теми же дядями ботинки: модные и длинные — предлинные. По ширине они ещё годились, но длина их была непомерно велика, и носки некогда щегольских штиблет загибались на моих ногах, как лыжи. Спотыкаться на лестницах и даже на ровном месте от этих задранных носков для меня было делом обычным. Отсюда мечта, красивая голубая мечта — иметь настоящие, купленные специально для меня ботинки.

Что может быть более желанным и привлекательным для мальчишки двенадцати лет, как не самые настоящие солдатские башмаки! Такие башмаки стоили значительно дешевле обычной обуви, и поэтому против их покупки особых возражений со стороны родителей не возникло. Итак, решено: я покупаю себе солдатские башмаки!

Всю неделю меня инструктировали, как нужно примерять ботинки, где держать деньги, как остерегаться жуликов. Эти наставления были вполне уместны, ибо целью похода был знаменитый Сухаревский рынок, или, как его просто называли, Сухаревка.

Рынок начинался у Спасских казарм. Спиной к стене сидели калеки и слепые и, распевая гнусавыми голосами, пытались разжалобить прохожих. А рядом уже шла торговля с рук. Продавалось всё, что мог поднять и нести человек средней физической силы, — от веера со страусовыми перьями до продавленного пружинного дивана, современника Наполеона, глядя на который трудно было определить, чего там больше — ржавых пружин или клопов.

Родительские наставления были выполнены, и покупка совершилась. На следующее утро я проснулся с радостной мыслью: «У меня новые солдатские ботинки, сегодня я пойду в них в школу».

День выдался чудесный. Апрельское солнце щедро грело, и безоблачное небо не предвещало ничего плохого. Правда, если положить руку на сердце, ботинки были и великоваты и тяжеловаты, но, несмотря на это, я не чувствовал под собой ног. Мне казалось, что прохожие любуются моими башмаками и одобряют мой вкус.

Всё, что говорилось на первом уроке, прошло мимо моих ушей, так как внимание было полностью направлено под парту, на разглядывание обновки.

Однако дальнейшие события приняли для меня несколько неожиданный оборот. Окна нашего класса хотя и выходили на солнечную сторону, но после зимы ещё не открывались. В классе было жарко и душно. Мои ботинки разогрелись и стали излучать пронзительный и неистребимый запах. По всем законам диффузии он распространялся всё дальше и дальше. Скоро воздух во всём классе наполнился ароматом моих башмаков.

Перемена кончилась, и мы опять уселись за парты. В класс вошла учительница немецкого языка Вера Борисовна. Это была нестареющая блондинка с птичьим лицом и лошадиными зубами. Мы её боялись и поэтому, естественно, недолюбливали. Переступив порог, она поморщилась и, поведя носом, обратилась к нам:

— Чем это пахнет?

Уже сморщенный носик заставил ёкнуть моё сердце, а от вопроса, имеющего прямое отношение ко мне, внутри что — то оборвалось и пригвоздило меня к месту. Для меня померк свет чудесного весеннего дня, я плохо соображал, лицо, и уши у меня горели алым пламенем. Словно сквозь сон я услышал чей — то ответ:

— Это у Кренкеля новые ботинки...

Раздался стук парт, все сели, а я, как поражённый столбняком, продолжал стоять.

— А ну-ка, Кренкель, подойди сюда...

Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем я сдвинулся с места. Путь на Голгофу, наверное, выглядел увеселительной прогулкой по сравнению с тем, что выпало на мою долю. Когда я шагнул от своей последней парты до учительской

кафедры, насмешливые взгляды моих сверстников жгли, не зная пощады. Мне хотелось спрятать свои ноги, но куда и как? Кончилось моё счастье, башмаки сразу стали ненавистными.

Как ни долог был скорбный путь, но, в конце концов, я дошёл до лобного места. Учительница долго молча и насмешливо разглядывала мои башмаки.

— Так, значит, новые башмаки?.. Сколько же ты за них заплатил?

Вопрос задел самую больную струну.

Я невнятно пролепетал цену, и всем всё стало ясно.

Цена была вдвое меньше, чем на ботинки моих одноклассников.

Не помню, как я вернулся на своё место, но историю с ботинками запомнил на всю жизнь.

Целительная сила юности сделала своё дело. Жизнь продолжалась.

Каждый день, приходя из гимназии, я снимал «приличное платье», надевал заплатанную куртку и потёртые штаны, превращаясь, по обстоятельствам, то в футболиста, то в страстного читателя, но далеко не всегда в того прилежного мальчика, каким хотели видеть меня мои родители.

В мою жизнь вошла книга. Я поднимался по традиционным ступеням, по которым шли читатели многих поколений. Ко дню рождения мне дарили бессмертные сказки Андерсена, конечно, Гулливера, Робинзона Крузо...

Я не задерживаюсь на том периоде, когда, ужасаясь, приходилось переживать злоключения Красной Шапочки, братца Иванушки и сестрицы Алёнушки. И они, эти славные персонажи, сделали своё доброе дело, оставшись в памяти на всю жизнь.

Следующим этапом было известное чтиво. Именно чтиво, другого названия, пожалуй, и не подберёшь. По давности лет не стыдно сознаться в этом увлечении. Да кто из моего поколения не знал Ната Пинкертона, его верного друга Боба Моррисона, Шерлока Холмса (не конандойлевского, а семикопеечного); Ника Картера и знаменитого русского сыщика Путилина!

Одни обложки чего стоили! Раскрытые гробы, скелеты в кандалах, пышногрудые красавицы с двумя револьверами (одного мало!) в руках. Несмотря на «технические» трудности (где прятать эти перлы и как



читать?), чтиво поглощалось солидными дозами. Запретный плод, как всегда, сладок.

Шло время, и вкус менялся. На смену пришли авторы, имена которых нельзя даже произносить на одном вздохе с вышеупомянутой «литературой»: Джек Лондон, Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн...

Сильные личности, выведенные в произведениях этих писателей и действовавшие, как правило, в сложных обстоятельствах, были мне по душе. Впрочем, это естественно. Мальчишкам всегда хочется быть сильными, и общество сильных они предпочитают обществу умных. Я им завидовал: ну до чего же у них была интересная жизнь!

Спасибо Борису Варсановьевичу Игнатьеву, нашему преподавателю географии. Его уроки были для меня оазисом среди прочих гимназических премудростей. Не думал я тогда, елозя не совсем уверенно указкой по карте, под строгим взглядом любимого учителя, что я полюблю Арктику и отдам ей лучшие годы жизни.

Вспоминаю обо всём этом с гордостью. С гордостью думаю: вот какие мы молодцы, мальчишки! Если бы, научившись читать и писать, мы не превращались в исследователей, идущих в мир по самым разным тропинкам, человечество никогда бы не накопило того огромного богатства, которое составляет сегодня арсенал его знаний.

Однако с точки зрения обогащения человечества наши первые гимназические исследования носили не очень продуктивный характер, хотя в них легко обнаружить и черты времени, и, наоборот, классическую вечность, как, например, собирание почтовых марок. Не буду задерживаться на марках, интерес к которым у мальчишеского племени не меркнет, а вот о своих других интересах постараюсь рассказать. Таких коллекционеров, к числу которых я принадлежал, будучи гимназистом, сегодня, пожалуй, не сыщешь, даже если очень захочешь.

Одно из моих (да и не только моих) увлечений — сбор номеров автомобилей. От моего дома до гимназии меня отделяли примерно четыре трамвайных остановки. По дороге мне попадалось примерно от двух до семи автомобилей, не более. Я записывал их номера — занятие, которое при сегодняшнем потоке машин было бы просто бессмысленным. Но тогда автомобили встречались в Москве не чаще сиамских котов. Записать номер было безусловной удачей. На большой

перемене мы вытаскивали свои записные книжки и очень гордились, когда нам попадался какой — нибудь необычный, ни у кого другого не записанный номер. Обсуждение особенностей машин, номера которых попадали в наши блокноты, было бесспорной пользой такого коллекционирования.

Когда началась первая мировая война, автомобильные номера уступили место другому увлечению. Мы воспылали страстью к собиранию плакатов, призывавших подписываться на военный заём. Это были большие, очень красочные листы с изображением Кузьмы Крюкова, богатырей, разных батальных сцен и т. д.

Плакаты расклеивались на заборах и стенах по всей Москве. Зимой их очень легко было оторвать. Клей замерзал, достаточно было подковырнуть один уголок и потом аккуратненько тянуть плакат, чтобы клейстер с треском и грохотом лопнул. Лист отрывался и попадал тебе в руки.

Как — то поздно, часов в восемь вечера, когда было уже совсем темно, я возвращался из гимназии. Такого рода возвращения стали для нас привычными, так как в нашей гимназии был, развёрнут госпиталь, и мы занимались в задании наших соседей, пускавших нас в свои классы только во вторую смену. Так вот, в темноте я подходил к своему дому. Перед нашим подъездом стоял довольно длинный и, я бы сказал, солидно — фундаментальный забор. На заборе подряд было наклеено большое количество займовых плакатов самого последнего выпуска с абсолютно новым рисунком. Разумеется, такой плакат нужно было обязательно «заиметь», чтобы на следующий день похвастаться в гимназии. Я отколупнул уголок, привычно снял этот огромный лист и даже не стал его складывать, потому что до подъезда оставались какие — то считанные шаги.

С плакатом в руках я завернул за угол строительного забора, где, освещаемые газовым фонарём, были ворота нашего дома. И каков же был мой ужас: около ворот стоял пристав нашего участка и нажимал звонок к дворнику.

— Молодой человек! Это зачем же вы плакаты срываете?

Я пролепетал что — то невнятное.

Подождите, подождите! — Пристав продолжал нажимать к дворнику.

Пока дворник не откликнулся на начальственный зов, я сообразил, что всё решает быстрота. Дворник меня отлично знал, и, если бы он меня увидел, провал был бы полнейший. Отдав себе, ясный отчёт в происходящем, я ринулся бежать по тёмному переулку. Пристав закричал что — то вроде «стой, стой!», даже засвистел в свисток, но я «бежал быстрее лани, быстрее, чем заяц от орла». Благополучно выскочив на Садовую, я обежал квартал и потом, тихонько озираясь, чтобы снова не напороться на пристава, вернулся домой. Весь день я волновался, ожидая продолжения этой истории. Но всё обошлось. Пристав так и не разыскал меня, а судьба посмеялась надо мной, и из срывщика плакатов я вскоре стал расклейщиком афиш.

В годы войны я никуда не ездил на летние каникулы, а оставался в Москве и работал во Всероссийском земском союзе. Это были мои первые заработки. Сначала носил «посылки для военнопленных», а потом повысил свою квалификацию и стал упаковщиком этих посылок. Затем вечерами после уроков занимался у частного хозяйчика расклейкой всяких объявлений, плакатов и афиш. Работа была тяжёлая. Имелось три цены: первая — за наклейки просто так, с земли, насколько рук хватает. Вторая — за наклеивание с табуретки. Чтобы заплатили третью цену, надо было ходить со стремянкой и со своей картофельной мукой для клейстера. Я научился хорошо разводить клейстер, заваривая его в ближайших чайных и трактирах.

Маршруты составлял мне хозяин, по каким — то одному ему известным закономерностям. География этой коммерции так и осталась для меня тайной. Впрочем, я не пытался в неё вникнуть. Моя задача была клеить, и не более. Некоторые из этих маршрутов были просто зверскими. Например, Садовое кольцо. Начав поход рано утром, я почти никогда не успевал закончить его до наступления темноты.

Хозяин проверял нашу работу. Он ходил по городу маршрутами, которые задавал нам, проверяя примерное количество наклеенных плакатов. Поэтому выбросить хотя бы половину, что я бы сделал с полным удовольствием, было невозможно. Груз при этой работе приходилось тащить изрядный: громадные рулоны афиш, стремянка, кисть, ведро с клейстером. Особенно плохо работать было на ветру. Смертельными врагами были дворники.

Этому афишному бизнесу пришёл конец в начале 1917 года. Как — то хозяин дал мне ворох маленьких афишек и велел лепить их несколько необычным путём:

— Иди по Бульварному кольцу и расклеивай афишки на каждом трамвайном столбе так, чтобы их можно было читать из окон трамвая.

Афиши были отпечатаны по заказу, какого — то частного врача и рекламировали венерологический кабинет весьма сомнительного свойства. Я уже и раньше подумывал о том, что пора закруглять эту деятельность. Объявление венеролога стало последней каплей. Я отмыл руки от клейстера, и афишное дело ушло для меня в невозвратимое прошлое.

## Я становлюсь взрослым

*Гимназист с папирсой. Большевик или меньшевик? Хлеб, который надо было брить перед едой. Бесплатный трамвай. Осина из Главпрофобра. Отто Шмидт, которого я тогда не знал. Суп «карие глазки». В бойскаутском отряде. «Малолетний преступник». Чёрное знамя анархии. Конфирмация. Сословие мешочников. Красноармейский паёк. Рабочий, миллионер и исполец.*

Когда произошла Февральская революция, мне было четырнадцать лет и учился я в пятом классе. Запомнилось мне это событие по разным обстоятельствам, но в основном по разговорам, происходившим в нашем доме.

Не могу сказать, что отец мой был крупным политиком, но порассуждать об этой сложной материи он, как большинство русских интеллигентов, очень любил, черпая факты для размышлений из газет «Раннее утро» и «Русские ведомости». Они были очень разные. «Раннее утро» — газета, так сказать, облегчённого типа. Не то чтобы бульварная, но с большим процентом легкомысленности, направленной на то, чтобы сделать её как можно более «читабельной». «Русские ведомости», напротив, считались органом в высшей степени серьёзным.

Весьма подробно обсуждалось дома происшедшее в ночь с 16 по 17 декабря 1916 года убийство Григория Распутина в доме князя Феликса Юсупова. Здесь знаменитый «старец», чья «деятельность» дорого обошлась нашей родине, был убит хозяином дома Феликсом Юсуповым, великим князем Дмитрием Павловичем и известным черносотенным депутатом Государственной думы помещиком Пуришкевичем.

Эта история подняла большой шум. О ней много писали, а ещё больше говорили. Часть этих разговоров достигла и нашего дома. Помню, что разговоры эти происходили у нас под большим секретом, а под ещё большим секретом читались ходившие в списках тексты речей, произнесённых на каком — то заседании Государственной думы какими — то депутатами. В этих разговорах особенно часто

слышались фамилии черносотенцев Пуришкевича и Маркова — второго. Но хотя в нашем доме и пытались следить за политическими событиями, когда произошла Февральская революция, никто в этих делах по существу не разбирался.

Как я прореагировал на революцию? Прежде всего, не пошёл в гимназию. Решил, что революция — значит, свобода, равенство и братство и учиться уже не обязательно. Я достал большой красный бант и пришил его на гимназическую шинель. Около Земляного вала (сейчас этого дома уже давно нет) ютилась маленькая табачная лавочка. Я купил десяток папирос — назывались они «Дядя Костя» (по имени знаменитого артиста Варламова) — и почувствовал себя совершенно раскрепощённым — шёл по улице с красным бантом на груди и курил.

Улицы в этот день были грязные, никто не убирал снег. У нас на Садовой — Черногрязской горел полицейский участок. Я любовался этим интересным зрелищем и пошёл в центр города на Воскресенскую площадь к Городской думе, в здании которой сейчас находится Музей Ленина.

На площади перед думой кто — то говорил речь. Потом где — то недалеко стали стрелять. Все куда — то шарахнулись. И я шарахнулся. Потом опять стало тихо, и несколько студентов с красными повязками и старыми берданками повели двух довольно сильно помятых городских. Все окружающие бодро выкрикивали разные слова в адрес этих растрёпанных городских. Каждый чувствовал себя немножко победителем.

В эти дни отца особенно часто навещали студенты коммерческого института, где он также преподавал. Отец всегда славился большой общительностью, студенты его любили и потому не раз бывали в нашем доме. Но сейчас, испытывая большую потребность в обмене мыслями и наблюдениями, они буквально не выходили из отцовского кабинета.

Хорошо помню одного из них. Звали его Миша. Это был настоящий сибиряк — косая сажень в плечах, энергичный, темпераментный. Забыв о моём возрасте, Миша задал мне вопрос, волновавший его в эти дни:

— Ты большевик или меньшевик?

Естественно, что больше — это лучше, чем меньше. Я посмотрел на Мишу и убеждённо ответил:

— Большевик!

Миша обрадовался:

— Молодец! И дальше будь таким.

Последние годы войны были наполнены многочисленными трудностями. Хозяйство страны таяло, как тонкая льдинка на солнышке. Разруха и голод нарастали с неимоверной скоростью. Многие думали, что революция сразу же принесёт стране иную жизнь, но не тут — то было. Минул февраль, царь отрёкся от престола, а жизнь не только оставалась очень трудной, но, напротив, день ото дня становилось всё тяжелее.

День мой начинался рано. В пять утра меня поднимали, я шёл к булочной и становился в очередь. В кулаке — тут — зажатые хлебные карточки. Разжимать кулак не рекомендовалось. В случае потери карточки не возобновлялись. Я стоял с пяти утра до открытия магазина, причём подчас безрезультатно. Когда очередь подходила, иногда объявляли: хлеб кончился. Беда заключалась в том, что на следующий день неотоваренные хлебные талоны уже были недействительны. Считалось, что раз прожил день, то и не надо.

Хлеб тех лет даже трудно назвать хлебом. Это было нечто ужасное, именовавшееся «колобашками». По форме колобашки походили на нынешние десятикопеечные ситники. Но, естественно, муки в них было меньше всего, и потому они напоминали ежей. Из них буквально торчал кое — как размолотый овёс. Перед употреблением такой хлеб нужно было, чуть ли не брить.

И всё — таки колобашки были гораздо приятнее неотоваренных талонов. На несколько часов они кое — как заклеивали кишки. Можно было считать, что свой паёк ты получаешь не зря и вроде как бы поел хлеба. О прочих продуктах оставалось только вспоминать. Их добывали разными путями.

Трудности затягивались. В стране происходили большие перемены. Наступило время Великой Октябрьской социалистической революции. Не хочу обманывать читателя, уверяя, что уже тогда понимал её значение. Я был ещё мал, в социальных изменениях разбирался слабо, и мой жизненный горизонт ограничивался главным

образом домашними хозяйственными делами, превращавшимися подчас в подлинную борьбу за существование.

Об этой поре, о решавшихся тогда грандиозных задачах написано много книг, хорошо известных читателю. Я же, рассказывая об этой эпохе (а это действительно была эпоха), ограничусь лишь тем, что попало в поле моего зрения.

Мать моя устроилась на работу, уже не помню в качестве кого, в Главпрофобр — Главное управление профессионального образования.

Это учреждение находилось на Поварской (ныне улица Воровского), в самом начале, по правой стороне. Проезд в Москве на трамвае был тогда бесплатным. Платить не нужно, но и ехать трудно. Трамваи ходили не только набитыми изнутри, но и обвешанными снаружи. Чтобы не опоздать на службу, спокойнее и удобнее было передвигаться пешком. Так моя мама и делала. Каждый день от Чистых Прудов до Поварской и обратно она ходила пешком.

Обратная дорога была особенно трудной. Мама шла с рюкзаком, в котором несла ценный груз. Где-то во дворе Главпрофобра она ежедневно получала два полена мокрой-премокрой осины. (Такое по тем временам удавалось далеко не всем, а точнее, очень немногим.) Обстоятельство немаловажное, ибо, кажется, Амундсен сказал, что человек может привыкнуть ко всему, кроме холода. Наша квартира состояла из четырёх комнат, из которых законсервировано было три, потому что не было топлива. Посередине четвёртой, в которой жила вся семья, стояла, как алтарь доброго Бога Тепла, «буржуйка». Эта весьма популярная в первые годы революции печка из листового железа была выполнена на самом высоком уровне. Изнутри её выложили кирпичом. Не в пример другим «буржуйкам», наша более или менее — хотя скорее менее, нежели более — держала тепло.

Мамина осина моими стараниями превращалась в щепки, и мы немедленно ставили их на просушку около нашей «буржуйки». Щепки подсыхали, но запах мокрого дерева из комнаты не выветривался. Попросту всё время воняло псиной — эти запахи очень похожи. И, тем не менее, мы были благодарны и Главпрофобру, и маминой предприимчивости. Каждый вечер мы имели пусть маленькую, но всё же возможность согреться.

Жизнь — хитрая штука. Она складывает свои сюжеты почище самого изобретательного романиста. Расщепляя мокрые осиновые



поленья, слушая мамины рассказы о её новой службе, и я не подозревал, как близко находился от человека, которому довелось впоследствии сыграть в моей жизни огромную роль.

Существует документ, подписанный 20 февраля 1920 года Владимиром Ильичём Лениным. Напечатанный на бланке Совета Народных Комиссаров, с традиционным обозначением места: «Москва, Кремль», этот документ свидетельствует, что «предъявителей сего товарищ Отто Юльевич Шмидт Советом Народных Комиссаров утверждён в заседании 19 февраля с./г. заместителем Председателя Главного комитета профессионально — технического образования со включением по должности в состав коллегии Народного к[омиссариата] просвещения». Отто Юльевичу Шмидту было тогда двадцать девять лет.

В 1913 году Шмидт окончил Киевский университет по физико — математическому факультету. Его учителем был известный учёный — профессор Граве, впоследствии почётный академик. Профессор высоко оценил способности ученика и оставил его в университете. Однако очень скоро молодой человек переезжает в Петербург. В 1918 году он становится большевиком.

Разумеется, в те времена я не только не был знаком со Шмидтом, но, стыдно сознаться, даже не знал, что он является высшим маминым начальником. Однако я не могу не сказать здесь хотя бы несколько слов о нём, о его деятельности в те годы, так как этому человеку, повторяю, суждено было оказать исключительное влияние на мою жизнь. Я без преувеличения должен назвать Отто Юльевича своим духовным отцом.

Шмидт был незаурядной личностью, и естественно, что, вступив в партию большевиков, он привлёк к себе внимание Ленина, называвшего его «задиристым Отто Юльевичем» и посылавшего молодого коммуниста на трудные и ответственные участки: в Наркомпрод, Наркомфин, Наркомпресс. Будучи в Наркомпроде начальником управления по продуктообмену, Шмидт провёл воистину титаническую работу. Он руководил также налоговой работой в Наркомфине и был одним из тех, кто готовил в 1921 году обмен денег. В Главпрофобре и Наркомпросе разрабатывал обширную программу подготовки квалифицированных специалистов, в которых так нуждалась страна.

Широкая эрудиция Шмидта, круг его интересов поражают. Я и по сей день удивляюсь, как могли в одной личности ужиться такие многочисленные и в то же время разнообразные интересы. Впоследствии мне много приходилось работать вместе со Шмидтом, многому у него научиться. Читатель не раз встретится с этим замечательным человеком на страницах моих записок. Но всё вышесказанное только как предисловие к встрече со Шмидтом, о которой речь впереди.

Несмотря на трудности времени, я всё продолжал образование. Правда, происходило это несколько своеобразно. Считалось, что образование я получал, но знаний прибавлялось немного. Два года я ходил в единую трудовую школу. Она располагалась совсем близко от дома, в Мало — Харитоньевском переулке, в здании бывшего епархиального училища. В старое время там учились поповские дочери. После революции они разбежались, а поскольку природа не терпит пустоты, в этом здании была организована единая трудовая школа.

Я был крепким, рослым пареньком, и мне доверили весьма важное дело — доставку супа. Каждый день к 12 часам я должен был привезти в огромных бидонах суп. Нельзя сказать, что он представлял собой высокое произведение кулинарного искусства. Те, кто читал роман В.Каверина «Два капитана», вероятно, помнят повара, произносившего при пробе одно из двух слов: «отрава» (это означало, что есть можно) и «могила» (значит, суп надо вылить). Хотя по терминологии каверинского повара наш суп был явной отравой, носил он несколько иное название. Суп именовался «карие глазки» и представлял собой мутную воду со скромным числом крупинок пшена. В подтверждение поговорки о том, что в мутной воде хорошо ловить рыбку, счастливицы нет — нет да выуживали из супа голову воблы. В честь этих рыбьих голов, редких, как золотые самородки, и получил наш суп своё поэтическое название.

Ни о какой учёбе, конечно, не было речи. Не было ни экзаменов, ни бумаги, ни карандашей. Но «карие глазки» влекли нас, как магнит, и два года мы аккуратно посещали школу.

Голодные и трудные годы, когда большая часть времени и энергии уходила на поиски пропитания, запомнились мне на всю жизнь. Наше бытие во многом определялось датами выдачи пайков и тем, что в эти пайки включалось. Помню, как однажды в Главпрофобр привезли

огромную бочку, наполненную тёртой свеклой, и стали раздавать эту свеклу сотрудникам. Больше мерзости я в своей жизни никогда не ел. Но даже из этого натёртого месива мы что — то пытались делать. И шпарили, и жарили, и варили, хотя от наших стараний свекла не стала более съедобной.

Однажды мать послала меня на Мясницкую, где в одном подвале давали полмешка картошки. Её давали потому, что уже наступил март, картошка оттаяла и наполовину сгнила. Домой я пришёл насквозь промокший. Даже после того, как я привёл в порядок верхнюю одежду, пятно на память так и осталось на моём пальто.

Всей семьёй тёрли картошку, отмучивали её в воде, добывая чистую хорошую картофельную муку...

Чтобы рассказать о следующем периоде моей деятельности, придётся сначала сделать небольшое отступление.

Ещё до революции, занимаясь в гимназии, я состоял в отряде бойскаутов. Как известно, бойскауты — буржуазная детская организация, но руководитель нашего отряда, бухгалтер Бессонов, был славным человеком. Он искренне хотел как — то по — хорошему занять мальчишек. Отряд состоял из нескольких патрулей. Каждый патруль назывался именем какого — нибудь зверя или птицы. Всем, кто входил в него, полагалось уметь подражать крику этого зверя. Патрули давали ребятам какую — либо полезную специальность — фотографа, сигнальщика, телеграфиста, художника и т. д. Закончив обучение, нужно было выдержать соответствующие экзамены. Только после этого скаут получал право носить на левом рукаве нашивку, подтверждавшую, что он специалист в такой — то области. Программа скаутов предусматривала и разные физические занятия. Одним словом, всё было организовано очень хорошо.

Так обстояло дело до революции. Казалось бы, после революции про отряд бойскаутов можно было бы только вспоминать. Однако благодаря энергии нашего командира отряд не только продолжал существовать, но и делал полезное для народа дело.

Командир наш выглядел бравым парнем. Он поражал своей изумительной собранностью и подтянутостью. Всегда идеально выбрит (он был на три года старше меня), всегда в начищенных ботинках, в гимнастёрке без единой складочки — одним словом, непререкаемый авторитет для любого бойскаута.

Недавно, производя раскопки в культурном слое собственной квартиры, образуящемся, как учит археология, около любого человеческого жилища, я обнаружил маленькую и очень постаревшую фотографию. На ней изображено трое — два рядовых бойскаута (один из них я) и наш командир. И если мы, рядовые, в каких — то застиранных гимнастёрках, то командир — во френче, в белой рубашке и аккуратно завязанном галстуке. Собранность, присущая ему всю жизнь, так и сквозит с этой плохонькой любительской фотокарточки.

Дисциплину он держал великолепно, никогда не прибегая к приказам и окрикам. Всё делалось спокойно, но внушительно, хотя, в общем, он держался с нами, сопляками, весьма демократично.

Впоследствии жизнь не раз сталкивала меня с этим человеком — Владимиром Адольфовичем Шнейдеровым. Он плавал на «Сибирякове», где я был радистом. Сегодня он народный артист РСФСР, известный кинорежиссёр, президент клуба кинопутешественников — одной из лучших передач советского телевидения. По старой памяти приглашает участвовать в некоторых передачах этого клуба и меня.

Так вот, именно Володя Шнейдеров с его блестящими организационными способностями устроил так, нашему отряду в Московском военном округе доверили всю внутригородскую связь.

В общем — то, мы были самыми обыкновенными курьерами, каких немало можно встретить в разных учреждениях и сегодня. И сегодня многие школьники старших классов, студенты вечерних техникумов и институтов совмещают учёбу с курьерскими обязанностями. Однако наша банальная по существу служба была обставлена невероятно романтично. Мы получили маленькие французские самокаты «пежо», которые при необходимости можно было сложить и нести за спиной в ранце. Выдали нам и оружие — японские карабины. Правда, патроны были спрятаны от нас за семью замками и карабины мы получили незаряженными, но всё выглядело очень эффектно — развозили мы почту на французских самокатах с японскими карабинами за плечами. Мы страшно гордились и тем и другим (ведь то, что карабины не заряжены, никто, кроме нас, не знал) и считали себя маленьким военным подразделением. Тем более что ходили мы в военной форме.

Правда, в этом военном великолепии были и свои неудобства. К солдатским ботинкам, которые мы носили, полагались обмотки, не раз служившие источником мелких неприятностей. Трёхметровые чёрные змеи обмоток отличались одним довольно — таки постоянным неудобством — они разматывались в самых неподходящих местах. Особенно это было неудобно, когда обмотки разматывались на самокате. Они немедленно попадали под велосипедную цепь, и нужно было, как — то элегантно соскочить, чтобы не грохнуться тут же на улице, под копыта какого — нибудь ломовика.

Летом наш отряд разбивал свой лагерь в Сокольниках. Здесь мы проводили военные игры. Нам выдавали холостые патроны, и в ночной тишине мы время от времени пугали окрестных дачников бешеной пальбой. Стреляли мы холостыми, но дачники всё равно побаивались наших военных упражнений. Кончилось всё тем, что после многочисленных жалоб наши военные игры были запрещены.

Из скаутского отряда я скоро выбыл по причине неожиданного и, естественно, не очень приятного знакомства с Уголовным кодексом. Дело было так. Не помню у кого, я то ли купил, то ли выменял настоящий наган, который для меня, как для любого мальчишки, представлялся пределом человеческих мечтаний. Однако долго у меня этот наган не задержался. В результате, какого — то сложного обмена он попал в руки если не настоящего, то, безусловно, начинающего бандита. Подозрительный молодой человек был другом моего приятеля по бойскаутскому отряду.

У этих двух бойких молодых людей возникла бесхитростная, как теперь говорят, «задумка» — они решили ограбить склад писчебумажных принадлежностей. Нацепив, фальшивые усы, покупатель моего нагана засунул его в один карман, связку отмычек и карманный фонарь — в другой, за пояс заткнул пистолет «монте кристо». В таком полуковбойском — полугангстерском обличье он направился к складу, где был быстренько задержан.

Следствие проводилось весьма решительно. Особенно интересовало следователей оружие. И разумеется, не столь трещотка «монте кристо», сколь боевой револьвер.

— Где купил наган?

Незадачливый налётчик показал на своего приятеля, а тот без задержек переадресовал следователей в мою квартиру. По этой

коротенькой цепочке до меня добрались очень быстро.

В тот же вечер, к ужасу моих родителей, к нам пожаловали с обыском. Другого оружия агент уголовного розыска и дворник не нашли, но зато им удалось обнаружить кучу стеклянных гильз и несколько целёхоньких боевых патронов. Но всё это было бы полбеды, если бы не усы. Эти рыжие усы уже давно валялись в нашем доме, купленные моим отцом для забавы. Обычная карнавальная игрушка — усы на проволочке. Стоило воткнуть эту проволочку в ноздри — и ты сразу же становишься усачом. Беда заключалась в том, что в таких же усах незадачливый бандит пошёл на свою «операцию». Вот почему, обнаоужив усы в нашей квартире, следствие сразу же увидело в этом факте весьма многозначительную связь. Забрали усы, патроны, а вместе с ними заодно забрали и меня.

Повели меня в милицию. Пospал я на каком-то дощатом топчане, а на следующее утро в сопровождении милиционера меня отвели на Рождественский бульвар, в дом 15. Это красивый старинный дом. Всякий раз, когда я теперь проезжаю мимо него на трамвае, я вспоминаю эту историю. Вторую ночь я провёл уже здесь, а затем попал в Дом предварительного заключения уголовного розыска, находившийся тогда сразу за Центральным рынком, на Цветном бульваре.

В новой камере было обширное общество — человек пятьдесят — шестьдесят. Самая разнообразная публика. И мужчины и женщины. Если нужно было пойти в уборную, то полагалось стать к дверям и дожидаться, пока наберётся ещё пять — шесть страдальцев. Только тогда нас под охраной вели в туалет. Ну, точь — в — точь, как водили Швейка, когда жандармский вахмистр принял его за русского шпиона.

Обстановка в камере была спартанская. Спали на полу. Никаких подушек не полагалось. Тюремная камера не дворец. Подушки выглядели бы в ней явным излишеством. В этой же камере я научился делать стаканы из бутылок. Делался такой стакан обычно втроём. Двое, взяв обыкновенную верёвку, как бы пилили этой верёвкой бутылку. В полном соответствии с законами физики то место бутылки, по которому тёрла верёвка, нагревалось, а на горячее стекло третий капал холодной водой. Бутылка тотчас же распадалась на две части.

Потом меня перевели в другую камеру, где было уже человек пять — шесть. Там меня разыскали родственники. И, о радость, мне

принесли в камеру передачу. Увы, радость длилась даже не минуты, а лишь секунды. Кто — то наподдал по моей посылке. Она разлетелась во все стороны. На мою долю осталась лишь картонная коробка, в которую эта посылка была упакована.

А тем временем не торопясь, обстоятельно следствие продвигалось вперёд положенной ему дорогой. Первый вопрос, который мне задал следователь:

— Сколько было приводов?

Я знал, что приводы есть в динамо — машине, к станкам, но про уголовные приводы услышал впервые, немедленно задав глупый вопрос:

— А что это такое?

Мне посоветовали не прикидываться. Мол, ничего тебе не поможет. Следователь долго расспрашивал меня: откуда, как и почему. Я всё рассказал по — честному, и он, памятуя о том, что мне ещё не было шестнадцати лет, передал мою персону в комиссию по делам несовершеннолетних преступников.

Очень благообразный старый человек, совершенно белый, в длиннополом сюртуке, долго стыдил меня. По тому, как профессионально он это делал, я пришёл к заключению, что старик из бывших преподавателей. Затем он вызвал моего отца. Эти два работника воспитания быстро нашли общий язык, и я был выпущен на поруки, просидев около трёх недель, но без судимости, что впоследствии облегчало заполнение разного рода анкет.

Для всякого другого такая порция холодного душа была бы, наверное, более чем достаточной. Но мной владела неизъяснимая тяга к оружию. Тяга эта была столь сильна, что я чуть — чуть не совершил другой, прямо скажем, куда более опасной глупости.

На Тверской улице (ныне улица Горького) напротив Алексеевской глазной больницы, на углу переулка, который теперь перекрыт пропилеями гостиницы «Минск», стоял одноэтажный дом. У входа огромная чёрная вывеска с яркими белыми буквами: «Клуб анархистов — интернационалистов».

Личности, обвешанные самыми разными бомбами и револьверами, и демонстрации под чёрным флагом с надписью «Анархия — мать порядка», с черепом и скрещёнными костями будоражили моё воображение. К тому же я был глубоко убеждён, что,

запишись я в этот клуб, никто не посмотрит, что мне нет шестнадцати лет и хоть плохонький револьвер, но получу.

К счастью, этого не случилось. Вспоминая эту историю, я часто думаю, что, наверное, есть всё же бог пьяных и дураков. Он явился ко мне в строгом образе моего отца. Высмеян я был столь жестоко, что порядок на всю жизнь победил анархию, и нездоровый интерес к оружию был начисто утрачен.

Порцию нравоучений я схлопотал солидную. И, произнося очень правильные слова, родители не раз напирали на моё церковное совершеннолетие, на то, что я уже взрослый человек. Да, действительно, в том же 1918 году я прошёл обряд конфирмации и с точки зрения лютеранской религии стал совершеннолетним, хотя, честно говоря, не очень — то знал и знаю, какие догмы защищал генерал этой церкви Мартин Лютер.

Латинское слово «конфирмация» означает утверждение молодого человека как христианина. Для того чтобы пройти этот обряд, надо ходить в церковь и изучать катехизис, где сформулированы основные десять заповедей христианства. Ходил на эти краткосрочные курсы по изучению катехизиса и я.

Мать моя ужасно сокрушалась — на конфирмацию полагалось пойти во всём новом. Ну, где уж тут новое! И всё же мама постаралась и одну новую вещь нашла. Где — то в семейных закромах удалось обнаружить пару совершенно новых, ни разу не надеванных носков.

В ободранном костюме, стоптанных ботинках, но в новых носках я пошёл в Старосадский переулок, в церковь святого Петра и Павла, представляться господу богу. В дальнейшем, как большинство московских церквей, она превратилась в гражданское учреждение. Сначала в её здании размещалось кино «Арктика», затем мастерская безочкового стереоскопического кино изобретателя Иванова. Сейчас там фабрика «Диафильм».

Всё было, как полагается. Играл орган. Вместе с группой конфирмантов я шёл по центральному проходу к невысокому барьеру, перед которым, став на колени, мы должны были вкушать жидкого кагора, символизировавшего кровь Христову, и закусить маленькой облаткой, похожей на аспириновую, — символ тела Христова.

Девушки были в белых платьях. Молодые люди в чёрных костюмах, а я в новых носках. Это было очень элегантно.



Так я стал христианином. И замечу, что это высокое звание меня до сих пор не очень обременяет.

\* \* \*

Вскоре после того, как меня выпустили из уголовного розыска и отдали отцу на поруки, со своей остротой встала проблема работы. Надо было куда — то пристраиваться. Этим делом занялся мой зять, вернее будущий зять, так как тогда он был ещё только женихом моей сестры. Эрнст Тиммс был симпатичный парень. Латыш по национальности, он служил в латышских частях, так много сделавших для революции. Был демобилизован в связи с открытой формой туберкулёза.

Каким — то образом мой зятёк узнал, что требуются сопровождающие для поездов, которые расходились по разным городам нашей страны с посылками пресловутой американской ассоциации помощи голодающим — «АРА».

Мой зятёк привёл меня на Большую Никитскую в дом, где сейчас находится турецкое посольство. Оба мы были в явно ободранном состоянии и, вероятно, не вызывали своим видом большого доверия. С нами беседовал какой — то американец, словно сошедший с картинки. В спортивном костюме, брюки гольф. Выбритый, чистый, надушенный. А мы, обветавшие, выглядели рядом с ним людьми другого мира. Контакта не получилось. В сопровождающие продовольственных поездов нас не взяли, и мы пошли в мешочники.

Надо заметить, что в те годы мешочники были, чуть ли не сословием. Не могу сказать, что они составляли лучшую часть человечества, но обстоятельства сложились так, что к этой части примкнули и мы с мужем моей страны. С ним — то я и отправился в вояж по хлебным местам России.

Дома собрали всё, что только можно было обменять. Какие — то початые катушки ниток. Какой — то огрызок мыла. Какие — то старые пиджаки. Более или менее нерастрёпанные полотенца. В общем, вполне нищенский скарб, с которым мы и поехали.

Существовали тогда поезда, называвшиеся почему — то «Максим». Огромный состав товарных вагонов. Внутри вагона —

никаких досок, никаких лавок, ничего. Набивалась туда самая разношёрстная публика. Поезд шёл без расписания. И куда он полз, тоже не было точно известно. Так, более или менее соображали, в каком направлении, и всё. Мы с мужем моей сестры тоже понимали, что движемся куда — то на восток.

Когда наш «Максим» отъехал от Москвы, на станциях стали появляться продукты, о которых мы забыли не только каковы они на вкус, но и как выглядят. Это было сырое молоко, топлёное молоко и огурцы. Я напился вдоволь молока, нажрался огурцов. Последствия оказались самыми неприятными.

С большим трудом я дожидался остановки поезда. Едва раздавался скрип тормозов и знакомый толчок, первой заботой было выскочить из вагона и стремительно забраться под этот же вагон.

Однажды поезд остановился перед светофором на высокой песчаной насыпи. Я нырнул под вагон. Но паровоз тут же свистнул, и состав тронулся. Перепуганный, я едва выскочил из — под колёс. Ноги скользили, уходили вместе с песком. Сердобольные люди протягивали руки, но ухватиться за них было трудно: во — первых, достаточно высоко, во — вторых, я мог протянуть только одну руку, так как другой поддерживал уже расстёгнутые штаны. Но с одной рукой ничего не выходило, а поезд начал набирать ход. Тогда, плюнув на стыд, я протянул обе руки. Штаны мгновенно свалились, но меня втащили в вагон, где я довольно долго был мишенью для острот, не доставлявших почему — то мне особого удовольствия.

На остановках наш поезд стоял обычно далеко от станции, на подъездных путях, и ожидал возможности проскочить дальше. Ехали в нём какие — то бабушки, торопившиеся неизвестно куда и неизвестно зачем. Но в основном они тоже были мешочницы.

И старые и молодые, просыпаясь ночью, спрашивали:

— Чего стоим?

— Паровоз меняют!

— А на что меняют?

«На что меняют» было тогда главным вопросом.

Так мы доехали до Симбирска, перевалили Волгу. Куда — то в сторону Бугульмы мы добрались уже в пустом товарном составе, пересев на него в Симбирске. И не то чтобы, подчиняясь интуиции, а

просто так — остановились, вылезли и пошли. Протопав километров восемь или десять, попали в татарскую деревню.

Кое — как, объяснившись, стали разбираться, чья же это территория, кто тут командует? Нам объяснили, что деревня на ничьей земле и пока тут никто не командует.

— В эту сторону, — махнули на восток рукой, — белые, а в противоположную как будто бы красные.

Мы зашли в дом. Половину комнаты занимали полати. На них лежали одеяла. Полати были одновременно и столом и постелью. Еда происходила тут же, для этого только надо было сесть по-турецки, подвернуть ноги калачиком. Попали мы к хорошим людям. На полатах появился эмалированный таз с дымящейся отварной кониной. Можно себе представить, как мы наелись! Тут же залегли спать.

Наутро, наменяв, кажется, два пуда муки, подсолнухов, четверть мешка гороха, мы пошли обратно. Проникнув в какой — то товарный состав, добрались до Симбирска, а оттуда уже и до Москвы.

Я был рад, что вернулся домой. Мешочничать мне не понравилось, но проблема поисков хлеба была отнюдь не снята с повестки дня. Нужно было думать о заработке. Отец начал болеть и не работал. Основным кормильцем семьи стал я.

Я поступил помощником электромонтёра в инженерное управление. Это инженерное управление ведало всеми казармами. Моим объектом стала казарма войск внутренней охраны на Покровке (теперь этого дома на улице Чернышевского уже нет). Я занимался там поддержанием электропроводки в нужном порядке и считался вольнонаёмным красноармейцем. Как таковому, мне был положен красноармейский паёк.

Я приносил домой полкотелка разваренной пшеницы. В маленьком фунтике — две или три чайных ложки сахарного песка. Иногда давали даже мороженую конину. Тогда дома наступал настоящий праздник.

Отец мой был очень общительным. Даже в самые трудные годы его неизменно навещали друзья. Шагая в ногу со временем, гости приходили со своим харчем. Один принесёт несколько лепёшек сахараина. Другой — какие — то изумительные оладьи из картофельной шелухи, и все начинают спрашивать рецепт

приготовления. Один раз у нас был даже винегрет. Где — то достали кормовую свеклу. Свекла с кониной была лакомством.

Вскоре я переменял работу, что немало способствовало расширению моего технического диапазона. Один из знакомых моего отца имел на углу Солянки маллюсенькую ремонтную мастерскую. Там чинили мясорубки, примусы, кастрюльки, детские коляски. Так я стал подручным механика и ещё ближе приобщился к технике.

Техника, с которой я имел дело, отвечала потребности эпохи. Это были железные печурки всевозможных фасонов и стилей. Наша мастерская, маленькая, полутёмная, заполненная запахом бензина и керосина, равно как и шумом паяльной лампы, выглядела, если хотите, своеобразным символом времени. На Уралмашзавод она вроде бы не была похожа ни с какой стороны. Но, несмотря на это, не воздать ей дани уважения, не найти место на какой — либо полочке истории, просто невозможно.

После разрухи первой мировой войны страна напоминала человека, одетого в лохмотья. Всё обветшало и изнашивалось. Заводы и фабрики работали сначала на войну с Германией, затем на оборону молодой республики. Никто не занимался техникой быта, не до этого тогда было. Но ведь сотни тысяч, даже миллионы людей ежедневно хотели одеваться, обучаться, варить завтрак, обед и ужин. Вот почему не чинить, не паять кастрюли было просто невозможно. Вот почему в те годы мастерских, подобных нашей, было очень много. Они ютились, как поганки, в самых неожиданных местах — в пустующих магазинах, подъездах, подворотнях...

Мой хозяин, хороший, славный человек, был жертвой тогдашнего всеобщего интереса к печкам. Для него, как, впрочем, и для многих, любимой темой разговоров было обсуждение той или иной буржуечно — отопительной системы. Охотничьи рассказы о том, как мало топлива берёт та или иная «буржуйка», доставляли ему неизменное наслаждение. Для этого человека печка — «буржуйка» заслонила всё на свете. И он спел свою лебединую песню, создав настоящий шедевр. Каркас его «буржуйки», сделанный из железа, был начинён кирпичами. Печка имела настоящую духовку, водогрейную коробку и была даже облицована кафельными плитами. Паломничество друзей и знакомых к этому домашнему комбайну, элегантному, как английский лорд, наполняло сердце моего хозяина неизъяснимой радостью.

В глазах моих родителей человек, создавший столь совершенную печь, выглядел, по меньшей мере, Джемсом Уаттом или Фултоном. Они не сомневались, что главные двери в обширный мир техники лежат для меня, конечно, через мастерскую их приятеля, которая почиталась в нашем доме как храм современной техники.

Наша мастерская ютилась в крошечном помещении. Раньше в нём была лавочка. Входная дверь, витрина, прилавки внутри мастерской и полки по стенам были покрыты обильным слоем копоти от примусов и керосинок, проходивших через наши руки. Дом, в котором мы помещались, от старости врос в землю. Но по тем временам наша мастерская была гигантской — ведь, кроме хозяина, имелась ещё одна пара рабочих рук, принадлежавших мне.

Я был одновременно рабочим, миллионером и испольтчиком, как называли крестьян, обрабатывавших участок за половину урожая. Рабочим потому, что делал работу. Миллионером, так как расплата шла на миллионы. Испольтчиком, ибо половину этих миллионов отдавал хозяину.

Миллионов было тогда много, и ходили они на уровне современных пятаков. Прожжёшь головку примуса — заказчик выкладывает шесть миллионов. Половину из них, как положено, отдаёшь хозяину. Три миллиона заработал. Об этих миллионах в нашей литературе написано немало. Но, чтобы заземлить представление об их возможностях, расскажу, как котиrowались они на Сухаревке, которая, без преувеличения, была тогда главным московским универмагом.

Носил я свои миллионы исключительно в продовольственный отдел этого универмага, а распорядиться ими можно было в разных вариантах, но на одном и том же уровне. За миллион можно было купить шесть картофельных лепёшек, поджаренных на каком —нибудь машинном масле. Выглядели они в высшей степени аппетитно, — подрумяненные, завлекательные. Пахли ароматно. На вкус, правда, похуже, но есть всё же было можно. Миллион платили за полдесятка ирисок, которые почему —то назывались кромскими. Есть такой город Кромь, наверное, оттуда их и доставляли на Сухаревку.

В общем, покупательная стоимость миллиона была довольно ограничена. И когда мне уж очень хотелось полакомиться, то действовал я весьма осмотрительно, так как позволить себе мог очень

немного. А соблазнов было предостаточно. Торговала Сухаревка, подманивая покупателя, всем, чем могла. Торговка жидкой пшённой кашей держала её в ведре, под которым стоял примус. Она соблазняла ароматом. Продавец, какого — то подозрительного коричневого напитка больше надеялся на завлекательные слова. Он кричал:

— А вот горячая какава на натуральном сахарине!

Нетрудно догадаться, что миллионы расходились быстрее, чем приходили. Отсюда наша непритязательность в выборе заказчиков. Мы точили ножи мясорубок. Вставляли днища в проржавевшие керосинки «Грец». Латали кастрюли. Подбирали ключи. Лихо превращали хорошие замки в плохие, так как подходящих болванок для ключей не было. Точили и правили бритвы, в связи, с чем руки мои до локтей были прекрасно выбриты. Ведь прежде чем вернуть бритву клиенту, её надо было, как следует испробовать.

Нам не приносили в ремонт паровозов, но я не сомневался, что если бы и нашёлся клиент с такой машинкой, мой хозяин не отказался бы. Паровоз так паровоз. Конечно, для его ремонта необходимо депо, но что делать, когда жизнь подсказывает иное.

Гул моторов не заполнял нашу мастерскую. Приводные ремни, маслянно поблёскивая, не шуршали в её стенах. Всё это объясняется лишь тем, что ни моторов, ни ремней у нас не было. Техническим потолком был точильный камень с ножным приводом от сломанной зингеровской швейной машинки.

Клиенты наши жили рядом. Это были главным образом женщины из соседних домов, смотревшие на нас как на волшебников, когда мы врачевали ту рухлядь, которую они нам притаскивали. Кое — что из этой рухляди я помню даже теперь, спустя почти полвека. Не забуду одну чадолюбивую мамашу, появлявшуюся каждые три дня с детской коляской, плававшей, вероятно, ещё в Ноевом ковчеге. Заказ всегда был неизменным: сделать новые спицы и новую нарезку колёсных втулок. Металл был плохой. Резьба не держалась. Заказу этому, казалось, не было конца, как и многословным жалобам на низкое качество ремонта, на которые хозяйка коляски, прямо скажем, не скупилась.

И всё же формула «клиент всегда прав» торжествовала в нашем заведении, как в лучших предприятиях Европы и Америки. Хозяин был общительным человеком, обладавшим к тому же завидным

терпением. Он внимательно выслушивал клиентов, которые, не щадя времени и красок, многословно повествовали о потрясающих подробностях и обстоятельствах, при которых затерялся ключ от дверей или прохудилась кастрюля.

Радостно и приветливо встречал он и нашу вторую постоянную клиентку. Старушка всегда приходила с одной и той же кастрюлей, в которой варила кашу. Никакие уговоры, никакие самые популярные объяснения того, что в запаянной кастрюле можно кипятить воду, варить суп, но ни при каких обстоятельствах нельзя варить кашу, не помогали. Старушка посещала нас аккуратно через два дня на третий.

Каждый маленький хозяин всегда мечтает о фантастически большом заказе. И вот мы однажды этот заказ получили. Нам предложили сделать проводку в церкви на Воронцовом поле.

Нарушая все божеские законы, мы по воскресеньям, с кувалдами и металлическими клиньями в руках, пробивали полутораметровые старинные стены, изрыгая потоки хулы по поводу хорошего качества строительных работ, выполненных несколько сот лет назад. Церковь была большая и нетопленная. Но, штурмуя её почти крепостные стены, мы согревались довольно быстро.

Однажды, поставив огромной высоты раздвижную лестницу, я под потолком занимался проводкой, протягивая шнур к большой центральной люстре. Я отлично понимал, что падать с такой высоты не рекомендуется. Однако лестница внезапно поехала, а затем и грохнулась. Послышался мелодичный звон посыпавшихся хрустальных подвесок. Выбирая между хрусталём и жизнью, я предпочёл последнюю и водрузился на люстре.

И мной были в горячке сказаны не те слова, которые бывают, угодны богу. И заказчики наши остались от этого не в восторге. Только святые угодники, написанные на стенах, молча внимали неуместным в храме мирским разговорам.

Так продолжалось изо дня в день. Менялись кастрюли, бритвы, керосинки, я глубокого вторжения в мир техники, на которое рассчитывали мои родители, явно не последовало. Каждый день я топал по Покровскому бульвару, украшенному зелёным металлическим писсуаром, который помнят московские старожилы. (Несколько лет назад мы увидели такое же сооружение в кинофильме

«Скандал в Клошмерле».) Затем мой путь шёл по Подколокольному переулку, мимо Хитрова рынка.

Знаменитая московская клоака доживала свои последние годы. И всё же не в диковинку были типы самого мрачного свойства, провожавшие тебя недобрым взглядом. Но вскоре эта дорога для меня кончилась. Тропа, вымощенная прогоревшими примусами, горелками и детскими колясками, показалась мне чересчур тернистой, и, отчаявшись пробиться к успеху, я повернул свой жизненный путь совсем в другую сторону.



## Его величество случай

*Рассказы морского волка. Даёшь Тасманию и Рио-де-Жанейро! Васильевский остров — это не остров Пасхи. Грузовоз «Профсоюз» и его машинист. Что сказал начальник отдела кадров. Я иду в Адмиралтейство. Встреча с Матусевичем. Красавец в жарком бушлате. Архангельск — ворота в Арктику. Как чайки Соловецкий монастырь спасли. Маточкин Шар. Мои товарищи по первой зимовке. Талант нашего Пауля. Зауряд-врач Федосеев. В магнитном павильоне. Костя Зенков. Наша великая стройка. Белое безмолвие. Снова Москва.*

В жизни я повидал много разной разности. Приходилось попадать в весьма неприятные положения. Всё это научило меня совмещать, казалось бы, несовместимые вещи: веру в случай с умением энергично отстаивать и защищать свои жизненные взгляды. Я бы сказал, что случайность и необходимость как — то складно сосуществовали и сосуществуют в моей жизни.

Одно из моих жизненных убеждений, с которого хочется начать рассказ о проникновении в Арктику, состоит в том, что где — то наверху, куда космонавты ещё не залетают, работает в поте лица небесная канцелярия. Как во всяком приличном учреждении, есть, наверное, в небесной канцелярии управление кадрами, в котором ведётся знаменитая книга живота и смерти.

Не знаю, что начертано в такой книге по поводу Кренкеля, но если там записано, что мой удел отравиться кильками, то ни чтение журнала «Здоровье», ни систематическое заглатывание витаминов А, В и С уже не поможет, хотя это вовсе не означает, что не надо принимать витамины или звать врача, когда тебе становится худо.

Нечто похожее произошло и с Арктикой. Не хочу врать, что с пятилетнего возраста готов был всцело отдаться решению проблем Арктики, что с утра до ночи грезил айсбергами, моржами и белыми медведями. Я уже писал, что увлекался географией и даже получал за это в гимназии пятёрки, но арктические истории поражали моё воображение ничуть не больше тропических. Ливингстон или Стенли в моих глазах выглядели не хуже Нансена или Норденшельда. Одним

словом, Арктика не имела в моём сознании ни малейшего преимущества до той поры, про которую я хочу рассказать.

В 1924 году произошёл большой поворот в моей жизни. Потянуло побродить. Страстно захотелось на море. Произошло это, вероятно, потому, что по натуре своей — я человек практики и действия. Люблю живое дело. Если оно меня увлекает — работаю не щадя сил. В канцелярии я бы умер со скуки и был бы похоронен без речей и духового оркестра.

Эти черты моего характера — закономерность. Но была в моём первом северном походе и большая случайность...

Всю жизнь я верю в симпатии и антипатии, в любовь с первого взгляда, во флюиды, возникающие у людей при знакомстве и определяющие их отношения. Всю жизнь моё неизменное правило — думать о людях хорошо. Когда я знакомлюсь с человеком, всегда исхожу из того, что он хороший человек. Несколько раз случалось и так, что личность, показавшаяся поначалу чрезвычайно симпатичной, потом иных слов, как «сукин сын», не заслуживала. Убедиться в этом всегда бывало в высшей степени досадно. Я обычно ругал себя дураком и простофилей, но своего отношения к людям так и не изменил.

Так вот, случай, о котором я упомянул выше, явился ко мне в образе симпатичнейшего молодого человека...

Так уж нескладно получилось: запомнил его облик, дом, в котором он жил рядом со мной, но начисто забыл имя и фамилию. Он был лет на пять старше меня. Очень подтянутый, спортивный, обращавший на себя всеобщее внимание тем, что ходил в шляпе. Шляп тогда не носили — они считались отрыжкой старого мира. Головной убор моего знакомого был едва ли не единственным во всей Москве.

Мы познакомились. Он был студентом какого — то высшего учебного заведения. Я работал радистом на Люберецкой радиостанции и учился в радиотехникуме на той же Гороховской улице, где размещались радиокурсы, которые я незадолго до этого окончил.

Ах, какой это был герой! Вот бы мне быть таким! Ну, куда уж! В отличие от меня он был прилично одет, и всё сидело на нём с каким — то особым шиком. Ни в какое сравнение не могла идти моя

разномастная, предельно потрёпанная одежда. Но не это было главным.

Новый знакомый покори́л меня грандиозным житейским опытом, который сумел приобрести за свои двадцать пять лет. Как он рассказывал о смерчах, пожарах в пампасах, борьбе со льдом и героике моряков! Будучи два месяца практикантом — машинистом на портовом буксире, он избороздил весь Финский залив вдоль и поперёк.

Моему знакомому потрясающе повезло: за два месяца ему лично пришлось пережить всё то, что случалось с людьми на море, начиная со времён Одиссея. Ужасно жаль, что я забыл имя этой выдающейся личности, потерял его для грядущих поколений. Благоговейно внимая его повествованиям, я мог только безумно завидовать и думать, что это неповторимая судьба и таких людей не было и больше не будет.

Рассказы морского волка сделали своё дело: вперёд, хочу быть судовым радистом! Даёшь острова Кука, Тасманию и Рио — де — Жанейро! Очертя голову я устремился в открытое море. С трепетом взял у своего знакомого записку. На обрывке бумаги карандашом было нацарапано: «Петя! Помоги этому парню. Он в доску свой...»

Это была моя путёвка в жизнь.

Петя оказался машинистом грузового судёнышка «Профсоюз» и какими — то неизвестными путями должен был помочь мне выйти на просторы мирового океана. В словах «в доску свой», по — видимому, и заключалась полная гарантия успеха.

Москва тогда ещё не была портом пяти морей, а корабли, как известно, отходят от пристани. На собственный кошт я отправился в Ленинград. Через некоторое время с куском мыла и полотенцем в кармане, с мечтой уплыть в далёкие страны, переполнявшей юную мятущуюся душу, стоял я на берегах Невы.

На моё счастье, «Профсоюз» стоял в Ленинграде, пришвартовавшись к Масляному Буяну, на Васильевском острове, недалеко от горного института. Впервые в жизни я вступил на борт корабля. Боже! Как восхитительно пахнет смоляными канатами, машинным маслом и каким — то неважнецким супом!

Петя деловито осведомился, где я собираюсь ночевать. Узнав, что в «Европейской» и «Астории» для меня номеров не забронировано, он предложил спать на его койке, так как сам ночевал дома, на берегу.

— Я скажу коку, чтобы он давал тебе миску супа, но на второе не рассчитывай.

Началась роскошная жизнь. Спал в кубрике, в носовой части корабля. Матрацы отсутствовали. О простынях и одеялах даже говорить не приходится. Вместо подушки — жёсткий пробковый спасательный пояс. Болели бока и голова, но зато я был на настоящем корабле и засыпал под плеск невской воды.

Утро застало меня на палубе. Как чудесно выглядит Нева! Мосты, красивые здания, торопливые моторные лодки, медленные буксиры и стоящие в ожидании ремонта большие, настоящие корабли.

Море рядом, но Огненная Земля не стала ближе ни на один метр. А выйти в море хочется. И вот, в поисках этого выхода, я брожу по Васильевскому острову. Конечно, Васильевский остров не остров Пасхи, но здесь, на углу Девятой линии, стоял нужный мне дом. Не могу сказать, что он показался мне чем — либо примечательным. Только много лет спустя я обнаружил, что дом буквально облеплен мемориальными досками. В старые времена здание принадлежало Академии наук, и в нём жили многие профессора университета, в том числе весьма известные и даже знаменитые. В то время, когда к этому дому прибрёл я, в нём размещался отдел кадров Балтийского пароходства.

Начальник отдела кадров был демократ. Пробыться к нему не составило ни малейшего труда, но разговор оказался весьма и весьма кратким:

— Хочу быть морским радистом!

Начальник сочувственно посмотрел на меня, покачал головой и задумчиво сказал:

— Э... милый! Не успел задницу от школьной скамьи отодрать, а уже спешишь в заграничье? Да известно тебе, что в загранку ходят теперь всего два корабля? Посмотри, сколько опытных радистов болтаются у подъезда.

Этого я не знал, а, узнав, понял, что больше начальника задерживать, явно не стоит. И, получив от ворот поворот, сделал единственное, что оставалось делать, — стал толкаться среди безработных морских радистов, которых оказалось у подъезда этого дома действительно великое множество.

Десятки радистов слонялись без дела. Проведя несколько часов у подъезда в их обществе, я наслушался всяких историй от этих настоящих морских волков. Недосказанным окончанием всех разговоров была одна невесёлая мысль:

— А работы — то нет и нет...

Ещё в Москве я постарался предать себе сугубо морской вид. Но разве в Москве можно купить настоящую морскую фуражку? У меня оказалось только жалкое подобие таковой. Конечно, надо бы иметь тельняшку, но и она была у меня тоже какой — то не настоящей. Вместо бело — синих полос — красно-синие.

Последним мазком в портрете морского волка, рисовавшемся в моём воображении, должна была стать трубка. Какой же моряк без трубки? Без неё этот автопортрет был бы не портретом, а жалким эскизом.

Была моя трубочка плохонькой и грошовой, и табак был не «кепстен», а махорка, но всё вместе взятое: фуражка, тельняшка и трубка — придавало мне (правда, только по моему мнению) облик бывалого моряка.

День за днём я слонялся вокруг конторы пароходства. Рассчитывать оставалось только на два варианта: или от внезапной вспышки чумы перемерёт вся очередь, кроме меня, или же немедленно появятся откуда — то десятки пароходов и возникнет небывалый спрос на радистов. Оставалось надеяться только на чудо, но чуда не произошло.

В середине дня наступал час обеда. Обычно он происходил за углом, на Девятой линии, где находилась столовая, бывшая недавно трактиром и даже не успевшая сменить свою вывеску. Но все — грязные скатерти и невкусную пищу — можно было простить за одно её название: «Золотой якорь». Внешность скромных посетителей столовой отнюдь не говорила о недавнем возвращении с Острова сокровищ. Их лица были без шрамов, никто не стрелял, и не было ни единого человека с чёрной повязкой на глазу. Все чинно хлебали жиденький суп, ели треску, а самые богатые после долгого колебания, под одобрительные взгляды остальных, заказывали кружку пива, к которому, как бесплатное приложение, полагалось блюдечко мочёного гороха.

Однажды на нашу биржу пришло сообщение, что можно устроиться радистом на маленький речной кораблик, бегавший от Ленинграда до Шлиссельбургской крепости по Неве. Я даже ринулся к этому кораблику, но, видимо, в книге живота и смерти было написано поэтому поводу было написано нечто иное, и кораблик прошёл мимо. Я огорчился. Касса моя пустела, я был приезжий, мой оптимизм начал ощущать весьма неприятную вибрацию, которую в общезнании принято называть дрожью в коленках.

Шли дни. Несмотря на бешеную экономию, деньги таяли. «Профсоюз» собирался уходить, а это было чревато потерей бесплатного ночлега, но в конце концов, как в настоящем романе, счастье должно было улыбнуться, и оно улыбнулось!

Однажды кто-то из радистов сказал мне:

— Видишь на том берегу жёлтый дом со шпилем? Это Адмиралтейство. Я вчера там был. Собирается экспедиция в Северный Ледовитый океан для смены личного состава на каком-то острове. Им срочно нужен радист, но платят они мало, и на целый год надо ехать куда-то к чёрту на кулички...

Не дослушав объяснений, я уже мчался в указанном направлении. Я не знал и не мог знать, что этот поход в Адмиралтейство был именно тем «его величеством случаем», который врывается в жизнь людей, чтобы властно повернуть её в совсем неожиданном направлении. Именно в эту минуту, определившую мою жизнь и работу на долгие годы, я шагнул к Полярному кругу.

Что мне было известно об Арктике? Там холодно, имеется Северный полюс, живут медведи и туда, путешествовал Нансен.

Я перешёл мост, прошёл по набережной, вошёл в жёлтый дом и попал в огромный, подавлявший своей монументальностью вестибюль. Потом долго блуждал по коридорам непомерной высоты, где стены были заняты огромными до потолка, шкафами орехового дерева. На дверках этих шкафов инкрустированные старинные адмиралтейские якоря. В шкафах хранились судовые журналы, подлинники карты, описания экспедиций — одним словом, всё, что вошло в историю, как немеркнущая слава русских моряков.

Я шёл и думал — а ведь всему этому дал жизнь сам Пётр Первый. От такой мысли становилось даже чуть — чуть не по себе, и я время от

времени зажмурился. Потом, поднявшись по скрипучим ступеням старинных лестниц, где — то наверху обнаружил, наконец, в маленьких комнатах учреждение с коротким названием «Севледок». Не сразу можно было догадаться, что за этим уютным названием скрывалось такое суровое учреждение, как Экспедиция Северного Ледовитого океана.

Войдя в Севледок, я познакомился с пожилым человеком. По отличной выправке и волевому лицу нетрудно было угадать, что передо мной — бывалый военный моряк. Им оказался гидрограф — геодезист Николай Николаевич Матусевич, опытный полярник, плававший в Арктике с 1911 года. Николаю Николаевичу, впоследствии профессору Военно-морской академии в Ленинграде, инженер — вице — адмиралу, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, вице — президенту Всесоюзного географического общества, было тогда примерно сорок пять лет, но в моих глазах это был человек весьма почтенного возраста. В этом мире всё относительно!

То, что последовало за нашим знакомством, поразило моё воображение. Час назад я был безработным парнем, ничего не знающим не только о своём завтрашнем дне, но даже следующем часе. Я не ведал, где придётся ночевать — в кубрике «Профсоюза», или же на скамейке какого —нибудь ленинградского парка, что из — за белых ночей было, прямо скажем, не очень удобно. И вдруг оказывается, что тем временем здесь, в Севледоке, меня давно и нетерпеливо ждали.

— О, молодой человек, — радостно сказал Матусевич, — как хорошо, что вы к нам пришли. Мы вас так ждём. В Архангельске корабль уже погруженный и снаряжённый стоит в ожидании, когда вы придёте!

Поражённый, я выкатил на своего собеседника глаза, в первый момент решив, что меня разыгрывают. Но человек был серьёзен, розыгрышем, как говорится, и не пахло.

Действительно, меня, вернее человека на предложенную мне должность, очень ждали. Из Архангельска на Новую Землю отправлялась экспедиция. Предстояло сменить зимовщиков на полярной станции в проливе Маточкин Шар. Отсутствие радиста для зимовки задерживало отплытие.

На Маточкином Шаре работала первая советская полярная станция. Построил её в 1923 году тот самый Матусевич, который

формировал сейчас вторую смену зимовщиков. Станцию воздвигли по специальному правительственному решению, и на деятельность возлагались большие надежды. Главное заключалось не в теоретических исследованиях (хотя научная работа, разумеется, там планировалась), а в практической помощи советскому полярному судоходству.

После того как английские интервенты покинули наш Север и белогвардейское правительство Миллера спаслось бегством от Красной Армии, в этих краях, как и в Центральной России, было чрезвычайно голодно. Воспользовавшись тем, что на Севере уже нет сплошного фронта, Ленин распорядился послать на восток, к Оби и Енисею, караваны кораблей за сибирским хлебом. Так как караванам предстояло пройти лишь Карское море, они вошли в историю под названием карских экспедиций. Одним из участников этих суровых и в высшей степени опасных походов был капитан Владимир Иванович Воронин, с которым впоследствии мне неоднократно доводилось плавать на Севере.

Через несколько лет по этому же пути пошли в Игарку за лесом и иностранные корабли. Их сопровождали наши немногочисленные ледоколы. Как и хлебные предшественники, лесовозные караваны также назывались карскими экспедициями. Чтобы гарантировать безопасность проводки иностранных судов, и решено было выстроить на Новой Земле полярную станцию Маточкин Шар.

Первая смена зимовщиков ещё сидела на Новой Земле и не могла поделиться своими впечатлениями, и поэтому осторожные коллеги — радисты, пославшие меня в Севледок, предпочитали подождать другого, более верного случая:

— Чёрт его знает, какая — то экспедиция на какой — то остров. Для семейного человека ехать за тридевять земель, да ещё на целый год, это не годится...

Но то, что не годилось для них, оказалось для меня подлинной находкой. Буквально за два — три часа я был оформлен. И я и Матусевич (каждый по своим соображениям) торопились подписать нужные бумаги, пока партнёр не раздумал. Так в мою жизнь вошла Арктика. Посвящённый достойным человеком в рыцари сурового клана полярников, я связал с этим кланом почти всю мою дальнейшую жизнь.



Превращение в полярника было стремительным, как в кино. Я ощутил его лишь после того, как вышел на Невский проспект в качественно новом для меня виде и состоянии. Дело в том, что, кроме подъёмных денег, по тем временам совсем не малых, я стал обладателем полной морской формы. Мне выдали отличную фуражку с крабом и чёрные штаны клёш традиционного морского фасона — с боковым клапаном, поднимающим моряков на качественно высшую ступень по сравнению с подавляющим большинством представителей сильного пола. Правда, к моему огорчению, в комплекте не оказалось кителя, но его заменили тёплым чёрным бушлатом, и я вполне был этим удовлетворён.

Под ярким июльским солнцем я направился во всём этом североокеанском великолепии на прогулку по Невскому проспекту. До отъезда в Архангельск оставалось несколько часов. Хотелось провести их неторопливо и с достоинством.

Жара в этот день была несусветная. Потел я в своём бушлате так, словно проглотил полкило аспирина. И проследить мой путь по городу можно было без малейшего труда, так как, вероятно, от струек пота, стекавших с меня, позади оставался мокрый след. Но это меня нисколько не тяготило. Красота всегда требовала жертв, а в том, что благодаря арктическому обмундированию я красив, сомневаться было невозможно. Погуляв по Ленинграду, я отбыл в Арктику.

В Архангельске меня действительно ждали. Экспедиционное судно «Юшар» («Югорский Шар») стояло у пирса, готовое выйти в море. Это был уже не молодой, но довольно крепкий корабль, купленный ещё до революции в Англии Соловецким монастырём. Дело в том, что Соловецкий монастырь, одно из красивейших мест Белого моря, на протяжении многих лет привлекал к себе богомольцев. Монахи делали на этом изрядный бизнес, как нетрудно понять из покупки «Юшара», приобретённого специально для того, чтобы перевозить богомольцев.

Путь на борт «Юшара» для меня, выглядел весьма необычно. С толпой пассажиров поезда, доставившего меня из Ленинграда, я погрузился на обшарпанный пароходик, гордо называвшийся «Москва». Пароходик заговорил не по возрасту громким голосом, вода забурилась за кормой, и мы поплыли на нашем речном трамвае...

Город на многие километры растянулся вдоль берега на противоположной стороне Северной Двины. До моря ещё далеко, но всё здесь живёт, дышит и пахнет морем.

В Архангельск я попал впервые, и всё здесь было мне интересно. Город этот, как известно, сыграл немаловажную роль в освоении Арктики не только радистом Кренкелем, но и куда более серьёзными предшественниками, не упомянуть которых в этих записках просто невозможно.

Я плыл по Двине вместе со своим спутником по поезду, просвещавшим меня всю дорогу и рассказывавшим бездну интересного про Архангельск и его окружности. Фантазия расцвечивала эти рассказы доброжелательного попутчика, превращая их в сочные живописные картины, возникавшие в моём воображении.

Вот ещё пустынь и не застроены берега. Тишина окутывает столь шумную сегодня Северную Двину. 1553 год. Архангельска ещё нет ни на берегах Двины, ни на географических картах, а к маленькому северному селению подходит с севера оснащённый пирамидой парусов корабль под неведомым местным жителям иностранным флагом. Корабль входит молча — парусный флот обходится без шума паровых машин и двигателей внутреннего сгорания. И встречают его жители молча. Им ещё не ясно, друг это или враг?

Сегодня мы знаем, что после того, как средневековые испанцы и португальцы прочно захватили в свои руки южные морские пути, англичане и голландцы, которым от этого сладкого пирога не досталось даже и корки, ринулись на Север.

Английские моряки всерьёз отнеслись к задачам, которые были поставлены перед ними. В 1553 году, за пятьдесят лет до возникновения Архангельска, английские корабли ринулись на восток через льды. Путешествие оказалось трудным, далеко пройти не удалось. И если капитан Ченслер добрался до устья Северной Двины, а оттуда попал ко двору Ивана Грозного, то его коллега Виллоуби зазимовал во льдах подле берегов Кольского полуострова, где вместе со своим экипажем, насчитывавшим шестьдесят три человека, погиб от цинги и холода.

Спустя год одна за другой были организованы три голландские экспедиции, в том числе и экспедиция Виллема Баренца, чьё имя носит суровое Баренцево море. Поход стоил жизни её руководителю.

Величаво катит свои воды Северная Двина. На противоположном берегу людей не различишь — так она широка. Я смотрю на эти воды и вижу, как выплывали по ним на морской простор древние новгородцы, как приходили сюда мужики и бабы, бежавшие на Север от татарского нашествия, как под крыло Соловецкого монастыря, расположенного совсем неподалёку, стекались поборники старой веры, осенявшие себя двупёрстным крестом.

Огромные лесовозы на десятки километров поднимаются вверх по течению. Незагруженные, они высятся громадами над водой и бредут, шлёпая лопастями винта. Юркие моторки шныряют во всех направлениях, а вездесущие мальчишки на утлых лодчонках, несмотря на строжайший запрет, ловят в изобилии плывущие брёвна, обеспечивая тепло своей семье на зиму.

Нагрузившись до предела своих сил и возможностей, наш «Юшар» вышел из Архангельска. Несколько часов шли по Маймаксе (так называется главная судоходная протока Северной Двины). Вдоль берегов тянулись бесконечные лесопильные заводы. У причалов грузились иностранные корабли.

После лапаминского створного знака начался поход в море. Вода была ещё почти пресная, даже пить её, несмотря на мутно — жёлтый цвет, было не противно.

Всё дальше и дальше уходили мы от Архангельска. В стороне остался ярко — красный, а потому особенно приметный Северо-Двинский плавучий маяк с огромными белыми буквами «СД» на борту. За эти буквы, которые, как легко догадаться, были инициалами Северной Двины, маяк у всего североморского люда был известен под именем «социал-демократ». На маяке был своего рода плавучий клуб и биржа труда лоцманов. Они дежурили здесь круглосуточно и по вызову в любую погоду лихо подлетали на моторке к судну, нуждающемуся в их услугах.

Всё это было мне ещё интереснее, чем сам Архангельск. Я попал на море в первый раз. Нужно ли говорить, с каким любопытством впитывал я привычные подавляющему большинству людей, находившихся на борту «Юшара», впечатления.

К тому времени, когда мы пересекли Полярный круг, обогнули Канин Нос и вышли в Баренцево море, я почувствовал себя уже настоящим моряком — и не только потому, что на мне были брюки

клёш и прекрасный тёплый бушлат. Оказалось, что я не подвержен нападкам злейшего врага моряков — морской болезни. И хотя шторма настоящего не было, а была лишь свежая погода, это ощущение неуязвимости от качки наполняло мою душу неопишуемой гордостью. Интересно было сидеть в кают-компании во время обеда, смотреть, как горизонт то поднимается, то уходит, а ты должен в этот миг позаботиться лишь об одном: чтобы волна, поднимаемая в твоей тарелке, не вышла за берега и чтобы суп не оказался на столе, а ещё хуже — на твоих новых флотских брюках.

Горизонт качался за окном, но, проглотив свою порцию супа, я выходил на палубу, чтобы во всей полноте наглядеться на то самое море, по которому погнал меня ветер странствий. Оно было красиво, но сурово. Хмуро — серого цвета, с белыми гребешками волн, море словно брюзжало по поводу того, что наш «Юшар» пришёл сюда незванным, и безжалостно раскачивало его то с борта на борт, то с носа на корму и с кормы на нос. Но наш корабль, пылинка по сравнению с этой громадой, бодро шёл вперёд, не обращая ни малейшего внимания на грозную стихию.

Сознаюсь, мне это нравилось. Я чувствовал себя частицей корабля и, несмотря на своё амплуа пассажира, считал себя тоже борцом со стихией.

Моряки поглядывали на меня с улыбкой. Им было, наверное, смешно, что московский мальчишка стоит, широко раздвинув ноги, не кланяясь волнам. Я же воспринимал их взгляды как одобрение: «Если эти морские волки одобряют, что я не кланяюсь волнам, значит, они признали меня своим!» Эта мысль повышала моё и без того немалое самоуважение. А однажды я даже почувствовал, что близок к тому, чтобы стать «своим в доску». Это было по тем временам высшей аттестацией нравственных качеств человека. Мысль о таком отношении ко мне старых, бывалых поморов, из которых был скомплектован экипаж «Юшара», пришла после того, как однажды, когда я смотрел на чаек, кто — то из матросов, отлично знавших эти места, рассказал мне интересную байку.

Известно, что моряки любят чаек и выстрелить в эту птицу, по неписаному кодексу морских законов, — грех совершенно непростительный. Но в Соловецком монастыре чайки окружены ещё большим почтением. Там их чтут как святых птиц.

Ещё в прошлом веке, когда Англия и Франция воевали с Россией, к берегам острова, на котором стоит Соловецкий монастырь, подошли английские боевые корабли. Развернувшись бортами к монастырским стенам, они нацелили на них пушки. Как известно, эти старинные пушки заряжались с дула, а стреляли от запала, в дырочку которого сверху насыпался порох.

Британские артиллеристы дали первый залп, и небо сразу потемнело, но не от порохового дыма. Свет закрыли тучи чаек, поднявшихся с птичьих базаров на ближайших островах. Со страха чайки обрушили на головы и пушки английских моряков огромное количество вещества, которое не назовёшь дождём из-за его вязкости и градом из-за его мягкости. И палубы фрегатов, и запальные устройства пушек покрылись толстым слоем птичьего помёта. Англичане не могли стрелять и удалились несолоно хлебавши.

Соловецкий монастырь имел отношение и к Новой Земле. Она входила прежде в его епархию. В начале 20 века население Новой Земли насчитывало не более двухсот человек. Их — то и опекали посланцы Соловецкого монастыря. Направлялись туда не лучшие представители монашеского племени — проштрафившиеся, пьяницы и лица, неугодные начальству. Попав на Новую Землю, эти немногочисленные монахи, становились миссионерами, разъясняя язычникам всю великую пользу христианства. Чтобы агитация была наглядной, пускались в ход более веские доказательства достоинств христианства, нежели божье слово. Каждому обращённому выдавалась кумачовая рубаха и серебряный рубль.

И вот однажды обнаружилось, что население Новой Земли выросло в несколько раз. Причины этого феномена оказались примитивно просты — счёт обращённых вёлся по числу розданных рубах, а местные жители, воспользовавшись тем, что приезжий служитель божий был не внимателен к лицам, крестились по нескольку раз.

На карте страны, где для одной шестой части мира хватало двух листов писчей бумаги, наше путешествие не выглядело особенно длинным. Но одно дело ехать в спальном вагоне, другое — качаться на волнах северных морей, сварливый характер которых общеизвестен.

Итак, тысяча километров по прямой, чуть больше по реальному курсу, через моря, которые, словно бухты Ледовитого океана,

врезались в побережье нашей страны. Там, за двумя морями, и лежит волнующая и романтическая Новая Земля.

Первое море — Белое. Затем, вырвавшись из объятий Кольского полуострова и полуострова Канин, корабль попадал в Баренцево море и, держа курс на восток, подходил к Карским воротам. Эти ворота — главный вход в Карское море, узкий пролив между южной оконечностью Новой Земли, длинной, многокилометровой колбасой, вытянувшейся на северо-восток, и островом Вайгач.

Такова традиционная северная дорога на восток. Однако этот старый тракт не удовлетворял потребностям полярного мореплавания. Моряки пытались нащупать новую, более удобную трассу. На первый взгляд выражение «нащупать новую, более удобную трассу» может показаться странным — вода как вода, куда хочешь, туда и плыви. Ни гор, ни оврагов, ни рек, которые пересекает железная или автомобильная дорога. Но, оказывается, и тут, на воде, существовало множество подводхов, тонкостей, неопровержимо убедивших северных флотоводцев, что прямая — далеко не всегда кратчайший путь между двумя точками.

Третье море, к востоку от нашей зимовки, — Карское. Оно имело у полярных капитанов дурную славу. Открытое в своей северно-восточной части, оно было почти заперто с юго-западной. Стоит подуть северо-восточным ветрам — и Карское море сразу же превращается в ледяной мешок. Ветер загонял в него миллионы тонн льда, а выйти этому льду некуда. Путь на запад преграждает Новая Земля, на юг — материк. И горе кораблям, попадавшим в эти не знающие пощады тиски.

Тягаться в силе с такой стихией было делом безнадёжным. Но перехитрить её человеку оказалось вполне по плечу. Не последнюю роль в задуманном предстояло сыграть Маточкину Шару.

Пытаясь понять, как закатились за Полярный круг такие названия, как Маточкин Шар или Югорский Шар, я беседовал впоследствии со многими учёными и образованными людьми. Большинство склоняется к тому, чтобы считать привычное нам по картам «шар» искажённым словом «шхеры». Такое объяснение мне представляется весьма убедительным: ведь и Маточкин шар и Югорский Шар — это проливы.

Пролив Маточкин Шар, получивший своё имя от впадающей в него речки Маточка, почти пополам рассекал Новую Землю. И так как

льды, набивавшиеся в мешок Карского моря под прикрытием Новой Земли, не попадали в Баренцево море, то пройти в Карское море через Маточкин Шар иногда было удобнее и проще, чем через Карские ворота. Вот почему регулярно информировать капитанов о ледовой обстановке в этом районе стало важным делом. Для этого на восточном берегу пролива Маточкин Шар в 1923 году и поставили нашу радиостанцию.

Через неделю в отличный ясный день, вернее, в солнечную ясную погоду того ужасного длинного дня, который в Арктике бывает один раз в году, «Юшар» приблизился к Новой Земле.

Я не раз разглядывал карту огромного острова, на котором мне предстояло зимовать, но действительность, конечно, не имела ничего общего с аккуратно расчерченными картами. Сознаюсь, что ощущения, которые я испытал, подходя к Новой Земле, сопутствуют мне всегда, когда я отправляюсь в какое — либо морское странствие. Морские карты очень точные. На них нарисованы мельчайшие начертания бесчисленных мысов, островов и проливов. И всё же поле зрения фотографа и человека, который смотрит на эти же места с капитанского мостика, настолько несоизмеримы, что для меня всегда было и осталось загадкой умение штурманов и капитанов сочетать эти удивительно непохожие вещи в своём воображении.

Моё воображение дальше чтения радиосхем не пошло, и поэтому, словно на чудо, смотрел я, как корабль развернулся и устремился прямо на берег. В первый миг это выглядело коллективным самоубийством. Но только в первый миг. Дёргались стрелки, звонили звонки машинного телеграфа. «Юшар», разумеется, и не думал разбиваться. Он просто вошёл в ту тоненькую и хорошо известную мне по картам чёрточку, которая была столь тонка, что в этой полоске даже не хватало места для надписи «пролив Маточкин Шар».

Пролив был узким, но глубоким. За каждым очередным мысом открывался новый поворот. Так длилось несколько часов, пока, осторожно, но настойчиво продвигаясь вперёд, корабль не приблизился к полярной станции.

Путешествие по проливу оказалось богатым новыми впечатлениями. Природа рассыпала их с невиданной щедростью, и я понял, что Арктика в жизни, а не на картах и в книгах, где над всем господствует белый цвет снега, волшебна красива.

После нескольких часов хода пролив расширился. Правый берег стал более пологим. На нём, словно под охраной гор, стоял высокий деревянный крест. Под крестом лежал первый исследователь Новой Земли Фёдор Розмыслов. Ещё в 18 веке он возглавил экспедицию, составил достаточно подробное описание Маточкина Шара и собрал много интересных сведений о природе этого края.

Дерево в Арктике не гниёт, сохраняясь десятилетиями и даже столетиями. Но на него обрушиваются ветры и снег, особенно злобно свирепствующие за Полярным кругом, и выдувают мягкие участки. Вот почему старые кресты на могилах полярников имеют обычно шершавую, рубчатую поверхность.

Величественный и безмолвный стоял крест. Глядя на него, никто из нас не подумал, что крохотное кладбище в этом далёком уголке земли пополнится за время нашей зимовки ещё одной могилой...

«Юшар» втягивался в пролив всё глубже, и вскоре мы увидели на пригорке большой и скучный одноэтажный дом. Правда, как поспешили тут же просветить нас всезнающие матросы «Юшара», дом этот далеко не всегда был скучным. Во время оккупации Севера иностранными интервентами он стоял в Архангельске и в нём размещалось офицерское увеселительное заведение со всеми положенными публичному дому аксессуарам. В 1923 году бывшее офицерское заведение перевезли на Новую Землю. Плотники собрали его для новой жизни, и корабль ушёл, оставив на берегу первых зимовщиков станции Маточкин Шар, которых и предстояло нам заменить.

С большим удовольствием я бы опубликовал фотографии моих товарищей по первой зимовке. Полярники говорят, что первая зимовка, как первая любовь, запоминается навсегда. Увы, в ту пору советской фотопромышленности ещё не существовало. Старые «кодаки», состоявшие на вооружении фотолюбителей, пылились без дела по той простой причине, что не было плёнки. Немногочисленные снимки, которые я всё же сделал, оказались недостаточно совершенными.

Сегодня полярники — знатные люди. О них много говорят и пишут. Да и сами они скупаются на мемуары и книги, пользующиеся заслуженной любовью и вниманием читателей. Тогда же всё было совершенно иначе...



Вряд ли в глазах общества можно было бы причислить меня и моих товарищей к числу известных людей. Помилуй бог! Напротив, у меня даже сложилось впечатление, что многие из моих спутников не только не стремились к известности, но, напротив, избегали её. Некоторые из них видели в трудной северной службе возможность заработать себе хорошую репутацию, право на то, чтобы считаться полноправным гражданином молодой Советской республики.

Нашим начальником был Давыд Фёдорович Вербов, очень симпатичный, очень корректный и уравновешенный человек, что в Арктике, да ещё в таком пёстром обществе, играло не последнюю роль. Природный такт и несомненно — мудрость позволяли управляться с десятью башкибузками, попавшими под его команду. Вербов делал это не торопливо, но и не медлительно. И его спокойствие заражало остальных уверенностью, которая всегда помогает людям, испытывающим трудности.

Но не следует думать, что Давыд Фёдорович был опытным полярником. Как и остальные, он попал на зимовку случайно. В те годы на Север не рвались. До того как возглавить полярную станцию Маточкин Шар, Вербов много лет занимался совсем другим делом — он был коммивояжером известной дореволюционной фирмы канцелярских принадлежностей «Отто Кирхнер и К\*», а попросту говоря, торговал карандашами, перьями и тетрадками...

Среди моих товарищей выделялся удивительно весёлый и милый человек, механик Костя Кашин. Это был какой — то сгусток энергии. Всё он делал с улыбкой, весело, на всё у него хватало сил. Двигатель всегда содержался в идеальном состоянии. Но Косте всего этого было мало. Он настойчиво лез в самые рискованные дела.

Около нашей радиостанции протекала речушка, вернее маленький ручеёк. За ним поднималась высокая гора. В разлоге, у самой вершины, даже за лето не успевал растаять снег. Он лежал красиво, как гигантская чайка, распластавшая на горе крылья. Костя Кашин и наш магнитолог Белокоз на спор решили спуститься на нартах с этой снежницы. Давыд Фёдорович очень боялся, что они переломают себе руки и ноги, но они настояли на своём.

В сильный бинокль было хорошо видно, как они долго взбирались на гору и молниеносно спустились. Зачем это понадобилось — никому не известно, но такой поступок был в характере Кости Кашина.

Однажды из-за Кости я чуть не отправился к праотцам. У нас были винтовки и огромные револьверы, которыми в 19 веке вооружали почтарей. К этим револьверам у нас не было патронов. Однажды я попробовал, и оказалось, что хорошо входит обычный винтовочный. Но этот патрон длиннее револьверного. Полгильзы и вся пуля, высунувшись из барабана, оказывались внутри ствола. Зарядить револьвер больше чем одним патроном было невозможно.

Отправляясь дежурить на радиостанцию, ныряя в темноту, в пургу, я знал, что по дороге можно нос к носу столкнуться с медведем. Я клал себе за пазуху этот страшный револьвер. Делалось это больше для «психологии», чем для реальной защиты.

Револьвер лежал у меня в комнате на столе, но всенародно объявлять, что удалось подобрать к нему патроны, я почему — то не стал. И никто не подозревал, что из игрушки он стал оружием. Как — то ко мне зашёл Костя. Я сидел на своей койке, он — напротив. Костя взял револьвер. Я даже рта не успел раскрыть, как грохнул выстрел. Сантиметрах в пяти — десяти мимо моей головы пролетела пуля, врезавшись в стенку.

С Костей Кашиным я встретился уже после полюса, в Севастополе. Он командовал подразделением торпедных катеров, что по его характеру, как мне кажется, ему очень подходило.

Украшали нашу когорту и две другие красочные личности, фамилии которых не помню, — Пауль и Отто, матросы немецкого крейсера «Магдебург», потопленного русскими военными кораблями. После гибели корабля Пауль и Отто попали в плен, откуда их освободила Февральская революция. За это время они достаточно обжились в России и вернуться в Германию не пожелали. Каким ветром занесло их на Новую Землю, не знаю.

Более колоритным из этой пары, несомненно, был Пауль, сухощавый, с отлично тренированной спортивной фигурой, обладавший невероятной физической силой... Пауль запомнился ещё и тем, как развлекал нас в трудные минуты северной скуки.

Мы, юнцы, очень любили ходить с ним в баню. Стоило Паулю раздеться, и он превращался в живой путеводитель по моряцкой нравственности, а точнее, моряцкой безнравственности. На его могучем теле не оставалось ни дюйма кожи, свободной от татуировки. Тематика рисунков самая разнообразная — от парусов и якорей до

мифических русалок и женщин в более реальных образах. Одним словом, тематика, в которую невозможно углубиться без нарушений правил хорошего тона, чего по отношению к читателю этих записок я, извините, позволить себе не могу.

Второй талант нашего Пауля проявлялся в праздничные дни, когда Давыд Фёдорович, понимая, что не отметить праздник — грех, выдавал нам по толике спирта. Выпив свой рацион, мы всегда просили:

— Пауль, закуси стаканом!

Пауль был добр и снисходителен к нашему любопытству. Без долгих уговоров он запросто откусывал край стакана и начинал жевать его с каким-то удивительно философским равнодушием. Он жевал его как завалявшийся сухарь, даже не поднимая глаз, чтобы оценить воздействие своего удивительного таланта на поклонников, открывавших даже рты от восхищения.

Среди наших зимовщиков были даже два участника Кронштадтского мятежа. Один из них — сын члена штаба мятежников генерала Козловского. После разгрома папа удрал куда — то в Финляндию, а сын попал к нам на зимовку. Вторым человеком, имевшим отношение к этому же событию, был и наш доктор Федосеев. Не думаю, чтобы он был активным участником мятежа, но факт остаётся фактом.

Как и Козловского — младшего, Федосеева погнало на зимовку, вероятно, желание быть подальше от людей, а может быть, оправдать свой не самый благовидный поступок. Погнала его и неудачная любовь, невольным свидетелем которой стал я по своей должности радиста. Не раз, приходилось мне приносить ему какие — то смутные телеграммы от его возлюбленной, равно как и отстукивать ключом ответы на них. Эта переписка была не самой весёлой — радиogramмы Федосеева, переполненные любовью и нежностью, и ответные лаконичные, деловитые депеши. Девушка телеграфировала довольно часто, но слова любви она успешно заменяла просьбами о денежных переводах, на которые влюблённый доктор не скупился.

Доктором нашего Федосеева можно было назвать с известной натяжкой. Вероятно, он закончил несколько курсов медицинского факультета, когда началась первая мировая война. Студентов стали быстро производить во врачи и отправлять на фронт. А так как дать

диплом недоучившемуся специалисту нельзя, то появился новый для медицины термин — зауряд-врач. Народ, который, как известно, за острым словом в карман не лезет, молниеносно переименовал это в «навряд ли врач».

Большого доверия, без которого медицине трудно одерживать победы над болезнями, Федосеев не внушал. Мы надеялись, что к его услугам нам прибегать не придётся, и прозвали про себя помощником смерти. Но обстоятельства сложились несколько неожиданно для всех нас — отбивать от смерти Федосеева, хотя и безуспешно, пришлось нам самим.

Федосеев поселился в той же комнате, где и до него жил врач предыдущей смены, доктор Шорохов. Мы называли эту комнату врачебной. От остальных помещений нашего, в прошлом весьма весёлого, дома она отличалась не многим — кроме койки врача, в ней стоял застеклённый шкаф и стол с ватой, марганцовкой, вазелином и прочими медицинскими штуками. В этих апартаментах среди клизм, шприцев, стерилизаторов и поселился наш лекпом, маленький человечек с заплывшими глазками.

Комната эта оказалась роковой. Ещё до нашего приезда заболел и умер от воспаления почек доктор Шорохов. Несчастье случилось и с Федосеевым. Оно произошло в самом разгаре полярной ночи. Однажды все уже позавтракали, лекарский помощник к столу не пришёл. Отправились выяснить, в чём дело. Заглянули в щелку — керосиновая лампа горит, и больше ничего не видно. Стучим. Тишина. Снова стучим. Снова нет ответа. Взломали дверь.

Федосеев лежал на кровати. Одеяло съехало куда — то в сторону. Он хрипел. Сомнений не оставалось — произошло что — то неприятное, но что?

Стали тормозить — доктор не просыпался. Хрип продолжался. И хотя никто из нас к медицине ни малейшего отношения не имел, стали его осматривать, а осмотрев, поставили безошибочный диагноз. Вся ягодица Федосеева была исколота. Рядом валялся шприц. Не надо было быть Гиппократом, чтобы сообразить, что наш доктор морфинист.

Дальнейшее следствие подтвердило возникшее подозрение. Группа самодеятельных Шерлоков Холмсов, обшаривших врачебную комнату, довольно быстро обнаружила, пустую банку из-под морфия.

Сомнений не оставалось — либо Федосеев переборщил и загнал себе слишком большую дозу по неосторожности, либо решил покончить свои счёты с жизнью. Так это было или иначе, оставалось только гадать, а гадать в этот момент было некогда. Нам, десяти медицински тёмным людям, предстояло решать неразрешимо сложную задачу — задержать на этом свете нашего эскулапа.

Как привести его в чувство? Во всю прыть рванул я на радиостанцию, установил связь с Югорским Шаром и срочно вызвал врача:

— Как будто бы отравление морфием. Что делать?

— Пусть пьёт чёрный кофе.

Легко сказать «пусть пьёт чёрный кофе»! Кофе мы сварили немедленно, но наш больной упорно не раскрывал рот. Разжали зубы. Льём кофе. Льём больше на подушку, чем в рот. Федосеев не глотает и хрипит уже гораздо слабее.

Снова помчался на радиостанцию:

— Кофе не помогает! Что делать?

— Не давайте лежать. Пусть двигается!

Хорошенькое дело. Как же тут двигаться, когда лежит наш Федосеев, как говорится, пластом лежит. Но раз медицина сказала «двигаться», значит, немедленно двигаться. Мы подхватили лекпома под руки и в нижнем белье стали водить по длинному тёмному коридору нашего дома. Водим туда и обратно. Коридор для прогулок совсем не приспособлен. Под ногами чужие валенки, на стенах висят полушубки. Темно, холодно, а мы нашего полупокойника таскаем вперёд и назад по грязному холодному полу.

Таскали мы его до тех пор, пока он не умер. У Федосеева оставалась военная форма. Мы уложили его на кровать, одели в эту форму и начали мастерить гроб, используя мокрые доски, вытащенные, откуда-то из-под снега. Похоронить Федосеева сразу на кладбище, где был захоронен доктор Шорохов, не удалось. Грунт был твёрд, как камень, а взрывчаткой мы не располагали. Выходом из положения оказался исполинский сугроб рядом с нашим домом. Вырыли в нём глубокую яму, похоронили Федосеева в этой яме и перехоронили уже потом, летом, когда снег растаял.

Гидрологом у нас работал Виктор Ахматов. Очень славный человек. Он пленял меня тем, что не то учился, не то недоучился в

каком — то морском заведении. У него была морская форма, о которой я мечтал и до которой всё-таки правдами и неправдами добрался. Единственное, чего не хватало, чтобы чувствовать себя заправским моряком, — это татуировки.

Виктор предложил свои услуги. Технология такова. Чернильным карандашом делают соответствующий рисунок на руке или в каком — то другом месте. Потом на блюдечке разводят китайскую тушь, связывают в пучок три иголки и этими иголками накалывают под рисунок, который имеется на теле.

Конечно, это немножко болезненно. Но Виктор делал своё дело мастерски. Иголками надо орудовать умеючи. Нельзя колоть прямо, нужно это делать под известным углом, чтобы тушь вошла в кожу, но не было проколов до крови, иначе кровь вымоет из укола тушь. На левой руке у меня наколот радиознак. На нём имеется несколько пробелов. Видно, уколы были не точные, пошла кровь, и значок немножко пострадал.

Дальше я задумал накалывать все мои зимовки (я уже твёрдо решил, что до конца жизни буду полярником). Поэтому на правой руке сделано довольно не нное очертание Новой Земли и дата: 1924–1925 годы. Это начало моей арктической деятельности. Ещё на правой руке есть рисунок, который можно увидеть почти у каждого моряка: сердце, пронзённое стрелой. Это сердце почему — то больше похоже на редиску. Слава богу, что я не сделал очередной глупости и не наколот на этой редиске никакого имени. Мне тогда было двадцать лет! Ничего не поделаешь — дань молодости...

Но было бы неверно представлять себе весь коллектив нашей зимовки в виде таких личностей, о которых я рассказал выше. Слов нет — в ту пору в Арктику попадало много разных людей, каких сегодня и не встретишь. Однако все мы, лучше или хуже, решали задачи, ради которых и отправлялись на эту далёкую и, в общем — то, не очень лёгкую жизнь.

Как мы жили? Утром, быстро позавтракав, расходились по рабочим местам. Но обед, а особенно ужин приносили приятные минуты в наши полярные будни. Магнитом для всех была кают — компания. Нельзя сказать, что она была оборудована очень шикарно, но всё же там стояло расстроенное пианино, на котором лихо упражнялись Отто и мой коллега — радист Костя Сысолятин.

Была в кают — компании и приличная библиотека. Много интересных книг на английском языке. До сих пор помню роман Риддера Хаггарда «Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы» и другие. Благодаря этим книгам я немножечко освоил английский язык. Учился по своей системе. Каждый день задавал себе урок — три странички. Прочесть их надо было скрупулёзно. Железное правило — слазить в словарь за каждым непонятным словом и запомнить его. Прочитав так три страницы, я разрешил себе читать дальше без словаря сколько хотелось. Романы были захватывающе интересными. Иногда я догадывался обо всём, но иногда попадалось слово, от которого многое зависело, и тогда, вне программы, я за этим единственным словом лез в словарь. Чтением английских книг для меня заканчивался очередной день.

В наши дни полярные станции снабжаются совсем не так, как в то время. Приходится удивляться, что мы вообще могли просуществовать на выделенном нам пайке. В те времена никто из обычных смертных не знал, что такое витамины. Вместо витаминов у нас было несколько бочек квашеной капусты, бочки с солёной треской, мешки с пшеном, гречневой крупой — и никаких деликатесов.

Насчёт свежего мяса было плоховато. Когда пришли к концу запасы сена, мы съели единственную нашу корову. В таких условиях промысловая избушка, как легко догадаться, оказалась явно не лишней.

Об уровне снабжения можно судить и по табаку. Мы получили его в жёлтой упаковке из обёрточной бумаги. На пачках было крупно написано: «Ханский», а ниже, помельче: «Лёгкий табак третьего сорта, филичёвый».

Такой мерзости, как филичёвый табак, сейчас не бывает в продаже. Это отходы, отбросы из нижних листьев табака, которые обрывают, чтобы он хорошо рос. У нас табак «ханский» был быстро переименован в «хамский». Вообще с этим ханским табаком нам не повезло. Во время выгрузки большой ящик упал в море и подмок. Когда мы курили, сигарки страшно стреляли во все стороны, да и по вкусу они походили на что угодно, только не на табак.

Новая Земля была сравнительно обжитым местом. Ещё до революции на западном побережье южного острова находилась одна из первых нормально действующих станций в становище Кармакулы.

Однако информации, сообщаемой её метеорологами, ледовым капитанам оказалось мало. В 1923 году, как уже говорилось, возникла новая станция — Маточкин Шар. 6 октября 1923 года в эфире впервые зазвучали её сигналы.

Обычные метеорологические наблюдения проводились четыре раза в сутки и ничем примечательны не были. Весьма скромный размах носили и гидрологические исследования. Хороших плавучих средств (моторных шлюпок) станция не имела. Вот почему работали наши гидрологи только с берега. Каждый день они подходили к проруби, меряли температуру воды, брали пробы для определения её солёности и т. д.

Но даже в ту далёкую пору аэрологические наблюдения, проводимые нашим аэрологом, выделялись своей оригинальностью. Сейчас для этой цели используются радиозонды — воздушные шары, передающие по радио наблюдения подвешенных к ним радиоприборов. Тогда ещё радиозондов не было. Профессор Молчанов, с которым, как узнает читатель из следующих глав, мне довелось встречаться, ещё не успел сделать это великолепное изобретение, открывшее эпоху в аэрологии. На нашем зимовье задача решалась иначе, и поскольку этот способ уже принадлежит истории, не рассказать о нём невозможно.

Основным средством аэрологических наблюдений на станции Маточкин Шар был воздушный змей. В истории науки и техники это нехитрое приспособление сыграло немалую роль. Большие коробчатые змеи были предшественниками планеров, на таких змеях конструкции капитана С.А.Ульянина поднимались наблюдатели русской армии. Коробчатый змей поднимал и аппаратуру нашего аэролога Димы Козловского. Запуск происходил на стальной проволоке. Чтобы осуществить его, нужно было бежать, вовремя запустить змей, потом, ручной вьюшкой быстренько размотать барабан, — одним словом, это была страшная волынка. В воздух поднимался метеограф, на закопчённом барабанчике которого стрелка чертила изменения давления, по ним легко было определить и высоту. Одним словом, наш змей был несомненным предтечей будущих радиозондов.

Был у нас и магнитный павильон, стоявший довольно далеко от жилого дома. Он отвечал определённым требованиям — в нём не было ни одного гвоздя. Ни одной железной детали не имела даже печка,



сверкавшая дверками красной меди. Магнитолог Белокоз умолял нас, чтобы мы даже близко не подходили к этому месту. Работа магнитолога требовала полного отсутствия железа. Даже штаны он носил с костяными, а не с железными пуговицами. Иногда по забывчивости кто — нибудь с винтовкой приближался к павильону. Винтовка искажала наблюдения магнитолога, и он немедленно прогонял нарушителя.

Короткие экскурсии в обе стороны от полярной станции совершал и наш геолог. Открытия сами плыли ему в руки. По существу это была нехоженная земля, и всё, что ни находил, было впервые, и всё это было интересно для дальнейших смен, которые, естественно, пополняли сведения об острове.

Не знаю, какие наблюдения вёл биолог, но помню, что он интересовался песцами и лемингами — маленькими полярными животные, которые являются пищей для песцов. Полярники хорошо знают, что в зависимости от количества лемингов можно предсказать, каков будет успех охоты на песцов.

Была среди нас ещё одна красочная фигура — Костя Зенков. Страшнее лица не придумаешь. Лоб, нос, щёки, подбородок — всё сплошь побитр оспой. Чёрные курчавые волосы. Зубы, кривые после цинги. Костя был настоящим бродягой Севера, но при таком просто сатанинском виде оставался добрейшим человеком. Грамоте он не был обучен. Кажется, читать мог по складам и не более, но всё знал, всё умел. Лобная работа кипела у него в руках, хотя по штатному расписанию станции он числился всего лишь разнорабочим, каюром — одним словом, сугубо подсобной единицей.

Мы все его очень любили, чтобы не сказать больше — обожали. Если чего — то не умеешь — иди к Косте. Он покажет, как надо сделать, или просто сделает сам. Естественно, что, когда на нашей зимовке началась «великая стройка», Костя возглавил это предприятие, потребовавшее его большого арктического опыта.

По началу всё выглядело просто. Плотники сложили сруб. Мы промаркировали брёвна, разобрали сруб и связали его в плот, чтобы отбуксировать на восток, к выходу из пролива Маточкин Шар. Естественно, что Костя Зенков стал командиром нашего великого перехода, в котором я принял участие. Радистом на зимовке остался мой коллега Костя Сысолятин.

Зенков стоял на борту плотика с длинным шестом, чтобы отталкиваться и от воды, и главным образом от берега, а мы, по примеру наших славных предшественников — волжских бурлаков, впрягались в лямки и тащили плот вдоль берега. Их было трое — биолог Вакуленко (последствии снискавший себе дурную славу участием в преступлениях Семенчука и Старцева, о которых я расскажу позднее), геолог Егер и я.

Работа оказалась на редкость тяжёлой. Нельзя сказать, что я к этому не был готов. Парень я был здоровый, да и наше прибытие на Новую Землю ознаменовалось таким авралом по разгрузке, что сомневаться не приходилось: Арктика не терпит белоручек. И всё же волок нашей избушки стал для всей четвёрки делом не шуточным.

Мы шагали по мелкой гальке, покрывавшей берег. Под ногами плескалась морская вода, такая идеально чистая, что, глядя на неё, невольно задумываешься о мирской суете: человечество торопится спустить в реки всю грязь, а океан, проглотив с речной водой эти продукты цивилизации, даже виду не показывает, что они в него попали. Но и чистая вода, и мелкая шуршавая галька не замедлили напомнить о своём существовании. Наши здоровенные сапоги, которые мы мазали наиаккуратнейшим образом, не выдержав объединённой атаки воды и гальки, начали протекать. Человек выглядел малюткой рядом со стихией, несмотря даже на то, что она не сердилась и не бушевала — морская вода, галька и камни просто делали своё дело. Сапоги постепенно разваливались.

Как на всяком морском берегу, попадались мысы, выходившие в пролив. Обходить их можно было только при отливе, когда обнаживалась узенькая полоска берега. Мысов было много, а вариантов обхода лишь два — либо лезь в холодную воду, либо закуривай и жди отлива.

Иногда стояла тихая погода. Иногда же была волна. У отвесных утёсов даже мелкая волна давала сильный всплеск. К вечеру совершенно мокрые от таких неприятных душей и белесые от соли, выкристаллизовавшейся на нашей одежде, мы останавливались у галечной косы, разбивали палатку и заваливались спать.

Спать, прямо скажем, было неважное. Палатка, правда, вместительная, а по арктическим условиям просто просторная, но растрёпанная и очень грязная. Посередине ставилась жестяная печка с

трубой. Печка раскалялась молниеносно. Бока её краснели, наливаясь жаром. Мы лежали рядом. С одной стороны было царство холода, с другой — невыносимого жара. Но усталость брала своё, побеждая известную некомфортабельность нашего походного жилья, и мы засыпали довольно быстро.

Палатку наполняли самые невообразимые запахи. Сушились ватники, портянки, сапоги, остро пахли лавровым листом разогретые на печурке консервы. Если ко всему этому прибавить густой махорочный дым, то букет получался отменным и, я бы сказал, незабываемо выразительный.

Другому всё это, быть может, пришлось бы не по вкусу, но я засыпал усталый и счастливый. Поехав на Север за экзотикой, я получал её полным рублём.

Так, постепенно, мы добрались до мыса Выходного. На этом мысе, который, как свидетельствует его название, стоит на восточном выходе из Маточкиного Шара, сооружён большой створный знак. Правила судоходства, подобно правилам уличного движения, предусматривают такие знаки даже в далёком полярном захолустье. По отмеченному этим знаком створу корабли заходят в Маточкин Шар со стороны Карского моря.

Наше прибытие к этому месту было рассчитано заранее. Со станции подогнали шлюпку, потому что дальше предстояло пересечь большой по нашим меркам Канкринский залив. И хотя бурлацкая доля уже оставалась позади, мы не радовались. Тащить плот через залив в идеале предполагалось на парусе, но практически это означало на вёслах. Так что если и произошло превращение, то только из бурлаков в каторжников, которых во многих странах, как известно из литературы, отправляли на галеры.

Залив уходил на север, закруглялся, и на противоположной стороне нас ждала неширокая коса. После неё цель нашего путешествия — мыс Канкрин.

На мысе Выходном весь наш скарб — палатку и всё, что путешествовало на плоту, перегрузили в шлюпку. Сели на вёсла и с плотом на буксире взяли курс на мыс Канкрин.

Да простят меня моряки за чрезмерно сухопутную терминологию. Конечно, по всем правилам морских приличий расстояние до мыса надо было бы определить в милях, по — морскому, но в данном случае

километры представляются мерой более удобной, а главное, более понятной мерой длины. Предстояло пройти двенадцать — пятнадцать километров. Большая шлюпка и на буксире тяжёлые брёвна. Одним словом, не прогулка с любимой девушкой, как в песне «Мы на лодочке катались...».

На вёслах мы провели пятнадцать часов. Но самое страшное произошло посередине залива. Был чудный тихий вечер. Солнце уже зашло. На севере громоздились высокие горы. При чистом небе солнце освещало их каким — то таинственным фиолетовым светом. Коричневые и чёрные горы, фиолетовый свет — и вдруг над горами в безоблачном небе появилась цепочка маленьких облаков. Облака бежали гуськом друг за другом на большой высоте. Были они хорошо обкатаны тамошним ветром и походили друг на друга, словно одно яйцо на другое.

Признаться, из всей нашей четвёрки появление этих облаков оценил по достоинству лишь Костя Зенков. Он поднял голову и сразу же высказал своё полное неудовольствие:

— Ой, ребята, это к сильному ветру!

Не буду кривить душой, прогноз Кости нам не понравился. Мы уже измотались. Если начнётся сильный ветер, нас вынесет в открытое море. То, что на Новой Земле господствуют неблагоприятные для нас северо-восточные ветры, мы знали не хуже Кости.

Что делать? Плот бросить жалко. Пропадёт тяжёлый многодневный труд. А продвигаемся мы медленно. Сил грести, почти нет. Тащить громоздкий плот не шуточное дело. Однако перспектива быть вынесенными в море нам настолько не улыбалась, что мы всё же налегли на вёсла. Налегли и успели. Проскочили до того, как задул этот совсем не нужный нам ветер.

В тот момент всё прошедшее показалось нам чудом, но чуда не было. Было другое — проявление могущества обыкновенного человека, которое я бы назвал чувством мобилизации, когда он, такой маленький и слабый, собирает все свои силы воедино, чтобы совершить то, чему сам потом будет долго удивляться.

Добравшись до противоположного берега, мы почувствовали себя счастливыми. В самом деле, хорошо бы мы выглядели, если бы нас вынесло в море. Радиосвязи не было. Второй шлюпки на станции не было. Одним словом, полная гарантия того, что мы просто пропали бы

без вести, пополнив список жизней, отобранных у человечества Арктикой.

Итак, через пятнадцать часов пути мы прибыли на место назначения. И уж тут — то у нас сил действительно не оставалось. Не оставалось настолько, что, спрыгнув со шлюпки, Вакуленко не смог удержаться на ногах и упал в воду. Не лучше выглядели и остальные. И всё же пришлось поднатужиться. Вытащили на берег шлюпку, чтобы её не унесло разгулявшееся море. Разбили палатку и заснули мёртвым сном — сном людей, честно заработавших эти счастливейшие часы своей жизни.

На следующее утро началось строительство. Мы вытащили мокрые брёвна. Довольно быстро сложили их по номерам в сруб. Нескольких брёвен нам не хватило, но не потому, что мы их потеряли или неправильно промаркировали. Перед самым отбытием со станции создатели избушки решили внести в её конструкцию новую архитектурно — строительную струю. Там улучшение казалось удачным, но, складывая сруб на месте, пришлось срочно «штопать» образовавшиеся дырки. Слава богу, кругом было много плавника, и результаты конструктивного новаторства удалось исправить довольно быстро.

О плавнике можно рассказывать много разных историй. Учёные занимаются плавником, изучают, где и как он движется. Когда глядишь на такое бревно, невольно проникаешься к нему уважением. Обычно оно прибыло в океан с Енисея или с Оби. Бревно похоже на сигару. Оно столько лет, а может быть, и десятилетий колобродило по Арктике, что концы его обились и закруглились. Но дело не только в изменении формы. Плавающая сигара становится твёрдой, как слоновая кость. Когда извлечённое из воды бревно просушишь и с трудом распилишь и расколешь, оно горит в печке ярко — жёлтым пламенем, потому что насквозь пропитано морской солью.

Избушка вышла отличной. Посередине стол. По бокам широкие скамьи, они же полати. В уголке камелёк. Потолок засыпали морской галькой, крышу покрыли толем и, как говорят плотники, зашили досками. Всё сделали добросовестнейшим образом, чтобы бушующие там ветры не сорвали кровлю.

Закончили работу. Затопили камелёк, и сырой дом сразу же заполнился паром. Выглядела в этот момент наша избушка как

хорошая баня, но мы блаженствовали.

Постройка была трудом, и не лёгким, но история зимовки недолго хранила на своих скрижалях наши имена. Недавно я приобрёл книгу «Матшар» полярника А.Кузнецова, зимовавшего на той же станции через пять лет после нас. Кузнецов пишет, что посетили избушку, неизвестно когда и кем поставленную. Эта почётная безвестность доставила мне удовольствие и заставила возгордиться. Ведь среди строителей избушки был и я.

На первый взгляд наше строительство было забавой. Трудной игрой взрослых людей. Промысловых задач перед нами никто не ставил, для научных наблюдений в избушке не было ничего оборудовано. И всё же постройка её была делом весьма серьёзным. Во — первых, мы облегчили себе добычу свежего мяса — дело в условиях Арктики никогда не лишнее. Во — вторых, тридцатикилометровые походы до избушки давали очень нужную всем нам физическую разминку. Одним словом, мы создали себе нечто вроде однодневного дома отдыха, куда можно было отправиться в любой свободный день, на любое число дней, не приобретая никаких путёвок. Ну, а где вы найдёте место отдыха, откуда можно привезти домой такие редкие сувениры, как шкуры песцов и белых медведей?

Теперь ещё одна история, связанная с нашей избушкой. Однажды в полярную ночь мы втроём отправились на мыс Канкрин поохотиться. Довольно удачно всё у нас получилось. Убили нескольких медведей, а потом из — за чего — то повздорили. Произошло это, из — за какого — то пустяка, который при всём желании не могу сейчас вспомнить. Но помню, как, обидевшись на своих приятелей, я заявил, что уйду на станцию один. Сказал и сделал, не откладывая в долгий ящик. А дорога предстояла не близкая — примерно около тридцати километров, и стояла глухая полярная ночь.

Идти предстояло пешком. Как известно, снег в Арктике для лыж не очень — то годится. Ветер перегоняет его с места на место, перемалывает в песок и утрамбовывает настолько плотно, что нога на таком снегу не оставляет следа, а лыжи не желают скользить, даже если они смазаны по всей лыжной премудрости. Неудобен мой путь был ещё и потому, что очень часто попадались вмёрзшие льдины и знаменитые арктические заструги. В наших средних широтах это понятие неизвестно. В Арктике же заструги весьма заурядная, хотя и

не очень — то удобная часть пейзажа. Они возникают, если ветер долго дует в одном направлении, превращая поверхность снега в застывшие волны, к тому же волны с козырьками. Вот и изволь прыгать по таким волнам высотой примерно в полметра. И пешком — то трудно, а на лыжах вообще невозможно.

Такова была дорога, по которой я направился домой, сделав это явно сгоряча. Стояла изумительная ночь. Тихо. Никакого ветра. Ни единого облачка. Полная луна. Звёзды выстроились в этой синеве, как на параде. Тёмно — синий небосклон, голубой снег, и я, единственная живая душа в ледяном царстве.

Шёл я, шёл и устал. Мне стало жарко, захотелось присесть и покурить. Напороться на медведей я не рассчитывал, но винтовка у меня была. Я поставил её рядом и принялся закуривать.

Как будто бы хорошо знакомая читателям заурядная процедура, но не торопитесь с выводами. В условиях Арктики она выглядела иначе, чем на московской улице. Дело в том, что шёл я в малице. Малица — одежда сугубо арктическая. Так называют длинную, чуть ли не до пола, меховую рубашку, к которой пришиты капюшон и рукавицы. Эту длинную рубашку приходится надевать через голову. Затем её надо подтянуть, подпоясать кушаком, после чего за пазуху можно положить курево и патроны и прочую мелочь.

Итак, мне захотелось закурить. Я присел на какую — то льдину. Одну за другой втянул руки из рукавов малицы на грудь. Когда руки втянулись и встретились на груди, надо было на ощупь найти кисет с махоркой, бумагу, также на ощупь оторвать бумагу, развязать и завязать потом кисет, насыпать махорку, свернуть сигарку и, зажав её, незаклеенную, в ладонь, аккуратно, чтобы не повредить и не рассыпать махорку, вынести эту сигарку наружу.

Чтобы вынести сигарку и спички, руки опять уходят в рукава. Дело в том, что рукавицы к малице тоже пришиты, но между рукавом и рукавицей есть щель. Когда надо стрелять или курить, то высовываешь через эту щель руки на мороз.

Окончив эту работу, а всё, что я рассказал, продолжается долго и вполне может быть названо работой, я закурил. И вдруг мне стало страшно.

Страшно стало потому, что вокруг была тишина. Её мало назвать мёртвой. Это была абсолютная тишина. Ни скрипа, ни треска, ни

ветра. Видимость на десятки километров. Освещённые полной луной, отлично вырисовывались горы. Звёзды подмигивали, но никакого шума от этого, естественно, не получалось.

Немного отдохнув, остаток пути до станции я проделал не присаживаясь. Одна мысль о тишине вселяла в меня ужас. Когда я шёл, она исчезла. Я прогонял её скрипом моих шагов по снегу, шумом.

Измокший, уставший, напуганный, я пришёл на станцию и, входя в дом, подумал: «Ну и дурак! Это же надо было поругаться и из мальчишеского самолюбия вести себя так глупо. В следующий раз такого уже не будет».

Я лежал на кровати в своей комнатухе и напряжённо думал: почему же это совершенно новое для меня состояние — страх перед тишиной — показалось чем — то знакомым? Потом вспомнил. Несколько строк, приведённых ниже, наверное, известны и вам, читатель:

«У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнётся, небо ярко, как отполированная медь, малейший шёпот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мёртвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх...»

Это написал Джек Лондон в рассказе «Белое Безмолвие». Впоследствии, перечитывая этот рассказ, я понял, что тогда я встретился с ней, с Великой северной тишиной. Я понял, насколько серьёзны такие встречи, и никогда больше не выходил на них один.

В дальнейшем мы не раз путешествовали к этой избушке и никогда не жалели потом, что столько труда пришлось потратить, чтобы её поставить. Походы эти щедро одарили нас интересными встречами с природой, неожиданными наблюдениями.

По мере того как надвигалась весна, мы всё внимательнее присматривались к продухам. Это отверстия, которые тюлени и морские зайцы (морской заяц — это тоже тюлень, только более



крупных размеров) поддерживают, чтобы изредка (я уж не знаю, на сколько времени у тюленя хватает воздуха) выныривать — глотнуть кислорода. К весне продухи совсем протаивают, и тюлени вылезают из этих лунок, ложатся на лёд и греются на солнышке.

В бинокль с мыса Выходного, на расстоянии примерно около километра, может быть поменьше, я увидел однажды, как к лежащему тюленю (а они очень чуткие) по-пластунски подкрадывается белый медведь. Самое интересное, что тюлень изредка поднимает голову, оглядывается — всё ли в порядке, всё ли спокойно, можно ли продолжать отдых, но медведя не замечает. А тот подкрадывался предельно осторожно, распластавшись на снегу, как меховой платок. Он полз на брюхе и одной лапой прикрывал свой чёрный нос, чтобы не выделялся на фоне белого снега.

Наконец медведь оказался совсем рядом, а его жертва так ничего и не замечала. Медведь прыгнул. Но... видимо, это был молодой зверь. Он не рассчитал прыжок и примерно на полметра перемахнул через тюленя. Оглянулся — тюленя не было. И что, вы бы думали, сделал медведь? Он пошёл обратно и два раза прыгал на лунку, пока не отработал достаточной точности прыжка. Молодой охотник за тюленьями явно тренировался и занимался самовоспитанием, не щадя собственного самолюбия.

Сознаюсь, я смотрел на эту картину разинув рот. Всё было как в цирке, где властвует железный закон: не сделал номер — не уходи с арены, пока он у тебя не получится. Ареной был лёд Карского моря, а дрессировщиком — природа. Зверь твёрдо знал, что, если он не отработает номер, останется голодным.

\* \* \*

Арктика была щедра на впечатления, хотя работа и не позволяла часто отвлекаться. В результате год не прошёл, а пролетел. И снова в проливе появился «Юшар». Снова большой аврал. Те, кто приехал, — на берегу, мы, уезжающие, взволнованные и немного счастливые, смотрим на них с борта корабля. Последние прощания. Винтовочный салют. Новая Земля осталась уже за кормой.

После тишины, окружавшей нас на зимовке, Москва показалась оглушительно громким и бурным городом, хотя почти всё оставалось без изменений. На Лубянке, под Китайгородской стеной, на столах и прямо на земле по — прежнему раскладывали свой товар букинисты. Книжный развал, с его безвозвратно ушедшими типами, был живописным зрелищем. Наряду с любителями и знатоками книжной старины здесь действовали и «коммерсанты». Поглядывая в мою сторону, они выкрикивали во весь голос фамилии классиков, а затем, воровато оглянувшись, добавляли:

— Молодой человек, есть неприличные открытки!

Темп жизни изменился. Скрежетали грузовики, автобусы и трамваи, готовые разрезать неосторожного пешехода, как барашка в шашлычной. Извозчики стали ездить строго по правилам, а на главных перекрёстках Москвы, подле столбов с вертящимися стрелками первых московских светофоров, наделённые всей полнотой державной власти, встали первые регулировщики. Вращая огромные стрелки, они пускали в ход и останавливали экипажи с двигателем в одну лошадиную силу. На улицах рождался порядок.

Но перемена заключалась не только в появлении регулировщиков. За год моего пребывания в Арктике Москва обогатилась первыми такси. Была куплена партия автомобилей «рено». Чёрные, похожие на револьверы «браунинг», ручкой вверх, они ещё тонули среди множества извозчиков. Глядя на этих тарахтящих автожуков, москвичи и думать не могли, что разглядывают снаряд невероятной силы. Пройдёт время, и он снесёт Китайгородскую стену, расширит Тверскую, сделав её улицей Горького, — одним словом, будет многим способствовать превращению «большой деревни», старой Москвы, в Москву наших дней.

Уже тогда началась реконструкция. Делалось это пока ещё довольно робко. Все стройки, и большие и малые, были известны наперечёт. Самые грандиозные из них, по современным меркам, выглядели более чем скромными.

На Тверской воздвигалось здание Центрального телеграфа. Окружённое забором, оно стояло в лесах. Ни одного подъёмного крана — всё делалось вручную, даже подъём кирпичей. Их таскал рабочий, называвшийся тогда козоносом. Небольшое приспособление — коза —

позволяло такому носильщику уложить и тащить на спине несколько пудов кирпичей.

С удовольствием ходил я по московским улицам. На Страстной площади ещё возвышался монастырь. В центре площади — окружённое трамвайными путями, одноэтажное здание трамвайной станции. Бронзовый Пушкин ещё стоял в начале Тверского бульвара.

Я люблю Москву. После длительного отсутствия она показалась мне особенно прекрасной. Но любоваться долго не пришлось: меня призвали в армию.

## Бравый солдат Кренкель

*Солдатский сундучок. «Последний нонешний денёчек...» Пижама красноармейца Царёва. Бравый старшина Сагалович. Наряд в столовую. Старушка и её булочки. «Солдат-мотор» в действии. Командир роты Шишкин. Как мы радиофицировали деревню. Военные парады с интервалом в полвека. Встреча со старым другом Рудольфом Абелем. На бирже труда.*

Коротковолновик — что это такое?

Каждый мальчишка мечтает стать военным. Моя мать понимала, что я не исключение из этого правила, и доставила однажды мне большое удовольствие. В нашем доме жил отличный столяр, и вот мама, разумеется, не сказав мне ни слова, заказала этому столяру настоящий солдатский сундучок. Она подарила мне его ко дню рождения, заметив при этом:

— Рано или поздно, но ты станешь солдатом!

Сундучок и впрямь был великолепный. Столяр сколотил его по — добрососедски, на совесть. Сундучок был очень тяжёлым. Что — либо более неудобное просто трудно себе представить. Разумеется, когда меня призвали в армию, я взял с собой мамин подарок. Не описать свой сундучок не могу, хотя к тому времени, когда меня призвали в армию, он давно перестал быть символом солдатской службы.

Портрет моего сундучка хочу начать с маленького отделения наверху. Там полагалось хранить чай, сахар, почтовые конверты, марки, карандаши. На крышке, с внутренней стороны, солдаты в старые времена приклеивали царские портреты и рисунки знойных красавиц, в большинстве своём позаимствованные с обёрток туалетного мыла. Помню одну из таких обёрток — на гребне изумрудной волны, в чём мать родила лежит одна из таких белокурой сирен. Время наложило на этих обольстительниц отпечаток скромности. Они стали появляться в купальных костюмах, а потом и вовсе исчезли, так же как и цари. Одним словом, в моём сундучке ни царей, ни этих наяд не было.

Получив повестку военкомата, я вместе с товарищем, которого тоже призывали в армию, отправился, куда — то за Язу. Хорошо помню двор, огороженный какой — то красивой решёткой, — по всей вероятности, это была школа. Вместе с другими новобранцами мы вошли внутрь, а провожающие остались снаружи. Слава богу, что ни меня, ни моего приятеля никто не провожал. Все, кто пришел проститься с новобранцами, стояли за решёткой, словно в зоологическом саду, и не скупились на напутствия.

Наверное, сказывалось, что большинство мамаш и бабушек выросло ещё в царские времена, потому что наставляли они своих ребят так, словно те отправлялись не на солдатскую учёбу, а в самое пекло страшной войны. Многие плакали, а от женских слёз кое — кому из новобранцев тоже становилось себя жалко. Не лучше вели себя и женщины помоложе: они совали своим ненаглядным куски колбасы и булки, словно эти ребята долго постились, прежде чем нас собрали на этом дворе. Одним словом, как это часто бывает в ситуациях подобного рода, вокруг происходило много нелепого.

Нас построили. Одеты мы были разношёрстно, кто в чём. За спиной составили чемоданы, в ряд которых попал и мой сундучок. Затем нам подали классическую команду:

— Ша — агом марш!

Захватив свои пожитки, мы потопали пешком к вокзалу. Маршировать далеко не пришлось. Нас привели на Курский вокзал и приказали грузиться в товарные вагоны — «сорок человек или восемь лошадей». Двери, как положено, загородили толстыми досками. И мы поехали.

Конечно, сейчас же стали петь песни того репертуара, который долгое время почти не менялся у новобранцев: «Последний нонешний денёчек...», «Как родная меня мать провожала...»

Ехали мы недолго. Поезд остановился. С одной стороны сверкала река. С другой — поднималась крутая гора, на верху которой стоял старинный кремль. То, что он показался нам старинным, не удивительно: нас привезли в один из древнейших городов, более древний, чем Москва, — Владимир — на — Клязьме.

Снова на плечо сундучки и чемоданы. Мы маршируем по подъёму и когда взбираемся вверх, красота открывается неопиcуемая. Даже после Москвы, где стояло некогда сорок сороков церквей,

владимирские храмы производили сильное впечатление. Увы, мы не показали себя знатоками культуры, равно как и ценителями искусства, и с беспардонной наглостью невежд перекрестили город во Владимир — на — Клязьме.

Нас загнали куда — то на окраину. Как во многих провинциальных городах того времени, эта окраина называлась «Америка». В «Америке» и размещались старинные казармы, куда нас привели. Чтобы представить себе облик этих казарм, вообразите большой гостиничный коридор, у которого внезапно исчезли стены, а межкомнатные простенки остались. В этих открытых полукомнатах с короткими табличками, обозначающими номера взводов, нам предстояло прожить свой военный год. Асфальтированный пол. Неистребимый запах сапог, мокрых шинелей и портянок. Всё очень чисто. Всё очень неудобно, как и полагается в казарме.

Наша рота в отдельном радиотелеграфном батальоне была особенной. Её составляли одноклассники — молодые люди, окончившие вузы или техникумы. Народ подобрался разный. Были среди нас и электрики, и архитекторы, и механики, и химики, и даже профсоюзный работник по фамилии Иванов, страшно гордившийся своей исключительностью. Был Иванов парнем с гонором, не упускал возможности напомнить, что он не просто профсоюзный работник, а работник губернского масштаба. Однако этот высокий ранг не вызвал у нас большого почтения к его обладателю, а пара холодных ушатов воды, выплеснутых на него в бане, явно охладила и умерила его ощущение исключительности.

Да, разношёрстное общество собралось в старой казарме. Многие из нас отстали из — за учёбы от очередного призыва и теперь пришли выполнять свой гражданский долг. Естественно, что по своему составу наша рота представляла собой то, что называется обычно «трудный контингент». Разница в возрасте. Высшее образование. Все с норовом, с претензиями. Вот почему нам назначили командира роты, которого я охарактеризовал бы как сильную личность.

Наверное, это уже характер человеческий — вспоминать смешное и забывать неприятное. Вспоминаю сейчас своего командира роты Шишкина с улыбкой, а если отбросить иронию, то перед глазами — совсем другой человек. Он был на своём месте и делал положенное ему дело. Образование у Шишкина было небольшое, но зато был опыт.

Он прошёл гражданскую войну, хотя и не вышел в крупные военачальники, но был служакой. Шишкин научил нас уважать дисциплину, прекрасно понимая, как нужна вся та мелочь, которая была нам тогда скучна и противна. Он прекрасно понимал поставленную перед ним задачу.

Тогда нам всё это было весьма неприятно, но теперь, почти полвека спустя, можно сказать, что воспитывал нас Шишкин с пользой для дела.

— К парикмахеру и в баню!

Сразу же зазвучали вопли и стенания. Пышные кудри, модные причёски — всё полетело на пол. Парикмахер был настоящий, армейский и действовал с военной быстротой и решительностью. На головах оставались и борозды, и непропаханные места. Но это уже никого не волновало. Затем нас повели в баню.

После бани мы приблизились ещё на один шаг к армии. Нам выдали настоящее солдатское бельё — миткалевые рубашки, грубые подштанники, хлопчатобумажные штаны и гимнастёрки, кирзовые сапоги.

Первая ночь в казарме. Ой, как вспоминался дом! Конечно, мы быстро привыкли, но в первую ночь нам всем стало очень скучно.

Впрочем, нашёлся человек, который сумел нас изрядно повеселить. Укладываясь спать, красноармеец Михаил Царёв, будущий народный артист СССР, извлёк из своей тумбочки элегантную полосатую пижаму. Казарма радостно заржала, и на неположенный шум прибежал старшина. Он мгновенно оценил обстановку и, по возможности вежливо, объяснил, что солдату пижама не положена. Царёв грустно посмотрел на пижаму и с нескрываемым сожалением убрал её в тумбочку.

Тумбочка была обязательным предметом мебелировки казармы. Кровати стояли рядами, а между ними — стандартные грубые тумбочки. Одна на двоих.

Началась армейская служба. Нашим непосредственным начальником был старшина по фамилии Сагалович. Очень бравый был этот старшина. Гимнастёрка, точно такая же, как на любом из нас, сидела на нём совсем иначе — без единой складочки, без единой морщинки. Сапоги всегда начищены до зеркального блеска —

отличный образец для нас, молодых солдат, по существу ещё новобранцев.

Был старшина Сагалович справедлив, но строг. Когда через несколько месяцев нас стали пускать по воскресеньям в город, получить у Сагаловича увольнительную сразу не удавалось никому. Осмотрев красноармейца с головы до ног и не найдя каких — либо видимых глазу дефектов, Сагалович говорил:

— А ну-ка принеси винтовку!

Винтовки, знаменитые трёхлинейки образца 1891 года, стояли при входе в казарму, у дежурного, в деревянной стойке. Принести её было минутным делом, но можно было и не торопиться.

Взяв винтовку в руки, Сагалович откидывал прицельную рамку, вынимал из кармана перочинный ножичек, неторопливо заострял кончик спички и начинал водить по насечённым на прицельной рамке цифрам. А так как винтовку полагалось протирать маслом, то естественно, что после подобных упражнений кончик спички чернел. Старшина подносил её к глазам хозяина винтовки:

— Это что? — и, не дождавшись ответа, говорил сам: — Это грязь.

Как известно, спорить с начальством бесполезно. Оставалось лишь уныло мотнуть головой и подтвердить:

— Так точно, грязь!

После этого мы исчезали минут на десять и, покурив, но, даже не прикоснувшись к винтовке, снова появлялись перед очами нашего всевластного старшины. Сагалович брал винтовку в руки, бегло осматривал и говорил:

— Вот теперь порядок! Можете идти!

При выходе в город строжайше запрещалось заходить в питейные заведения. Но запретный плод сладок, и потому хотя и с оглядкой, но мы туда тянулись. Вернее, не в заведения, а в заведение, так как оно было единственным на весь город.

Около рыночной площади, как во всяком старом русском городе, стоял гостиный двор — сооружение, растянувшееся на целый квартал. Там, где некогда размещались лавки купцов, темнели галереи и склады. Рядом с рынком и гостиным двором — единственная гостиница, вывеска которой являла собой классическое смешение французского с нижегородским.



Гостиница называлась «Нотель». Первая буква «Н» — из латинского алфавита. Все остальные — русские, и для вящей убедительности на конце мягкий знак. Видимо, маляр, писавший эту вывеску, что — то слышал о латинском шрифте, хотя и не знал его.

При этом «Нотеле» имелся и ресторан. В 1925 году, когда я служил во Владимире, там ещё сохранился, правда, в зело, слинявшем и обшарпанном виде. Бывший ресторанный шик — шик заведения самого низкого пошиба. Лоснящиеся от грязи и захватанные бархатные портьеры. Просиженные пружины, подобно ежовым иглам торчавшие во все стороны из таких же потёртых, некогда бархатных диванов. И, конечно, неизменные, многократно описанные сатириками и фельетонистами шишкинские медведи, превращённые смелой кистью копииста то ли в крыс, то ли в кроликов.

В наши дни солдата, попавшего на службу в город, ставший в какой — то мере национальной гордостью (а Владимир был именно таким городом), конечно, поспешили бы познакомить с его историей, с памятниками архитектуры. Тогда же ни то ни другое не было в моде. Лозунг «Религия опиум для народа» широко провозглашался в самых разных органах печати, а проводить грань между вредностью религии и красотой архитектуры или церковной живописи тогда ещё не все умели.

Но пожаловаться, что нас не воспитывали, не могу. В казарме был красный уголок, политрук проводил с нами беседы, на стенах висели плакаты: «Красноармеец — полноправный гражданин СССР», «Винтовка защитит, книга вразумит — владей и тем и другим».

Иногда воспитание приобретало несколько иной характер. Наша рота возвращалась с учений по главной улице, которая и по сей день, носит название улицы Третьего Интернационала. Приблизившись к центру города, колонна втянулась под Золотые ворота. Шли мы в казарму усталые, еле волоча ноги, но нельзя же показать жителям городка усталость и расхлябанность такой грозной боевой единицы, как наша рота! Раздаётся команда:

— Ногу! Ногу!

Сначала мы чётко отбиваем шаг, а потом опять бредём не очень стройно. И тогда, для оживления боевого духа, наш взводный петушиным голосом командует:

— За — апевай!

Какое уж тут петь! Казалось бы, одно — донести измученное ратными подвигами тело до казармы. Но приказ есть приказ, а я — запевала:

Мы красная кавалерия.  
И про нас  
Былинники речистые  
Ведут рассказ  
О том, как в ночи ясные,  
О том, как в дни ненастные  
Мы гордо, мы смело  
в бой идём...

Мой гнусавый голос беспомощно растворяется в воздухе. Песня явно не получается, но наш командир неумолимо твёрд:

— За — а — апевай!

Никто не подхватывает. И команда меняется:

— Газы!

Мы раскрываем противогазы, как положено по уставу, продуваем клапаны и натягиваем маски. Кто похитрее, спешит заложить за ухо спичечную коробку, чтобы легче дышалось.

Наш марсианский вид явно радует мальчишек. Нам почему — то он удовольствия не доставляет, и минут через пять мы радуемся, услышав новую команду:

— Снять противогазы!

Воспитательная сила взводного побеждает наше упорство. Вопреки усталости, выдержав тяжесть нескольких «газовых атак», наши вокальные способности прорезаются. И как полное самоутверждение звучат на весь город слова песни: «Мы гордо, мы смело в бой идём...»

Рота насчитывала около двухсот человек, но благодаря высокому росту я часто бывал правофланговым. Так бывало и когда нас посылали в наряд, и когда откомандировали на разные работы, и когда, разбившись на пятёрки, мы маршировали в столовую на обед.

Если я попадал в столовую как первый номер наряда, то в мои обязанности входило получить большую миску с супом на десять человек (две пятёрки). Одновременно второй номер получал

алюминиевые ложки и плошки, брал хлеб. Я разливал суп быстрее всех. Но разлить суп по плошкам — лишь часть задачи. Нужно было ещё сделать и так, чтобы каждый получил свою порцию мяса.

Кусочки варёного мяса насаживались на деревянную щепку. Эта щепка напоминала шампур для шашлыка. Взяв её в руки, я очень быстро раскладывал, вернее, расшвыривал, мясо по алюминиевым плошкам. Моя стремительная деятельность очень нравилась командиру батальона. Он частенько приходил, смотрел и с откровенным удовольствием говорил мне:

— Ну, Кренкель, суп ты разливаешь, как артист!

Как и положено солдатам, на аппетит мы не жаловались. Кусок чёрного хлеба каждый мог слопать в любое время дня и ночи. Не удивительно, что торговка французскими булочками, приходившая со своей корзиной к воротам казармы, пользовалась у нашего брата неизменным успехом.

И булки были хорошие, и торговка, которая приносила их к казарме, тоже была очень хорошая. Она отпускала нам булки в кредит. Она нам доверяла:

— Голубчик, подожду, подожду!

Старушка была безграмотная, но всех помнила, а главное, никогда не ошибалась в том, кто и сколько ей должен. Нам это уже не надо было помнить. Придётся к ней:

— Бабушка, сколько я тебе должен?

— Вот, голубчик, два рубля десять копеек. Тридцать булочек взял...

На неё можно было положиться. Это была честная, добрая старушка, и булки её вспоминаются и сейчас.

Сильно досаждали мне занятия по физкультуре. Сам не знаю почему, я не умел, как следует бегать. Разные пробеги (а в годы военной службы их, было, разумеется, предостаточно) стали для меня форменной катастрофой. Рота всегда приходила раньше меня. Все знали — последним, едва переводя дыхание, прибежит Кренкель. Не нужно объяснять, что я быстро превратился в мишень для острот, в оселок, на котором с неослабевающим упорством мои товарищи оттачивали своё остроумие.

Иногда ночью нас поднимали по тревоге. Через три минуты после сигнала полагалось стоять во дворе, в строю. Это удавалось не всегда и

не всем. Самым хитрым из препятствий, возникавших при исполнении этого будоражащего приказа, становилась портянка. Нужно было намотать её правильно и быстро.

Частенько, когда рота выстраивалась во дворе, внимание её превосходительству портянке уделял командир роты, а иногда даже и сам командир батальона. Эта процедура нам не нравилась. Да и что могло нравиться, когда выдернут из строя человека и предлагают ему разуть сапог и показать, как намотана портянка. Не приведи господь, если тот, на кого пал тяжкий жребий, намотал портянку неправильно! Тотчас же и во всеуслышанье, чтобы не только дошло до каждого, но и укоренилось у него в мозгу, начиналась рацея: «Вот если сейчас без остановки пришлось бы пройти пятьдесят километров, что бы получилось с вашими ногами? Вы бы как боец вышли из строя!» Командирское красноречие лилось полноводной рекой. Мы выслушивали разнос с серьёзными лицами. Улыбаться не полагалось.

Нам казалось, что портяночным разносам не будет конца. Однако довольно скоро они прекратились. И не потому, что командиры подобрили или портянка потеряла в их глазах значение. Всё было гораздо проще — мы научились наматывать портянки быстро и хорошо.

За портяночной учёбой, эдаким przygotowительным классом для новобранцев, начались занятия более серьёзные. Мы изучили винтовку, научились стрелять и начали осваивать радиотехнику. И вот тут — то остроумие моих приятелей по поводу того, что я плохо бегаю, быстро иссякло. Я был одним из немногих, кого армия признала готовыми радистами. За год четырежды побывал на разных манёврах, работая на радиостанции.

Хорошо помню, как, оглашая воздух холостыми выстрелами, мы штурмовали город Алексин. Построив наплавной мост, мы форсировали Оку, и, оказавшись на противоположном берегу, я отстучал по этому поводу в штаб тщательно зашифрованную победную радиореляцию.

Маленькая радиостанция, которую мы развернули, форсировав реку, была переделана из старой искровой. Это было, как говорится, издание переработанное и улучшенное. Но тогда она имела все основания считаться новой техникой. Радиостанция АЛМ была

впервые оборудована ламповым передатчиком, поступившим на вооружение Красной Армии.

Не помню, как назывался источник питания нашей радиостанции официально, по строгой терминологии радиотехники, но мы его быстро окрестили «солдат-мотором». «Солдат-мотор» принадлежал к числу чрезвычайно простых, а потому особенно надёжных двигателей. На два седла, прикреплённых к велосипедной раме, усаживались два солдата и, поставив ноги на педали, начинали работать. Они отчаянно крутили умформер, а я, наблюдая за этим стремительным бегом на месте, только покрикивал:

— Ребята, поднажми! Напряжение падает!

Доставалось ребятам крепко. Крутить «солдат-мотор» было тяжким испытанием. Требовала эта работа людей большого веса и большой физической силы. Иначе невозможно было выжать из передатчика его технические характеристики. И хотя радиус действия радиостанции АЛМ считался семьдесят пять километров, достигался он далеко не всегда.

Сначала у меня была другая радиостанция. Её возила «установка», где всего было по два: два экипажа, в каждом по два колеса, две лошади, два человека (ездовой и радист.) В первой двуколке — радиостанция «Телефункен», во второй — телескопическая мачта антенны. АЛМ обходилась без конной тяги. Она была разборной и транспортировалась на плечах тех же солдат, которые её обслуживали. Экипаж состоял из пяти человек: начальник, два радиста и два солдата, крутивших «солдат — мотор».

Спустя много лет на очередном Дне радио в президиуме торжественного заседания я встретился с конструктором радиостанции АЛМ — знаменитым и очень уважаемым в мире радистов человеком — академиком Александром Львовичем Минцем. Как предписывала торжественность минуты, естественно, занялись воспоминаниями. Воспользовавшись тем, что в зале собралось много молодых солдат из радиочастей, я рассказал о своей работе на станции АЛМ в 1926 году. Александр Львович с интересом выслушал мой рассказ.

Много практики дали мне летние лагеря. Это был общевоинской лагерь, довольно далеко от Владимира, и наша рота числилась в нём отдельной самостоятельной единицей, находившейся на особом положении. Конечно, мы подчинялись лагерному начальству. Но,

кроме этого, наш командир роты Шишкин во всей полноте власти, которую давали кубики в его петлицах, имел право назначать собственные тревоги и собственные походы.

Шишкин был верен себе и гонял нас без жалости. Кроме общелагерных походов, нам, радистам, приходилось участвовать и в тех, которые назначал Шишкин. Приходилось пройти тридцать — сорок километров, потом запустить наш знаменитый тандем, накрутить какую — то депешу, которая из — за недостаточной слышимости не всегда доходила до лагеря, затем сворачиваться и топтать обратно.

Наш командир роты обычно проводил такие дополнительные учения накануне общелагерного сбора. Что говорить, было тяжело, но эта напряжённость развивала выносливость, вырабатывала, как говорят спортсмены, второе дыхание. Не знаю, как моим однополчанам, а мне это впоследствии пригодилось.

Конечно, в армии чисто военные дела — главное. Но не могу не рассказать о той большой культурно — просветительной работе, которую мы проводили. Армия многим способствовала и борьбе с неграмотностью, и уничтожению медвежьих углов, которых тогда, особенно в сельских местностях, было ещё много.

В ту пору было очень в моде шефство.

У нашей воинской части была подшефная деревня. Туда — то и отправили меня однажды с одним из моих товарищей. Наш шефский долг состоял в радиофикации этой деревни, где командование поручило поставить детекторный радиоприёмник.

Дело было зимой. Дали нам двух оседланных лошадей. И вот впервые в своей жизни я взгромоздился на лошадь. С видом бывалых кавалеристов мы поскакали через весь Владимир в подшефную деревню.

Поначалу наш рейд выглядел триумфальным шествием. Мы установили детекторный приёмник. Ветхие старички и старушки послушали радио. Поохали, поудивлялись. Одним словом, всё происходило точь — в — точь как в многочисленных газетных статьях, описывавших проникновение радио в деревню. Обилие такого рода литературы освобождает меня от подробных описаний стариковских восторгов, действительно имевших место...

С чувством людей, выполнивших свой нравственный долг, мы возвращались обратно. Лошадей пустили галопом. Мы очень торопились. Причина нашего стремления вернуться поскорее домой, в казарму, была вполне определённой. Мы были люди в кавалерийском деле неопытные. Когда начался обратный путь, стало так больно, что сидеть верхом просто не стало мочи. Кое — как добрались до Владимира и, о радость, на одной из окраинных улиц обнаружили извозчика, дремавшего вместе со своей клячей. Мы страшно обрадовались. Правда, денег у нас было мало, и мы сэкономили их, высчитывая каждую копейку. Какие уж у солдата деньги! Но боль была так велика, что, решительно отбросив в сторону проблемы экономики, мы немедленно наняли извозчика. Привязав сзади к его санкам верховых лошадей, покатали в казарму, блаженствуя от передышки, которую дали мягкие сиденья санок.

Выехали мы на главную улицу, и вдруг навстречу идёт наш политрук. Лицо его изобразило пёстрый букет эмоций, который читался с лёгкостью открытой книги. И мы, и извозчик прочли эту книгу немедленно. Извозчик сказал:

— Тпру!

Мы кубарем вылетели из санок, взяли под козырёк и застыли по стойке «смирно».

— А вы, куда это казённых лошадей ведёте на привязи?

Не буду описывать короткое, но энергичное следствие. Приговор был вынесен без промедлений. Каждому из нас выдали по двадцать четыре часа гауптвахты. Так печально закончился наш благородный поступок по радиофикации деревни.

Наша часть — первый отдельный радиотелеграфный батальон — участвовала в парадах, которые по праздникам проводились во Владимире. Как и положено такому провинциальному параду, он проходил торжественно, но скромно, на площади неподалёку от одного из старейших зданий владимирского кремля, вобравшего в своё чрево все местные официальные учреждения.

Наш батальон демонстрировал владимирцам великолепие своей техники — несколько радиостанций на двуколках, старых — престарых радиостанций системы «Телефункен», бывших новинками ещё в русско-японскую войну. Мы выстраивались. Раздавалась команда:

— К церемониальному маршу, первая радиостанция, на дистанцию одной радиостанции от радиостанции — ша — а — агом марш!

И под звуки оркестра мы начинали поход перед импровизированными трибунами.

Почти полвека спустя, когда в праздничные дни я смотрю по телевизору военные парады на Красной площади столицы, я неизменно вспоминаю наши первые парады во Владимире. Внушительное зрелище успехов радиотехники открывается на экране. Радиостанции установлены на машинах генералов и офицеров, на танках и бронетранспортёрах, у артиллеристов и миномётчиков. Радиоаппаратура скрыта в грандиозных корпусах межконтинентальных стратегических ракет, которые величественно завершают парад.

Всегда, когда я любуюсь этой картиной, звучат у меня в ушах слова старой команды младенческих лет радио: «На дистанцию одной радиостанции — шагом марш!» Что говорить: за полвека в этом марше пройдена большая дорога.

Год, наполненный трудной солдатской службой, пролетел незаметно. Наконец нас выпустили. Я был одновременно и выпускником и выпускающим. Выпускником потому, что вместе со своими товарищами завоёвывал себе звание командира, а выпускающим, потому что приходилось заниматься инструкторскими делами и обучать красноармейцев азбуке морзе.

Жизнь сложилась так, что впоследствии я встречался с очень немногими. Среди этих немногих оказался и мой друг, койка которого стояла рядом с моей, по другую сторону громоздкой солдатской тумбочки.

Это был очень интересный молодой человек, умный, интеллигентный, располагающий к себе. Он на лету схватывал всё, что относилось к технике, и прекрасно рисовал, бесшумно оформляя нашу стенную газету и другие общедоступные средства ненаглядной агитации. И рассказчик был отличный.

За год службы мы сдружились. Вместе чистили картошку во время нарядов на кухню, вместе заглядывали в «Нотель», когда старшина Салагович давал нам увольнительную, учил я его азбуке морзе, которая впоследствии ему не раз пригодилась в жизни. Одним



словом, мы испытывали друг к другу явные симпатии, но жизнь развела нас по разным углам, и возникший в дружбе перерыв затянулся почти на полвека.

Встретились мы в 1965 году, через сорок лет после того, как отслужили в отдельном радиотелеграфном батальоне. Свёл нас случай. Однажды я шёл с Кузнецкого моста на улицу Кирова и, проходя по Фуркасовскому переулку, мимо здания Комитета государственной безопасности, увидел удивительно знакомого человека. На нём была модная шляпа с маленькими полями и зарубежный макинтошик. Узнали мы друг друга сразу же, с первого взгляда.

— Здорово!

— Здорово, Эрнст!

— Ну, как дела?

Задал я этот традиционный вопрос, и даже как — то не по себе стало: идиотский вопрос! Сорок лет не видеть друг друга и спросить, как дела. Это надо уметь.

— Ты что, на пенсии?

— Нет, работаю.

Мой друг показал большим пальцем через плечо на здание КГБ и сказал:

— Здесь работаю!

— Как же тебя занесло сюда?

— А я тут работаю музейным экспонатом.

— Интересное амплуа. А что же оно всё — таки значит?

Тогда вместо ответа он спрашивает:

— Слушай, Эрнст, а ты иностранные газеты читаешь?

— Нет, ни одной, кроме «Вечерней Москвы».

И тогда мой друг просветил меня. Прощался я сорок лет назад с молодым радистом, а встретил знаменитого разведчика полковника Рудольфа Ивановича Абеля, которого обменяли на сбитого нашей ПВО американского лётчика Пауэрса.

Мы записали телефоны друг друга. Так через сорок лет возобновилась наша дружба.

О своей деятельности Рудольф Иванович предпочитает не распространяться, а я не чувствую себя вправе задавать лишние вопросы. Однако в своё время из статьи «Рудольф Абель перед американским судом», появившейся в №№ 4 и 5 журнала «Советское

государство и право» за 1969 год, я узнал, как героически вёл себя мой друг.

Чтение этой статьи произвело на меня впечатление не столь новыми фактами, сколь мыслями, которые эти факты пробудили.

Герой Советского Союза лётчик — испытатель М.Л. Галлай сформулировал однажды, что означают в его глазах трусость и храбрость:

«Инстинкт самосохранения — естественное свойство человека. Людей, которые относились бы к грозящим им опасностям совершенно равнодушно — нет.

Вся разница между так называемыми „храбрыми“ и так называемыми „трусливыми“ заключается в умении, или, наоборот, в неумении действовать, несмотря на опасность, разумно и в соответствии с велением своего долга — воинского, служебного, гражданского, а иногда и написанного — морального.

Со временем подобный образ действий входит в привычку. И тогда „храбрый“ человек приобретает прочный, почти автоматический навык загонять сознание опасности куда — то в далёкие глубины своей психики так, чтобы естественная тревога за собственное благополучие не мешала ему рассуждать и действовать быстро, ловко, чётко, не хуже, а лучше, чем в обычной обстановке».

Эти высказывания мне понравились, и я показал их Рудольфу Ивановичу. Абель задумался, помолчал, а потом медленно сказал:

— Работа разведчика, лётчика — испытателя, верхолаза, пожарника требует большой собранности, умения быстро разобраться в обстановке и принять то или иное правильное решение, которое диктует обстановка. Сказать, что в этот момент лётчик — испытатель, даже когда у него барахлит самолёт, пугается, или разведчик, когда его арестовывают, пугается, или верхолаз, когда он поскользнётся, пугается, — нельзя. Каждый из них, в сущности, готовится к такому всю свою жизнь. Это его профессиональная обязанность — не теряться и найти правильный выход из положения.

— Ну, а можно к этому привыкнуть, к постоянной опасности? — спросил я.

— Можно.

— И ты её понимаешь или нет?

— Привыкать можно, только поняв. Если ты её не понял, то ты просто дурак!

Рудольф Иванович сказал, как отрезал. А я сидел молча, вспоминая то, что прочитал в статье, где описывалось его судебное дело.

Летом 1957 года в номер гостиницы, где спал Абель, ворвалось несколько человек в штатском. Отрекомендовавшись, они заявили:

— Мы знаем о вас, полковник, всё!

Угрожая арестом, они стали склонять Абеля к измене, к сотрудничеству. Несмотря на то, что застали его в трудную минуту — в ту ночь у Рудольфа Ивановича был сеанс связи с Москвой и ряд шифровальных принадлежностей, извлечённых из специального тайника, находился в этом же гостиничном номере, — он встретил атаку детективов твёрдо, спокойно и решительно отказался от всех «заманчивых предложений». Абель был немедленно арестован, и, несмотря на отсутствие доказательств — Рудольф Иванович сумел уже после ареста спустить в унитаз шифр и полученную из Москвы радиogramму, — он был отдан под суд. Ему грозила смертная казнь. Его обвиняли пять прокуроров. Но несокрушимая воля, мужество, природный ум и высокая культура позволили Рудольфу Ивановичу выдержать этот потрясающий поединок, названный на языке юстиции «Дело № 45094. Соединённые Штаты против Рудольфа Ивановича Абеля».

Таков мой друг по военной службе. Недавно в сборнике «Чекисты», выпущенном издательством «Молодая гвардия», он подарил мне эту книгу с очень приятной для меня надписью: «Учителю азбуки морзе, старому товарищу, уважаемому человеку, другу и товарищу на память».

Но вернёмся к дням моей юности. Кончился год службы, и красноармейцы нашей роты одногодичников стали командирами взводов запаса. На воротниках шинелей появилось по кубику в каждой петлице. Если перевести это на язык современных званий, мы стали младшими лейтенантами.

Звание было не из высоких, но мы страшно гордились и поспешили снять солдатские ремни, чтобы приобрести командирский вид. Конечно, снять ремни было недолго, но шинели нас немедленно выдавали. За год они были вытерты, да так, что сомнений в том, что

командира только что испекли из красноармейцев, не оставалось ни на минуту.

Осенью 1926 года нас демобилизовали, и мы разъехались по домам.

В те времена в Москве была безработица. Я, как демобилизованный, отправился на биржу труда. Была она в центре города, в двух домах — на углу Рахмановского переулка и Петровки, а также там, где за маленьким палисадничком сейчас находится Министерство здравоохранения.

Большой зал. Вечно толчётся народ. Проходишь на регистрацию.

— Нет, сегодня спроса нет. Ни по какой специальности нет.

В конце концов меня направили на часовой завод, около Белорусского вокзала. Пошёл я туда, оформился в цех, где мне поручили собрать какую — то радиодеталь. Тогда уже стало развиваться радиолюбительство и началось производство кое — каких деталей. За отсутствием радиозаводов их делали на часовых.

Собрал я порученный мне узел. Мастер подошёл, посмотрел и сказал:

— Никуда не годится.

Стал собирать новый. Собрал — опять не годится. Короче говоря, через два дня я оттуда сбежал. Пришёл на биржу труда, объяснил, что у меня ничего не получилось.

— Ну, хорошо, запишем вас опять! Опять поставим на очередь!

Следующее назначение я получил на Московский почтамт, на улицу Кирова, напротив Чаеуправления. Стал я заниматься тем, что раскидывал посылки по направлениям. Читал адрес на посылке и кидал её в соответствующую кучу. Всё это грузилось на трёхколёсные тележки, а затем перегружалось на автомобиль. Этим я занимался довольно долго. Так что, по существу, я не порывал с Министерством связи.

Я был уже радистом, но таскал посылки, хотя такого рода занятия, естественно, большого удовольствия мне не доставляли. Я рад был бы заняться чем — то другим, более интересным, но не находил выхода из положения, в которое попал. И вот однажды я придумал.

Не буду делать секрета ни из идеи, ни из её реализации. Напротив, посвящу этой истории большую часть последующей главы, но чтобы читатель не заблудился в дебрях технических подробностей,

постараюсь, по возможности кратко охарактеризовать отношение радиотехники тех далёких дней к коротким радиоволнам, едва успевшим получить первые права гражданства.

Победоносное вторжение коротких радиоволн в мир практической радиотехники повторило историю многих изобретений и открытий, сделанных человечеством со времён знаменитого яблока Ньютона.

После первой мировой войны на армейских складах разных стран скопилось большое количество неиспользованной аппаратуры. Эта радиоаппаратура старела, обесценивалась, а множество радиолюбителей в это же самое время мечтало получить в свои руки такого рода приборы и аппараты. И когда радиолюбители сумели проявить достаточную настойчивость, было решено продать им этот старый, дорогой, но по существу никому не нужный хлам.

Однако едва успели удовлетворить первое требование напористой молодёжи, как возникло другое:

— Дайте частным лицам разрешение на работу индивидуальных радиостанций. Не держать же аппаратуру, как украшение на комодах.

Вопрос был сложный. Если разрешить, любители будут мешать правительственным радиостанциям, в эфире возникает хаос, пострадают государственные интересы. Не разрешить тоже не очень удобно...

И тогда какой — то хитроумный человек придумал выход: разрешить любителям работу на волнах короче двухсот метров. Этот диапазон профессионалами не использовался. Он считался никчемным и бросовым. Автор этой идеи, равно как и его коллеги, был убеждён, что любители сумеют держать связь друг с другом в пределах одного рода, максимум. С такими, дескать, волнами больших расстояний не завоюешь и эфир особенно не засоришь.

Автор этого предложения не стремился афишировать своё имя. Жёсткие ограничения длины волн не сулили ему любви радиолюбителей. Опасаясь их гнева, этот неведомый радиозаконник ушёл от славы. Его имя осталось неизвестным и потеряно для истории, хотя этому человеку, вероятно, надо было бы поставить памятник как отцу коротких радиоволн.

Дело в том, что очень быстро попытки освоения коротких волн радиолюбителями приняли совершенно неожиданный оборот: один из них, пользуясь самодельной аппаратурой, установил связь с

любителем на другом материке. По сравнению с тем, что требовалось по расчётам для такой же связи на длинных волнах, мощность передатчика была в несколько десятков раз меньше.

Учёные всполошились. Шло насмарку большое количество прежних расчётов. Установившиеся понятия сразу же устарели. Всё приходилось пересматривать заново.

А пока взволнованные учёные разбирались в природе коротких волн, любители продолжали своё дело. Когда глухой ночью тускло светилось в огромном доме единственное окно, можно было не сомневаться, что, примостившись в уголке у своих аппаратов, затенив лампу, чтобы не мешать спящим домочадцам, — работает радиолулюбитель.

Не разбираясь ещё как следует в технике приёма коротких волн, я попросил одного парня, кое — что знавшего об этом, сделать мне приёмник. Он вытянул из меня довольно много денег, но сделанный им приёмник не работал. И всё же, несмотря на явную неудачу, короткие волны меня заинтересовали. В радиолулюбительском журнале (к сожалению, сейчас это не делается) было приложение для коротковолновиков. Оно печаталось на цветной бумаге и стало моим первым руководством в этой области радиотехники.

К тому времени уже имелись коротковолновики, активно действующие в эфире. И вот я познакомился с одним таким коротковолновиком по фамилии Юрков. Этот восьмой по счёту радиолулюбитель — коротковолновик жил в доме напротив военного универмага на Воздвиженке (ныне — проспект Калинина). Как — то вечером я зашёл к нему и увидел предмет моих вожделений по части коротких волн — фанерную коробку примерно 40?40 сантиметров. Одна большая катушка из толстой медной проволоки и две лампы. Мне было объяснено, что это сооружение из фанеры, двух лампочек и одной катушки из красной меди и есть коротковолновой передатчик. Сознаюсь, что этот бесхитростный аппарат породил у меня множество мыслей...

В неказистом фанерном ящике, начинённом лампами и проволочками, рождается по твоей воле радиоволна. Вот она побежала во тьме ночной по проводу на крышу и там сорвалась, чтобы с непостижимой скоростью, протыкая облака, мчаться в стратосферу, в межпланетное пространство до отражающего слоя. Здесь, на высоте

сотен километров, волна, дробную часть секунды назад созданная мановением твоей руки, меняет направление и под каким — то углом возвращается на грешную землю. Затем опять отражается и снова уходит ввысь. Так гигантскими скачками, то вверх, то вниз, волна бежит, опоясывая весь земной шар. Кто же примет её, услышит и ответит? Это, может быть и вероятнее всего, такой же страждущий энтузиаст из соседнего квартала. Но ведь может ответить и антипод — человек с противоположного полушария! Правда, антиподы — товар кий, отвечают они не каждый раз и не каждый день, но в погоне за таким случаем одна из существенных причин радиоспорта. Установить самую дальнюю, самую интересную, самую необычную связь — мечта любого радиолюбителя — коротковолновика.

В начале 1926 года я уже имел официальный позывной EV2EQ и работал в маленькой комнате, где жили мы с матерью. Окна выходили во двор. Двор был как узкий тёмный колодец. Ни одного солнечного луча ни в один из часов суток в нашу комнату не попадало. Я взобрался на крышу, сделал антенну и в уголке устроился со своими самодельными передатчиком и приёмником.

Первые связи были, конечно, с москвичами, а потом появились и европейцы. Очень быстро я вошёл в курс всех этих радиолюбительских дел.

Поразительные и первое время просто непонятные результаты требовали документального подтверждения. Вот по этой причине и родилась карточка — квитанция радиолюбителя — коротковолновика.

Если включить приёмник, то в любое время суток слышна работа радиолюбителей. О чём идёт разговор? Мощность передатчика, какой приёмник, антенна, местонахождение, имя, стаж любительской работы, наличие тех или иных дипломов, погода. Каждая связь заканчивается просьбой о присылке квитанции, а партнёр отменно вежливо обещает её прислать.

Но как же изъясняются радисты?

Появился своеобразный жаргон — довольно небольшой список сокращённых английских слов, полностью охватывающих все наши интересы. Следовательно, для связи с коротковолновиком любой страны совершенно не обязательно владеть английским.

Итак, квитанция является подтверждением, что связь состоялась. Как выглядит карточка?

Возьмём любую. Основное — это личный сигнал радиолюбителя, так сказать его радиоимя. В центре крупно изображён позывной; одна или две буквы говорят о государственной принадлежности радиолюбителя, затем цифра — это соответствующий район, и затем ещё несколько букв. Они всегда различны, и именно они означают собственное имя коротковолновика. Это основа основ. Всё остальное зависит от личных вкусов собственника квитанции. Житейская мудрость гласит, что у десяти человек бывает одиннадцать мнений, тем более вкусов, но та же мудрость говорит, что о вкусах не спорят. Каждый хочет, чтобы его квитанция была оригинальной, броской и запоминающейся. Чего — чего только нет на карточках! Достопримечательности того места, где живёт радист: белые медведи и крокодилы, пингвины и кокосовые пальмы, живописные развалины замка, гиганты индустрии.

Есть квитанции академически строгие, классические. Есть легкомысленные — с игривыми девушками. Есть с библейскими изречениями, хотя, как известно, господь бог сравнительно мало интересовался радиотехникой. Наиболее популярна карточка с фотографией владельца на фоне его аппаратуры.

Сравнительно недавно любители помещали полученные квитанции на стенах. Сейчас это считается дурным тоном. Да никаких стен и потолков не хватит. Теперь на стенах появились дипломы. Их великое множество. Большинство учреждено различными национальными обществами коротковолновиков.



## Длинный рассказ о коротких волнах

*Мошенничество или инициатива? Снова на Новую Землю. Перед Маточкиным Шаром в Нижний Новгород. Гостеприимство нижегородцев. Знакомство с М. А. Бонч-Бруевичем и В. В. Татариновым. Мой ровесник — ученый с мировым именем. С аппаратурой в Архангельск. Столица деревянного царства. Коротковолновый конфуз. Первая связь Новая Земля — Баку. Короткие волны получают в Арктике права гражданства.*

На косогоре внешнего проезда Рождественского бульвара стоял и поныне стоит капитально построенный каменный дом. В 1926 году в нем размещалось московское представительство Нижегородской радиолaborатории.

Эта лаборатория вошла в историю отечественной радиотехники как колыбель всего большого и нужного, что мы имели в области радио. Большинство наших выдающихся ученых старшего поколения вышло из этого важнейшего очага культуры и техники.

В один из осенних дней я подошел к дому на Рождественском бульваре. Прочитав вывеску, не слитком уверенно переступил порог и спросил:

— Могу ли я видеть кого-либо из руководителей?

Учреждение было спокойным, посетителей здесь бывало не так уж много, и секретарша без всяких околичностей направила меня в соседнюю комнату.

Единственным обитателем этой комнаты оказался инженер Н. А. Никитин — крупный добродушный блондин, которого едва можно было разглядеть за стопками книг и грудой журналов, наваленных на столе.

— Садитесь, молодой человек. Слушаю вас.

Не нужно было быть особенно наблюдательным, чтобы определить мою причастность к морским делам: об этом свидетельствовали потертый бушлат и не менее помятая фуражка.

— В 1924 году я зимовал радистом на полярной станции в Маточкином Шаре на Новой Земле. Теперь опять собираюсь в

Арктику.

— Это прекрасно, но чем могу быть полезным?

— Я увлекаюсь короткими волнами, смастерил коротковолновый передатчик, приемник и вот теперь по ночам шарю в эфире и работаю с нашими и зарубежными любителями.

— Очень интересно, но все-таки что же привело вас ко мне?

— Гидрографическое управление намерено провести опыты по связи на коротких волнах в Арктике. Мне предложено договориться с вами о деталях этой работы. Управление установит аппаратуру, которую вы нам дадите, я обеспечит ее работу. Видимо, это дело будет поручено мне.

Я не поперхнулся и не покраснел, хотя далеко не все в моем заявлении соответствовало действительности. Кроме упоминания о зимовке на Новой Земле и увлечении короткими волнами, мой рассказ представлял собой святую ложь. Желаемое выдавалось за действительность.

Наверное, это был не лучший поступок в моей жизни, но уж очень хотелось, чтобы все произошло именно так. Хотелось с хорошей аппаратурой отправиться в Арктику, хотелось поработать на коротких волнах там, где на них еще никто не работал.

По молодости лет я больше был увлечен эмоциональной частью предложения, однако мой собеседник воспринял его очень деловито:

— Нижегородская радиолaborатория уже проводит опытную радиосвязь с Ташкентом и Владивостоком. Станция в Арктике дала бы нам дополнительный ценный материал по слышимости и проходимости коротких волн...

Я подробно рассказал Никитину свои планы, которые его очень заинтересовали. Сам лично он, конечно, вопроса решить не мог, но высказал мнение, что, вероятно, Бонч-Бруевич согласится дать нужную для опытов аппаратуру. Он спросил меня о возможных источниках тока, потом начались обычные вопросы о зимовке. Я рассказывал ему с большим воодушевлением, так как радовался возможной удаче. Беседовали мы с ним больше часа. Обстоятельства складывались для меня очень благоприятно — Бонч-Бруевич был как раз в Москве. Никитин посоветовал мне написать объяснительную записку на имя Бонча и явиться для личных переговоров с ним на следующий день.

Можно себе представить, как долго тянулся для меня этот вечер. Ночью не мог долго заснуть, так как все перебирал в уме новые планы. На следующий день в половине десятого позвонил по телефону Никитину. Хотя Бонч еще спал; Никитин попросил меня зайти к нему. Захватив фотографии и планы Матшара, я отправился на Рождественский бульвар. Как я волновался!

Наконец пришел Бонч-Бруевич. Никитин познакомил меня с ним. Первый вопрос Михаила Александровича был:

— Какой ток имеется?

Потом:

— Да, мы можем дать трехсотваттный передатчик и приемник!

Услышав это, я так и ахнул. Про себя, конечно. Всю аппаратуру лаборатория предлагала мне бесплатно. Исключение составляли лампы для передатчика. За них надо было платить, и платить весьма прилично, по шестьдесят рублей за лампу. Но я, не раздумывая готов, был пойти на этот расход.

Бонч-Бруевич тут же предложил мне поехать в Нижний Новгород, чтобы ознакомиться с передатчиком. Тут мне пришлось пойти на попятный и отсрочить поездку. Не забывайте: я был самозванцем, и мне предстояло решить еще и вторую половину задуманного мною дела...

На свой страх и риск, а главное, за свой счет, что по моим скромным заработкам на почтамте было довольно трудно, я ринулся в Ленинград.

В верхних этажах Адмиралтейства, где размещалось управление экспедиции Северного Ледовитого океана, как и в 1924 году, набирали новую смену зимовщиков на Новую Землю. И как в 1924 году, им снова был нужен радист.

С сотрудниками экспедиции, сразу же узнавшими меня, я встретился дружески. В Арктику в те годы никто особенно не стремился. Вопрос оформления на работу на ту же Новую Землю был решен быстро, без волокиты.

Рассказ о коротковолновой радиостанции вызвал явный интерес, тем более что красок для того, чтобы описать, с каким неодолимым желанием Нижегородская лаборатория рвется к проведению этих опытов, я не — пожалел. Доложили начальству. Идею одобрили, и родилась — лиха беда начало — первая бумага о том, что, дескать,

гидрографическое управление готово поставить эти опыты и обеспечить для них все необходимое.

Переговоры, подготовка и проведение эксперимента поручались «нашему радиотехнику тов. Кренкелю». Начало было положено.

Нижегородская лаборатория всемерно шла навстречу. Благополучно закончив переговоры в Москве и Ленинграде, я направился в Нижний Новгород (ныне город Горький). В 1918 году туда перекочевала из Твери, как назывался в ту пору город Калинин, лаборатория, которую без преувеличения можно назвать сердцем советской радиотехники. Да и само название лаборатории было характерным для ее сотрудников проявлением скромности. Это был настоящий исследовательский институт, решавший научные проблемы с размахом и подлинной творческой дерзостью.

Вот и Нижний Новгород. Огромный мост через Оку. Здание знаменитой когда-то ярмарки, крутой подъем мимо кремля — и я вышел на Откос, нынешнюю Верхневолжскую набережную у слияния Волги и Оки.

Водный простор безбрежен. Далеко внизу буксиры, тащившие, против течения караваны барж и плотов, словно застыли на месте. Дали и ветер почти морские. На всю эту величественную картину можно было смотреть прямо из окон лаборатории, фасадом выходившей на Верхневолжскую набережную.

Прибытие мое в Нижний Новгород не стало событием ни для города, ни для лаборатории. Сознаюсь, меня этот факт огорчил и не потому, что меня переполняло тщеславие и я ожидал духового оркестра и почетного караула, отнюдь нет. Просто было трудно решать бытовые, но для меня жизненно важные дела.

Записки вроде той, которую я вез к механику парохода «Профсоюз», мне никто не написал. В гостинице номера никто не приготовил, да даже если бы и приготовил, то у меня просто не было финансовой возможности воспользоваться гостиничным гостеприимством. А жизнь есть жизнь. Она требует своего. Надо и есть, и пить, и спать, причем лучше все это делать под кровлей, нежели под открытым небом.

Чувствуя шаткость своего положения, я не раскрывал широко рта ни для произнесения громких слов, ни для заглатывания обильной пищи. И, наверное, пришлось бы туговато, если бы не обычаи и

порядки этого удивительного учреждения. Меня пригласил заместитель Бонч-Бруевича по административным и общим вопросам Абрам Владимирович Зискинд. Не теряя времени зря, он задал сразу же совершенно конкретный вопрос:

— А ночевать есть где?

И, услышав, что нет, повел к себе. Идти далеко не пришлось. Зискинд жил тут же, при лаборатории, в большой, светлой и очень солнечной комнате. По утрам он занимался гимнастикой и принимал холодный душ, на что я взирал с почтением, так как за всю жизнь к холодным душам не привык.

Я с удовольствием вспоминаю гостеприимство этого славного человека. И дело было не только в том, что я получил и стол и кров. Его рассказы ввели меня в курс жизни лаборатории. От него я узнал много интересного. Он же познакомил меня с людьми, чьи идеи мне предстояло проверить в условиях Арктики.

Дом на Откосе заполняли энтузиасты. Люди разных возрастов, различных характеров, но одной профессии — они жили делом, которое любили беззаветно. Даже по тому времени, когда энтузиазм охватывал молодых и старых, когда он был главной движущей силой людей, отмахивавшихся от жизненных трудностей, словно от назойливых мух, самозабвенность, с которой работали сотрудники лаборатории — от ее руководителей до вспомогательного обслуживающего персонала, — просто поражала.

Рабочий день начинался рано. Это было правилом. Кончался он подчас даже не вечером, а ночью. И все относились к этому как к совершенно естественному: ведь ночь была наиболее благоприятным временем для радиосвязи. Упустить это удобное время сотрудники лаборатории не могли, да и не хотели.

Сейчас, спустя много лет, когда личные впечатления слились с тем, что, было, прочитало об этих людях в разных книгах, мне уже трудно отделить одно от другого.

Начну с руководителя лаборатории — Михаила Александровича Бонч-Бруевича. Еще до переезда в Нижний Новгород, в Твери, он проводил опыты, окончившиеся для него тяжелым заболеванием.

Начальник лаборатории, у которого служил Бонч-Бруевич, был против всяких опытов, и поэтому Михаил Александрович занимался экспериментами на своей частной квартире. Для того чтобы создавать

вакуум в радиолампах, круглые сутки должен был работать ртутный насос. Ртуть надо было подливать, и, чтобы не прерывать производство, Бонч-Бруевич ночью просыпался и подливал ее. Надо знать, что такое открытая ртуть. Это верный способ отравиться медленно и почти неизлечимо. Бонч-Бруевич опасно заболел, хотя все закончилось благополучно.

Ученый интересовался аппаратурой, которую мне давали для Арктики. Мы с ним беседовали, и он сказал, что Нижегородская радиолaborатория очень заинтересована в такой проверке применения коротких волн. Во-первых, короткие волны были еще «терра инкогнита», и потом совершенно не было известно, как они поведут себя в Арктике. Тем более что и Арктика тоже была еще такой же неизведанной землей. Конечно, для лаборатории, проводившей аналогичные опыты в других местах страны, это было интересно. В то же примерно время Нижний Новгород почти каждый день регулярно работал с Ташкентом. Иногда было слышно, иногда нет, но работа не прерывалась. Работали на разных волнах. Все было в новинку. По существу это была большая исследовательская работа.

Когда я познакомился с Михаилом Александровичем, он был молодым, очень подтянутым, с военной выправкой человеком. Потом наши пути разошлись, он переехал в Ленинград, где очень сдружился с Алексеем Николаевичем Толстым. Я отмечаю это обстоятельство, так как именно оно способствовало нашей встрече спустя десять лет, уже, после того как я вернулся с полюса.

Мы с женой отмечали очередную дату нашей свадьбы. Совершенно неожиданно в гости приехал Алексей Николаевич Толстой вместе с Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем. Это была очень радостная встреча. Мы сидели дома за круглым столом и вспоминали те далекие годы, когда благодаря Бонч-Бруевичу в Арктике появились первые короткие волны. Алексей Николаевич подарил мне авторский экземпляр своей книги «Хлеб» и маленькую серебряную солонку.

Другим большим ученым, с которым я познакомился в Нижнем Новгороде, был Владимир Васильевич Татаринov. Сохранилась фотография, изображающая высокого худощавого человека с усами и небольшой бородкой в толстовке с пояском. Он стоит рядом с макетом

коротковолнового генератора. Таким я и помню этого замечательного пионера советской коротковолновой техники.

Как говорится в подобных случаях, Татаринов мне в отцы годился. Мне едва стукнуло двадцать четыре, ему было сорок восемь. Это был уже известный ученый, и, что поразило меня больше всего, разговаривал он со мной на равных.

Татаринов, тогда один из крупнейших в мире специалистов по антеннам, повел меня на «радиополе». Это действительно было поле, на котором нижегородцы вырастили густую рощу антенн. Посередине — небольшой деревянный домишко, как его называли — «дом радиопередатчиков».

Мне все было интересно в этом походе. Особенно поразила антенна, сконструированная Владимиром Васильевичем, — первая в нашей стране коротковолновая антенна с пассивным зеркалом из параллельных полуволновых излучателей.

Заметив мой полураскрытый от восторга рот, Владимир Васильевич, поначалу державшийся вежливо, но, в общем, сурово, несколько помягчел. Он поправил пенсне с большой дужкой, похожее на гоночный велосипед, и разговор у нас пошел вполне профессиональный, а потому очень доверительный.

Я рассказал Татаринову о своем скромном арктическом опыте. Он же, углубляясь в интересовавшие нас обоих короткие волны, бросил несколько фраз о возможности послать их на Луну, чтобы принять потом отраженный сигнал. Как известно, эта идея была осуществлена примерно через четверть века, уже после смерти Татаринова.

По сравнению с радиолюбительскими масштабами и понятиями все в радиолaborатории казалось мне подавляюще грандиозным. И комнаты, заставленные приборами и аппаратурой, и опытное поле с огромными мачтами, и невиданные по размерам передатчики, и гигантские генераторные лампы...

Радиолампы, сотворенные руками сотрудников самой лаборатории, произвели, пожалуй, наиболее сильное впечатление. Ни по размерам, ни по срокам службы они не имели себе равных. Разработанные М. А. Бонч-Бруевичем и его коллегами, они служили в четыре-пять раз дольше французских.

Один из сотрудников лаборатории произвел на меня впечатление своей молодостью. Он был мне ровесником — таким же молодым

парнем. Разница была лишь в одном: он уже успел сделать открытие, принесшее ему мировую славу, начать опыты, послужившие потом фундаментом большого раздела науки. Молодого человека звали Олег Владимирович Лосев.

Сотрудники радиолaborатории, с которыми я успел познакомиться, рассказывали мне, как влюблен в свое дело Олег Лосев, работавший сначала служителем, затем лаборантом. Обычно он спал на лестничной клетке той же лаборатории, где и работал, постелив на раскладушке одеяло и прикрывшись потертым, выдавшим виды пальто. Уборщица стирала ему белье, варила кашу — горшок на три дня.

В 1922 году девятнадцатилетний ученый сделал открытие мирового значения, создав кристаллический гетеродин, или, как его быстро перекрестили за рубежом, «кристадин».

Работы Олега Владимировича Лосева стали экспериментальным обоснованием теории запорного слоя и современного учения о полупроводниках.

Молодой человек с большими задумчивыми глазами, он всю свою короткую жизнь отдал любимому делу. Лосев умер как солдат, тридцати девяти лет, в осажденном Ленинграде.

День бежал за днем, и дело, ради которого я приехал, постепенно стало приближаться к концу. В уголке одной из лабораторий поставили аппаратуру, которой суждено было стать первой коротковолновой установкой в Арктике. Приятным баском загудел умформер, и передатчик ожил. Ровным светом затеплились генераторные лампы. Стрелки одних приборов стояли как вкопанные, другие загорались как угорелые.

Такая коротковолновая аппаратура была прекрасной и несбыточной мечтой любого радиолюбителя.

На большой доске, ничем не прикрытый сверху, размещался трехламповый приемник, собранный по одной из последних схем. Лампы этого приемника — тоже последняя новинка лаборатории — жрали потрясающее количество тока. Передняя панель была двойной, и через обе стенки проходили удлиненные ручки управления. Управлять приемником приходилось на глазок и на слух. Теперь, тридцать лет спустя, этот ветеран вспоминается как трогательный и наивный первенец. Однако работал он превосходно.



После тщательной проверки и подробнейшего ознакомления с аппаратурой ее стали упаковывать, подготавливая к отправке в далекий Архангельск. Начал готовиться к отъезду и я.

Мое пребывание в Нижнем Новгороде было недолгим. И воспоминания по этому поводу довольно ограничены. Но образ Нижегородской радиолaborатории с ее удивительными людьми навсегда запечатлелся в памяти. Увозя с собой выданную мне в Нижнем аппаратуру, я берег ее, словно она была сделана из чистого золота. Одна мысль в этот миг не давала покоя: сумею ли я выполнить эксперимент, которого от меня так ждут? И ждут люди, не терпящие приблизительности или неряшливости. Мне предстояло привезти им факты.

Когда вторично идешь однажды пройденной дорогой, глазу открывается множество подробностей, в первый раз ускользнувших от тебя. На этот раз в Архангельске у меня было больше времени, и я с интересом вглядывался в прекрасный город.

Грудь вдыхает живительный воздух, наполненный запахом водорослей, просмоленных канатов, сосны, привезенной на многочисленные лесопильные заводы. Все это так хорошо и маняще, что чувствуешь себя перерожденным. За ближайшим углом встретишь что-то новое, и жизнь откроется как-то по-иному, с другой, еще непривычной стороны.

В названиях улиц и районов звучит далекое прошлое: Новгородская, Поморская, Бакарица и Кегостров, Кузнечиха, Соломбала. Говорят, что якобы Петр I устраивал когда-то под открытым небом бал, а так как сидеть было не на чем, то для желающих отдохнуть постелили солому. Если верить легенде, отсюда и название этой северной окраины города — Соломбала, но верить легендам всегда следует с большой осмотрительностью.

Ехать в Соломбалу далеко. По главной улице, по проспекту Павлина Виноградова надо долго и упорно трястись на трамвае до конечной станции. Затем переправа на парходике через Кузнечиху — и вот она, Соломбала.

Шел я через территорию лесопильного завода. Под ногами опилки, кругом, высоченные штабеля досок и бесконечные надписи на всех языках мира «не курить». Действительно, курить здесь нельзя: паршивый окурок может навлечь большую беду. Да и не хочется даже

курить. Воздух настолько насыщен ароматом сосны, что впору открывать легочный санаторий.

С лесом в Архангельске никогда не стеснялись. Берега укреплены лапшой — длинными обрезками досок. Это практиковалось десятилетиями. Лапша почернела, покрылась мохом, и не сразу поймешь, что берега-то деревянные. Если в центре города много старых и новых каменных домов, то в Соломбале больше деревянных. Из поколения в поколение в них живут семьи моряков, рыбаков и рабочих лесопильных заводов. В окнах положенные герань и фуксия. Чем суровее природа, тем больше любви у людей к ярким цветам.

Тротуары тоже деревянные, из толстенных досок, но ходить по ним надо умеючи. Местами доски прогнили, и в тротуарах зияют откровенные дыры, но это еще полбеды. Главное — следить за впереди идущим человеком. Если он наступил на дальний конец доски, то она бесшумно и предательски, как клавиша, поднимается у тебя перед самым носом. Последствия понятны без особых объяснений. Шагов пешеходов не слышно. Слышно только хлопанье досок.

Центр Соломбалы — огромное здание петровской постройки: цель моего похода. Стены похожи на крепостные. Оконные проемы за счет непомерной толщины стен напоминают коридоры и пропускают мало света. Даже в жаркий летний день здесь сумрак и прохлада. Голландские печи рассчитаны на неиссякаемые лесные массивы, каменные ступени и узорчатые чугунные площадки лестниц протоптаны и отполированы поколениями моряков до блеска.

Фасад здания выходит к реке. У причала стоят гидрографические суда, а все пространство между зданием и берегом составляет территорию порта. Даже от названия учреждения, размещенного здесь, веет северным сиянием, штормовым ветром, экзотикой: «Убекосевер» — Управление безопасности кораблевождения по северным морям.

Передачик, вывезенный из Нижнего Новгорода, был настолько хорошо и добротно упакован для морского путешествия, что мне даже не хотелось его распаковывать. Его тщательно испытали, и надежность работы не вызвала сомнений. Но приемник надо было проверить. По управлению, где было много связистов, быстро пронесся слух, что на полярную станцию Маточкин Шар везут какую-то интересную шкатулку, якобы новый приемник. В те времена даже опытные радисты о коротких волнах знали примерно столько же, сколько сейчас

рядовой гражданин — о технологии изготовления атомной бомбы. Пришлось распаковать приемник, поставить его в одной из комнат — не без волнения (а не сломался ли он в пути?). Группа старых радистов молча и неодобрительно взирала на невиданную радиодиковинку.

Нельзя сказать, что демонстрация новой силы получилась убедительной. Любителей, работающих в эфире в те годы, было еще маловато, и, включив приемник, я, как на грех, не поймал ни единой станции. Старички переглядывались и многозначительно улыбались. Молодой человек, с пеной у рта ратовавший за короткие волны и соловьем разливавшийся на тему об их будущем, явно не внушал опытным работникам доверия, как, впрочем, и продемонстрированная им техника...

Настоящий радиоприемник — обязательно ящик с массивными эбонитовыми панелями. Ручки такие, что повернуть их может только взрослый, в полном соку мужчина.

А это? Какое-то легкомысленное устройство из проволочек и катушек, которое надо сближать, затаив дыхание, деликатно касаясь двумя пальцами. Нет, нет. Тут что-то не то...

Полагаю, что я показался им аферистом, а вся затея с коротковолновой связью — авантюрой, не стоящей и выеденного яйца.

Приемник же тем временем красноречиво молчал. Он был исправен, просто ни одна коротковолновая станция не работала. Действовал так называемый закон демонстрации, по которому все идет отлично, пока готовишься, и что-нибудь обязательно не заладится, едва приступаешь к показу.

Чтобы отвлечься от неудачи, я поехал в город, но и тут ничего воодушевляющего не нашел. На площадке рядом с городским садом стояла парашютная вышка. Правда, прыгать с нее разрешалось далеко не всем. В этом удовольствии хозяева вышки отказывали детям, лицам в нетрезвом состоянии и «лишенцам», как называли тогда людей, лишенных избирательных прав. Сознаюсь, что даже обладай я справкой, что все права находятся при мне, и то вряд ли воспользовался бы сооружением местных осоавиахимовцев. Было не до прыжков. Все мысли оставались там, в комнате, где безмолвствовал мой коротковолновый приемник.

Когда я вернулся домой, приемник, усовестившись, заработал. Но было уже поздно. Первое впечатление сложилось не в пользу всей этой

затеи...

Снова знакомая дорога к Новой Земле. Оживленное движение в главной судоходной протоке Маймаксе, желтая вода при впадении в море Северной Двины, ярко-красный корабль-маяк «социал-демократ». Второй раз дорога всегда, кажется короче. Я и оглянуться не успел, как мы пришли к Новой Земле.

Несколько суток продолжалась выгрузка. На берегу возвышались штабеля досок, ящиков, тюков сена. По существующим правилам, команда судна должна была выгрузить и доставить груз за линию прибоя, но такого рода правило, конечно, было делом относительным. Широкая галечная полоса с засохшими водорослями у подножия высокого холмистого берега красноречиво давала понять, что при хорошем шторме все грузы окажутся под водой. Надо было торопиться с их уборкой.

Нас, как и в прошлый раз, было одиннадцать человек. Нам предстояло доставить на место десятки тонн всякой всячины. Транспортные возможности были не из блестящих. Единственная лошадь, все достоинство которой заключалось в том, что она была самой северной лошадью-в мире, наискосок по косогору с трудом вытаскивала грабарку с легкими ящиками. Мы ее поддерживали, и самые тяжелые ящики таскали сами.

Существовала еще и узкоколейная дорога. На вагонетку накладывали доски. После длительных криков о готовности кто-то невидимый за бугром начинал крутить лебедку, натягивая трос, и подталкиваемая со всех сторон вагонетка медленно ползла в гору.

Наступил последний день. Корабль уходил в Архангельск. Прощание с моряками, последние рукопожатия, и со всеми предосторожностями в нашу станционную шлюпку, как говорится из рук в руки, был передан самый ценный для меня груз — новый передатчик.

Знакомый стук брашпиля, выбиравшего якорь, — и корабль медленно начал двигаться, а затем удаляться, становясь, все меньше и меньше. Прощальные гудки, несколько хлопков винтовочных выстрелов прозвучали неубедительно и одиноко. Еще несколько минут — и корабль скрылся за мысом. Вторая зимовка началась.

Августовский вечер был сереньким и холодным. Ватные штаны и куртки казались отнюдь не лишними. На восток широким раструбом

уходил пролив Маточкин Шар. С его северного берега был отлично виден южный остров с высокими, покрытыми снегом горными вершинами, а левее, на горизонте, — Карское море.

Ветер стих. Море лениво дышало. Небольшая волна перекатывала и шуршала галькой. Мы вытащили шлюпку носом на берег и, устав от дневной работы, от прощальных треволнений, отправились ужинать. Ящик с передатчиком (это, конечно, было легкомыслием) остался в шлюпке. В обширной кают-компании за столом, покрытым клеенкой (где уж во время работ с грузами стелить скатерти), устроили трапезу.

Ужин подходил к концу. На столе появились кружки с чаем. Свет лампочки стал меркнуть от табачного дыма. Наступил блаженный час отдыха. И вдруг эту мирную обстановку нарушил крик ворвавшегося повара: — Шлюпку уносит!

Мы вскочили словно ошпаренные. В дверях образовалась пробка. Через минуту все одиннадцать стремительно мчались по камням вниз. Дело было дрянь. Пока ужинали, наступил прилив. Шлюпку стащило в воду, и, мирно покачиваясь, она направлялась в сторону моря, отдалившись метров на двадцать от берега.

Единственная шлюпка! Приемник! Передатчик! Все рушилось. Все планы летели к черту...

Наука говорит, что механизм действий человека сложен: глаз видит, в мозгу начинает что-то шевелиться... Только после некоторой бюрократической проволоочки мозг дает команду нервной системе — и человек начинает действовать.

Но иногда возникает и другой вариант, вариант-молния, когда человек действует инстинктивно, не теряя ни доли секунды. Тогда только глаз — и действие без каких-либо промежуточных инстанций. Глаз все видел, но шевелить мозгами было некогда. Да если бы мозги даже стали работать, все сложилось бы значительно хуже. Я бы не сделал того, что последовало дальше.

Сбегая вместе со всеми с косогора, ни о чем, не думая, я на ходу сбросил ватник. Вот мы уже бежим по шуршащей гальке. Вода. Молниеносно сняв просторные, разношенные сапоги и роскошным жестом отбросив портянки, я прямо с хода бултыхнулся в воду.

Первое впечатление — ошеломляющее. Трудно о нем рассказать, это нужно испытать самому. Вероятно, такое испытываешь, упав в кипяток. Меня ошпарило холодом. Температура воды была около семи

градусов. Я энергично поплыл к шлюпке — единственное, что оставалось делать. Ободдряющие крики с берега перемежались с бесплатными советами, на недостаток которых жаловаться не приходилось. Но мне было не до советов.

Сказать «было холодно» — значит, ничего не сказать. Холод проникал буквально до мозга костей.

Вот и злополучная шлюпка. Залезать надо только с кормы, это и удобней и легче. Легче, но не легко. Ватные штаны намокли и стали пудовыми. С трудом переваливаюсь через борт. Вытащить весла дело одной минуты, и вот я уже подгребаю к берегу.

Оваций не надо! Босиком по камням, да еще в пудовых штанах не очень-то побежишь. Орошая каменистый грунт острова потоками стекавшей с меня воды, степенным шагом я прошествовал в дом.

Скуповатый начальник превзошел самого себя, выдав для обогрева бутылку коньяка. Тут же мне помогли, и переодеться и выпить. Я был героем дня.

На следующий день началась работа, хорошо знакомая по предыдущей зимовке. За это время мало что изменилось. Как и за год до этого, стоял большой дом, два склада, маленькая банька на косогоре, магнитный павильон. Немного поодаль располагалось здание радиостанции.

Еще издалека на подходе бросались в глаза две огромные мачты. Такие мачты строились на заре развития радиосвязи. Три бревна почти в обхват, соединенных между собой длинными болтами, уходили на шестидесятиметровую вышину. Три яруса оттяжек из стальных тросов толщиной в руку, изоляторы величиной с детскую голову — все было сделано добротно, фундаментально, но страшно громоздко.

Одну треть дома занимала радиорубка, две другие — машинное отделение. Кроме того, имелась пристройка, где находилась большая аккумуляторная батарея. Пяти-киловаттный передатчик стоял посередине рубки. Передатчик был искровым, и, несмотря на пятикиловаттную мощность, дальность его действия простиралась на триста-четырееста километров, попросту говоря — хватало его лишь до Югорского Шара, не далее.

Пуск передатчика был целым событием. После звонка к механику в соседнем помещении начинался запуск двигателя. Оперирова сжатым воздухом и ловко попадая в такт, механик должен был раскрутить и

запустить двигатель. Иногда это не сразу удавалось. Воздух расходовался без толку, и двигатель не желал идти. Тогда объявлялся аврал: все бросали работу, спешили в машинное отделение, как мухи облепляли большой маховик и приводной ремень. Общими усилиями двигатель заставляли работать. Шурша и шлепая, скользил ремень, накаливалась контрольная лампа. Пропустив мимо ушей нелестные замечания, вспотевший механик благодарил за помощь.

Теперь наступал мой черед: осторожно выводился пусковой реостат и, взревев трубным звуком, как разъяренный слон или носорог, начинал работать пятикиловаттный умформер. Терпеливо и не торопясь, предстояло вывести реостат. Поспешность могла привести к плачевным результатам.

Все это очень осложняло нашу работу, во многом делая ее неполноценной. Во время навигации одновременно несколько кораблей тщетно звали нас. Но, связанные по рукам и ногам ограниченными возможностями аппаратуры, мы не могли отвечать с необходимой быстротой. Приемник тоже не радовал — все те же потрясающие эбонитовые плиты, увенчанные кристаллическим детектором.

Грохочущий двигатель, от которого мелкой дрожью трясся дом, визжащий умформер, огромные мачты и камушек с пружиной — полярная станция Маточкин Шар с громом и треском посылала в эфир радиоволны.

Пуск станции даже в лучшем случае занимал не менее пяти минут, и в результате этой кутерьмы перекрывалось, как уже сказано, расстояние, не превышавшее четырехсот километров. Конечно, мы знали, что теоретически для радио нет границ, но, пока радисты соседних станций слушали нас на детекторных приемниках, границы не только практически существовали, но и проходили где-то совсем рядом. Такова была техника радиосвязи в те годы.

И вот рядом с этой заслуженной аппаратурой, сделавшей эпоху в радиосвязи, появилась новая. На столе разместился небольшой передатчик. Значительно превышая возможности старой аппаратуры, он требовал мощности в тридцать три раза меньшей. Пять киловатт — и сто пятьдесят ватт. Было над, чем задуматься от такого сравнения. По соседству с эбонитовым сундуком-приемником поместился новый, изящный коротковолновый приемник.

Мои товарищи по зимовке не интересовались радиотехникой. Первое время я пытался, было просвещать их, но вскоре перестал. Поэтому, когда все было установлено и проверено, я предпочел действовать в одиночестве.

Наступили минуты, мысленно пережитые уже много раз. Минуты, завершавшие многомесячные заботы, волнения, хлопоты, неприятные разговоры с людьми, которые на всякий случай говорили «нет». Все было позади.

Но каков будет результат? Еще никто не слушал здесь короткие волны. Еще никто не посылал их из Арктики.

Медленно поворачиваю ручки приемника, тщательно прослушивая диапазон. Скороговоркой бубнят правительственные станции. Вот легкая музыка из Голландии. Очень хорошо, но это не то, что надо. Нужно найти место, где, сгрудившись кучей, сидят любители.

Приемник работал отлично. Опасения, что эфир в Арктике особенный и короткие волны проходить не будут, развеялись мгновенно.

Как и следовало ожидать, на поиски радиолюбителей пришлось потратить некоторое время. Наконец энтузиасты найдены. После рабочего дня, наспех пообедав, провожаемые неодобрительными взглядами жен и домочадцев, но, презрев все на свете, они устремляются к самодельным передатчикам и приемникам. Любители будут сидеть до глубокой ночи, слушать, звать, опять слушать. Они знают: такие же одержимые сидят во всех уголках земного шара. Место встречи для всех — мировой эфир, и встречи эти носят порою неожиданный характер. Особый спрос на экзотику. Хорошо, сидя дома, зацепить Огненную Землю, Тасманию или какой-либо коралловый остров.

Первая коротковолновая радиостанция в Арктике, несомненно, должна была стать для любителей объектом яростной охоты. Позывной станции пришлось изобретать самому. Пользоваться официальным позывным Маточкина Шара не представлялось возможным, так как коротковолновая установка была опытная и нигде не зарегистрированная. Решил для позывного взять буквы «ПГО» — полярная геофизическая обсерватория.

«Всем, всем, всем — я ПГО, кто меня слышит, отвечайте».



Все действовало отлично, станции слышны, оставалось лишь терпеливо ждать. Однако первый ответ пришел не сразу. Только после нескольких вызовов я услышал свой позывной. Кто-то меня звал. Ошибки быть не могло, звали «ПГО», но слышно было отчаянно слабо.

От радости я так разволновался, что принял лишь половину позывного. По этому пойманному мною огрызку можно было понять, что это советский радиолюбитель. Увы, сколько я его ни звал теми двумя буквами, которые удалось принять, он больше не ответил. Экая досада! Первый блин получился комом.

И все-таки я чувствовал себя обязанным разыскать этого полуопознанного мною корреспондента. Тут уже дело не ограничивалось привычными радиолюбительскими интересами. Речь шла о самой первой радиосвязи на коротких волнах из Арктики. Нужно было приложить все усилия, чтобы разыскать этого первого корреспондента.

Послал радиограмму в редакцию радиожурнала. Изложив все происшедшее, попросил помочь в розысках. Через неделю пришел ответ. Редакция установила, что моим собеседником был бакинский радиолюбитель.

Ну что ж! Это было хорошим и воодушевляющим началом: Новая Земля — Баку!

По вечерам я «пропадал» в эфире, и вскоре появилась куча знакомых во всех странах Европы. При повторных связях мы встречались уже как старые друзья. Любителям интересно было работать с самой северной, по тем временам, станцией в мире. Спрос на меня был велик. Особых разговоров на отвлеченные темы вести не полагалось. Мы сообщали друг другу основные данные о слышимости, мощности передатчика и о своем местонахождении.

Все проведенные связи подробно записывались в тетрадь для Нижегородской радиолaborатории, и материал об условиях прохождения коротких волн в Арктике накапливался. Через полгода на коротких волнах заговорил остров Диксон. Радисты Диксона попросили послушать собранный ими самодельный любительский передатчик. Мощность его была всего лишь десять ватт. Нашего полку прибыло!

Я горячо поздравил далеких друзей. Мы долго беседовали и восхищались нашими молниеносными ответами. Ни тут, ни там не надо было запускать огромные двигатели. Пуск станции требовал нескольких секунд. Были довольны мы, радисты, а в особенности механики. Теперь они могли спокойно отдыхать: мы обходились без них.

Регулярная радиосвязь с Диксоном на коротких волнах представляла особый интерес. И хотя это и не входило в наши прямые служебные обязанности, мы точно соблюдали нами же установленные сроки, неоднократно устанавливая связь с многими советскими коротковолновиками. Времени для этого хватало: полярная ночь длинная...

За время полярной ночи вокруг дома радиостанции образовался сугроб выше крыши. Между домом и сугробом — коридор, ходить по которому во время сильного ветра было на редкость неуютно. Бешено, как в аэродинамической трубе, здесь крутился снег. Несколько секунд, и карманы, лицо, валенки — все забивалось мельчайшим снегом. Но зато как хорошо в тихую, лунную ночь! В двух шагах от дверей начинаются крутые ступеньки, вырубленные в снегу после недавней пурги. После долгих часов, проведенных в накуренной радиорубке, хорошо подышать морозным воздухом. Берег полого спускается к проливу. От жилого дома видны только крыша и трубы. Далекие горы с сияющими от лунного света вершинами, черные провалы пропастей, мерцающее северное сияние и видимость на десятки километров — все это походило больше на декорацию шикарной оперной постановки, чем на всамделишную природу.

В эти сияющие дали ушли мои радиоволны. Вероятно, московский коротковолновик, с которым я только что разговаривал, звонит моей матери по телефону и передает мой привет.

Радиолюбитель в Париже долго допытывался: лежит ли у нас снег, холодно ли и чем мы занимаемся? Сейчас, видимо, вся семья парижанина слушает его рассказ о радиосвязи с самой северной в мире радиостанцией.

Прошли долгие месяцы полярной ночи, и настала весна. Мои донесения об установленных дальних связях посылались начальству, в Архангельск и в Нижегородскую радиолaborаторию. Особой признательности и восторгов со стороны начальства не каждый раз

дождешься. Не ожидал их и я, памятуя о настороженном, а подчас и просто недружелюбном отношении к нашей затее.

Мои донесения читались, обсуждались в Архангельске, и, конечно, там нашлись толковые, инициативные люди, которые построили самодельный коротковолновый передатчик. Радиogramма с просьбой прослушать работу новой станции и установить с нею связь была для меня лучшей наградой. Эта радиостанция стала моим вторым постоянным корреспондентом, и вся служебная переписка отныне, минуя излишнюю переработку на промежуточной станции Югорский Шар, через его голову шла непосредственно в Архангельск.

Значительное ускорение приема и передач, экономия горючего у нас и на Югорском Шаре были первыми ощутимыми результатами применения новейшей по тому времени техники. Так сорок с лишним лет назад в Арктике появились короткие волны, и я горжусь тем, что имел к этому некоторое отношение.

## Красный флаг над землёй Франца-Иосифа

*Снова Рождественский бульвар. Дипломатические трудности на Дальнем Севере. Экспедиция на Землю Франца-Иосифа. Особые полномочия начальника экспедиции Отто Юльевича Шмидта. Письмо в Арктический институт. Таким был профессор Самойлович. Из истории ледокола. Первая встреча со Шмидтом. Великолепный триумвират. Открытие профессора Визе. Бравый солдат Швейк и земля его императора. Аппендицит. Капитан Воронин. Семеро смелых. Арктика говорит с Антарктикой. Охота на Земле Франца-Иосифа. Остров Визе. Хочу к полюсу!*

Не знаю почему, но с Рождественским бульваром Москвы связан ряд событий моей жизни. Как читатель уже знает, сюда, в дом № 15, я был доставлен в 1918 году агентами уголовного розыска за недозволенные манипуляции с оружием. Из соседнего дома, № 17, в 1927 году начался мой путь в Нижегородскую лабораторию, а затем на полярную станцию Маточкин Шар. Вот почему я ничуть не удивился, взяв старт на Землю Франца-Иосифа снова отсюда, с Рождественского бульвара.

Произошло это несколько неожиданно, на квартире Георгия Давыдовича Красинского, интеллигентнейшего человека, в прошлом профессионального революционера, крупного знатока Арктики и выдающегося полярного исследователя. В гостях у Красинского за чашкой чая услышал я впервые о предполагаемой экспедиции на Землю Франца-Иосифа...

Я загорелся. Экспедиция обещала стать интересной по многим соображениям, и, прежде всего потому, что ей предстояло решить одновременно совсем не похожие друг на друга задачи — научно-исследовательскую и дипломатическую. Столь неожиданные контрасты объяснялись тем, что за годы первой мировой войны, гражданской войны, нэпа, Арктикой занимались мало. Не до того было. И, подтверждая извечное правило о том, что природа не терпит пустоты, на советском Дальнем Севере активизировались американцы.

Группа канадцев расположилась на острове Врангеля. Возникла опасность, что незваные гости «привыкнут» к советскому острову, обживут его и это будет чревато нежелательными последствиями. Как быть? В 1924 году экспедиция, возглавляемая гидрографом Б. В. Давыдовым, сняла канадцев с острова Врангеля и доставила их во Владивосток.

15 апреля 1926 года Советское правительство объявило все земли, находящиеся и могущие быть открытыми к северу от наших европейских и азиатских берегов — от  $32^{\circ}4'35''$  восточной долготы до  $168^{\circ}49'30''$  западной долготы, — принадлежащими Советскому Союзу. Этот декрет распространялся на огромный треугольник, в основании которого лежали северные берега Советского Союза. Восточная сторона — меридиан, проходящий через середину Берингова пролива, западная — меридиан, проходящий через полуостров Рыбачий.

Как и положено, в таких случаях, Наркомат иностранных дел СССР разослал ноты правительствам всех заинтересованных государств. Реакция на эти действия оказалась такая — либо полное молчание, либо заявление, что данное правительство резервирует свое мнение по вопросу, затронутому Советским Союзом. В такой сложной обстановке заявление нужно было подтвердить реальными делами. Так возникла идея послать экспедицию на Землю Франца-Иосифа.

Начальником экспедиции был назначен Отто Юльевич Шмидт. В своем первом арктическом походе Шмидт был не только руководителем группы советских ученых и моряков, но одновременно и полномочным представителем Советского правительства с широкими правами (например, выдавать визы и разрешения иностранцам на временное пребывание на архипелаге).

Экспедиция обещала быть очень интересной. По совету Георгия Давыдовича Красинского я немедленно написал письмо в Ленинград директору Института по изучению Севера Рудольфу Лазаревичу Самойловичу. С Рудольфом Лазаревичем я познакомился во время одной из своих зимовок на Новой Земле. И знакомство это запомнил надолго...

Однажды к нашей полярной станции в Маточкином Шаре пришлепал (другого слова, пожалуй, я не подберешь) мотобот. Крохотное суденышко имело такое маленькое помещение, что слово «каюта» звучит по отношению к нему как-то неуместно. Даже стоять

во весь рост помещение мотобота не позволяло. Более или менее приличный двигатель, никакой радиосвязи. Но, тем не менее, уютное суденышко обошло такой суровый остров, как Новая Земля. Экипаж его состоял всего лишь из трех или четырех человек. Начальником экспедиции был Самойлович.

Рудольф Лазаревич произвел на меня сильное впечатление. Высокого роста. Фигура борца. Огромная физическая сила. Череп голый, как бильярдный шар. Остатки шевелюры тщательнейшим образом выбриты. Большие круглые очки с очень сильными стеклами. Умница необычайный, с великолепным, мягким характером.

Самойлович — зачинатель многих полярных дел. Поход на мотоботе к Новой Земле не был для него чем-то из ряда вон выходящим. В 1912 году геолог Русанов и горный инженер Самойлович на маленьком суденышке «Геркулес» отправился на Шпицберген. Они искали там уголь, и эти поиски увенчались успехом. Сейчас Шпицберген — норвежская территория, но, тем не менее, там существует советская концессия. Несколько тысяч советских горняков добывают уголь, некогда найденный Русановым и Самойловичем.

В 1920 году Самойлович организовал одно из первых советских арктических учреждений. Называлось оно очень скромно — Северная научно-промысловая экспедиция при ВСНХ. В дальнейшем эта экспедиция превратилась в Институт по изучению Севера.

Самойлович — все время в работе, в стремлении к поиску. В 1929 году, когда Рудольф Лазаревич занялся подготовкой экспедиции на Землю Франца-Иосифа, он был уже полярником с мировым именем. Упрочению его авторитета немало способствовали бурные события 1928 года, разыгравшиеся в Арктике. В тот год там произошла катастрофа, всколыхнувшая все человечество. Потерпел аварию дирижабль «Италия» под командованием Умберто Нобиле. Спасение участников экспедиции Нобиле стало международным делом. В нем участвовали и советские полярники. На поиски пострадавших вышли советские ледоколы «Красин», «Малыгин» и (это известно гораздо меньше) «Седов». Экспедицией на «Красине» руководил Рудольф Лазаревич Самойлович, на «Малыгине» — Владимир Юльевич Визе, человек, имевший большое отношение к моей дальнейшей полярной судьбе, о котором я расскажу чуть ниже.

Подводя итоги экспедиции по спасению Нобиле и его товарищей, Р. Л. Самойлович писал: «Поход „Красина“ с несомненностью доказал возможность при помощи ледокола преодолевать тот полярный лед, который совершенно недоступен всякому другому судну». Этот вывод и лег в основу организации похода на Землю Франца-Иосифа. Его решено было совершить на ледоколе «Седов», обследовавшем в 1928 году этот район в поисках членов экипажа дирижабля «Италия».

Биография ледокольного парохода «Седов», вернее, его службы в русском флоте начинается в годы первой мировой войны. Чтобы обеспечить круглогодичные перевозки снарядов и другого военного снаряжения через порты Мурманск и Архангельск, царское правительство приобрело в Англии три ледокольных парохода. Это были хорошие, крепкие и не очень большие корабли, каждый из которых вписал свои интересные страницы в историю Советской Арктики. Однако, построенные на английских верфях, эти ледокольные пароходы в свою очередь ведут родословную из России, так как история ледокольного флота начинается в 1864 году, когда кронштадтский купец Бритнев срезал носовую часть парохода «Пайлот», обеспечив судну возможность влезать на лед и проламывать его своей тяжестью. В отличие от других изобретателей, пытавшихся приспособлять для разбивания льда разного рода гири и т. д., Бритнев решил задачу наиболее эффективно и с минимальными конструкторскими трудностями. Не удивительно, что слава о его ледоколе быстро распространилась по Европе. В 1871 году, когда чрезвычайно суровая зима закрыла входы в некоторые европейские порты, немцы приехали в Россию и приобрели у Бритнева чертежи и все, необходимые для постройки ледокола данные. Так началось строительство кораблей нового типа, сыгравших серьезную роль в освоении Арктики.

По инициативе адмирала С. О. Макарова был построен мощный ледокол «Ермак», совершивший в 1899 году свой знаменитый научно-исследовательский поход в Арктику. Опыт этого похода и способствовал покупке у англичан трех ледокольных кораблей (впоследствии они были названы «Георгий Седов», «Александр Сибиряков», «Владимир Русанов»).

Такова краткая история вопроса о выборе ледокола «Георгий Седов» для проникновения в Арктику, на Землю Франца-Иосифа.

Письмо Самойловичу не осталось без ответа. Моя кандидатура была признана подходящей. Я выехал в Ленинград и вместе с будущими товарищами по зимовке оказался на Съездовской линии Васильевского острова, где находился Институт по изучению Севера. К тому времени, когда нас пригласили в институт, туда прибыл и Отто Юльевич Шмидт.

Первая встреча со Шмидтом произвела большое впечатление. В комнату вошел человек, облик которого был совершенно необычен. Огромная окладистая борода, волосы пышные, зачесанные назад. Прекрасная шевелюра. Запоминающиеся черты лица, особенно глаза — умные серые глаза, способные принимать десятки разных оттенков. Стоило Шмидту зайти в комнату, как тотчас же возникало ощущение, что этот человек все знает, все понимает, все умеет.

Шмидт разговаривал с нами на равных. Мы тоже держались вполне независимо, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что каждый из нас внутренне трепетал и робел. Вполне официально Шмидт сказал в этой беседе, что нам предстоит стать первой сменой самой северной в мире полярной станции, которую поставят на Земле Франца-Иосифа.

Не случайно портрет Отто Юльевича Шмидта открывает иллюстрации в этой книге. Шмидт был в делах арктических моим крестным отцом, моим наставником, равно как Владимир Юльевич Визе и Рудольф Лазаревич Самойлович.

И, наконец, еще одно знакомство — знакомство с человеком, завершившим тот великолепный триумvirат, которому предстояло возглавить экспедицию, — с Владимиром Юльевичем Визе. Если Рудольф Лазаревич Самойлович был практиком Арктики, то Визе был ее тонким теоретиком. Он написал много книг и статей об Арктике и поставил посередине Карского моря большой знак вопроса, отметив им место предполагаемого острова.

История этого вопросительного знака необычна. Ее следует, пожалуй, исчислять с 1912–1914 годов, когда состоялась экспедиция Брусилова на корабле «Святая Анна». В районе полуострова Ямал «Святую Анну» зажало льдами и неумолимым дрейфом потащило на север. Одиннадцать человек во главе со штурманом Альбановым покинули корабль, и пошли на юг. Это был трагический поход. Двести километров по дрейфующему льду.



Из одиннадцати человек до конечного пункта маршрута — мыса Флора добрались только двое — штурман В. И. Альбанов и матрос А. Э. Конрад. Они были подобраны экспедицией Г. Я. Седова и благополучно доставлены домой.

Альбанов привез выписки из судового журнала «Святой Анны», которая пропала без вести. Эти выписки попали в руки Владимира Юльевича Визе. Тщательно изучив их, Визе поставил свой вопросительный знак, уверенно предсказав существование здесь острова, группы островов или же очень обширного мелководного пространства. Иначе ученый не мог объяснить некоторых непонятных явлений, связанных с дрейфом «Святой Анны».

Много лет вопросительный знак оставался на картах, так как место, где его поставил Владимир Юльевич, находилось вне обычных трасс кораблей. Таким образом, возможность найти, наконец, отгадку вопросительного знака (а о такой вероятности он, естественно, думал) делала для Владимира Юльевича будущую экспедицию особенно притягательной.

Охарактеризовав Визе как теоретика, я совершенно не хотел создать впечатление, что этот теоретик был чужд практике. Владимир Юльевич — участник многих походов, и в том числе знаменитой экспедиции лейтенанта Г. Я. Седова на корабле «Святой Фока», добравшейся примерно до тех же мест, куда должен был доставить нас ледокол «Седов». Вот на борту «Седова» я и познакомился с Владимиром Юльевичем Визе, одним из немногих седовцев, оставшихся к тому времени в живых. Мне довелось видеть на киноэкране съемки экспедиции Г. Я. Седова. Среди группы куда-то направившихся лыжников я видел и совсем еще молодого Владимира Юльевича Визе.

Наше знакомство произошло гораздо позднее, когда Визе находился уже в зрелом возрасте. Он произвел на меня впечатление удивительно мягкого и, я бы сказал, даже не интеллигентного, а сверхинтеллигентного человека.

Владимира Юльевича я очень почитал и относился к нему с трепетом. Он был немножечко сутулый, сухощавый, с морщинистым лицом. Постепенно появлявшаяся седина не была заметна, так как седые волосы смешивались с природными светлыми. Говорил он тихим, но очень внятным голосом. Никогда не кипятился. С ним было

приятно и хорошо беседовать. И все же разговаривать с Визе мне было трудно. Я понимал, что он очень большой ученый, размышляющий о всяких важных делах, а я по существу сопляк. И если тебе интересно, то это вовсе не значит, что интересно ему. Но никогда никому из собеседников Визе не давал почувствовать своего интеллектуального превосходства.

Я не могу назвать наши взаимоотношения дружбой, потому что я с Владимиром Юльевичем говорил «с придыханием», несмотря на его, очень простое, как и у Отто Юльевича Шмидта, обращение с людьми. Они совершенно одинаково разговаривали с академиком, большим партийным работником или рядовым кочегаром: одним и тем же голосом, с одной и той же мимикой, одинаково вежливо... Этому тоже надо учиться, и, к сожалению, не все соблюдают эти правила одинакового обращения с людьми.

С тех пор я считаю своими учителями весь этот великолепный триумvirат — Отто Юльевича Шмидта, Рудольфа Лазаревича Самойловича и Владимира Юльевича Визе.

Итак, Земля Франца-Иосифа! Стрелка жизненного компаса взяла на нее курс. Литература спешила пополнить пробелы в представлениях об этом далеком северном архипелаге. Однако пусть читатель не переоценивает моего усердия. Читал я отнюдь не какие-то высокоученые сочинения, а переведенные на русский язык «Похождения бравого солдата Швейка». Разглагольствования по поводу места нашей будущей зимовки вольноопределяющегося Марека, друга Швейка, доставили мне я моим товарищам большое удовольствие:

«Эта единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно, колонизация продвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее, с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы министерства торговли и иностранных дел, есть надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. Путем оборудования нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и нарисовать на ледниках туристские знаки, показывающие дорогу. Единственным

затруднением являются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов.

— Не хотят подлецы эскимосы учиться немецкому языку, — продолжал вольноопределяющийся, — хотя министерство просвещения, господин капрал, не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы, причем замерзло пять архитекторов, строителей и...

— Каменщики спаслись, — перебил его Швейк. — Они отогревались тем, что курили трубки.

— Не все, — возразил вольноопределяющийся, — с двумя случилось несчастье. Они забыли, что надо затягиваться, трубки у них потухли, и пришлось бедняг закопать в лед. Но школу, в конце концов, все-таки выстроили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Получается очень прочно. Тогда эскимосы развели вокруг школы костры из обломков затертых льдами торговых судов и осуществили свой план. Лед, на котором стояла школа, растаял, и вся школа провалилась в море вместе с директором и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освящении школы. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул: „Боже, покарай Англию!“ Теперь туда, наверное, пошлют войска, чтобы они навели у эскимосов порядок. Само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи».

С небольшим красным томиком «Похождений braveго солдата Швейка», который незадолго до этого выпустило массовым изданием популярное в конце двадцатых — начале тридцатых годов издательство «Зиф» («Земля и фабрика»), я трясся в товарном вагоне. Общество здесь подобралось отменное: свора ездовых собак, группа будущих товарищей по зимовке, несколько архангельских специалистов, которым предстояло участвовать в отправке нашей экспедиции. Мы торопились. Времени оставалось мало. Чтобы люди и грузы прибыли вовремя, наш товарный вагон прицепили к пассажирскому поезду.

Мы мчались в Архангельск в нелегких условиях. Пассажирский поезд идет быстро, а наш вагон последний. Мотало нас изрядно. В конце поезда всегда пыль, а так как лето 1929 года было на редкость

жарким, то, чтобы люди и собаки не задыхались, обе двери распахнуты настежь. Короче говоря, в Архангельск мы прибыли в предельно грязном и истерзанном виде.

По все это было бы ерундой, если бы не дополнительная неприятность, обрушившаяся на мою голову. Питались мы в дороге всевозможной дрянью. И молоко пили, и водку пили. Одним словом, в нашем товарном вагоне пили все, кроме керосина. Такая неразборчивость не осталась без последствий. В Архангельск я прибыл с жесточайшим приступом аппендицита.

Больничка, в которую я попал, невелика, мест в ней мало, и потому приняли меня без большого энтузиазма. Помяв немного для порядка мой правый бок, врач сказал:

— Завтра определим точнее, что с вами. Если надо будет — разрежем!

Мест в палатах не хватало. Положили меня в коридоре и даже не переодели в больничное белье, в пресловутые халаты и подштанники с болтающимися по полу тесемками.

Вечером кто-то из моих спутников зашел оказать мне моральную поддержку:

— Все в порядке, пусть тебя оперируют! Ты не волнуйся, лежи спокойно, Отто Юльевич уже подыскивает другого радиста.

Ничего себе «лежи спокойно»! Сообщение произвело совершенно обратный эффект. И хотя бок еще болел, я воспользовался тем, что меня не успели переодеть в больничную униформу, и удрал от медицины. На следующее утро с лицом, выражавшим предельную умиротворенность и благополучие, я докладывал Отто Юльевичу, что полностью выздоровел и готов в путь хоть немедленно.

Через несколько дней «Седов» вышел в море. Здесь я познакомился еще с одним человеком, с которым не раз потом сводила меня судьба. На капитанском мостике «Седова» стоял высокий рыжеусый моряк — Владимир Иванович Воронин, командовавший впоследствии «Сибиряковым» и «Челюскиным».

Владимир Иванович — капитан с большим опытом. По происхождению помор, он прошел весь путь от «зуйка», как называли мальчишек-юнг на поморских суденышках, до капитана лучших кораблей полярного флота. Ему довелось видеть всякое. В годы гражданской войны Воронин едва не погиб от пиратского нападения

немецкой подводной лодки на пароход «Федор Чижов», где плавал штурманом. Затем участвовал в карских экспедициях. Под командованием Воронина, пароход «Пролетарий», имея на буксире баржу «Анна», доставил в Мезень пшеницу с Оби. В 1928 году Воронин на «Седове» принял участие в работах по спасению дирижабля «Италия», обследовав западную часть Земли Франца-Иосифа. Плавая за Полярным кругом, «Седов» занимался зверобойным промыслом и ловлей медвежат, поставлявшихся в Германию знаменитому торговцу зверями Карлу Гагенбеку.

Под стать Владимиру Ивановичу Воронину был и его старший помощник — Юрий Константинович Хлебников, впоследствии один из известнейших советских полярных капитанов.

Одним словом, как научное, так и мореходное руководство экспедицией было на высоте. Мы уверенно плыли на север, благо ледовая обстановка (в Арктике, как известно, год на год не приходится) складывалась вполне прилично, а научное обоснование движения льда, о котором своевременно информировал капитана Воронина профессор В. Ю. Визе, значительно облегчало капитану продвижение на север.

Путь из Архангельска до острова Гукера мы прошли за неделю. Нам пришлось обходить непреодолимые льды. Ничего не попишешь — лед, конечно, не очень приятен, без этого препятствия кораблю было бы куда легче, но, как говорят полярники: лед — наш хлеб насущный. Не было бы льда, и нам бы в Арктике делать было нечего.

Добравшись до Земли Франца-Иосифа, экспедиция торжественно водрузила на острове Гукера красный флаг. Начались поиски места для зимовки.

В августе 1929 года ледокольный пароход «Георгий Седов» вошел в бухту Тихую. Шуршали раздвигаемые кораблем льдины. Все свободные от вахты люди и семь человек первой смены новой полярной станции сгрудились у бортов. Не было обычных шуток и смеха. Говорили вполголоса. То ли туман съедал звуки, то ли каждый как-то безотчетно понимал, что мы движемся по местам, куда люди стремились много лет.

Пароход стал на якорь как можно ближе к берегу, чтобы ускорить выгрузку.

Круглые сутки было светло, круглые сутки кипела работа. На берегу с каждым часом увеличивались горы бревен, ящиков и досок, начало выгрузки стало и началом строительства. Как на дрожжах, вырастал самый северный в мире дом.

Седов назвал бухту Тихой, вероятно, в благодарность за то, что льды во время его пребывания не двигались, не атаковали корабль. Но «Седову» — кораблю бухта не подарила того, что в свое время дала Седову-человеку. Она оказалась совсем не тихой. Напором льда ледакол выбросило на прибрежные камни, подняв его примерно на шесть футов выше обычной осадки. И неизвестно, чем бы закончилось это опасное положение, если бы не изобретательность наших мореходов. Кормовые трюмы были разгружены, а нос судна загружен (ценой невероятных усилий всего коллектива); воду из кормовых цистерн перекачали в носовые; «Седова» подтянули при помощи троса к стоящему неподалеку айсбергу.

Бригада плотников осталась воздвигать будущую станцию, а «Седов» пошел в Британский канал на обследование многочисленных островов архипелага. В те времена о Земле Франца-Иосифа было известно чрезвычайно мало. Естественно, что нашим ученым хотелось пополнить свои знания.

Открыв около тридцати из ста восьмидесяти шести островов Земли Франца-Иосифа, австрийцы дали им имена. Они добрались и до самого северного острова, назвав его в честь эрцгерцога, наследника австро-венгерского престола Землей кронпринца Рудольфа.

Судьба эрцгерцога Рудольфа оказалась незавидной. И не назови Вайхпрехт и Пайер остров его именем, вряд ли кто-либо вспоминал бы сегодня о незадачливом престолонаследнике. Эрцгерцог покончил жизнь самоубийством после интрижки с какой-то шансонеткой. И ее убил, и сам застрелился.

Через некоторое время, примерно недели через две, «Седов» вернулся. Это было трудное возвращение: Британский канал, разделяющий острова Земли Франца-Иосифа, наполнился льдами. Ледакол вступил с этими льдами в тяжелейшую схватку.

А на станции тем временем шла работа. Шестнадцать архангельских плотников не покладая рук, размахивали топорами, воздвигая большой дом будущей зимовки. Здание строилось по коридорной системе — налево двери, направо двери. Если считать с

южного входа в дом, то радиостанция была налево, а дверь машинного отделения направо. Сейчас так уже давно не строят, а тогда все было под одной крышей — и жилье, и кухня, и склад со всем нашим имуществом.

К возвращению «Седова» плотники должны были завершить свою работу, заканчивал подготовку к пуску радиостанции и я. Однако «Седов» задерживался. На последние километры уже не хватало сил. И Воронин сказал Шмидту, что лед не позволяет судну подойти к полярной станции.

Друзья рассказывали мне, как в тишине, мгновенно наступившей в кают-компании «Седова», прозвучал голос Отто Юльевича:

— Я, как начальник экспедиции, не могу бросить доверенных мне людей на произвол судьбы. Мы не уйдем от Земли Франца-Иосифа до тех пор, пока я не увижу, что радиостанция построена, что полярники находятся в тепле. Я не дам сигнала к отходу до тех пор, пока не заберу на борт наших строителей. Поэтому сегодня вечером отправляюсь пешком к острову, чтобы все проверить на месте и, если нужно, переправить людей. Вместе со мной пойдут географ Иванов и журналист Громов. Надеюсь, товарищи не откажутся...

Поход, предпринятый Шмидтом, — акт большой гражданственности и незаурядного мужества. Взяв с собой ненецкие нарты и легкий брезентовый каяк, чтобы переплывать полыньи, группа отправилась по направлению скалы Рубини-Рок, захватив еще, кроме географа Иванова, его однофамильца — опытного полярного матроса.

Торосы, трещины, разводья, полыньи, пробитый каяк, едва не затонувший вместе с пассажирами. Четверка Шмидта хлебнула всякого, но, тем не менее, Отто Юльевич и его товарищи упорно продвигались вперед. Прошли сутки адского напряжения. Разбив палатку и выпив по кружке спирта, измученные путешественники заснули. Они спали, пока их не разбудили призывные гудки ледокола. «Седов» пробился все же к зимовке и послал шлюпку за Шмидтом и его товарищами.

Дом достроили. 31 августа заработала наша радиостанция. Кончилось вековое молчание Земли Франца-Иосифа. Деловито запыхтел двигатель, и первые радиограммы полетели на Новую Землю. «Седов» стал готовиться к отплытию.

В кают-компании нового дома, пахнувшей свежими досками, смолой и сыростью от подсыхающих печей, состоялся маленький прощальный банкет. Владимир Юльевич Визе произнес прекрасные слова напутствия:

— Вас семь человек. Каждый имеет свой характер, каждому присуще самолюбие. Зная обстановку и быт полярников, хочу посоветовать: спрячьте самолюбие в самый дальний угол. Не забывайте, что у каждого есть мозоли, и старайтесь на эти мозоли не наступать!

«Седов» уходил на Большую землю. Торжественные, немного грустные минуты. Прощальные пароходные гудки. Винтовочный залп. Самая северная в мире полярная станция вступила в строй.

Нас осталось всего лишь семь человек, как в известном кинофильме «Семеро смелых», поставленном немного позже молодым тогда режиссером Сергеем Герасимовым. Разница заключалась главным образом в том, что в фильме была женщина, роль которой исполняла Тамара Макарова, у нас же — одни мужики, так как работа в Арктике сулит женщине слишком много разных трудностей и, на мой взгляд, там лучше обходиться без прекрасной половины рода человеческого.

Начальник нашей станции — очень милый человек, Петр Яковлевич Илляшевич. По внешнему облику он выпадал из нашей компании: был маленького роста, изящен, с грациозной походкой.

Познакомившись с Илляшевичем в Ленинграде перед отъездом в Архангельск, я был поражен его туалетами. Он одевался довольно необычно для того времени. Костюм, белая рубашка, галстук бабочкой, шляпа и тросточка. Был Илляшевич чрезмерно вежлив, чрезмерно интеллигентен в обращении, но мы его слушались. Несмотря на то, что он был немножечко смешной, у нас сложились отличные взаимоотношения. Мы его не обижали, и он нас не обижал. Одним словом, ладили.

Метеоролог Георгий Шашковский был мне знаком по Новой Земле. Огромного роста, очень лирический товарищ, он писал и хорошо читал стихи. Как и на Маточкином Шаре, Шашковский регулярно вел метеорологические наблюдения, но вместо громоздкого змея с приборами, хорошо поработавшего на Новой Земле, он запускал здесь метеорографы на воздушных шарах.



Механик наш Михаил Муров — бывший кавалерист, рубака, у него даже шрам на лице. Он был постарше нас и рассказывал всякие лихие кавалерийские истории.

Врач Б. Д. Георгиевский, единственный в нашей семерке член партии, попал на зимовку впервые. Этот милый, невысокий и очень подвижный толстяк деятельно помогал всем во всех работах. Доктор томился от безделья: работой по прямой специальности мы его не обременяли. В основном он лечил покусанных собак, а однажды выдернул мне ноготь, который начал как-то криво расти, и причинял неприятности.

Операция, ставшая развлечением для всей зимовки, происходила на глазах многочисленной аудитории. Сбор был полным: врач, я и пять зрителей. Все подавали советы, но доктор этими советами пренебрег, равно как и возможностью анестезии. Он был выше таких мелочей и действовал очень решительно — схватил плоскогубцы и выдернул ноготь.

Публичная операция, которой я подвергся, — не единственное развлечение нашей компании. Патефонов еще не выпускали, но среди взятых с Большой земли культурных аксессуаров был граммофон, настоящий граммофон, с огромным ратрубом, окрашенным в зеленый и красный цвета. К граммофону подобран был комплект пластинок, который сегодня иначе как букетом моей бабушки, пожалуй, и не назовешь.

В октябре зашло солнце. Далеко на юге его краешек еще прочерчивал горизонт, затем несколько дней меркнувшей зари — и все. Наступила полярная ночь.

Работа, книги, миллион домашних дел, частые визиты белых медведей не давали нам предаваться меланхолии и скуке.

Встретили новый, 1930 год, и вот наступил день, ставший событием в моей биографии радиста. День 12 января ничем не отличался от предыдущих. Та же темень, все то же, что вчера, позавчера и месяц назад. Мой коллега с полярной станции Маточкин Шар дал «рдок», что на обычном человеческом языке означало: «Ваша радиограмма принята». Дневной сеанс радиосвязи окончился.

Очередная метеосводка с Земли Франца-Иосифа двинулась на юг, чтобы через некоторое время непонятными для непосвященного значками проявить себя на синоптических картах всего мира.

Можно было, конечно, встать, выключить приемник, задуть керосиновую лампу, просунуть голову в соседнюю дверь, сказав механику «Шабаш!» — и, не торопясь, по темному коридору пройти на кухню, к повару Володе. Сидя на ящике с макаронами, мы с Володией вели обычно непринужденную беседу о том, о сем, причудливо переплетая новости международной жизни с нашими сугубо местными темами.

Однако в этот день, 12 января 1930 года, все сложилось иначе. По долголетней радиолюбительской привычке, окончив служебную связь, я решил пошарить в эфире. Сорокаметровый любительский диапазон показался мне пустоватым и не предвещал ничего особенного. На разные лады свистели, булькали, а то и просто хрипели передатчики радиолюбителей Европы. Обычно они, как мухи на мед, падали на наш вызов, так как в любительском ералаше это был единственный профессиональный позывной. Условный сигнал механику — и после нескольких чиханий двигатель стал набирать обороты. Соответственно накалялась и контрольная лампочка на щитке. Привычным движением включены рубильники, мимолетный взгляд на прибор в антенне — стрелка доползла до нужного деления, все в порядке, можно работать.

— CQ, CQ, CQ! (Что на международном радиоязыке означало: «Всем, всем, всем!») Я — RPX! Я — RPX! Я — RPX!

Работала самая северная в мире станция. Наши радиоволны уходили на юг. Куда они упадут, кто нас услышит, кто нам ответит... В этом и заключался весь интерес, так понятный радиолюбителям. Три минуты однообразного стука на ключе и монотонного шума двигателя.

Я остановил двигатель, и в нашем доме наступила полная тишина. К сожалению, такая же тишина была и в эфире: любители исчезли.

Но «прокрутить» диапазон надо, и я начинал шарить на приемнике. Кстати говоря, это был самодельный трехламповый приемник. Конструкция была ерундовая. Никаких верньеров, замедляющих ход конденсатора. Была просто, по-честному, такая резинка, которая вдевается в трусы, и при помощи этой резинки я и настраивал свой приемник.

С некоторым опозданием нас начинает кто-то звать. Меня это сначала не взволновало: связь с любителями была обычным делом. Но в этом случае характер работы ключом не походил на любительский. Ровно, профессиональной рукой передавался наш позывной.

Приемник предельно точно настроен на максимальную слышимость. Слышно не ахти как громко, но все же прилично. А вот и позывной моего корреспондента — WFA. Несколько раз станция дала свой позывной и, пригласив меня ответить, замолчала.

Начинаю звать неизвестного пока собеседника, а сам соображаю: кто бы это мог быть?

Первое: явно не любитель. В любительских позывных всегда имеется какая-либо цифра. Второе: это береговая станция, так как позывные всех судовых станций имеют четыре буквы. И, наконец, буква «W» говорит о том, что это американец. А раз так, мы сейчас узнаем, кто нас услышал: международный список всех наземных радиостанций лежит тут же на столе. Правой рукой работаю ключом, а левой листаю справочник, ищу нужный мне позывной.

Увы! Его нет в списке. Что же делать? Беда не велика. Старательно выстукиваю по-английски: «Здесь советская полярная станция в бухте Тихой на Земле Франца-Иосифа» — и задаю вопрос: «Кто вы такой и где вы находитесь?»

Станция незамедлительно ответила: «Дорогой мистер! Очевидно, мы можем поздравить друг друга с установлением мирового рекорда по дальности радиосвязи. С вами работает радиостанция американской антарктической экспедиции адмирала Берда. Поздравляю вас!»

У меня даже мурашки по спине побежали от такой удачи. Начался оживленный обмен сведениями. В лагере экспедиции, именуемой «Маленькая Америка», или «Город холостяков», — сорок два человека. Январь в Антарктике — разгар лета, и погода соответственно летняя — два градуса тепла, густой туман и круглосуточное солнце. Со своей стороны я сообщаю нашу обстановку: ночь, тридцать градусов мороза. Мы сообщили друг другу все, что могло нас интересовать, обменялись взаимными приветствиями и договорились о встрече в эфире на следующий день.

Так была установлена двухсторонняя связь между самой северной и самой южной радиостанциями земного шара.

Через несколько лет, просматривая американские журналы, я увидел рекламу, в которой сообщалось: «Адмирал Берд установил связь с Землей Франца-Иосифа только потому, что пользовался изоляторами нашей фирмы! Покупайте изоляторы только у нас!» Вот этого я не знал!..

Частенько происходила охота на медведей, но без романтики единоборства — охотились обычно с крыльца. Собаки начинали лаять. Мы хватали винтовки. В доме жарко, но полы холодные, поэтому на ногах всегда валенки. И вот в валенках, ватных штанах и нижних рубашках с закатанными рукавами мы выскакивали на тридцатиградусный мороз. Мы были настолько прогреты, что мороз ощущался как приятная перемена обстановки, — и прямо с крыльца палили по подошедшим медведям.

Медведей было очень много. Это было их царство, в полном смысле слова край непуганых медведей. Сейчас дело обстоит иначе. Сейчас стрелять в медведя разрешается, только если он нападет, потому что поголовье медведей резко снизилось. Тогда же палили полным ходом, и не только мы, но норвежские промышленники, браконьерствовавшие в летние месяцы в этих водах. Браконьеров приходило на Землю Франца-Иосифа немало, так как и зверя и птицы собиралось тут несметное множество.

Когда бухта летом очищалась ото льда, мы отправлялись на охоту. Бухта была обширной. Как раз напротив станции находился очень красивый утес, вернее, даже не утес, а гора с совершенно отвесной стеной. Эта гора называлась Рубини-Рок. Она была покрыта каким-то лишайником и при определенном освещении действительно выглядела как рубиновая. Рубини-Рок в летнее время собирал мириады прилетающих сюда птиц. Это был грандиозный птичий базар. Там жили десятки тысяч кайр.

Был у нас морской тузик — совсем маленькая, но очень крепко сделанная морская шлюпка на двух человек. Мы выбирали абсолютно тихую погоду. Подходили на этой шлюпке к отвесной стене. Над нами kloкотал и переливался всякими звуками птичий базар.

Начиналась охота. У каждого была двустволка, то есть у двух человек — четыре выстрела. Приготовления к охоте шло следующим образом: мы были в полушубках или в ватниках, в зависимости от погоды. Первое, что надо было сделать, — натянуть ватник или полушубок на голову. Затем наклонить лицо вниз. После этого направить двустволку вверх, чтобы убить четырьмя выстрелами несколько десятков кайр.

Первый выстрел даешь, старательно наклонив голову вниз. Этим первым выстрелом поднимаешь весь базар, все эти мириады птиц. Им

становится очень страшно, и от испуга они посылают вниз град помета. Не глядя, после первого выстрела даем остальные три — и охота окончена. Только и слышишь, как справа и слева от тебя шлепаются подбитые кайры. Откладываешь ружья в сторонку и собираешь трофеи.

Потом на кухне всей компанией очищаешь подстреленных птиц. По существу, съесть можно только грудку, она довольно мясистая и вкусная. Вот так и происходила охота на Земле Франца-Иосифа.

Ходили мы и по окрестным ледникам. Это очень опасное занятие, так как за зиму трещины полностью закрываются снегом. И когда идешь на лыжах, вдруг ударяешь палкой и слышишь совсем другой, какой-то гулкий звук. Значит, под тобой трещина. На лыжах еще не так опасно, но идти пешком по этим местам явно не рекомендуется.

По соседству с нашей станцией была долина, и здесь мы нашли несколько крупных камней — кусков окаменевшего дерева. Они имели даже сучки, и видны были все годовичные слои.

Механизм вращения земного шара действовал безотказно. За полярной весной наступило лето с его незаходящим солнцем, и в один прекрасный день снова в бухте Тихой, раздвигая льды, появился ледокол «Седов». Разумеется, это не было для нас неожиданностью. По мере приближения ледокола мы переговаривались с его радистом, даже послали Шмидту телеграмму, что гладим брюки, готовясь к встрече с цивилизацией.

Шлюпка, спущенная с «Седова», доставила на землю группу прибывших. Среди них был и Отто Юльевич Шмидт.

После смены зимовщиков и привычного в таких случаях погрузочно-разгрузочного аврала «Седов», приняв нас на борт, покинул бухту Тихую и взял курс на Новую Землю. На севере Новой Земли, в большой бухте, известной под названием Русской гавани, было назначено рандеву с «Русановым». «Русанов» доставил «Седову» уголь, чтобы тот, не заходя в Архангельск, мог двигаться дальше по своему назначению. А назначением «Седова» были не посещавшиеся никем таинственные западные берега Северной Земли.

Нас, зимовщиков, пересадили на «Русанова», и мы отправились домой. «Седов» же, обогнув мыс Желания, северную оконечность Новой Земли, двинулся на восток. На «Седове» находились Отто Юльевич Шмидт, Владимир Юльевич Визе и знаменитая ушаковская

четверка, о которой я расскажу чуть далее и по возможности подробно. А сейчас о том, что произошло с «Седовым» после того, как он простился с «Русановым». «Седов» должен был пройти через район того вопросительного знака, который поставил на карте Владимир Юльевич Визе.

Дозорные с мощными биноклями в руках самым тщательным образом обшаривали горизонт, а Визе, волнуясь, сбудется ли его прогноз, сидел за роялем в кают-компании.

— Земля! — сказал вошедший в кают-компанию капитан Воронин.

— Прошу, Владимир Юльевич, взглянуть на свои владения! — дополнил Шмидт.

Все вышли наверх. Перед кораблем за ледяным полем темнела черная полоска. Шмидт взял красный карандаш и зачеркнул обозначенный на карте знак вопроса. Это место предстояло занять вновь открытому острову — острову Визе.

Когда группа ученых, моряков и журналистов приблизилась к острову, Шмидт сказал:

— Владимир Юльевич, это ваш остров, и первой ногой человека, вступившего на его землю, должна быть ваша нога!

Над островом заплескался красный флаг. — Мы водружаем здесь флаг нашей Родины, — сказал Шмидт, — для того, чтобы вернуться сюда и основать здесь полярную научную станцию... Профессор Визе высказался о возможности открытия новых островов на подступах к Северной Земле. Он просил меня чуть изменить курс. Мы с капитаном дали согласие...

Вскоре после этой речи на подступах к Северной Земле удалось открыть еще два острова — остров капитана Воронина и остров профессора Исаченко.

Открытия островов, предсказанных профессором Визе, — крупный успех экспедиции 1929–1930 годов. Но, помимо этого, на «Седове» было сделано еще два больших дела. Проанализировав обстановку в Арктике, Шмидт и Визе пришли к уверенному заключению о возможности пройти на ледоколе из Архангельска во Владивосток без зимовки. Визе всемерно одобрил эту идею, предложив реализовать ее в 1932 — международном полярном году.

Этот план был осуществлен походом ледокола «Сибиряков».

В другой беседе, на этот раз со мной, Владимир Юльевич рассказал про международное общество «Аэроарктика», организованное по предложению Фритьофа Нансена. Нансен был искренне убежден, что наилучший вариант овладения Северным полюсом — это воздушный. Он отлично понимал, что развитие летной техники значительно меняет условия борьбы за Арктику, и хотел эти возможности использовать наилучшим образом.

К тому времени, когда «Аэроарктика» развернула свою деятельность, в нашей стране началась большая кампания за постройку эскадры дирижаблей.

Из рассказов Владимира Юльевича я узнал, что «Аэроарктика» готовит экспедицию для полета на Северный полюс на дирижабле.

— Владимир Юльевич, ради бога! Как бы попасть в эту экспедицию?

Владимир Юльевич был человек обязательный и точный. Он сказал:

— Я пока еще толком ничего не знаю, но если будет советская группа на дирижабле, то я постараюсь вам помочь, поскольку вы уже имеете опыт работы в Арктике, Я вам помогу.

Всю зиму шла переписка, и Владимир Юльевич исключительно аккуратно, честно и скрупулезно отвечал на все мои письма. К сожалению, эти ответы не сохранились.

Вариант был таков: лететь до Северного полюса и там встретиться с подводной лодкой знаменитого американского исследователя Арктики Уилкинса. Уилкинс получил для своего полярного похода подводную лодку у военно-морского флота Америки. По существующим американским законам дарить военное имущество нельзя, а так как у Уилкинса особых денег не было, лодку через посредников передали ему в аренду за один доллар в год. Не следует думать, что военно-морское ведомство продешевило. Лодка хотя и могла еще двигаться, но была списана с флота то ли по ветхости, то ли по моральной устарелости.

Задолго до намеченной встречи Уилкинс осторожности ради сделал пробу. Добрались они на своей лодке до района Шпицбергена, до кромки льда и немножко нырнули под эту кромку. Хорошо, что немножко, так как быстро выяснилась весьма существенная техническая неполадка — потеряли руль глубины.

Правда, люди уцелели. Лодка благополучно выскочила из-под льда, но встреча на Северном полюсе подводной лодки и дирижабля отпала. Вскоре лодка Уилкинса была отбуксирована к берегам Норвегии и где-то вблизи этих берегов подорвана и потоплена.

Все эти переговоры, происходившие на борту «Седова», имели к моей судьбе самое непосредственное отношение — я был включен в состав международной экспедиций на дирижабле, а потом прошел Северным морским путем на «Сибирякове», был доставлен по воздуху (правда, иначе, чем предполагал Визе) на Северный полюс, откуда со своими товарищами дрейфовал на льдине.



## Сорок шесть человек, сто пять тысяч кубометров

*История одной почтовой марки. Знакомство с профессором Молчановым, изобретателем радиозонда. Вступление в мир дирижаблей. Забота о престиже. Первый выезд за границу. Встреча с миллионером. Удельное цеппелиновское княжество. Тренировочный полет. Что знали немцы о нашей стране. Дирижабль уходит в Арктику. Как мы летели. Первая встреча с Нобиле. Запуск зонда. Возвращение.*

В далекие гимназические годы я, как и мои одноклассники, подвергся распространенной детской болезни — собиранию почтовых марок. Для этой высокой цели мне подарили ко дню рождения специальный альбом. Переплет альбома украшало много разных рисунков — смешной паровоз (потолок техники того далекого времени), пальмы, сфинкс, пирамиды, эскимосская собачья упряжка — короче говоря, все, что могло убедить в необъятности земного шара.

Марки были тогда совсем другими. По сравнению с нынешними — очень скучные. Изображали они главным образом царствующих и властвующих особ. Помнится, что среди них особенно котиrowались марки с императором Францем-Иосифом. Этот австро-венгерский монарх просидел на престоле шестьдесят восемь лет, и не удивительно, что, засидевшись так долго на троне, бодрый старикашка с марок тоже не слезал.

Потом марки были оставлены, и я уже решил, что выработанный против филателии иммунитет сохранится на всю жизнь. Но случилось иначе. После пятидесяти лет — возраст, названный Мопассаном вершиной, с которой отчетливо виден конец пути, — наступил злостный рецидив. Мой вполне взрослый сын заклеил меня прозвищем «юный филателист».

Сознаюсь, я не очень огорчился. Количество таких же, как и я, не очень юных филателистов велико. Вот почему мне захотелось в этой главе рассказать историю, послужившую поводом к выпуску красивой и теперь редкой марки, изображающей встречу ледокола «Малыгин» с

дирижаблем «Граф Цеппелин». Встреча произошла у меня на глазах, больше того — я был ее участником.

Исполнилась моя мечта — благодаря Владимиру Юльевичу Визе меня включили в состав четверки, представлявшей нашу страну в международной группе на борту дирижабля ЛЦ-127 «Граф Цеппелин». Начались сборы в дорогу.

Научную часть этой международной экспедиции возглавил Рудольф Лазаревич Самойлович. Кроме него, советскую науку на цеппелине представлял также и другой крупный ученый — известный советский аэролог профессор П. А. Молчанов. Аэрология в ту пору еще лишь формировалась, но профессор Молчанов уже преподавал эту дисциплину, имел много трудов, а главное, успел сделать изобретение, которое иначе, как прекрасным даром человечеству, и не назовешь. Профессор Молчанов изобрел первый в мире радиозонд.

Молчанов — невысокого роста, с корпулентной фигурой, а попросту говоря, очень тучен. Его серый костюм всегда тщательно отутюжен, над туго накрахмаленным воротничком безукоризненно белой рубашки сияет круглое, добродушное лицо с аккуратно подстриженными усами и белесыми, выгоревшими бровями. Лицо Молчанова буквально источало доброжелательность.

Профессор оказался весельчаком, и мы тотчас принялись выкладывать друг другу наши запасы анекдотов. А затем сыскалась еще одна точка соприкосновения — Молчанов великолепно разбирался в радиотехнике. Радио тоже стало темой наших бесед, из которых я узнал, что микрорадиопередатчик зонда он не только сам сконструировал, но и изготовил собственноручно. И это не было только лишь искусством рук радиолюбителя. Профессор Молчанов столь тонко знал радиотехнику, что сумел разработать систему кодирования всех параметров, которые регистрировал радиозонд, забравшись на большие высоты.

Конечно, нынешние радиозонды существенно отличаются от первых. То время и наши дни — разные эпохи в радиотехнике. Но радиозонд Молчанова — первопроходец высоких слоев атмосферы, и я горжусь, что мне пришлось участвовать в одной экспедиции с этим выдающимся ученым, наблюдать запуски его радиозондов с борта дирижабля.

И Молчанов, и Самойлович представляли старшую часть нашей небольшой советской группы. Мы же с Федором Федоровичем Ассбергом — младшее поколение. Такому расслоению способствовало и то, что Самойлович и Молчанов были ленинградцами, а мы с Ассбергом — москвичами.

Жили мы с Федором Федоровичем по соседству. Он в Армянском переулке, а я в Большом Харитоньевском. Перед отъездом в Германию я не раз к нему заходил, и он просвещал меня по части дирижаблей, которые были для меня в ту пору областью неизведанной, и сколько бы он ни рассказывал, я слушал, развесив уши.

В годы первой мировой войны Ассберг — офицер артиллерийской службы. Он занимался подъемом привязных аэростатов для наблюдения за противником и корректировки артиллерийского огня. После войны Федор Федорович связал свою жизнь с летательными аппаратами легче воздуха. Большой энтузиаст отечественного воздухоплавания, он стал одним из ведущих специалистов по дирижаблям. Именно это обстоятельство и определило его участие в экспедиции. Дирижаблям придавалось тогда большое значение. Их собирались строить и в нашей стране. Федору Федоровичу предстояло ознакомиться с подробностями конструкции и эксплуатации цеппелинов, в чем немцы к тому времени имели огромный опыт.

Именно Ассберг объяснил мне разницу между маленькими мягкими дирижаблями объемом 500-1500 кубометров, полужесткими типа «Норге» и «Италия» и исполинскими жесткими дирижаблями, к числу которых принадлежало семейство цеппелинов. Все это было очень интересно, тем более что до этого ни на одном летательном аппарате — ни на самолете, ни на дирижабле — я ни разу в воздух не поднимался. Впрочем, это меня мало смущало. Я твердо решил: раз люди летают, то почему же не попробовать и мне.

На первый взгляд может показаться странным, почему надо было ехать в Германию, почему в Советскую Арктику должен был лететь немецкий дирижабль. Только людям почтенного возраста, которые помнят, как выглядела наша авиация тех лет, эта экспедиция ничуть не кажется странной. Достаточно привести лишь некоторые газетные заголовки, чтобы ощутить, сколь слабы были тогда еще собственные крылья.

«Хороший аэродром — дело чести каждого города» — писала в июле 1931 года «Правда», подчеркивая, что недалеко то время, «когда гражданский воздушный флот проникнет во все уголки Советского Союза». А вот другая корреспонденция, вернее, подборка корреспонденций: «Сегодня начинается десятидневник помощи гражданской авиации», «Моссовет образует специальный комитет содействия гражданской авиации», «Первый советский мощный мотор воздушного охлаждения успешно выдержал 100-часовые испытания...»

Было плохо с самолетами. Не лучше и с дирижаблями. Правда, за четырнадцать лет существования Советской власти удалось достичь многого, но этого было явно недостаточно.

В 1920, не скупившемся на тяготы году группа энтузиастов восстановила «Астру» — один из четырех русских дирижаблей, сражавшихся еще в годы первой мировой войны. Разумеется, его переименовали, и «Красная звезда» успешно начала свои полеты. Поначалу все шло как надо, но для большой и, увы, слабосильной машины оказалось достаточно первой же бури. Дирижабль погиб, обрадовав хотя бы тем, что с его гибелью не были связаны человеческие жертвы.

В 1923 году слушатели воздухоплавательной школы во время практических занятий выстроили из старых змейковых аэростатов мягкий слабосильный дирижабль «Шестой Октябрь». Год спустя по инициативе работников резиновой промышленности построен еще один далеко не гигант — мягкий дирижабль «Московский химик-резинщик». Его полет в 1928 году Ленинград — Тверь воспринимался как событие.

Но все это было присказкой. Сказка началась в 1930 году постройкой дирижабля «Комсомольская правда». С этого времени строительство воздушных гигантов стало уже не демонстрационным любительством, не робкими экспериментами, а всенародным делом. Лозунг «Даешь советские дирижабли!», набранный крупным шрифтом, украшал газетные полосы, обложки книг. Он напомнил призывное «Даешь!», вдохновлявшее красноармейцев в годы гражданской войны.

Но пока шли все эти поиски, ни одного дирижабля, способного полететь в Арктику, наша страна еще не имела. Отсюда и мысль о

международной научной экспедиции, которую можно было бы послать в Арктику на самом лучшем дирижабле своего времени.

Мой путь за границу начался с решения чисто бытовых проблем, сегодня смешных, тогда же очень трудных. Если сегодня мы, москвичи, одеты так же, как жители Парижа, Лондона или Вашингтона, то тогда разница в костюмах была огромной. О выезде за рубеж в том виде, в каком мы ходили дома, и думать не приходилось.

Элегантность ценилась во все века и всеми народами. Поиски хорошего портного всегда составляли сложную задачу. Экипировка для предстоящей поездки не была каким-либо исключением из этого извечного правила. Но вряд ли я сумел бы своим видом поддержать марку представителя первого в мире пролетарского государства, если бы не помощь Наркомата иностранных дел.

В хозяйственном отделе Наркомата мы получили талончики и направились с ними в Петровский пассаж, где находился какой-то маленький магазин. Большие витрины этого магазинчика были замазаны изнутри зубным порошком. Простым смертным туда заходить не полагалось, но едва волшебные талончики сказали: «Сезам, отворись!» — как он отворился, и нас быстро привели в пристойный вид, вполне соответствовавший целям предстоящей поездки. Это было сделано так хорошо, что я в состязании туалетов победил даже американского миллионера, о чем расскажу чуть далее. Молниеносно сшили синий костюм, который дома назывался потом «цеппелиновским». Я был одет и обут. Сомнений не оставалось — престиж великого государства от неполноценности моего облика пострадать не должен.

Это была моя первая поездка за рубеж. Опыта не было. Собирая меня в дорогу, всей семьей думали и гадали, что же взять с собой. Проблема престижа и здесь определяла все. Мои домашние, естественно, не хотели, чтобы там, на чужбине, я ударил в грязь лицом. Понимали отлично все и то, что за границей тоже живут люди и в «мелких городках», вроде Варшавы или Берлина, можно купить все, что понадобится человеку, посланному в длительную командировку. Именно по этим соображениям во время сборов чаще всего повторялась одна и та же фраза: — Зачем ты это берешь? Там купишь! В результате багаж мой выглядел более чем скромно. Я ехал с крохотным чемоданчиком, размером тридцать на сорок сантиметров,

великолепным произведением какой-то московской артели по изготовлению ширпотреба. Дома чемоданчик выполнял весьма скромную будничную работу — жена бегала с ним на рынок. Исполнение этой обязанности оставило на розовых полосатых обоях, которыми мой чемодан был оклеен изнутри, бурое пятно — видно, жена когда-то покупала мясо. Удалить пятно было задачей технически невыполнимой. Махнув рукой, я решил закрыть глаза на этот дефект: другого чемоданчика подходящих размеров в доме просто не было. В последний момент были сочтены неэстетичными и моя мыльница, и зубная щетка. Мне сказали: — Там купишь хорошие!

Так, с базарным чемоданчиком, без зубной щетки, я отправился в обществе Федора Федоровича за границу. Что же касается профессора Самойловича и Молчанова, то они поехали туда прямо из Ленинграда.

Впервые в жизни я погрузился в международный вагон, который до того времени видел исключительно в кинофильме «Сумка дипкурьера». Вагон поражал своим великолепием. Внутри и снаружи он был обшит длинными полосами дерева. То ли олифа, то ли краска подчеркивала нарочитость швов и приятную желтизну этих досок. Большие медные буквы, надраенные до блеска и прикрепленные к стенке вагона, составляли надпись: «Вагон ли». В переводе с французского это означало «спальный вагон».

Мы вошли в купе. Изобилие бронзы, меди и сурового полотна чехлов подавляло. Правда, Федор Федорович, как человек более опытный, держался довольно бойко, а я все-таки стеснялся.

Вагон был международный, но ехали мы по-студенчески. От услуг ресторана отказались сразу — у нас был свой ресторан: куча бутербродов и пара бутылок пива. Все было рассчитано, чтобы не тратить на еду лишнего, особенно валюты, которой предстояло поддерживать за границей наш престиж.

Так мы добрались до Негорелого, где проходила в то время государственная граница. Вылезли из вагона, и пошли в ресторан. Большая группа японцев пила вино и ела бутерброды. Мы же с Федором Федоровичем навалились на какой-то преотвратительный борщ и в высшей степени невразумительные куски мяса с пшенной кашей. Наелись мы как следует, чтобы ничего больше не есть до приезда к цеппелину. Набили полные карманы курева и спичек и пересекли границу.

Разумеется, нас, как положено, подвергли таможенному досмотру. Мы пошли вдоль низенького прилавка, какие существуют на всех таможах мира. Польские таможенники выглядели орлами. Знаменитые конфедератки, большие козырьки, окованные медью, чистенькие мундирчики, надраенные пуговицы. Одним словом, прямо как генералы или, по меньшей мере, старшие офицеры генерального штаба.

У Федора Федоровича был небольшой чемоданчик, а мой и того меньше. Таможенник выразительно покрутил в воздухе пальцем, показав, что надо расстегнуть запоры. Я расстегнул. Он небрежным жестом открыл крышку и увидел бурое пятно от подтекшего мяса. Пошевелил полотенце, оглядел бельишко. И, несмотря на всю скудость моего багажа, произвел две конфискации, изъяв номер «Известий», в который было завернуто полотенце, и последний «Огонек», купленный в Негорелом для чтения в дороге. Иных препятствий для въезда в Польшу не оказалось, и я впервые очутился за границей.

Была хорошая погода. Мы гуляли по платформе на польской стороне, ожидая, пока подадут поезд. В Польше железнодорожная колея уже нашей, и мы должны были пересесть в другой состав.

Гуляли мы до тех пор, пока после обильного обеда и пива, выпитого еще на родине, природа не потребовала свое. Мы разыскали соответствующее учреждение. Несколько ступенек вниз — и Европа предстала перед нами на самом высоком уровне: кафельные стены, чистота, журчащая вода, медные начищенные краны...

Мы воспользовались гостеприимством этого учреждения, а когда выходили, откуда ни возьмись, появилась сторбленная старушка. Попади она на глаза кинорежиссерам, снимающим сказки, ее немедленно законтрактовали бы на роль бабы-яги. Протягивая руку, эта баба-яга девяносто шестой пробы что-то лопотала по-польски. Первым догадался Федор Федорович:

— Эрнст Теодорович, тут надо платить!

Так я произвел первую в своей жизни трату валюты. Благополучно проехав Польшу, мы добрались до Берлина. Здесь нас встретили сотрудники советского посольства и отвезли в заранее отведенную резиденцию — общежитие для советских граждан, приезжающих в Берлин.

Там было очень чистенько и уютно. Хозяйка приносила к утреннему завтраку большое блюдо немецких «земмель» — маленьких булочек величиной в пол-яблока. Немцы едят одну булочку, а мы — штук по десять. Но хозяйка знала, что на аппетит ее постояльцы обычно не жалуются, и приносила все новые и новые «земмель». Одним словом, все было в полном порядке.

Из Берлина нам предстояло поездом ехать дальше, в юго-западный угол Германии, к Боденскому озеру. Но несколько дней до отъезда оставались в нашем распоряжении, и мы занялись осмотром города.

Побродили мы по Берлину и, конечно, не преминули посетить большой универмаг на Александрплатц. Это, между прочим, всегда трудная статья для любого товарища, попадающего в командировку. Проклятые сувениры! Их надо купить жене и теще, детям и всем родственникам до седьмого колена, друзьям, приятелям, сослуживцам. В такой момент думаешь: хорошо бы ездить с собственной электронной машиной, которая тут же определяла бы оптимальный вариант покупки. Сувениры нелегко покупать и сегодня, тогда же, в 1931 году, дело обстояло еще сложнее. И, наверное, больше всего мы с Федором Федоровичем походили на людей, решающих одно уравнение со многими неизвестными.

Зашли в парфюмерный отдел. Я свободно владею немецким языком, и это облегчило предстоящую задачу... Девушка спрашивает:

— Кажется, господа русские?

Господам нечего было стесняться.

— Да, русские!

— Откуда вы приехали?

— Из Москвы.

— Что вас интересует?

— Губная помада...

— А туалетное мыло вас интересует?

— Да, туалетное мыло тоже интересует.

— Я знаю ваше правило. Русские господа могут везти с собой только два куска туалетного мыла. Я., сейчас их достану...

Продавщица извлекла из-под прилавка огромную коробку, и в этой коробке лежали два куска мыла. Не совру, если скажу, что каждый — на килограмм, не меньше, но кусков два. Оформлены они были по



всем правилам — в прозрачной бумаге, розового цвета. Отлично пахли розами. Нам куски эти, естественно, понравились, тем более что они полностью соответствовали таможенным порядкам.

Через несколько дней в Берлине в каком-то шикарном загородном ресторане была собрана иностранная часть экспедиции совместно с офицерами дирижабля. Из сорока шести участников полета за стол село не более пятнадцати. Несколько немецких ученых, советские ученые, норвежский профессор и единственный пассажир дирижабля американец Линколн Элсворт.

Линколн Элсворт был личностью примечательной. Не знаю, занимался ли он какой-либо коммерческой деятельностью или же его состояние перешло к нему по наследству, но это был миллионер, примечательный меценатской деятельностью в Арктике. Он в значительной степени финансировал полеты Амундсена. И за возможность полета на цеппелине уплатил огромную по тем временам сумму — пять тысяч долларов.

Узнав, с кем меня столкнула судьба, я разглядывал Линколна Элсворта во все глаза. Еще бы! Первая в жизни встреча с настоящим миллионером. Но этот миллионер, которого я увидел воочию, никак не походил на толстяков в цилиндрах, с огромными животами, звериным оскалом и золотой цепью поперек брюха, каких изображали обычно в окнах РОСТА.

Мой новый знакомый, человек среднего, даже скорее маленького роста, держался в высшей степени скромно. На нем был костюм не первой свежести, и (это наполнило меня ощущением собственной значительности) потрепанные ботинки, гораздо худшие, чем мои новые, купленные по наркоминделовским талончикам.

Во главе стола, как и положено хозяину, сидел командир дирижабля доктор Эккнер, грузный, широкоплечий человек с мощной, импозантной фигурой. Доктор Эккнер носил штатский костюм, хотя наверняка был офицером. На большом лице выделялись набрякшие мешки под глазами. Когда он вошел в ресторан, седую голову прикрывала морская фуражка с якорем и большим лакированным козырьком. Фуражка была потрепанная, выдавшая виды, но сидела на голове командира дирижабля с большим шиком и одновременно простотой, словно спешила всем сообщить, что сидит она, безусловно, на своем месте.

Едва гости успели разместиться за столом, как произошла сценка, свидетельствовавшая, что наш командир не только умеет носить с шиком фуражку. Внезапно вызвали к телефону его сына, инженера Эккенера, крупного парня «арийского» облика с великолепной фигурой, говорящей о длительных занятиях спортом. Эккенера-младший был одним из офицеров дирижабля. Он ведал штурвалом высоты. Через несколько минут он вернулся я, наклонившись к отцу, что-то сказал ему на ухо. Доктор Эккенера не стал делать из полученных сведений секрета. Он сообщил нам:

— День вылета уже назначен. Но синоптики предупреждают, что на трассе до Ленинграда будет не очень удачная погода. Там, наверху (это было произнесено как-то очень подчеркнуто), решили отложить полет. Но я откладывать полет не буду. Как наметили, так и полетим. Будем аккуратны!

Мне понравилось и сочетание выражения «там, наверху» с собственным решением, и то удивительное достоинство, с которым командир информировал о своих планах и намерениях.

Около стола появились официанты, и я понял, что начинается трудное испытание. Предстояло держать экзамен на понимание и знание этикета, процедура которого была, в общем, совсем не простой. Если добавить к этому, что еще в Москве я наслушался страшных рассказов о том, что далеко не всем удастся правильно держать себя за столом, то станет ясным: чувствовал себя я в эти минуты не очень уютно.

Официанты принялись обносить стол. Начали с того, что на большом подносе подали что-то завернутое в крахмальные салфетки. Все брали это что-то и, не разворачивая, клали рядом с тарелкой. Прodelал то же самое и я. Положил свою «салфетку» около тарелки и пощупал рукой, пытаясь определить, что же это может быть. Чувствую, что-то мягкое и теплое. Потом оказалось, что принесли подогретый хлеб.

Я внимательно оглядел арсенал, окружавший мою тарелку. Букет вилок, как полагается, лежал слева. Букет ножей — справа. Ложки — спереди. Теперь-то я хорошо знаю, что начинать надо с крайних ножей и вилок. Тогда же это простое спасительное правило мне не было известно. К тому же неясную для меня картину в еще большей степени затуманивала внушительная шеренга бокалов — от маленьких рюмок

до больших фузеров. Но безвыходных положений не бывает, нашел выход и я, вспомнив старинную команду моряков, которую адмирал может подать другим кораблям своей эскадры: — Делай как я!

Скосив глаза направо и налево, я решил равняться на своих соседей и делать, как они. Увы, очень быстро я понял, что косить мне придется главным образом налево. Сосед справа, норвежский профессор, чувствовал себя столь же беспомощно, как и я, пытаюсь при этом взять меня за образец. И хотя, подражая соседу слева, я был очень далек от самостоятельности, мне, признаться, стало весьма лестно, что зарубежный профессор пользуется моими не шибко богатыми познаниями сложного ритуала.

С этого обеда прошло почти сорок лет, но и по сей день в моей коллекции сохранилось меню, напечатанное на роскошной бумаге с автографами всех, кто сидел в тот день за столом — и Самойловича, и Эккенера, и Линколна Элсворта, и многих других...

Первым блюдом в меню был обозначен черепаховый суп. Выглядел этот прославленный суп как жиденький бульончик. И, попивая его, я так и не мог ответить себе на вопрос: а плавала ли в нем когда-либо черепаха?

Блюда менялись одно за другим, равно как и вина, усердно подливаемые в наши бокалы. Мои представления о застольном этикете расширялись буквально на глазах. К рыбе принесли белое вино, к мясному блюду — красное, потом с мельхиоровым подносом в руках официант стал обносить всех сидящих за столом какой-то розовой водичкой в специальных чашках, где, как кораблик, плавал кружок лимона. Бывали случаи, когда кое-кто принимал это за питье. Но чаша с ломтиком лимона имела совсем другое назначение: нужно было элегантно обмакнуть в нее кончики пальцев и потереть их об этот кусочек лимона.

После завершения процедуры омовения испачкавшихся за обедом перстов все встали. Появился черный кофе, сигары, маленькие рюмочки коньяка. Одним словом, как в лучших домах.

Прошло несколько дней, и мы покатили на юг, во Фридрихсгафен. Этот в высшей степени уютный городишко расположен на берегу удивительно красивого Боденского озера с его сине-зеленой водой. Как все альпийские озера, оно отражало белоснежные шапки горных вершин... По цветному зеркалу воды бегали маленькие пароходики —

пятьсот квадратных километров поверхности давали им место, где разгуляться.

Три государства граничили друг с другом в этой точке: Германия, Австрия и Швейцария. В великолепном парке на немецком берегу, куда мы приходили с Федором Федоровичем, среди роз стояла большая тумба. На ней, под толстым стеклом — чертеж-схема. Стрелки этой схемы показывают на противоположный берег, на горные вершины, а надписи подле стрелок сообщают имена этих вершин. В хорошую ясную погоду горы великолепно видны, и потому, никогда не бывав в Швейцарии, я могу сказать, что хорошо видел горы этой страны.

Однако идиллическая картина природы явно входила в противоречие с сущностью расположенных во Фридрихсгафене учреждений. Разрыв между внешностью и сутью этого маленького городка был весьма велик. Мы поняли это с особой отчетливостью, побывав в музее Цеппелина и познакомившись с историей, рассказ о которой поможет читателю представить полнее, что такое Фридрихсгафен для Германии, какую роль сыграл он в первой мировой войне.

...Девятнадцатый век уже подходил к концу, когда отставной кавалерийский генерал граф Фердинанд Цеппелин, изменив лошадям, решил заняться проблемами воздухоплавания. Эти проблемы в то время выглядели особенно заманчивыми. Принципиальная возможность управляемого полета была полностью доказана, и казалось, нужно совсем немного, чтобы конструкции обрели надежность и удобство в эксплуатации. Именно эта задача и стала главным делом жизни отставного кавалерийского генерала.

Боденское озеро, окруженное горами, имело тихую поверхность. На его берегу располагалось родовое имение Цеппелинов. Оба обстоятельства сыграли не последнюю роль в выборе места для постройки будущей дирижабельной верфи.

После ряда неудач старый граф запатентовал конструкцию своего корабля и создал компанию для его постройки, называвшуюся «Общество развития воздухоплавания». Капитал этого акционерного общества составлял около миллиона марок. Главным акционером был сам граф Фердинанд Цеппелин, вложивший в это дело полмиллиона. Компания приступила к постройке своего первенца...

2 июля 1900 года стодвадцативосьмиметровая сигара первого цеппелина Ц-1 была выведена на поверхность Боденского озера. Размеры дирижабля, равно как и его конструкция, напоминавшая конструкцию морских судов, вызвали удивление. Корпус исполинского воздушного корабля имел каркас из продольных балочек — стрингеров и поперечных колец — шпангоутов. Два бензомотора Даймлера мощностью по шестнадцать лошадиных сил должны были поднять в воздух эту громаду и позволить ей летать с пятью членами команды на протяжении десяти часов.

После экспериментальной проверки в воздухе, которая, разумеется, прошла при самом непосредственном участии изобретателя, началась доработка конструкции. Однако акционерное общество распалось. Пайщики, вложившие капитал, не хотели ждать, и Цеппелин, мобилизовав свой бюджет до предела, выкупил у компаньонов остальную часть акций.

Надо отдать должное старому изобретателю. Он проявил незаурядное мужество и волю, на протяжении ряда лет преодолевая сыпавшиеся на него, как из рога изобилия, неприятности. Но вот все позади. В 1908 году к Фердинанду Цеппелину пришла слава. Он стал национальным героем. Сам кайзер Вильгельм пожертвовал первые полмиллиона марок на постройку будущих цеппелинов. Целый месяц в почтовых учреждениях стояли огромные очереди жертвователей. И учреждения, и отдельные лица спешили оказать помощь человеку, готовящему славу Германии.

Одним из первых людей за пределами Германии, сумевших оценить будущность цеппелинов, оказался известный английский писатель Герберт Уэллс. В том же 1908 году он написал роман «Война в воздухе». В фантастической воздушной войне, нарисованной Уэллсом, принимали участие весьма реальные цеппелины.

Прогноз Уэллса сбылся очень скоро. — Как известно, дирижабли участвовали в воздушных налетах на Лондон и Париж. Не удивительно, что дирижаблестроение в послевоенной Германии подверглось ограничениям со стороны победителей в первой мировой войне и проекты десяти дирижаблей не были осуществлены.

Фридрихсгафен представлял собой подлинное цеппелиновское царство. Наверное, все его население, каких-нибудь пятьдесят-восемьдесят тысяч человек, жило за счет Цеппелина. Аптека —

Цеппелин. Булочная — Цеппелин. Отель — Цеппелин. Пивная — Цеппелин. Лотерея — Цеппелин. Одним словом, куда ни глянь — повсюду Цеппелин.

На ограничения в дирижаблестроении немцы взирали без особого восторга. Свидетельство тому — памятник явно реваншистского толка, поставленный неподалеку от летного поля и ангара, в котором находился цеппелин. Дело в том, что на окраине Фридрихсгафена расположены моторостроительные заводы фирмы Майбах. Моторы этой фирмы стояли и на цеппелинах. После первой мировой войны большинство этих заводов было закрыто, часть оборудования увезена победителями. Отсюда и памятник. На огромной глыбе почти необтесанного гранита, окутанный толстенными цепями, стоял настоящий майбаховский мотор. Под мотором весьма выразительная надпись: «Германия, проснись!»

Мы поселились в маленькой, но очень уютной гостинице. В ее первом этаже располагался небольшой ресторанчик. Там можно было, и позавтракать, и пообедать, и поужинать, и выпить и молока, и пива, и вина из великолепных разноцветных бокалов, встретиться с друзьями, провести вечер с дамой.

Все в этом ресторанчике выглядело очень просто, но удобно. Голые столы с простыми дубовыми досками. Обшитые темным дубом стены. Наверху полки, заставленные персональными пивными кружками с именами и фамилиями завсегдатаев заведения. В маленьких окнах — разноцветные стекла.

Однако, несмотря на подкупающий комфорт заведения, мы с Федором Федоровичем предпочитали в нем не засиживаться. Напротив, взяв напрокат пару стареньких, потрепанных велосипедов, мы катались по всему городу, жадно впитывая впечатления от удельного цеппелиновского княжества.

Не обходилось и без происшествий. Однажды, приближаясь к гостинице, мы увидели толстого седого человека в брюках гольф и тирольской шляпе с пером. Выглядел он столь браво, и печать преуспеяния на его лоснящемся, идеально выбритом лице была столь очевидной, что сжатый кулак, поднятый незнакомцем на уровень плеча, и громкий возглас: «Рот фронт!» — не вызвали у нас ни малейшего желания ответить.

Возвратившись, домой, мы описали хозяину гостиницы внешность странного господина и спросили:

— Кто это?

— А, это наш полицмейстер. Он очень большой шутник!

После короткого отдыха началась работа, ради которой мы и были посланы в этот уголок Германии, — знакомство с дирижаблем ЛЦ-127, на котором предстояло лететь далеко на север. Это был самый мощный из всех существовавших тогда воздушных кораблей, а поскольку было известно из полетов Амундсена и Нобиле, что Арктика к воздухоплатателям не всегда гостеприимна, выбор был остановлен на воздушном гиганте.

Без преувеличения можно назвать ЛЦ-127 подлинным воздушным мастодонтом. Этот сто семнадцатый по счету дирижабль, построенный на цеппелиновских верфях (десять проектов, как я уже отмечал, не были осуществлены после первой мировой войны), имел колоссальные размеры. Его высота составляла более тридцати метров, то бишь без малого десятиэтажный дом, длина — почти четверть километра; 105 тысяч кубометров водорода, заполнивших оболочку, позволяли поднять примерно 23 тонны груза, в вес которого включались и мы — сорок шесть человек команды и членов научной экспедиции.

Дирижабль обладал собственной электростанцией, системой телефонной связи, соединявшей его отдельные точки — гондолу управления, моторные гондолы, кухню, кабину командира, бортинженера и т. д.

К тому времени, когда мы прибыли к Фридрихсгафен, полным ходом шла подготовка к полету. Множество рабочих занималось облегчением воздушного корабля и созданием комплекса средств, обеспечивающих возможность посадки на воду. Под некоторыми гондолами монтировались специальные поплавки, обеспечивалась водонепроницаемость днища.

Эллинг, в котором стоял ЛЦ-127, естественно, был огромен и возвышался как собор бога техники над невысокими зданиями Фридрихсгафена. В те дни, когда дирижабль находился в этом эллинге, скопление туристов, как правило, было наибольшим. Всем любопытно взглянуть на национальную реликвию. В эллинге выдвигался специальный помост, и туристы проходили вдоль гондолы цеппелина,

заглядывая в ее окна. Тут же почтовое отделение. Тут же продажа открыток с цеппелином, марок с цеппелином. Продажа лоскутков перкаля, из которого делается оболочка дирижабля, с соответствующими надписями. Одним словом, немцы организовали вокруг цеппелина большой бизнес.

Войдя в эллинг, мы и впрямь почувствовали себя посетителями храма техники. Изнутри он казался особенно огромным. Полным ходом кипела работа по подготовке пробного полета над Боденским озером, который должен был состояться 22 июля. Если напомнить, что 24 июля был день официального старта, то станет ясно: времени терять нельзя было ни секунды.

Не могу сказать, что в этот день я был хладнокровен, как граф Монте-Кристо. Из нашей советской четверки только Ф. Ф. Ассберг летал год назад на цеппелине, остальные никогда не отрывались от земли и с некоторой опаской ожидали этой знаменательной в жизни каждого секунды.

Перед вылетом все участники экспедиции получили очень удобную рабочую одежду. Серый теплый костюм с совершенно невообразимым количеством карманов, солидные ботинки, каждым из которых при желании можно было убить белого медведя, так как ботинок имел пятнадцатимиллиметровую подошву и тридцатимиллиметровый, подбитый медью каблук. В комплект нашей униформы вошли также шерстяная фуфайка и кашне, теплое белье и варежки, кожаные рукавицы на меху, очки и верхний водо— и ветронепроницаемый костюм. После облачения в эти воздушно-арктические туалеты все участники экспедиции сфотографировались. На сером фоне группы черным пятном выделялась массивная фигура Эккенера в обычном костюме.

Разумеется, прежде чем подниматься в воздух, я постарался познакомиться со средствами связи, которыми располагал ЛЦ-127. Оборудование радиостанции мне показали мои коллеги — старший радист Думке и второй радист Лео Фрейнд. Я был в этом радиоколлективе на борту дирижабля третьим. Мои коллеги познакомили меня и с маленькой аварийной радиостанцией, взятой на случай неприятностей, которые в такого рода экспедициях всегда возможны. Первое, что бросилось в глаза, — хорошо знакомый по годам военной службы «солдат-мотор». Коротковолновая аварийная



радиостанция дирижабля мощностью в полтора ватта и весом в семьдесят девять килограммов имела все знакомые атрибуты — динамо-машину с велосипедным седлом и педалями и трехметровую мачту антенны...

И все же, рассказывая об этой станции, не могу не задержать внимания читателей на одной интересной детали. Инструкция для работы на передатчике была составлена так, что станцией мог воспользоваться даже человек, мало знакомый с радиотехникой. К передатчику наглухо прикреплялась табличка с азбукой Морзе. Любой грамотный человек, пусть медленно, пусть не очень квалифицированно, мог бы передать непосредственно со льда сообщение об опасности. Эти меры предосторожности показались мне совершенно естественными, так как прошло всего три года со дня трагической гибели дирижабля «Италия». Дирижабль «Граф Цеппелин» готовился к любым неожиданностям.

В ожидании вылета, мы познакомились поближе с Думке и Фрейндом. Как-то вечером немецкие радисты пригласили нас с Ассбергом в гости. Это был на редкость потешный вечер.

Принимали нас по-немецки. Собрались все дамы — жены, невестки, тещи. Они, вероятно, ожидали, что русские придут в овчинных полушубках, папах, с ножами, зажатыми в зубах. Но мы вошли чинно, благородно, пожали всем этим тетям ручки и, вероятно, выглядели достаточно представительно в своих новых костюмах.

На столе стояли два блюда с бутербродами и бесчисленное, я бы сказал, неиссякаемое количество пивных бутылок. Начались разговоры. Люди нас пригласили хорошие, но вопросы задавали явно идиотские. Представления о русских у них были примерно такие же, как о забытых богом племенах, затерявшихся где-то в дебрях Африки.

— Намечается ли в России национализация женщин? Может ли мужчина сам выбирать себе женщину? Не вмешивается ли в этот выбор коллектив? Не спите ли вы в Москве под общим одеялом?

Одним словом, типичный набор вопросов, которые могли возникнуть у людей, судящих о нашей стране по явно враждебным пропагандистским материалам.

Мы с Федором Федоровичем не знали, то ли сердиться, то ли смеяться. Шутливо по форме, но достаточно серьезно по существу пытались отвечать на вопросы, которые, как говорится, ни в какие

ворота не лезли. Мы жевали бутерброды, пили бесконечное пиво и, в конце концов, принялись петь песни. Немцы свои песни, а мы свои. В общем, прием происходил если не на самом высшем, то уж во всяком случае, не на самом низшем уровне.

Наконец пробный полет, 21 июля закончены все необходимые приготовления, и нам в нашем новом полярном обмундировании велено собраться в эллинге 22 июля в 4 часа 45 минут. Время было выбрано столь раннее, вероятно, потому, что в эти часы как-то стихает обычно напор ветров, да и любопытные, без которых не обходятся такого рода события, еще мирно спят в своих постелях.

В 5 часов 15 минут дирижабль начали выводить из эллинга, и через пятнадцать минут он уже стоял на стартовой площадке. В тишине (моторы не были включены) дирижабль, влекомый силой наполняющего его газа, словно огромное привидение, всплыл над землей. На высоте заработали моторы, и грандиозная сигара взяла курс на город Линдау, расположенный в восточной части Боденского озера.

После двух с половиной часов полета дирижабль возвратился во Фридрихсгафен. Кинооператоры сняли его посадку, обеспечив историю надлежащими кадрами, и цеппелин стал объектом последних предстартовых работ. Через день, 24 июля 1931 года, дирижабль должен был уйти в свой арктический рейс. Путешествие было необычным, и это, естественно, подогревало туристов и экскурсантов...

Я всегда считал, что «звезды», привлекающие к себе внимание журналистов, существуют не только среди людей, но и в мире машин. Сегодня это, прежде всего космические корабли или, по меньшей мере, сверхзвуковые самолеты. В свое время среди воздушных знаменитостей значились АНТ-25, на котором летали через полюс экипажи Чкалова и Громова, ТУ-104 — первый реактивный пассажирский самолет. Такого рода список может быть очень велик, но, независимо от размеров списка, дирижаблю ЛЦ-127 в нем обязательно должно найтись место.

Впервые этот воздушный гигант прославился в 1929 году, вылетев 15 августа в кругосветное путешествие по маршруту: Фридрихсгафен — Берлин — Кенигсберг — Вологда — Усть-Сысольск — Якутск — Николаевск-Токио — Лос-Анжелос — Фридрихсгафен. Сегодня этот кругосветный полет известен лишь узкому кругу историков техники.

Тогда же он наделал много шума. Стартовав под командой того же доктора Эккенера, с которым предстояло лететь и нам, ЛЦ-127 покрыл расстояние в 35 тысяч километров, сделав при этом всего лишь три остановки. Человеческое воображение было потрясено — и не удивительно: в ту пору такое не могло не волновать. Возвращение 4 сентября 1929 года цеппелина во Фридрихсгафен было триумфом. Энтузиасты дружно объявили дирижабль межконтинентальным воздушным кораблем, который никогда не будет иметь соперников. Что говорить! Опасность такого рода прогнозов очевидна, однако ослепление успехом не раз мешало человечеству заглядывать далеко вперед.

Наша экспедиция сулила воздушному гиганту новую порцию славы. Отсюда рой корреспондентов, фоторепортеров и кинооператоров, клубившихся вокруг ЛЦ-127 в день его вылета.

Как предупреждали метеосводки, погода не благоприятствовала перелету. Даже в последний вечер пребывания в Фридрихсгафене еще не было ясно, улетим ли мы следующим утром, как планировал доктор Эккнер. Но приказ есть приказ. Каждый принес в элинг свой личный багаж, его упаковали в специальные мешки, взвесили и распределили по каютам.

Вылет был назначен на утро. Нам велели собраться в 8 часов, но мы с Федором Федоровичем Ассбергом, решив не пропустить ни одной подробности старта, поднялись в 6 утра и отправились в элинг наблюдать за последними приготовлениями. К восьми собрались все участники полета, затем открылись ворота, а в 9.30 нам предложили занять места. Дирижабль освободили от привязи, взвесили, и тут же послышался шум льющейся воды — справа и слева от дирижабля хлестал поток: воздушный корабль освобождался от балласта.

Все приготовления, как я уже сказал, тщательно фиксировали кинооператоры и фотографы. Сняли они и профессора Р. Л. Самойловича, который произнес перед микрофоном предстартовую речь. Бурные аплодисменты тех, кто остался на земле. Мы поднимаемся в воздух.

Пролетев над старинными немецкими городами Ульмом и Нюрнбергом, мы через шесть часов полета добрались до Берлина и приземлились на аэродроме в Штаакене. Надо полагать, что это место было избрано не случайно. Именно в Штаакене в годы первой мировой

войны базировались боевые цеппелины, совершавшие налеты на Лондон и Париж. По Версальскому договору Германия была лишена права пользоваться построенными там великолепными ангарами. Практичные немцы превратили их в огромные кинопавильоны, где были сняты многие знаменитые картины всемирно известной кинокомпании УФА.

Мы прибыли в Берлин вечером, улетать должны были утром. Каюты дирижабля опустели. Большинство членов команды и участников экспедиции поехало отдыхать и развлекаться. Но мы с Ассбергом не только остались, но решили не ложиться спать: хотелось внимательно рассмотреть все то, что для Федора Федоровича представляло интерес. Чтобы побольше зачерпнуть из сокровищницы чужого опыта, необходимо было трудолюбие.

Улетели мы на рассвете и очень скоро добрались до Прибалтики.

Впечатлений в этом путешествии было предостаточно. Мы прошли над столицей Эстонии Таллином. Сделав над городом круг, полюбовались стариной его построек, затем, взяв к северу, перешли на противоположную сторону Финского залива и нанесли визит вежливости в Хельсинки. Этот визит также был беспосадочным. Круг над финской столицей — и мы снова перебрались на южную сторону Финского залива, к Нарве. От Нарвы над советской территорией летели в сопровождении почетного эскорта встретивших нас четырех самолетов и вскоре приземлились в Ленинграде, на Комендантском аэродроме.

Недавно я был в Ленинграде и узнал, что Комендантский аэродром больше не существует. Он застроен новыми домами. Но тогда нас принимали на его летном поле. Аэродромная команда четко, слаженно и очень уверенно взяла под уздцы нашу четвертькилометровую громаду, пришвартовав ее к специально построенной по этому случаю причальной мачте.

К приему дирижабля в Ленинграде готовились очень тщательно. Успеху этой подготовки во многом содействовал Осоавиахим, им и была изготовлена причальная мачта. В подготовке принимал участие и Федор Федорович Ассберг. Незадолго до нашего отбытия в Германию он специально выезжал в Ленинград и тщательно инструктировал аэродромную команду.

Всем нам было очень приятно приземлиться на родной земле, но Федору Федоровичу особенно. Его ученики не ударили в грязь лицом. Посадка дирижабля, да еще такого огромного, — дело не легкое. И все же, несмотря на какие-то совершенно не укладывавшиеся в воображении размеры, посадка, повторяю, прошла великолепно.

С передней части гондолы нашего корабля были сброшены причальные канаты — гайдропы, выделявшиеся своей белизной на зеленом фоне аэродрома. Умение поймать гайдроп — своего рода критерий уровня аэродромной команды. К великому удивлению немцев, людей в воздухоплавательном деле весьма многоопытных, команда, почти не сдвинувшись места, быстро овладела гайдропами и подтянула нашу махину к причальной мачте.

Мачта была сделана с таким расчетом, чтобы гондолу цеппелина можно было прикрепить к ее вершине. На вершине этой башни имелся вертлюг. В зависимости от ветра цеппелин, обладавший огромной парусностью, поворачивался, как флюгер, в том или ином направлении.

Встречал Ленинград нас очень торжественно. На аэродром прибыли городские и военные власти. Прибыл немецкий посол фон Дирксен. Играл оркестр. Приехал даже престарелый президент Академии наук СССР Александр Петрович Карпинский, которому было тогда восемьдесят четыре года. Этого представительного, белого как лунь старика поддерживали под локоточки его помощники. Президенту явно нелегко дался выезд на аэродром, но, по-видимому, в его глазах исследовательский рейс цеппелина в Арктику был слишком большим событием, чтобы оставить его без внимания. Прибыл на летное поле и Отто Юльевич Шмидт.

Комендантский аэродром являл собой в ту ночь весьма впечатляющее зрелище. Ярко высвеченный прожекторами, дирижабль «пил» подъемный газ, горючее и балласт. А неподалеку от дирижабля, на том же аэродромном поле, состоялся торжественный банкет, посвященный укреплению советско-германских научных связей. Командир дирижабля доктор Эккнер и профессор Р. Л. Самойлович, начальник научной части экспедиции, были на этом банкете в центре внимания. Провозглашая тост, Эккнер сказал:

— Может быть, я посредственный воздухоплаватель и уж, наверное, посредственный оратор. Но не надо быть Демосфеном или

Цицероном для того, чтобы выразить все чувства, охватившие участников экспедиции после такого приема. Мы рады, что находимся в стране, которая производит социальный опыт всемирно-исторического значения и работает, не покладая рук над тем, чтобы поднять материальный и культурный уровень трудящегося населения. Мы отдаем себе отчет в огромных успехах, достигнутых СССР вопреки всем трудностям.

На следующий день речь Эккенера была напечатана в газетах, а дирижабль, погрузив прибывшие в подарок от Осоавиахима минеральную воду, ветчину, икру и конфеты, произвел последнее взвешивание и, оторвавшись от причальной мачты, взял курс на Архангельск.

Очень скоро мы оказались в Карелии, в районе Петрозаводска. Удивительную картину являет собой с воздуха этот уголок нашей Родины. И хотя по отношению к Карелии выражение «страна озер» звучит уже не образом, а литературным штампом, иначе ее и назвать трудно. Большие и маленькие озера глядели в небо, как открытые глаза, отражая небесную синеву. А мы так же жадно смотрели с неба на землю, отражавшую в озерной синеве громаду нашего дирижабля.

Фотографы бушевали. Мастера фотообъектива воспринимали эту красоту как подарок судьбы, как большой выигрыш, свалившийся прямо в руки. К тому же условия для съемок были воистину царскими. Цеппелин в отличие от самолета летит неторопливо — со скоростью примерно ста пятидесяти километров в час. В окно можно высунуться и снимать, сколько угодно твоей душе. Впрочем, жадность не бывает безнаказанной и в съемках. Один из фотографов вертелся как черт и довертелся. Он как-то нехорошо, неудобно нагнулся и выронил свою «лейку», которая, вероятно, и по сей день покоится где-то в дебрях Карелии.

Вспоминая наш полет, хочется описать несколько подробностей, ушедших в безвозвратное прошлое вместе с идеей массового строительства дирижаблей. «Граф Цеппелин» ЛЦ-127 устроен был хорошо. Святая святых его — передняя часть гондолы, вся застекленная какими-то небьющимися прозрачными листами. Моторы находились в кормовой части цеппелина, один даже, пожалуй, в последней его трети. Моторные гондолы представляли собой довольно большое сооружение обтекаемой яйцеобразной формы. Из цеппелина

через соответствующий люк можно было спускаться по лесенке до моторных гондол. Лесенка была примерно трех— если не четырехметровая, очень хлипкая на вид. Выходя на нее, механики висели буквально в воздухе. Никаких поручней, никаких предохранительных сеток или сооружений там не было. Я попросился как-то залезть посмотреть моторы, но мне было сказано, что это нельзя. Естественно, я больше уже не просился.

На командирском пульте располагались ответственные аэронавигационные приборы, управление двигателями, телефонные аппараты, устройства сигнализации и так далее, а также одна очень интересная ручка. Если цеппелину надо было подняться повыше, чтобы использовать какие-нибудь воздушные течения, обойти облако или что-нибудь в этом роде, то в первую очередь в ход шла эта самая ручка. Она управляла ассенизационным баком, который использовался как балласт.

Радиорубка примыкала к командорской. Напротив радиорубки располагалась штурманская, где прокладывался курс. Дальше — большая кают-компания, весьма комфортабельная. Очень удобные крепко принаитовленные дюралюминиевые столики, покрытые безукоризненно чистыми крахмальными скатертями. Посуды в привычном понимании этого слова не было. Бумажные тарелки, бумажные стаканы. Мытье посуды связано с расходом воды, а возить пресную воду на дирижабле нецелесообразно. Поэтому использованная бумажная посуда выбрасывалась за борт. Кухня работала на электричестве. Так было безопаснее.

За кают-компанией шел длинный коридор, устланный ковровой дорожкой. По бокам от него — двухместные каюты, похожие на железнодорожные купе: маленький столик и койки в два яруса, одна над другой.

Вес на дирижабле играет важную роль. Для облегчения все конструкции каюты сделаны из дюралюминия, а межкаютные перегородки перед нашим полетом сняты и заменены занавесками из какого-то плотного декоративного материала. Все максимально легкое, уютное. Одним словом, в нашем воздушном вагоне мы размещались в двухместных купе.

Через потолок гондолы можно было попасть туда, куда уж туристы и экскурсанты не попадали, — внутрь оболочки, где я,

полный любознательности, частенько прогуливался. Там располагалась жизненно важная часть цеппелина — огромные газгольдеры. Не знаю, сколько кубометров газа вмещал каждый из них, но объем наверняка был весьма солидный, а главное — все они были абсолютно изолированы друг от друга, чтобы в случае прорыва или каких-либо аварий газ вышел бы не полностью. Одним словом, тот же принцип непотопляемости, что и на морских судах, только наоборот. На кораблях, плавающих по морям, — водонепроницаемые переборки, ограничивающие вход воде. Здесь же устройства, ограничивающие выход газа наружу.

Под газгольдерами — служебный проход. Узенькая, не более двадцати пяти сантиметров, тропочка, висящая где-то в воздухе, как под куполом цирка. Под тобой ничего нет, над тобой газгольдеры. Чтобы не свалиться куда-то на крышу, на потолок кают, имелись поручни из стальной проволоки. Все это выглядело очень жидким, эфемерным, но вполне справлялось со своими обязанностями.

А тем временем, пока я совершал свои исследовательские походы внутри оболочки, цеппелин летел и летел. Мы прошли над Архангельском, Белым морем. Затем началось Баренцево море. Появились льды, и на одной из льдин, к великому восторгу всей экспедиции, удалось углядеть белого медведя. Для тех, кто видел его впервые, это было, разумеется, сильным впечатлением. Шум почти трех тысяч лошадиных сил, запряженных в наш дирижабль, потревожил хозяина Арктики. Он поспешил прыгнуть в воду и направиться к другой льдине, полагая, что так будет для него спокойнее.

По мере того как мы приближались к Земле Франца-Иосифа, наша деятельность в радиорубке активизировалась. Мы начали искать в эфире радиостанцию «Малыгина». Связавшись с ледоколом, выяснили, что он находится у берегов Земли Франца-Иосифа, точнее — подле острова Гукера, в бухте Тихой. Читатель помнит, вероятно, что в ней зимовал на корабле «Святой Фока» Георгий Седов. Мне эта бухта была хорошо знакома: там я провел свою первую на этой земле зимовку с 1929 по 1930 год.

Ледокол «Малыгин» тоже неспроста появился в этих местах. В связи с перелетом, с планом обмена почтой между ледоколом и дирижаблем он ушел в Арктику, увозя на борту иностранных туристов.



Это была небольшая группа иностранцев, человек пятнадцать, но примечательная некоторыми входившими в ее состав людьми.

Так, среди туристов на «Малыгине» находилась известная в те годы своими причудами американская миллионерша миссис Бойс. Это она несколько лет назад, зафрахтовав шхуну, отправилась на поиски Амундсена. Старушка очень надеялась при этом на потусторонние силы. Она занималась на борту шхуны спиритизмом и, повинаясь «голосу духов», называла координаты великого норвежца. Капитан, получавший большие деньги, плыл, разумеется, по столь необычно найденному курсу. Но... естественно, без результатов.

Был на борту «Малыгина» и другой человек, чье имя знали не только полярники, но и весь мир, человек трагической славы — Умберто Нобиле. Трагедия, которую он пережил, вела его в эти края. Он не мог забыть людей, которых потерял во время своей неудачной экспедиции.

Погода благоприятствовала нам. Туман развеялся, и мы увидели «Малыгина», с которым уже держали прочную радиосвязь. И «Малыгин» нас увидел. Он стал салютовать нам гудками. Слышно этих гудков не было, но отчетливо видные струйки пара свидетельствовали, что салют происходит по всем правилам вежливости.

Сделав несколько кругов, цеппелин пошел вниз. Под гондолой располагалась огромная подушка, созданная специально для амортизации. Дирижабль коснулся воды и тотчас же выбросил два больших шланга. Заработали моторы. Дирижабль быстро стал закачивать балласт, прижимаясь к воде.

Чтобы закрепить приводнение, были выброшены водяные якоря. Глубина была большая, и воспользоваться настоящими якорями цеппелин не мог. Разумеется, рулевые остались на своих постах и зорко следили за всем происходящим. Дело в том, что хотя бухта и называется Тихой, но в ней есть ощутимые течения. К тому же исполинское тело дирижабля обладало, как уже говорилось, большой парусностью. Попросту говоря, чудовище было весьма подвержено, даже малейшему дуновению ветра.

Дирижабль лежал на воде, а от ледокола стремительно двигалась шлюпка. Вскоре она подошла к цеппелину. В шлюпку был сброшен удобный штормтрап, по нему стали подниматься люди. Среди них я

увидел человека, чье красивое лицо, обрамленное черными, как смоль волосами, на котором особенно выделялись умные глаза, мне было хорошо известно по фотографиям. Это и был Умберто Нобиле.

Нобиле, а за ним и остальные пассажиры поднялись наверх, и началась передача мешков с почтой. Тут я познакомился с «почтмейстером» ледокола, разумеется, и, не подозревая, что этот невысокий, плотный человек станет через несколько лет сначала моим соседом по маленькой четырехместной палатке, а затем и по изображениям на почтовых марках, В этот день, кроме знакомства с Нобиле, произошло знакомство и с начальником дрейфующей станции СП-1 Иваном Дмитриевичем Папаниным, передававшим и принимавшим почту.

В ту пору я еще не был филателистом и не очень-то разбирался в том, что такое настоящий раритет. Федор Федорович был в этом деле человеком более искушенным, и такой раритет изготовил у меня на глазах. Среди писем, посланных им на «Малыгин» с дирижабля, было одно столь же редкое нынче, как королева всех марок — одноцентовая Гвиана. Оно единственное в мире. Федор Федорович написал письмо на бумажной тарелке из числа тех, которыми мы пользовались на дирижабле.

Едва дирижабль успел обменяться со шлюпкой почтой, как события стали развиваться весьма стремительно. В пролив между островом и скалой Рубини-Рок входило огромное ледяное поле. Оно двигалось довольно борко, создавая для цеппелина реальную опасность. Извинившись перед гостями, Эккнер стал провожать их обратно в шлюпку. Счет времени пошел буквально на секунды, и едва шлюпка отчалила, как поднялся и дирижабль. Взлет оказался для наших гостей неприятным. Цеппелин сбрасывал водяной балласт, и шлюпка со всеми пассажирами попала под каскад ледяной морской воды.

Заревели моторы, и мы потопали своей дорогой дальше на север.

Летели над Северной Землей, а в кают-компании царило невероятное возбуждение. Научную часть экспедиции страшно взбудоражил поток информации, который так и плыл в руки, как галушки в рот гоголевскому Пацюку. Буквально каждые пять минут фотоаппараты дирижабля фиксировали новый, еще неизвестный географам остров. Эккнер шутил, что Самойлович падает в обморок

от этого неслыханного урожая маленьких, но до этого неизвестных земель.

Но это была, разумеется, только шутка. Самойлович в эти минуты был буквально как туго натянутая струна. Он не выходил из командирской рубки, сосредоточенно вглядываясь вниз. Однообразные для профана льды он читал как открытую книгу. По результатам ледовых и географических наблюдений руководителя научной части экспедиции дирижабль совершал те или иные эволюции, менял курс, открывая все новые и новые земли. Мне было очень интересно наблюдать в эти минуты за Рудольфом Лазаревичем, превратившим громаду цеппелина в прибор для научного исследования подробностей, увидеть которые иными средствами тогда было просто невозможно.

Впрочем, наблюдениям я предавался недолго. Облетев Северную Землю, цеппелин взял курс на остров Домашний, где работала группа советских зимовщиков Ушакова и Урванцева. У них была радиостанция, связаться с которой было крайне необходимо для выполнения весьма сложного задания, входившего в программу нашей экспедиции: нам предстояло взять на борт геолога Урванцева и доставить его в Ленинград.

Туман и какие-то помехи радиосвязи не позволили нам выполнить это сложное и беспрецедентное для арктических исследований тех лет задание. Сколько мы ни звали — радиостанция зимовки почему-то не отвечала, а отсутствие видимости вынудило нас повернуть восвояси, и мы двинулись к мысу Челюскин, а затем углубились на территорию Таймырского полуострова.

Прежде чем рассказать о наших впечатлениях об этой части Советского Севера, хочу описать еще одну интереснейшую процедуру, выполнявшуюся на борту дирижабля под руководством профессора Молчанова. В районе Северной Земли произошел запуск радиозонда.

Процедура была не из простых, несмотря на то, что в оболочке дирижабля для этого существовал специальный люк. Прежде всего из одного газгольдера брался водород для наполнения пятикубометровой оболочки. Затем к аэростату подвешивался коротковолновый радиопередатчик. Чтобы радиозонд не повредил дирижабль, зацепившись за какую-нибудь выступающую часть конструкции (гондолу, винт и т. п.), к зонду подвешивался точно рассчитанный груз,

который увлекал его вниз. После нескольких секунд падения автоматическая гильотина с часовым механизмом отсекала этот грузик, и зонд уходил на высоту, передавая в эфир показания своих приборов.

Несколько слов еще об одном любопытном исследовании. Немецкий профессор Вайкман изучал загрязненность воздуха. Результаты замеров на разных участках трассы оказались любопытными: в одном кубическом сантиметре воздуха, взятом над Ленинградом, оказалось 52 тысячи пылинок, над Архангельском — 26 тысяч, а над Северной Землей их число сократилось до 200–300. Если напомнить, что в Ялте, куда вывозили тогда туберкулезных больных, число пылинок составляло 4 тысячи в кубическом сантиметре, то чистота арктического воздуха не могла не производить впечатления.

Таймырский полуостров с воздуха показался нам каким-то рыжим. В этой рыжей земле было множество голубых озер, между которыми наблюдалось весьма энергичное движение. Мы увидели многотысячные стада оленей. Испуганные шумом моторов, они принялись удирать от нас с такой скоростью, что мы ощущали ее даже с высоты 1000–1500 метров, с которой движение на земле кажется очень медленным.

Затем новое изменение курса: на остров Диксон. С радиостанцией Диксона мы имели хорошую связь, да и видимость нас не подвела. Мы сбросили зимовщикам грузы, каких не смогли сбросить группе Ушакова и Урванцева. С дирижабля пошли вниз три парашюта. На одном — телеграммы и газеты, на другом — мешок со сладостями, на третьем — картошка, которая в условиях зимовки деликатес послаще шоколада.

Правда, и здесь не обошлось без происшествий. Первый парашют зацепился за указатель скорости и повис на нем. Пришлось выбирать указатель, снимать парашют и сбрасывать груз снова. Второй раз все получилось как надо.

От Диксона, пересекая Карское море, мы прилетели на самый северный мыс Новой Земли — мыс Желания. Оттуда над главным хребтом Новой Земли двинулись на юг, к тем местам, в которых проходила моя первая зимовка. Я не знаю, сколько километров в ширину имеет Новая Земля, не помню высоту нашего полета, но отчетливо помню другое — когда мы летели от мыса Желания на юг,

налево было видно Карское море, как всегда забитое льдом, а направо — чистое Баренцево.

Долетели до Маточкина Шара и от «охотничьего домика», про который я рассказывал, пошли над проливом. Конечно, это субъективно, но полет над проливом, по которому было столько хожено и перехожено, произвел па меня сильнейшее впечатление. Мы шли по коридору меж гор, окаймляющих Маточкин Шар. И природа, казалось, так хорошо знакомая по двум зимовкам, раскрывалась передо мной в совершенно новом свете. И ледники, и горные реки — все это из окна гондолы выглядело, как говорят фотографы и кинооператоры, общим планом, тем самым, увидеть который не дано с земли. А пока я предавался лирическим воспоминаниям, в наушниках моего телефона внезапно раздался оглушительный шум радиogramмы. Он бил по ушам так, словно вызывавшая нас станция была рядом. Незвестный радист отчетливо отстукивал наши позывные:

— Denne... Denne...

— В чем дело? Почему нас зовете?

— А как же не звать? Мы находимся под вами, в Карском море. Салютуем вам флагом, а вы не отвечаете!

Я доложил о радиogramме Эккенера. Он вооружился каким-то сверхдальним биноклем. Долго смотрел. Наконец нашел маленькую черную точку. Это было наше гидрографическое судно, то ли застрявшее во льдах, то ли делавшее какие-то промеры. И, хотя Эккенера не в состоянии был разглядеть салютовавшего нам флага, он приказал отсалютовать советским гидрографам флагом дирижабля, спущенным вниз на грузе.

ЛЦ-127 держал курс на Ленинград. Мы должны были прибыть туда на рассвете и произвести посадку. Однако надвигавшаяся гроза с сильными ветрами заставила Эккенера отказаться от этого плана.

Проходя над Ленинградом, мы сбросили два парашюта. Один с почтой, взятой на ледоколе «Малыгин», другой — с письмами Эккенера, Самойловича и Ассберга. Эти письма выражали сожаление о невозможности посадки. Одновременно я передал радиogramму:

«Советскому правительству,  
Кремль, Москва.

Возвращаясь из полета в Арктику и покидая страну, оказавшую нам столь ценное содействие, я не хотел бы упустить случай принести свою сердечную благодарность и одновременно выразить свое живейшее удовлетворение по поводу того, что первая совместная работа русской и немецкой науки в деле исследования Арктики дала прекрасные результаты. К моему глубокому сожалению, при господствующем порывистом ветре и неустойчивой погоде было небезопасно спуститься в Ленинграде. Нам удалось, однако, приветствовать город, описав над ним несколько кругов.

*Эккенер».*

От Ленинграда цеппелин полетел в Германию. Мы приземлились на знаменитом берлинском аэродроме в Темпельгофе. Встреча была торжественной. Приехало множество представителей прессы, фотографов, кинооператоров. Шум был огромнейший. А мы тихо собрали свои нехитрые пожитки и поехали домой.

## Под чёрными парусами среди льдов

*Международный полярный год. История забытого спора. Благоприятный ледовый прогноз. Глаза и уши миллионов. Сон на подушке из гремучей ртути. Героика, экзотика и будни. Ушаковская четверка встречается с «Сибиряковым». Вокруг Северной Земли. С «велосипедами» на буксире. Во льдах Чукотского моря. Этого еще не знала история арктического мореплавания. Великий аврал. Винт восстановлен — винт потерян. Всеми возможными средствами. Мы поднимаем черные паруса. За «Уссурийцем» по Тихому океану. Нет таких крепостей, которых не смогли бы взять большевики.*

Возвратившись из Германии, я недолго ждал нового дела. В 1932 году начался второй МПГ — Международный полярный год. Работы навалилось много. Об отдыхе некогда было и думать. Как всегда, такие мероприятия основывались на обширной программе. И хотя государство испытывало еще множество трудностей, ученые, стремившиеся в Арктику, получили самую широкую поддержку.

Для проведения комплекса советских арктических исследований был создан специальный комитет под председательством крупного метеоролога профессора А. Ф. Вангенгейма. В комитет вошли М. А. Бонч-Бруевич, В. Ю. Визе, Н. Н. Зубов, П. А. Молчанов, О. Ю. Шмидт, Ю. М. Шокальский, В. В. Шулейкин и другие ученые с мировой известностью. Объединив свои планы, представители самых различных областей науки и техники составили внушительную силу. Поддержанная Советским правительством, эта сила готовилась к большим и серьезным делам.

Однако в широкие планы жизнь внесла свои поправки, не зависевшие от советских людей. Ученым разных стран, которым предстояло действовать единой дружной семьей, помешал жесточайший экономический кризис, поразивший капиталистический мир. Кризис сорвал многие запланированные на Международный полярный год мероприятия, в том числе и реализацию поддержанной советскими учеными идеи Фритьофа Нансена о создании в районе Северного полюса дрейфующей станции на льдине. Международный

комитет по полярному году во главе с датским геофизиком Д. Лакуром счел такого рода шаг несвоевременным.

Такова была обстановка, как говорится, в мировом масштабе. Однако, чтобы не уподобляться героям Ильфа и Петрова, произносившим при пуске старгородского трамвая бесконечные речи о международном положении, расскажу историю спора, сегодня забытого, но тогда чрезвычайно острого и напряженного. Этот спор стал одной из причин организации похода ледокола «Сибиряков».

Жизнь настойчиво требовала создания северного пути. Без дорог нельзя было осваивать один из богатейших, но суровейших районов страны. Это не вызывало сомнений. Спор развернулся по другому поводу: каким быть северному пути? Морским или железнодорожным? Или, может быть, воздушным? В перспективе рассматривалась даже идея создания мощного дирижабельного флота.

В 1928 году «Известия» статьей В. М. Воблого и полярного художника А. А. Борисова открыли дискуссию, не утихавшую несколько лет. В. М. Воблый, А. А. Борисов и их многочисленные сторонники отстаивали идею создания Великого Северного железнодорожного пути, который соединил бы три океана — Атлантический, Северный и Тихий. Что говорить, — проект выглядел дерзким, а восемнадцать вариантов дороги, намеченных его авторами, демонстрировали обстоятельность и глубину проработки идеи.

Справедливости ради заметим, что проект оказался отнюдь не столь обстоятельным, как могло показаться на первый взгляд. Его экономические обоснования далеко не всегда были достаточно тверды. Сухопутному варианту северного пути противостоял морской. Спор длился несколько лет, не принося успеха ни одной из сторон.

За приверженцев моря был опыт. Он насчитывал более четырех столетий, еще с эпохи великих географических открытий, когда современники Колумба искали «северовосточный проход».

Славными именами отмечены на картах пути первооткрывателей. Море Баренца, шхеры Минина, море Лаптевых, бухта Марии Прончищевой, мыс Челюскина, мыс Дежнева... Наиболее обстоятельно побережье Ледовитого океана обследовали военные моряки петровских времен, Да и в дальнейшем военный флот оказывал большие услуги Северному морскому пути, выдвигая из своей среды отважных и грамотных людей, геодезистов и картографов,



радением которых и создавалась карта северного русского побережья от Белого моря до Берингова пролива.

Не буду перечислять все аргументы сторонников морского и железнодорожного сообщения-это завело бы нас слишком далеко. Важнее другое: теоретический спор пора было заканчивать. Международная обстановка требовала военного укрепления Дальнего Востока, а для этого нужны были дороги. Нельзя было терять времени.

И тогда теоретическую аргументацию решили поддержать экспериментом. По предложению Всесоюзного арктического института снарядили несколько полярных экспедиций. От результатов этих экспедиций, одной из которых стал поход «Сибирякова», зависел конец затянувшегося спора.

Мысль о том, чтобы пройти Северный морской путь за одну навигацию, принадлежит Отто Юльевичу Шмидту. Как вы помните, он высказал ее профессору Визе еще в 1930 году, на борту ледокола «Георгий Седов», когда мы возвращались с Земли Франца-Иосифа. Именно тогда Шмидт и Визе обсудили первые наброски плана будущего похода, который им же предстояло подготовить и осуществить.

Как рассказывал мне впоследствии Отто Юльевич, даже в высоких сферах тогдашнего Наркомвода, где, казалось бы, идея прохода Северного морского пути за одну навигацию должна была найти горячую поддержку, ее сочли никчемной авантюрой и дать ледокол отказались. Все решила редкая настойчивость Шмидта. После его отчета перед правительством о работе Арктического института стало ясно — экспедиция состоится. Решения Центрального Комитета партии и Совнаркома позволили начальнику экспедиции от слов и пожеланий перейти к вполне конкретным действиям.

Началась подготовка «Сибирякова» к дороге, которую до этого прошли только три экспедиции — А. Норденшельда на корабле «Вега», Б. Вилькицкого на «Таймыре» — и «Вайгаче» с одной зимовкой, то есть за две навигации, Р.Амундсена на шхуне «Мод» с двумя зимовками-за три навигации (1918–1920). Это была трудная дорога. Северный морской путь — сезонный. Июль, август, сентябрь, октябрь — от силы четыре месяца в году предоставляет он в распоряжение путешественников. Не уложился — пиши пропало. Наступает полярная ночь с ее трескучими морозами. Эта сезонность и

привела к тому, что «Вега», «Таймыр», «Вайгач» потратили на его преодоление по два года, а «Мод» даже три. Так долго шли они, не подавая на Большую землю никаких вестей. Даже Амундсен, имевший на своей шхуне скромную радиостанцию, которую обслуживал радист Г. Н. Олонкин, отлично владевший русским и норвежским языками, ничего не мог сообщить о себе. В ту пору, когда Амундсен плыл на восток, на нашем Севере еще не существовало достаточно плотной системы полярных станций.

Таким образом, несмотря на то, что четыре корабля прошли уже этой дорогой, к моменту отправления экспедиции на «Сибирякове» практически Северного морского пути не существовало.

Два-три года для каравана с коммерческим грузом — чрезмерно большой срок. Нельзя же было засылать десятки кораблей, а потом сидеть и волноваться в Архангельске и Владивостоке, гадая на кофейной гуще: вернутся ли они через год, два или три? Не утянет ли их на север? Не раздавят ли их льды?

Что говорить! Все это не радовало организаторов похода. Но не таков был Шмидт, чтобы отказываться от важного дела, каким бы трудным оно ни было. Не торопясь, но и не теряя ни минуты зря, он формировал экспедицию. На капитанский мостик «Сибирякова» перешел с «Седова» капитан Владимир Иванович Воронин. Научную часть возглавил Владимир Юльевич Визе.

Участники экспедиции были разбиты на несколько групп: научный состав, административно-хозяйственный и технический, литературно-художественный, судовой и пассажиры — четверка зимовщиков, которым предстояло добратся с нами до бухты Провидения. На первый взгляд, деление несколько сложное, но любой из этих групп пришлось немало поработать и при подготовке корабля, и в самом плавании.

Отправить в автономное плавание, да еще в мало хоженные районы Арктики экспедицию — дело не шуточное. К тому же никто не мог гарантировать сроков ее пребывания в походе. Повезет — месяцы. Не повезет — два года. Нужно было быть готовым к любым неожиданностям в большинстве не очень приятным.

Итак, десятки людей — большой коллектив — начали делать свое дело.

Первым включился в подготовку научный состав экспедиции. Ученые составляли ледовый прогноз — предсказание обстановки, которую корабль встретит в Арктике. Плавание на «Седове» к Земле Франца-Иосифа наполнило меня глубокой верой в могущество науки. Прогнозы Владимира Юльевича Визе, во многом облегчившие капитану Воронину управление ледоколом, сбывались тогда на моих глазах. Не сомневался я и в том, что профессор Визе, возглавивший научную часть предстоящей экспедиции, снова поможет капитану.

Правда, Владимир Юльевич утверждал, что ледовые прогнозы гораздо проще долгосрочных метеорологических предсказаний. По его мнению, эта простота объяснялась тем, что огромные массы воды инертнее воздушных масс. Движение воды медленнее, чем воздуха, а теплоемкость ее больше.

Арктику часто называют «кухней погоды». Это выражение стало уже литературным штампом. Приготовление такого «блюда» этой кухни, как лед, шло по извечным рецептам северной природы. Запас тепла, которым располагала вода к началу таяния льдов, направление и сила зимних и весенних господствующих ветров, температура воздуха зимой и весной, метеорологические условия летом — таковы компоненты, необходимые для расчетов. И если несколько лет назад, когда полярные станции можно было пересчитать по пальцам, предсказывать ледовую обстановку было делом чрезвычайно трудным, то теперь хорошо поставленные наблюдения за погодой позволили ученым сделать уверенный вывод, что 1932 год, год плавания «Сибирякова», с точки зрения ледовой обстановки, не только не сулит ничего худого, но, напротив, обещает быть благоприятным.

После такого прогноза, окончательно решившего судьбу экспедиции, можно было перейти к делам конкретным. Судовой состав занялся подготовкой корабля. На соломбальском заводе «Красная кузница», куда завели «Александра Сибирякова», ремонтом и профилактикой командовали Владимир Иванович Воронин и Матвей Матвеевич Матвеев — старший механик нашего судна. Матвеев был удивительно милый, приятный человек с отличным чувством юмора, немногословный, не навязчивый, выделявшийся среди всего экипажа своей непомерной толщиной. Его «морская грудь», как называли пароходные остряки живот, осложняла нашему механику жизнь настолько, что даже шнуровка ботинок представляла для него нелегкое

дело. Впрочем, это ничуть не мешало нашему стармеху пролезать во все закоулки машинного отделения. Матвеев был знатоком своего дела, отличным инженером-практиком, хотя, насколько я мог понять, никаких вузов не кончал.

Затем ледакол подвели к пристани, где первую скрипку стали играть помощник Отто Юльевича по административной части И. А. Копусов и завхоз П. Г. Малашенко. Работа у них была такая жаркая, что и по сей день приходится удивляться, как от высокого градуса административно-хозяйственных страстей не вспыхнул деревянный Архангельск. Нужно было не только найти место разным грузам, но и достать эти грузы, проследить за их качеством.

Рассказывая об этих людях, не хочется называть их банальным, затрепанным словом «снабженцы». Даже я, человек очень далекий от подобных занятий, понимаю всю примитивность такого определения труда, в высшей степени творческого и исключительно изобретательного. А оба они, и Копусов и Малашенко, были знатоками своего хитрого дела. Малашенко — исполнитель, Копусов — стратег, и стратег, отличающийся завидным размахом. Его люди не удовлетворялись складами Архангельска и Ленинграда. За вином — в Грузию, за табаком — в Абхазию, за овощами — в Белоруссию. Размах у бывшего матроса был адмиральский.

Спали в эти дни Копусов и Малашенко очень мало. Брились чрезвычайно редко. Но ошетиленные щеки никого из окружающих не шокировали. Главное заключалось в том, что трюмы корабля медленно, но верно заполнялись всем необходимым.

А пока Копусов и Малашенко набивали трюмы «Сибирякова», два других члена экипажа, откомандированные в Ленинград, топали по городу в поисках шахмат, шашек, домино, книг, плакатов и прочих предметов культурного обихода, без которых ни один уважающий себя корабль не отправится в плавание. Дорогого времени они зря не теряли. Освежаясь во встречных пивных, дотопали до Эрмитажа. Каким ветром занесло их туда, сейчас установить уже невозможно. Однако сокровища великого собрания не могли не произвести впечатления на моряков, запасавших культуру для дальнего арктического похода. Особенно понравились им два морских пейзажа, написанных каким-то великим художником. Картины были очень

красивы. Они висели в золоченых рамах, подчеркивающих их ценность и значительность.

И тогда машинист Ваня Нестеров, парень лукавый и остроумный, решил разыграть своего попутчика:

— Слушай! Давай не будем покупать ни шахмат, ни шашек, ни домино. Все это можно купить и в Архангельске. Приобретем лучше эти две картины. Смотри, как хорошо они поместятся в простенке нашей кают-компаний!

Спутник Вани не понял розыгрыша. — А ты думаешь, их продают?

— Вообще-то, конечно, нет. Но если ты пойдешь к директору, объяснишь, что это для «Сибирякова», думаю, что он продаст...

Для удобства разговора с начальством записали инвентарные номера картин. Ваня Нестеров предусмотрительно в кабинет директора Эрмитажа не пошел, а его более смелый спутник, сделавший этот шаг, на несколько лет стал героем этой истории, изрядно позабавившей архангельских морячков.

Готовился к отплытию и литературно-художественный состав экспедиции — журналисты, мастера печатного слова. Видел я этих журналистов несть числа, и не случайно. Когда правительство поручило Отто Юльевичу поднимать такое большое дело, как Арктика, этот мудрейший человек сразу же понял: надо дружить с прессой. Так в наших экспедициях стали появляться журналисты — пишущие, снимающие, рисующие, представляющие и центральные и периферийные газеты. Одним словом, литературно-художественный состав экспедиции на «Сибирякове» (кроме корреспондентов, в него вошли фотографы, кинематографисты и художники) составлял восемь человек, плюс добровольцы от журналистики, трудившиеся на общественных началах, по совместительству с основными экспедиционными обязанностями.

Иногда прессу называют шестой державой. Иногда же про журналистов говорят: «Врет как очевидец». Бывает по-всякому, но, в общем, на мой взгляд, журналисты — люди симпатичные, контактные, с ними очень приятно иметь дело. Большинство из них — народ бывалый. Много видели, много знают, повсюду бывали, а, главное, при такой бурной жизни большинство из них умудрялось сохранять

энтузиазм, безмерную любовь к своей, в общем-то, весьма хлопотливой профессии.

Знакомство журналистов с Арктикой, равно как и Арктики с журналистами, начиналось в Архангельске. Если летом в жаркую погоду на центральной улице Архангельска (а в Архангельске летом тоже бывает очень жарко) вы видели человека в кожаной куртке, с новеньким биноклем на груди, новеньким фотоаппаратом на боку, в черных очках и меховой шапке, с каким-нибудь нарезным оружием вроде Манлихера на плече, — можно было безошибочно утверждать: это корреспондент, впервые направляющийся в Арктику.

Арктика начала тридцатых годов — уже совсем не та, что во время моей первой зимовки на Маточкином Шаре. Профессия полярника, привлекавшая своей романтичностью, стала весьма популярной. И не удивительно, что журналисты спешили прорваться за Полярный круг с такой силой, словно там скрывалась земля обетованная.

Пожалуй, классический пример напористого устремления в Арктику продемонстрировал художник Федор Павлович Решетников, с которым мне довелось проплавать на «Сибирякове», а затем и на «Челюскине». Теперь это маститый живописец, а тогда был просто Федя. Первый штурм высоких широт Федя провел в Москве. Подкараулив Шмидта, когда он шел с работы, Решетников помчался вслед за ним, на ходу набрасывая портрет. И хотя московский трамвай тех лет славился своей способностью вбирать в себя неизмеримо больше пассажиров, чем предусматривалось его создателями, Федя, нырнув в трамвайный вагон за Отто Юльевичем и пренебрегая толкотней, завершил свои наброски.

На следующий день Решетников подарил портрет Шмидту. Подарок был, прямо скажем, не бескорыстен. Ему сопутствовало приложение — речь на тему «хочу в Арктику». За портрет Шмидт поблагодарил, но на «Сибирякова» не пригласил, что ничуть не смутило энергичного Федю. Пользуясь своей дружбой с помощником Шмидта, Федя одновременно с другими членами экспедиции погрузился в поезд и отправился в Архангельск.

Тут-то и сработала пресловутая журналистская контактность, всегда подкупавшая меня в людях этой профессии. Другого и на борт ледокола не пустили бы, а Федя молниеносно стал на «Сибирякове»

своим человеком. Он увещал стены кают-компаний остроумными шаржами на участников экспедиции, доставлявшими всем нам немалое удовольствие.

Через несколько дней Шмидт капитулировал, а так как в состав экспедиции уже был включен художник Л. Канторович, то Федю зачислили на корабль библиотекарем с обязательством быть источником физической силы при проведении разного рода научных исследований.

А пока Федя атаковал Шмидта, в Москве, на углу Садовой и Тверской улиц, в правлении студии «Межрабпомфильм», прославившейся такими боевиками, как «Поликушка», «Человек из ресторана», «Белый орел», «Праздник святого Йоргена», «Веселая канарейка», снаряжали в дорогу Владимира Шнейдерова. У него и тогда уже была репутация известного кинопутешественника, хотя до создания телевизионного клуба кинопутешественников оставалось более четверти века. Шнейдерова пригласил сам Шмидт, запомнивший его по памирскому походу, в котором он возглавлял альпинистскую группу, а Шнейдеров вел киносъемки.

На «Сибирякове» Шнейдеров числился в литературно-художественном составе старшим кинорежиссером, руководителем киногоруппы, в которую входили режиссер Я. Д. Купер и оператор М. А. Трояновский. Но для меня старший кинорежиссер был тем самым Володей Шнейдеровым, командиром отряда бойскаутов, в котором я состоял вскоре после революции.

В весьма пестром составе литературно-художественной части экспедиции состоял и инженер человеческих душ, писатель Сергей Семенов. В отличие от остальной пишущей братии он более всего интересовался психологией. Предметом его, литературно-художественных исследований была загадочная душа полярника. И поскольку с узким специалистом соперничать просто безнадежно, я воспользуюсь некоторыми характеристиками, — которые привел в своей книге «Экспедиция на „Сибирякове“ Сергей Семенов.

«П. П. Ширшов, гидробиолог-ботаник; молодой талантливый ученый, имеющий, несмотря на молодость, научные труды; грозит, что за время рейса обучит каждого сибиряковца... боксу.

А. Ф. Лактионов, гидролог, серьезный ученый, самостоятельно проводил научные полярные экспедиции, не любит газетных корреспондентов, пишущих книги о полярных экспедициях.

Н. А. Чочба, специалист-охотник экспедиции, по происхождению абхазец, никогда не видел белого медведя и грезил о встрече с ним, пока корабль не обогнул Северную Землю; встретившись у Северной Земли с долгожданным зверем, ударил его шестом по морде несколько раз и навсегда разочаровался, найдя, что кавказский медведь-зверь более сообразительный в смысле самозащиты; из винтовки стреляет уток влет без промаха».

Таких портретов кисти Сергея Семенова можно было бы привести много, но нельзя злоупотреблять правом на цитаты, и потому придется обратиться к собственной памяти...

Чуть дальше я расскажу о большинстве своих спутников, а сейчас несколько слов о секретаре нашей партячейки, матросе Н. А. Адаеве. Он пробивался в экспедицию с настойчивостью не меньшей, чем Федя Решетников. Н. А. Адаев был не матрос, а штурман, архангельский партийный работник и редактор газеты архангельских моряков. Отсутствие вакансии штурмана не остановило его, и он пошел в поход матросом второго класса, отдавая себе полный отчет в трудностях матросской жизни.

Как я уже писал, большинство моих полярных маршрутов начиналось на Рождественском бульваре. Я уже давно как-то привык к этому, но на этот раз стартовая площадка переместилась на несколько трамвайных остановок к другому бульвару — Покровскому, по которому в годы военного коммунизма я ходил в слесарную мастерскую на Солянку.

В Большом Вузовском переулке, выходившем на Покровский бульвар, размещалось статистическое управление, которое возглавлял Отто Юльевич Шмидт. Симпатичный молодой человек — Леонид Филиппович Муханов, состоявший при его персоне, официально назывался секретарем экспедиции. Мы же называли адъютанта Шмидта весьма фамильярно — Ленечкой или Муханчиком.



Был Муханчик весел, молод, энергичен, а главное — умел быстро и точно выполнять указания Шмидта, крепко державшего в своих руках многочисленные нити подготовки к трудному и ответственному плаванию. Именно Муханчик сказал мне однажды: — Пора!

Не могу сказать, что я изнемогал от подготовки своего радиохозяйства. Все на «Сибирякове» было в полном порядке. Старший радист корабля, архангелогородец Евгений Николаевич Гиршевич, бывалый моряк, отлично знавший дело, держал аппаратуру в безупречном состоянии. В Архангельск я тронулся, когда до отправления оставалось буквально несколько суток.

Зная, что я относительно свободен, Отто Юльевич дал мне перед самым отъездом несколько неожиданное поручение. Одним из важных грузов была взрывчатка, необходимая, чтобы раскрывать дорогу во льдах, когда все остальные средства окажутся бессильными. Несколько тонн взрывчатки уже покоилось в трюмах «Сибирякова». Забыли лишь о пустяке — о запалах, четырех-пятисантиметровых трубочках из красной меди, наполненных какой-то гремучей смесью.

Запалы, как любые взрывчатые вещества, полагалось возить со всякими предосторожностями в специальном вагоне, по особым железнодорожным правилам. При создавшемся положении мы явно не успевали доставить их в Архангельск. Оформить за оставшиеся три дня разрешение на специальный вагон и получить этот вагон у железнодорожников было безнадежным делом. Положение — хоть караул кричи. Тут уж не до правил и инструкций.

— Знаете что, — сказал Отто Юльевич снабженцам, — не будем осложнять обстановку. Отдайте пакет Кренкелю, мы доставим его сами. Авось он у нас не взорвется.

В мягком вагоне поезда Москва — Архангельск мы с Отто Юльевичем ехали в одном купе. Когда мы сели и поезд тронулся, Шмидт сказал:

— Эрнст Теодорович, чтобы ничего не случилось, положите сверток со взрывателями под подушку. Это будет спокойнее.

Так я и спал, имея под головой 5 тысяч запалов. Когда мы прибыли в Архангельск, шли последние операции по подготовке судна к отплытию. Подхватив широкими лямками коров, быков, свиней, краны переносили их с берега на корабль. Скотный двор на борту ледокола — не чересчур эстетичное зрелище, но уж бог с ней, с

эстетикой. Зато мы имели консервы наилучшего качества — живое мясо, богатое витаминами, а это в Арктике чрезвычайно важно.

Пожалуй, сейчас самое время представить читателю тот плавучий дом, которым должен был стать для нас «Сибиряков». Он был невелик. Корпус занимали несколько трюмов — носовые, заполненные продуктами питания на полтора года вперед, и угольный кормовой, загруженный отличным углем — пищей корабельных машин. Сами машины занимали среднюю часть.

Наверху, на палубе, несколько надстроек: носовой кубрик — для палубных матросов, кормовой, непосредственно над машинами — для машинистов и кочегаров, в средней части палубы — твиндек, где были сооружены жилые помещения для состава экспедиции. Над твиндеком — капитанский мостик, кают-компания, радиорубка. Не хватало лишь самолета — глаз корабля, рассказывающих капитану о ледовой обстановке.

Собственно говоря, и для самолета было запланировано место. Он вылетел из Ленинграда, пилотируемый летчиком И. К. Ивановым, но до Архангельска не долетел: испортился двигатель. Самолет совершил вынужденную посадку на Онеге. Из Архангельска на катере был послан к месту посадки новый двигатель с заданием летчику догонять ледокол. Ориентировочно местом встречи был намечен остров Диксон.

28 июля 1932 года, на три дня позже положенного срока, «Сибиряков» прощался с Архангельском. Происходило это на Красной пристани и выглядело весьма торжественно. Мы вместе с провожающими партийными и советскими работниками Архангельска — на борту корабля, как президиум. На пирсе — множество народу. С капитанского мостика звучат речи Отто Юльевича Шмидта, Владимира Ивановича Воронина. Последнюю речь произнес сам «Сибиряков»: издав три протяжных гудка, он отвалил от пристани.

Воронин в парадной форме. «Сибиряков» во флагах расцвечивания. За нами — множество разукрашенных кораблей и лодок. На пристани — группа Шнейдерова с дальнобойной пушкой киноаппарата. Одним словом, все очень красиво и торжественно.

Так мы дошли до Чижовки. В Чижовке на борт корабля вошли военные в зеленых фуражках, а с корабля спустились вниз наши жены. Да, это было последнее прощание. Поход начался! Выполнив

положенные формальности, пограничники выпустили нас на морской простор.

В полном соответствии с прогнозом Владимира Юльевича Визе море оказалось чистым. Машины «Сибирякова» работали исправно, а так как никаких событий не происходило, то кто-то из журналистов придумал обряд крещения новичков, впервые пересекающих Полярный круг. Справедливости ради отметим: морские традиции предписывают проводить обряд крещения не в Заполярье, а на экваторе. Так принято уже много лет, к тому же экваториальная температура гораздо больше соответствует традиционному купанию. Полярный круг для такого рода процедур приспособлен меньше, но, все же, отыскав себе жертву, наши корабельные остряки истошно закричали: — Крестить!

Этой жертвой оказался инженер-подрывник Ю. Б. Малер. Был он сух, чтобы просто не сказать, тощ, не очень складен и очень говорлив, а потому не раз становился объектом юмора палубного значения.

Не могу сказать, что подрывника обрадовала объявленная ему процедура крещения. Малера подвели к борту, с которого свисал вниз тонкий канатик — фалинь (слово «веревка» у моряков считается просто неприличным, ибо, как некогда заметил Джером К. Джером, веревкой на корабле может быть лишь завязан багаж пассажира).

— Подергай, попробуй, какой фалинь крепкий! Когда прыгнешь с борта, мы быстро протянем тебя на фалине под судном и вытащим с другого борта уже настоящим полярником.

Малер подергал фалинь, и что-то ему не понравилось. Он был очень хорошим, очень честным и порядочным человеком, но... чувство юмора в число его достоинств не входило. Малеру и в голову не пришло, что его разыгрывают. А, восприняв все всерьез, он просто убежал и заперся в каюте. Мы за ним:

— Малер, вылезай! Нельзя нарушать святые морские традиции!

— Убирайтесь прочь! Никуда не пойду. И креститься не буду, пока не прикажет Отто Юльевич!

Мы бегом к Отто Юльевичу. Большой ученый и государственный человек, Шмидт был на высоте и в этом отношении.

— Пойдемте, — сказал он, — я прикажу ему выйти! Мы гурьбой за Отто Юльевичем. Барабаним в дверь, а Шмидт говорит Малеру:

— Что же это вы боитесь? Надо соблюдать морские традиции.

— Хорошо, Отто Юльевич, я иду!

Малер раскрывает дверь и, как приговоренный к смерти, направляется к борту. Влезает на фальшборт, да так стремительно, что мы еле успели его подхватить, чтобы он и в самом деле не прыгнул. А Отто Юльевич совершенно серьезно заявляет:

— Опускание за борт отменяю!

За борт летит ведро, наполняется морской водой. Мы вытаскиваем его и обливаем Малера. Наш подрывник отделался легким душем и был произведен в полярники.

Пошутить журналисты любили, но шутки в свой адрес принимали с гораздо меньшим удовольствием. В подтверждение расскажу историю, связанную со столь излюбленными арктической прессой болотными сапогами. Хозяину этих сапог, корреспонденту одной из центральных газет, сказали, что через несколько дней начнется выгрузка. В Арктике выгрузка всегда дело серьезное. Шлюпка стоит по борту корабля. В нее грузятся тонны всевозможных предметов. Она идет к берегу, у которого две-три шатающиеся и болтающиеся доски изображают какое-то подобие пристани. Работа опасная, неудобная, тяжелые грузы приходится выносить по колено, а то и по пояс в ледяной воде. Одним словом, ясно, что сапоги в таких условиях играют далеко не последнюю роль.

У корреспондента были отличные болотные сапоги. Он показал их мне и спросил:

— Послушай, Эрнст, что сделать, чтобы они не протекали?

— Ну, для этого существует классический способ. Попроси у кока две банки сгущенки, разогрей их и вылей в каждый сапог по банке. Через несколько суток молоко и сахар впитаются, и твои сапоги станут самыми водонепроницаемыми в экспедиции.

Журналист действовал точно по выписанному мною рецепту. А когда дело дошло до выгрузки, все выплыло наружу. Он побежал жаловаться. Да не к кому-нибудь, а к Отто Юльевичу Шмидту. Я был вызван пред светлые очи высшего начальства.

— Эрнст Теодорович! — сказал Шмидт. — Конечно, шутить хорошо, но это довольно злая шутка. В следующий раз вы уж таких рекомендаций не давайте!

Я обещал быть осторожнее в советах. Шмидт принял мое покаяние, но все же мне показалось, что эта история ему понравилась.

Конечно, такие шутки скрашивали время, когда не было работы, а начало нашего плавания выглядело в этом отношении довольно бедным. У судовой команды, ученых и технического состава экспедиции какие-то дела, пусть не слишком большие, но находились. Иное дело журналисты. Они просто изнывали от безделья, всячески изыскивая возможность задать работу нам, радистам.

С присущей ученому аккуратностью и доказательностью Владимир Юльевич Визе в своей книге «На „Сибирякове“ в Тихий океан» процитировал рядовую корреспонденцию, переданную в Ленинград, в «Вечернюю красную газету» 7 августа 1932 года. Я благодарен ему за эту цитату, так как судового радиожурнала, куда вносятся тексты всех радиogramм, у меня, естественно, не сохранилось, а не продемонстрировать образчик творчества моих друзей означало бы морально обокрасть читателей этих записок. Не помню, кто из них писал эту корреспонденцию, но выглядела она так:

«Рассекая стальным форштевнем изумрудно-зеленые волны, точно по ровному, гладкому паркету, мчится ледокол „Сибиряков“ к выходу в Ледовитый океан. В густой нависшей мгле, время от времени оглашая воздух хриплым ревом гудка, пробирается ледокол к Канину Носу. Кругом, куда ни кинешь взор, — вода, бесконечные разливы тумана. Завтра утром „Сибиряков“ будет рассекать синие волны Полярного моря».

Я всегда был человеколюбив и, желая помочь своим ближним в лице незадачливых корреспондентов, принялся по образцу, данному Ильфом и Петровым в «Золотом тельняшке», составлять самоучитель для начинающих арктических журналистов. Возьмем чайку: одинокая, гордая, белоснежная, быстрая. Или море. Какое может быть море? Хмурое, серое, беснующееся. Ну, разумеется, говоря о море, как не упомянуть и о «необозримых просторах Арктики»?

Знакомясь с моим самоучителем, журналисты смеялись, но затрёпанные, банальные слова по-прежнему продолжали уходить в эфир в их радиogramмах.

Как говорят, сколько голов — столько умов. Философия этой примитивной, но одновременно и мудрой поговорки распространяется и на журналистскую братию. Я очень далек от того, чтобы охаивать работу летописцев нашего похода. Нет и отнюдь нет. Эти люди делали свое дело с большой охотой и любовью, ну, а если у одного получалось

лучше, а у другого хуже, то остается вспомнить лишь слова Шолом-Алейхема: талант — как деньги, у кого есть, так есть, а у кого нет, так нет! Среди моих друзей-журналистов были и великолепные знатоки Арктики, большие мастера своего дела. Имена таких журналистов можно встретить не только в написанных ими статьях, очерках, книгах, но и в серьёзных исследованиях по истории Арктики, где их поминают и как источник информации, и как действующих лиц в разного рода событиях.

На всю жизнь запомнился мне человек, которого в экспедиции иначе как Петя никто и не называл, хотя Петя был намного старше нас и вполне годился если не в отцы, то в дяди. Штаны гольф. Какие-то экстравагантные клетчатые чулки. Ботинки, которые иначе как пижонскими не назовешь. Какая-то клетчатая куртка с невообразимым количеством нужных и ненужных карманов. Берет, который тогда носили даже не единицы, (единицы надевали шляпы), а десятые доли человеко-единиц.

Обладателя всех этих доспехов, человека, из которого буквально бил фонтан жизнедеятельности, мы окрестили «ящик с шумом». Маленький, толстенький, но подвижный, как ртуть, он шариком катался по корабельным трапам, первым оказываясь на местах тех или иных событий, сжимая в руках фотоаппарат.

— Я глаза и уши миллионов! Опаздывать не имею права!

Таким мне запомнился замечательный полярный фотограф Петр Карлович Новицкий.

Совсем иначе выглядел другой журналист — специальный корреспондент «Известий» Борис Васильевич Громов. Атлетического сложения, сильный, выносливый, он был моим спутником и в 1929 году на «Седове», и в 1932-м на «Сибирякове», и в 1934-м на «Челюскине». Но познакомились мы гораздо раньше. Наше совместное путешествие по жизни началось еще в 1910 году. Когда я поступил в гимназию, Громов уже учился в ней. Был он всего на класс старше, но нос драл на несколько этажей выше, по старой традиции гимназистов, обязывающей не расходовать внимания на тех, кто младше тебя.

В то время, когда мы плыли на «Сибирякове», Громов заканчивал свою карьеру спортсмена — бегуна на средние дистанции, где он показывал в свое время отличные результаты. Но как журналист,

причем журналист, физически очень приспособленный к условиям арктического похода, Громов был в расцвете сил. И не случайно, что очень точный в отборе людей Шмидт приглашал его с собой из экспедиции в экспедицию.

А льдов все не было и не было. Только на Новой Земле, в проливе Маточкин Шар, где прошла моя полярная юность, навстречу «Сибирякову» попала какая-то захудалая льдинка. Воронин расправился с ней как повар с картошкой. Направил «Сибирякова» на льдину и расколол на мелкие кусочки.

— Так будет со всеми льдинами! — торжественно заявил наш капитан, поднимая боевой дух экспедиции.

Отто Юльевич Шмидт, наблюдая эту сцену, многозначительно поднял палец и сказал корреспондентам: — Обязательно отметьте этот момент! Пулеметная дробь машинок, прозвучавшая через несколько минут после реплики начальника экспедиции, свидетельствовала, что руководящее указание было воспринято правильно. А еще через несколько минут началась корреспондентская атака на радиорубку.

Корреспонденты демонстрировали такую быстроту реакций, что с ними впору было соперничать разве что летчикам-испытателям. И не обязательно, чтобы появился белый медведь или разразился невиданный в истории человечества шторм. Достаточно было увидеть где-то на горизонте полклыка моржа, как сразу же раздавался стук машинок, а затем стук телеграфного ключа. Раз, два, три — и мир оповещен о факте явно не мирового значения.

Да извинят меня собраты по перу: размышляя о технологии их работы, я часто вспоминал Буриданова осла, голодного между двумя вязанками сена. С одной стороны, хочется написать пообстоятельнее, поподробнее. Но писать долго нельзя. Тебя обязательно опередит более лаконичный коллега. Каждый раз эстафета от факта — через корреспонденцию — до радиорубки выглядела нелегким испытанием для пишущей братии.

Мы с Гиршевичем принимали всех по очереди. Но иногда корреспондент подмигивал:

— Слушай, Эрнст, у меня есть заветная бутылочка коньяка!

Покаюсь, я совершал преступления, принимая взятки в жидком виде, но больших угрызений совести при этом не чувствовал. Впрочем, мы с Гиршевичем отстукивали корреспондентские

радиограммы довольно быстро. А во-вторых, не все ли было равно, чья «одинокая чайка» долетит на двадцать минут раньше до типографии.

Очень рвались наши друзья-журналисты к героике и экзотике. Куда ни плюнь, повсюду виделись ими упомянутые «одинокие чайки», «бескрайние снежные поля», «сокрушительные водные валы». Легко понять журналистов: всегда приятно покрасоваться перед читателями исключительностью своей миссии. Вот я какой. Вот с какими людьми плыву. Вот на какие трудности иду. И все для того, чтобы доставить вам, читатель, горяченькую, как пампушку, информацию о чем-то очень героическом.

Да, все было именно так, за исключением пустяка — в первой части нашего рейса никакой героики не было. И все же, вероятно, любой член литературно-художественной части экспедиции обдал бы меня презрением, прочитав то, о чем я хочу сейчас рассказать. Однако в моем рассказе все чистейшая правда...

Ледовый прогноз наших ученых продолжал сбываться. То, что нас окружала вода, а не лед, оказалось весьма благоприятно для того, чтобы прощупать пути полярных течений с помощью «бутылочной почты». Романисты исписали много бумаги, рассказывая, как бутылки, брошенные потерпевшими кораблекрушение, носили их письма, пока, наконец, эти письма не попадали в нужные руки. Все это очень романтично и красиво. И хотя одно из первых писем бутылочной почты, брошенное в море Колумбом, не надеявшимся уже на благополучное возвращение вследствие страшной бури, так и не дошло до адресата, все же эта почта привлекла к себе внимание настолько, что в 1560 году английская королева Елизавета учредила специальную должность «королевского откупорщика океанских бутылок». Только этому важному лицу разрешалось вскрывать «конверты» морской корреспонденции. — Через двести лет после грозного указа королевы Елизаветы бутылочная почта обогатила науку: французский ученый Лагэньер бросил в море полтора десятка бутылок с указанием времени и координат мест отправления; эти бутылки-путешественницы принесли полезные сведения о морских течениях. Нечто подобное делали и мы. На протяжении всего плавания мы время от времени выбрасывали за борт «бутылки». Роль этих «бутылок» играли большие деревянные буи. В каждое из этих



деревянных лиц была вложена трубочка с соответствующей запиской, которая обращалась с просьбой ко всем, кто поймает этот буй, переслать его в Арктический институт. Романтично и эффективно!

Чистая вода, сопутствовавшая нашему кораблю до Диксона, позволила также выиграть два чрезвычайно ценных для нас дня. Увы, этот выигрыш был сведен на нет. И виной тому были волчьи законы капитализма, которые мы проклинали во весь голос, пуская в ход самые убедительные эпитеты.

Дело в том, что норвежский пароход «Вагланд», зафрахтованный для доставки «Сибирякову» из Англии лучшего в мире кардифского угля, вовсе не торопился к месту предстоящего свидания. Вместе с тремя другими иностранными судами «Вагланд» шел в караване через Карское море. Корабли были стары и ветхи. Владельцы отправляли их в Арктику с явной надеждой на получение страховой премии. Наши моряки с ледокола «Ленин» были вынуждены с предельной осторожностью проводить сквозь льды эти старые, на ладан дышащие калоши.

Караван «загорал» под незаходящим арктическим солнцем, а мы на «Сибирякове» нервничали. Промедление грозило экспедиции серьезными осложнениями, которых, естественно, хотелось бы избежать. К тому же в эти дни рухнула еще одна надежда. 10 августа была принята радиограмма, сообщавшая, что летчик И. К. Иванов, прикомандированный к «Сибирякову», исправил повреждение и вылетел из Архангельска на Диксон. Через несколько часов новая радиограмма: самолет потерпел аварию и утонул в Белом море. Обошлось без жертв, но на душе было тяжело. Гибель самолета резко снизила нашу дальнзоркость. В тяжелых арктических льдах мы оставались без глаз, слепые, как котята. В дальнейшем это принесло бездну трудностей, вследствие которых наш поход вообще оказался на грани невыполнения задания.

На следующий день, 10 августа, настроение несколько поднялось: прибыл долгожданный «Вагланд». Мы отсалютовали его прибытию таким авралом, какого этот доживающий свой век пароходишко не видел отродясь. Взяв с борта угольщика 250 тонн кардифа, мы пополнили угольный запас нашего «Саши» до 850 тонн. Уголь не вмещался в трюмах, и часть его оставалась на палубе. Но иного выхода не было. Энергии угля предстояло победить сопротивление льда, и

потому чем больше был угольный запас на ледоколе, тем было спокойнее.

Все составы экспедиции — научный, административно-технический, хозяйственный, литературно-художественный и пассажиры — бегали, сгибаясь под тяжестью угольных мешков. Так пришла героика. Пришла не в образе белого медведя, с которым надо было сражаться один на один, не в личине шторма, против которого бессильны даже самые острые журналистские перья. Героику принес уголь, въедавшийся в нашу кожу, волосы, легкие. Именно здесь, на угольном аврале, и стал формироваться коллектив. Он вырос вскоре в огромную силу, блестяще показавшую себя в тех нелегких, подлинно героических делах, о которых в эти дни, разумеется, никто даже и не помышлял.

Норвежцы с интересом рассматривали «Сибирякова» и наших людей, тем более что для такого любопытства у них были все возможности — в разгрузке своего судна норвежская команда не участвовала. Большое впечатление произвела на них и борода Отто Юльевича, тогда еще не имевшая такой мировой известности, как после «Челюскина». Капитан «Вагланда» даже спросил кого-то из наших:

— Скажите, ваш начальник, наверное, из бывших священников?

Но даже наш блистательно проведенный аврал не мог полностью компенсировать опоздание «Вагланда». Прибыв на Диксон 3 августа 1932 года, ледокол покинул его лишь 11 августа, взяв курс на восток, к Северной Земле.

На Северной Земле у меня (да, разумеется, не только у меня) были знакомые. Когда в 1930 году ледокол «Седов» снял нашу группу зимовщиков с Земли Франца-Иосифа, на его борту плыла к Северной Земле знаменитая ушаковская четверка. Плыла домовито: везли свору собак — штук пятьдесят, не меньше, — и штабеля бесконечных ящиков с оборудованием, оружием, питанием и книгами.

Ничто в этой рачительной хозяйственности не говорило о героизме, о подвиге. Да и сам Георгий Алексеевич Ушаков, удивительно спокойный человек среднего роста, в пенсне, с небольшими усиками, похожий одновременно и на директора завода, и на председателя колхоза, не был похож на героя, каким он представлялся плохим романистам.

И все же, несмотря на такой буднич­ный об­лик, Ге­ор­гий Алек­сее­вич был лич­но­стью весь­ма и весь­ма при­ме­ча­тель­ной. Амур­ский ка­зак, крас­ный пар­ти­зан и крас­но­ар­меец стал студентом уни­вер­си­те­та, со­труд­ни­ком Гостор­га во Вла­ди­во­сто­ке, а уж за­тем ока­зал­ся сре­ди по­ляр­ни­ков, ко­то­рым вы­па­ла вы­со­кая обя­зан­ность — от­стаи­вать честь со­вет­ско­го фла­га на Се­ве­ре.

В 1926 го­ду Уша­ков на­зна­чен на­чаль­ни­ком о­стро­ва Вран­ге­ля. Он очень бы­стро на­вел на о­стро­ве по­ря­док. С че­стью вы­хо­дя из мно­же­ства не­лег­ких си­ту­а­ций, со­вет­ский на­чаль­ник за­во­е­вал у о­стро­ви­тян не­пре­ре­кае­мый ав­то­ри­тет. За о­стро­вом Вран­ге­ля при­шел че­ред и Се­вер­ной Зем­ли...

Под стать Уша­кову был Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Урван­цев, вы­даю­щий­ся по­ляр­ный ге­олог. Его имя — имя боль­шо­го уче­но­го — встре­ча­ется во всех серь­ез­ных ра­бо­тах по ис­то­рии ос­вое­ния Ар­кти­ки, а как ве­ли­кий эн­ту­зи­аст он из­вестен по мно­го­чис­лен­ным жур­наль­ным и га­зе­т­ным оче­р­кам.

Зна­то­ка­ми сво­е­го де­ла бы­ли со­всем мо­ло­дой ленин­гра­дец, ра­дист Ва­ся Хо­дов и опы­тный ка­юр Се­ре­га Жу­рав­лев. Все уша­ков­цы ощу­ща­ли пле­чо друг дру­га, и в этом еди­но­нии бы­ла их ог­ром­ная си­ла.

Все де­ла­лось чрез­вы­чай­но солид­но. Уша­ков сразу же по­ставил пе­ред со­бой и сво­ими то­ва­ри­ща­ми да­ле­ко иду­щую цель — об­сле­до­вать Се­вер­ную Зем­лю. Этой це­ли под­чи­ня­лось все. И под­бор лю­дей, и тща­тель­ность под­го­тов­ки экс­пе­ди­ции, и рас­пре­де­ле­ние обя­зан­но­стей, и ор­га­ни­за­ция ра­бот — все от­ли­ча­лось, я бы ска­зал, снай­пер­ской точ­но­стью. Был воз­ве­ден дом, за­ра­бо­та­ла ра­дио­стан­ция, на восточ­ной оконеч­но­сти о­стро­ва соз­да­ны опор­ные пун­к­ты для даль­них по­хо­дов. То­лько по­сле та­кой «ар­тил­ле­рий­ской под­го­тов­ки» Уша­ков на­чал дей­ство­вать.

В ос­нов­ном обя­зан­но­сти рас­пре­де­ля­лись так: Уша­ков, Урван­цев и Жу­рав­лев, по­гру­зив по­кла­жу на нар­ты с со­ба­чьей упряж­кой, ухо­ди­ли в даль­ний по­ход. Ухо­ди­ли без вся­кой ра­дио­свя­зи, что, разумеется, в ус­ло­ви­ях Се­вер­ной Зем­ли бы­ло чрез­вы­чай­но опас­но. Ра­дист Ва­ся Хо­дов, ко­то­ро­му не ис­пол­ни­лось еще и два­д­ца­ти лет, оста­вал­ся один. На его до­лю па­да­ли ме­те­о­ро­ло­гиче­ские на­б­лю­де­ния и пе­ре­да­ча ме­те­о­ин­фор­ма­ции на Боль­шую зем­лю. Дол­гие ме­ся­цы ра­дист жил один. Ка­ким муж­е­ством нуж­но бы­ло об­ла­дать для это­го! Да, Ге­ор­гий

Алексеевич не ошибся, выбрав себе в спутники молодого энтузиаста коротких волн.

Здесь самое время рассказать о Серге Журавлеве. Это была красочная фигура. Именно такими я представляю себе наших предтечей. Тех, которые в давние времена без ледоколов, без самолетов, без радио, на утлых суденышках бороздили полярные моря и были первооткрывателями неведомых земель.

Высокий, худой, состоящий как бы только из костей и сухожилий, руки как лопаты, с грубым голосом и грубой речью. Меткий стрелок, неустойчивый в работе и надежный, как базальтовая скала.

Одному профессору-ихтиологу он как-то сказал:

«Эх вы, ученые, в кишках дохлой рыбы правду ищете!»

Другой раз, объезжая упряжку собак, Серега под Архангельском заехал в далекую деревеньку, где испокон века не видели такого вида транспорта. Все население высыпало на улицу.

«Ой, бабоньки, гляньте, до чего народ дошел — на собаках ездют...»

«Молчи, стерва, я через год на котах приеду».

Я не преувеличу, если назову исследование Северной Земли, проведенное Ушаковым и его товарищами, величайшим географическим подвигом XX века. На карту был нанесен огромный, дотоле неизвестный архипелаг общей площадью примерно тридцать семь тысяч квадратных километров. И хотя я очень не люблю повторять слова «герои», «героическая», но для этих четырех людей и для работы, которую они провели за два года, иные определения подобрать очень трудно.

По мере того как «Сибиряков» приближался к Северной Земле, большая часть начальства и литературно-художественного состава экспедиции переместилась в радиорубку. Ледокол шел в густом, как молочный кисель, тумане. Туман не только пропитывал всех нас промозглой противной влагой, но лишал зрения, а, следовательно, и хода. Рисковать кораблем было бы, по меньшей мере, нелепо. И вот, оглашая белое безмолвие оглушительными гудками, наш «Сибиряков», вытравив якорь, чтобы не наскочить на мель, нащупывал местоположение полярной станции Ушакова.

Зимовщики знали о нашем приближении, и установить радиосвязь с Васей Ходовым не составляло большого труда. После

короткого обмена обычной радистской информацией начался диалог начальника экспедиции с начальником зимовки.

Это было запоминающееся зрелище. Шмидт обращался к невидимому Ушакову, а черная бумажная тарелка стандартного репродуктора «Рекорд» с дребезжанием доносила до нас ответы зимовщиков.

— Георгий Алексеевич, — говорил Шмидт, — туман задерживает ваше продвижение. Мы движемся медленно, ощупью, но движемся. Хорошо ли вы слышите наши сигналы?

— Да, по радио мы слышим вас хорошо.

— А гудки ледокола?

— Совершенно не слышим.

Мы аукались по радио, как в лесу. С капитанского мостика шарил вокруг, пытаясь прорвать блокаду тумана, сорокакратный цейсс-бинокль, который даже биноклем не назовешь. Две огромные трубы, смонтированные на треноге специального штатива, превращали каждый сантиметр в полметра. Через несколько часов раздался крик вахтенного матроса:

— Шлюпка с берега!

В разошедшемся тумане, перепрыгивая с волны на волну и словно кивая нам красным флажком на корме, шла шлюпка со всей ушаковской четверкой.

Выпустив струю пара, радостно взревел «Сибиряков». Одновременно с корабельным гудком на мачтах поднялись флаги расцвечивания. Застрекотали киноаппараты. Для знатных гостей спустили парадный трап. Ушаков и Шмидт под громкое «ура» всех присутствовавших расцеловались.

Неповторимая минута! Однако наши летописцы от кинематографии были недовольны тем, как прошла она с точки зрения их высокого искусства. Они весьма категорически требовали:

— Обязательно повторить!

И хотя стрелки часов истории крутятся, как известно, лишь в одном направлении, госпожа история пошла на исключение: зимовщики спустились в шлюпку, отплыли от «Сибирякова» — и все повторилось заново. Высокая требовательность киногоруппы к своему труду не раз побуждала упомянутую госпожу историю отказываться от строгих правил, повторяя неповторимое. Ничего не поделаешь, видно,

и эта дама тщеславна, видно, и на нее крик «бис» производит иногда надлежащее впечатление.

В твиндечной кают-компании, набитой так, что головы не повернешь, Ушаков и Урванцев докладывали о проделанной ими работе.

В условиях полярной ночи, сделав трехсоткилометровый переход на собаках, Ушаков, Урванцев и Журавлев заложили продовольственные депо — опорные пункты для дальнейших исследований. За первый год пребывания на Северной Земле длина хода маршрутной съемки составила около 1500 километров, охватив площадь в 25 тысяч квадратных километров. Переходы были столь тяжелы, что собаки сбивали себе ноги не до крови, а до сухожилий и костей, превращаясь из источника тяги в пассажиров. Зимовщики везли таких псов на санях, так как животные не в силах были передвигаться сами.

Чтобы прокормить себя и собак, по возможности сохраняя запас продуктов, с которыми они высадились на берег, зимовщикам приходилось много охотиться. Удача не всегда сопутствовала Ушакову и его спутникам. Разразилась буря, смывшая в море не только заготовленное мясо, но и часть имущества станции. Но работа не останавливалась ни на день, ни на час...

Помимо топографической съемки и составления карт, зимовщики делали геологические разрезы и геологические карты, установили семнадцать опорных астрономических пунктов, обнаружили магнитные аномалии, собрали ботанико-зоологическую коллекцию, вели наблюдения за приливами и отливами...

Да, это были настоящие люди. Собранные, подтянутые, без полярных бород, блистая чистотой и аккуратностью, они видели в своей деятельности не какой-то высокий подвиг, а работу, которую надо было выполнять каждый день, с той же аккуратностью, что и бритье.

Докладчики кончили свои сообщения. Стены кают-компании задрожали от аплодисментов. За аплодисментами сам собой зазвучал «Интернационал» как символ великой идеи, ради которой все мы забрались так далеко на север.

Между Диксоном и Северной Землей мы наवरстали время, потраченное на ожидание «Вагланда», и теперь, обладая картой,

составленной Ушаковым и Урванцевым, грех было не пройти путем, которым не проходил еще ни один корабль в мире.

Таких неведомых путей нам открывалось три: пролив Шокальского, существование которого до съемок Ушакова и Урванцева считалось весьма проблематичным, пролив Красной Армии и, наконец, обход всего архипелага Северной Земли. Капитан Воронин, которому, как сказочному богатырю, были предоставлены на выбор все эти три варианта, проявил богатырскую осторожность и на рожон не пошёл.

— Конечно, — сказал наш капитан, — при обходе всего архипелага можно встретить льды. «Сибиряков» с ними управится, сами видите, какой год удачливый. А в проливы я бы соваться не советовал. Пусть туда сначала сползают гидрографы и промеряют глубины. Наша задача — поскорее попасть в Тихий океан.

Мы плыли на север. На 81° северной широты нас встретили хозяева этих мест. Медведица и медвежонок с любопытством, присущим этим зверям, взирали на «Сибирякова». Жажда трофея восторжествовала над гуманными чувствами, и медвежонок остался сиротой.

Умелые матросы быстро отгородили на палубе место, куда и был посажен вольный сын Арктики. Бортмеханик Игнатьев взял его под свою опеку. Облизывая с палки сгущенное молоко, медвежонок поплыл на восток, навстречу своей судьбе. А судьба ему выпала необычная. После того как, проплыв через северные моря и Тихий океан, «Сибиряков» добрался до берегов Японии, экспедиция подарила медвежонка микадо — японскому императору.

Почти одновременно мы встретились с медведями и со льдами. Не сразу скажешь, что же произвело большее впечатление. Вопли Феди Решетникова: «Айсберг!» — прежде всего пробудили зверя в руководителе нашей киногоруппы Шнейдерове. Не снять эту ледяную гору и впрямь было бы преступлением. Не удивительно, что Шнейдеров тотчас же рванулся к Шмидту:

— Отто Юльевич, помогите! Надо немедленно спустить шлюпку и заснять с воды айсберг и наш ледакол для того, чтобы зритель представил себе размеры этой ледяной горы.

Сомневаться в ответе не приходится. Конечно, Шмидт разрешил киногоруппе спуститься в шлюпку. Кадр получился впечатляющим:

маленький, словно игрушечный, кораблик «Сибиряков» плывет подле исполинской ледяной горы. Жаль только, что черно-белое кино оказалось не в состоянии передать другое: сказочную прозрачную арктическую синеву — эту удивительную краску северной палитры, которой были словно пронизаны ледяные горы.

Одиноким айсберги выглядели какими-то фантастическими пришельцами из другого мира, приблизившимися к нашему кораблю, чтобы познакомиться с ним и его обитателями. Они были огромны, но при желании ледяную гору можно было и обойти. Иное дело — стена пакового льда. Стоявшая чуть дальше, на севере, она воспринималась как великая сила, против которой человек еще слаб и немогущ. Паковый лед маячил на горизонте. Он стоял как отрубленный, высотой в несколько метров, без каких-либо разводьев. Одним словом, монолит, исключавший какую-либо возможность проникнуть дальше.

Посмотрев на ледяной дозор, на стену, непробиваемую для любого ледокола, как-то незаметно для самих себя притихли наши корреспонденты, а «Сибиряков» повернул на восток, затем на юго-восток и вышел на трассу, которой обычно следуют корабли вдоль побережья Сибири.

Написать эти несколько фраз было делом одной минуты. Пройти участок от Северной Земли до материка оказалось куда более серьезным.

Наш путь проходил сквозь торосистый лед, который, если воспользоваться сухопутными сравнениями, больше всего напоминал тайгу. Ледяные завалы, торосы, полыньи — все смешалось здесь в кучу, в ледяную чащобу, через которую и предстояло продираться «Сибирякову». Что говорить — прогулка не из приятных, но не продираться было нельзя.

Пять миль потребовали напряженной сорокачасовой работы. Капитан приказал нашему старшему механику Матвею Матвеевичу Матвееву поднять давление пара до максимума. Ледокол то отступал назад, то прорывался вперед, круша лед и прокладывая себе дорогу.

То, что произошло с нами в эти часы и минуты, содержало полный набор арктических неприятностей. Сначала, содрогаясь от напряжения, работал во всю мощь своих 2400 сил ледокол. Затем инициатива перешла в руки людей — началась обколка. Вооруженные



пешнями (ломами с деревянными рукоятками), шестами и баграми, люди не давали льду оклеить, словно липучкой, борт нашего ледокола.

Работали в темпе. Пешнями обкалывали лед, а шестами и баграми по узкому каналу между ледяным полем и кораблем выталкивали льдины назад, за корму. Ледокол обретал пусть небольшую, но свободу. И тогда машины давали задний ход, отводя корабль назад, чтобы бросить его рывком вперед и расколоть впереди расположенный лед.

Одним словом, вся эта процедура напоминала попытку раскатать и сдвинуть с места автомобиль, буксующий на грязной, скользкой дороге. И там и тут приятно ощущать, что именно ты добавляешь могучей машине то крохотное «чуть-чуть», без которого она оказалась бы бессильной. Разумеется, закончив обколку, люди не оставались на льду. С пешнями, шестами и баграми они, словно средневековые пираты, идущие на abordаж, кидались на борт ледокола.

Поначалу паровой и мускульной силы для продвижения ледокола более или менее хватало. Потом в ход пошло самое крайнее средство — взрывчатка.

Вместе с аммоналом, бикфордовым шнуром и взрывателями, на которых я спал от Москвы до Архангельска, на льдине появился Малер, чувствовавший себя к тому времени уже бывалым полярником. По его указанию долбили лунки, закладывали аммонал, и столбы бурожелтого дыма отмечали ту линию разлома, по которой должен был треснуть лед. Я не случайно воспользовался словами «должен был», потому что сначала лед не очень-то хотел разламываться. Однако практика — критерий истины. Нащупав нужные дозы аммонала, Малер стал неплохо справляться со своими обязанностями. Через сорок часов после начала операции, в которой приняли участие все роды нашего полярного оружия, «Сибиряков» вышел на чистую воду.

В море Лаптевых Арктика снова выглядела великодушной и доброжелательной. По голубизне воды оно соперничало с морями южных широт. Мы загорали под солнцем, которое, как и положено ему в полярное лето, не заходило за горизонт.

И все же нам было не до веселья. Все попытки связаться по радио с берегом, которые настойчиво предпринимали мы с Гиршевичем, успеха не имели. Ни одна из станций — ни на острове Ляховском, ни в бухте Тикси — на вызовы не отвечала. Для меня и моего коллеги это

были в высшей степени ответственные минуты. Мы звали, слушали, снова звали, снова слушали, но нужных голосов поймать в эфире не могли.

Создавшаяся ситуация выглядела весьма безрадостно. Уголь должен был ждать нас в Тикси. Туда по Лене намечено было спустить угольную баржу, но пришла ли она? Эфир загадочно молчал.

Руководителям экспедиции пришлось решать сложную задачу. Если баржа пришла, то надо обязательно заходить в Тикси. Если же нет, то мы теряли на этот заход несколько десятков тонн угля и драгоценное время. Произнести «да» или «нет» в таких условиях было делом чрезвычайно ответственным. Полные сомнений, мы все же двигались к устью Лены, не зная, что нас там ждет.

Правда, круглосуточное прослушивание эфира принесло все же свои плоды. Увы, они были не очень радостными. 25 августа Гиршевич перехватил радиogramму Н. И. Евгенова, адресованную в Якутск. Опытный гидрограф и капитан дальнего плавания, ученый и практик, Евгений возглавлял Особую Северо-восточную полярную экспедицию — большой караван судов, которые ледорез «Литке» вел навстречу нам, с востока на запад.

Пойманная радиogramма еще раз заставила нахмуриться Владимира Ивановича Воронина. Евгений сообщал, что из-за тяжелых льдов в районе Чукотки «Литке» еще не довел свой караван до Колымы. Да, уж тут было не до шуток, а береговые станции по-прежнему зловеще молчали, словно какая-то эпидемия чохом истребила всех радистов.

И, наконец, спустя сутки, 26 августа, мы услышали бухту Тикси. Её голос показался нам удивительно приятным: радиogramма сообщала, что нас ждет уголь.

В Тикси нам устроили торжественную встречу. «Сибирякова» ввела в бухту «Лена» — историческое судно, плававшее за полвека до нас вокруг мыса Челюскин вместе с норденшельдовской «Вегой». «Леночка», как называли здесь эту старушку, была первым кораблем, добравшимся до устья великой реки с запада. Популярность у местных жителей этого корабля, равно как и его капитана якута Афанасия Даниловича Богатырева, была огромна.

На этот раз «Лена» спустилась в Тикси с верховий реки. После того как она встретила нас, я отступал в Совет Народных Комиссаров

Якутской АССР радиogramму Отто Юльевича о прибытии «Сибирякова». Сегодня ответ на такую радиogramму не заставил бы себя ждать. В 1932 году мы получили его только через полтора месяца. Да, связь в Арктике еще оставляла желать много лучшего.

В бухте Тикси, кроме «Лены», собралось огромное по этим краям общество пароходов: «Пропагандист», «Совет», «Якут» и две баржи. Трудный переплет, в который попала экспедиция Евгенова, ставил эти речные суда в сложное положение. Колесные пароходы, весьма похожие на своих волжских собратьев, работавшие на дровах, предстояло отвести на Колыму, где они были очень нужны развертывавшемуся строительству. Но как? «Сибиряков» не приспособлен для буксировки, а любая льдина, на которую может налететь в открытом море такой деревянный пароходишко, грозит ему гибелью. А пока Шмидт и Воронин решали судьбу пароходов, объезжая и самым тщательным образом осматривая каждый из них, «Сибиряков» догружался углем с подошедшей к нему баржи. На этот раз обошлось без аврала. Большую часть работы сделали прибывшие с баржей грузчики — здоровенные ребята, в сапогах гармошкой, широчайших шароварах, подпоясанных яркими кушаками, и соломенных шляпах, которые они носили с завидной лихостью. Грузчики очень хотели добраться до Колымы и потому старались безмерно. С тяжелыми угольными ящиками они обращались как с игрушечными. Но их ждало разочарование: Шмидт пассажиров не взял.

Всем пассажирам хотелось на Колыму, но Шмидт и Воронин согласились взять лишь два парохода — «Якут» и «Партизан». Они были новой постройки и потому имели некоторые шансы на благополучный переход. Что же касается «Пропагандиста», то ему вместе с баржами предстояло возвратиться обратно и увезти полторы сотни пассажиров. Взяв на себя риск доставки кораблей, Шмидт и Воронин вынуждены были освободить их от пассажиров, так как в случае катастрофы они были бы обречены на верную смерть.

И еще одно доброе дело мы успели сделать перед выходом из Тикси. На добровольных началах провели аврал, оказали помощь зимовщикам, строившим большую полярную станцию. К тому же мы оставили им аэросани, предназначавшиеся для острова Врангеля, вместе с механиком Денисовым. Надо сказать, что впоследствии сани

отработали свое отлично: на них было проделано около 3 тысяч километров, очень облегчивших топографам стирание с карт белых пятен. Понравился зимовщикам и второй подарок Шмидта — восьмидесятикилограммовая бочка клюквы, в тех местах — богатство бесценное.

Мы уходили из Тикси с двумя речными пароходами на буксире. Гидрографы ворчали: с таким хвостом нельзя сделать гидрологический разрез в Восточно-Сибирском море. Энтузиастов своего деда очень огорчало, что без этого разреза сильно пострадает наука. Однако Шмидт рассудил иначе. Он не без оснований заключил, что гидрологические разрезы не поздно будет сделать и в следующий раз, когда пойдет новая экспедиция, а вот пароходы, которые мы тащим за кормой, нужны стране не завтра, а сегодня, и не в бухте Тикси, а на Колыме, где их своевременное прибытие в значительной степени решало проблему выполнения плана строительства. В такой ситуации для Отто Юльевича Шмидта никакой дилеммы просто существовать не могло.

Наши острословы, скорые на язык, прозвали эти колесные пароходы «велосипедами». Но, отдавая должное шутке, всегда скрашивающей трудности, все понимали, что положение складывается совсем не шуточное. Взяв речные суда на буксир, Шмидт и Воронин возложили на себя груз самой тяжелой ответственности — ответственности добровольной. Оснований для беспокойства было вполне достаточно. Вследствие большой осадки «Сибирякова» он не мог при шторме завести караван в какую-нибудь бухту, так как малые глубины бухт по всему побережью до Колымы были не для нашего «Саши». В открытом же море шторм означал верную гибель обоих речных пароходов. Положение сложилось настолько серьезное, что капитан одного из этих корабликов квалифицировал его как авантюру и отбыл на «Пропагандисте» вверх по Лене. Его место на капитанском мостике занял Чечохин, начальник всей этой речной флотилии.

Но недаром говорят — удача сопутствует смелым. Суровая арктическая природа прониклась сочувствием к бремени, которое взвалили на себя Шмидт и Воронин. Когда 30 августа 1932 года «Сибиряков» вышел из бухты — Тикси, и море и небо были явно за нас. Небо излучало ласковое тепло, располагая к солнечным ваннам, а

море отражало наш караван. Его поверхность, да извинит меня читатель за истрепанное сравнение, и впрямь была как зеркало.

По дороге на Колыму мы нанесли короткий визит на Ляховскую геофизическую станцию Академии наук СССР. Ляховские острова — Большой и Малый — еще в XVIII веке были освоены купцом Ляховым, собиравшим здесь мамонтовую кость. В 1928 году на одном из островов по инициативе Владимира Юльевича Визе была построена геофизическая станция.

Когда мы подходили к Тикси, станция острова Ляховский не отвечала на наши сигналы. Естественно, мы решили выяснить, что же там происходит.

Пусть не заподозрит меня читатель, что для каких-то случаев я держу в своей палитре красную краску, а для других — исключительно черную. Но, право, зимовщики Ляховского были просто антиподами Ушакова и его товарищей с Северной Земли. Я побывал в своей жизни не на одной зимовке и зимовщиков повидал разных, но таких анахоретов с космами ниже плеч и грязными, нечесаными бородами не встречал нигде. Нечесаный и немытый радист очень удивился вопросу, почему он не прослушивал эфир. Бедняга даже и не подозревал, что это, между прочим, входит в его обязанности.

Владимир Юльевич Визе проверил по ледовому журналу зимовщиков точность сделанных им ледовых прогнозов, и «Сибиряков» двинулся дальше.

Восточно-Сибирское море встретило нас более хмуро. Время от времени стали попадаться льдины, не радовавшие капитанов «велосипедов». «Сибиряков» обходил льдины стороной, а речники с шестами в руках высыпали на палубы своих посудин. Они были настроены очень воинственно, готовые отталкивать эти льдины. Наивные люди! Они подходили к настоящим океанским льдам со своими жиденькими речными мерками.

Колыма — не самое радостное место на земном шаре, но прибытие в этот порт стало для нас и наших «велосипедов» праздником. Во-первых, довольные друг другом, мы прощались. А во-вторых, почти одновременно с нами сюда привел с востока свой караван «Литке». Сначала мы увидели огоньки, затем с достаточной отчетливостью проявились и контуры судов. То-то было радости!

Целая симфония гудков прозвучала разноголосым, хотя и не очень стройным хором.

Наутро — встреча руководителей обеих экспедиций. Обмен информацией. Добрые напутствия. Начальник восточного каравана Евгений, проинформировав наше руководство о тяжелой ледовой обстановке на востоке, подобно тетушке из «Двух капитанов» Каверина, убеждавшей племянника: «Санечка, летай пониже!», рекомендовал держаться поближе к берегу.

Говорят, что крокодил от головы до хвоста имеет ту же длину, что от хвоста до головы. К сожалению, этого не скажешь про путешествие по Северному морскому пути. Тут не безразлично — идти ли с запада на восток или же с востока на запад. В восточном секторе Советской Арктики зима гораздо стремительнее вытесняет лето, и навигационный сезон на востоке кончается раньше.

Лед стал показывать свои зубы все откровеннее. У мыса Северный мы, побеседовав с местными жителями, узнали, что нас не ждет ничего хорошего. Чукчи рассказали: уже три года подряд ледовая обстановка в этих краях весьма неблагоприятна. Что же касается 1932 года, то это лето даже старики считают, пожалуй, самым ледовитым из всех сохранившихся у них в памяти.

Легко догадаться, каким холодом пахнуло на нас от этих рассказов бывалых людей. Следуя совету Евгения, Владимир Иванович Воронин подошел к берегу так близко, что один раз ледокол даже царапнул дно. Но принцип «летай пониже» не спасал, и снова на лед сошел наш подрывник Малер. Без аммонала ледокол пробиться был явно не в силах.

Справедливости ради отмечу — не все моряки считали, что надо так плотно прижиматься к берегу. Наш первый штурман, а впоследствии известный полярный капитан Юрий Константинович Хлебников, показывая на темное «водяное» небо на севере, убеждал подняться туда. Но Воронин не захотел рисковать. Там могли оказаться более тяжелые льды. Конечно, в эти минуты самолет выполнил бы роль меча, которым разрубил гордиев узел Александр Македонский. Все проблемы были бы решены мгновенно, а сомнения отброшены прочь. Увы, вместо того чтобы стать зоркими глазами экспедиции, наш самолет покоился на дне морском.

И все же, несмотря на трудности, которые нет-нет да подкидывали нам чукотские льды, жизнь на корабле шла, своим чередом. Мы уже ощущали себя где-то у финиша. Элементарная мысль, что коротенький остаток пути может оказаться тяжелее пути уже пройденного, почему-то никому в голову просто не приходила. Оптимистичность человеческого характера, как всегда, одержала верх в той внутренней борьбе, которую вели между собой оптимизм и пессимизм.

Надо заметить, что даже бывалые полярники любовались картиной, которая открывалась перед нами, а уж о художниках и говорить не приходится. Они работали не разгибаясь. Даже знаменитый зеленый луч, открывающийся морякам лишь в каких-то особых, исключительных случаях, предстал перед нами. Зеленое заходящее солнце фантастическим изумрудом вспыхнуло над сверкающими льдами.

Да, все это было сказочно красиво. Настолько красиво, что и по сей день осталось в памяти. Казалось, чья-то рука переключала освещение, делая льды то синими, то зелеными, то ярко-красными, но отнюдь не бело-серыми, какими им надлежало быть по представлениям жителей средних широт. Так-то оно так, но за знакомство с этой красотой пришлось платить, и платить дорого.

Короткое арктическое лето, как, впрочем, и маршруты нашей экспедиции, подходило к концу. Какие-то сотня-полторы километров — и, пройдя через Берингов пролив, «Сибиряков» должен был выйти в Тихий океан. Холод давал о себе знать все ощутимее. Уже падал первый снег, выбеливая все окружающее. Одним словом, природа намекала нам более чем прозрачно: ребята, пора закругляться.

Спорить не приходилось. Закругляться и в самом деле было пора. Но далеко не все зависело от нас. 8 сентября «Сибиряков» перевалил из восточного полушария в западное. Этот факт отметили в кают-компании большим концертом с участием первоклассных исполнителей, начиная от пианистов Гаккеля и Визе и кончая танцорами Мухановым и Чачбой, лихо отбивавшими чечетку и лезгинку.

А в заключение — фейерверк. Понимая, что конец похода не за горами, киногруппа не сэкономила магниевых факелов для съемок в ночных условиях. Расставленные во льдах и зажженные, эти факелы

создали зрелище, еще более эффектное, чем лучи разноцветного полярного заката.

10 сентября ледокол подошел к Колючинской губе, к тому самому месту, где, не сумев сломить сопротивление льдов, зазимовал Норденшельд. Поначалу все шло благополучно. «Сибиряков» прошел мимо фактории на мысе Ванкарем, отсалютовавшей ему красным флагом. На палубе во всем великолепии своих многообразных талантов выступал перед объективом киноаппарата Федя Решетников. Он играл на гитаре, балалайке, флейте, плясал. Шнейдеров и его друзья всю снимали этот концертный номер.

Наступила осень, когда в полярных широтах бывает и день и ночь. Ради безопасности Воронин начал устраивать ночные остановки. Чтобы точно вести корабль в сложной ледовой обстановке, нужно было отчетливо видеть каждую трещину, каждую полынью. Ночь для плавания стала временем мало подходящим. Умолкали машины. Останавливался винт. На ледоколе воцарялась тишина.

Однажды вечером все собрались в кают-компани. Как всегда, играл самодельный джаз, что-то пели, а «Сибиряков», вздрагивая от частых ударов о льды, продолжал движение на восток.

Мы поужинали. Затем застучали костяшки домино, заставляя ледокол трепетать не меньше, чем от ударов о льдины. В шуме и грохоте кают-компани, в радостном веселье не все ощутили три удара, заставившие вздрогнуть стальное тело «Сибирякова». А наступившая затем тишина была воспринята как остановка машин для очередного ночлега. Веселье в кают-компани продолжалось. Наверху же, на палубе и капитанском мостике, весельем, как говорится, не пахло.

— Подать люстру! Выбросить штормтрап!

Все происходит быстро и деловито. Матросы тащат огромный рефлектор с сильными лампами, опускают его за борт. По веревочной лестнице (штормтрапу) на лед опускается старший помощник Юрий Константинович Хлебников. Ему подадут багор, и он начинает шарить за кормой. Все молчат. Хлебникову предстоит провести короткое следствие и объявить приговор.

— Поверните винт!

— Есть повернуть винт!



Висящий над кормой старпом продолжает тыкать багром в темную ночную воду. На палубе нервничают Воронин, Шмидт и Матвеев.

— Еще повернуть винт!

— Есть повернуть винт!

Багор уходит в воду. И через несколько минут Хлебников объявляет диагноз, который тотчас же записывается в вахтенный журнал: «В 22 часа осмотр гребного винта старшим помощником закончен. Результаты осмотра: одна лопасть совершенно отсутствует, а три остальных обломаны больше чем на половину каждая».

Примерно на том же месте, где некогда остановилась норденшельдовская «Вега», потерял всю свою силу ледового бойца и наш «Сибиряков». На чистой воде для тихого продвижения вперед оставшихся огрызков лопастей, быть может, еще и хватило бы, но лед стал для нашего «Саши» непреодолимой преградой.

Нельзя сказать, что авария застала нас совсем уж врасплох. Опыт полярных странствий давно засвидетельствовал, что винт — одна из наиболее уязвимых частей ледокола. Как всякий корабль такого типа, отправляющийся в дальний арктический рейс, «Сибиряков» вез с собой запасные лопасти. Остановка за малым — как установить эти лопасти? Не очень сложная операция в условиях обычного дока вырастала во льдах Чукотки в почти неразрешимую проблему.

И тут снова проявился характер нашего начальника экспедиции. Решая вопрос о проводке «велосипедов» из бухты Тикси на Колыму, Шмидт действовал, прежде всего, как государственный человек. На этот раз мы слышали голос ученого, убежденного, что главное — не только поставить задачу, но и найти способ ее решения.

Задача, над которой размышлял Отто Юльевич, была такова: вытащить из воды конец гребного вала ледокола, чтобы заменить изъеденные льдом огрызки новыми лопастями. Решил эту задачу наш начальник просто и остроумно. Шмидту не составило труда подсчитать: чтобы поднять корму на десять футов, то есть на три метра, необходимо перенести с кормы на нос груз в 400 тонн. Такой возможностью мы располагали. Этим грузом был уголь, хранившийся в кормовом трюме.

Аврал, который начался буквально через несколько минут после принятия решения о перегрузке, был, вероятно, самым тяжким из всех

полярных авралов, в каких мне когда-либо приходилось принимать участие. Освобожден от него был лишь Владимир Юльевич Визе, взявший на себя проведение всех научных наблюдений, которые нельзя было прерывать даже в такой сложной обстановке.

На этом аврале со мной произошло то, что случалось очень редко и, как правило, в самые неподходящие минуты. Побегав с шестипудовым угольным мешком, я неожиданно для себя и окружающих упал в обморок. В столь ответственную минуту сознаться в слабости я мог только самому себе. И когда грохнулся на палубу, оставалось лишь одно — свалить все на то, что палуба скользкая.

Сначала товарищи поверили в мою версию, но когда через несколько минут, без криков бис, я свалился снова, меня сразу же заподозрили в том, что мешок мне не по плечу, и предложили работу полегче. Разумеется, я не согласился. Аврал продолжался. Корма поднялась. До поверхности океана вал все же не дошел на один фут. Механикам во главе с Матвеевым предстояло работать в ледяной воде. Опущенные в нее термометры показывали минус один градус. В лед вода не превращалась лишь по одной-единственной причине — она была соленая.

Значительно позже аккуратный Шмидт тщательно подсчитал результаты этого беспримерного в моей памяти аврала. Оказалось, что каждый сибиряковец намного перевыполнил трудовые нормы грузчиков-профессионалов. И все же это было лишь первой частью тяжелейшей, небывалой в истории арктического мореходства операции...

На поверхности воды за кормой был сделан дощатый настил, позволявший работать механикам. При помощи лебедок и стрел с палубы спускались люльки вроде тех, в каких работают маляры на стройках. Колебался «Сибиряков», колебались и люльки, в которых висели механики — одним словом, это был чистейшей пробы цирковой номер.

Под тонким слоем воды отчетливо виднелась ступица — окончание мощного гребного вала. К этой ступице, при помощи огромных полуметровых фланцев гайками размером в суповую тарелку и весом по несколько килограммов каждая, крепились бронзовые перья лопастей. Гайки ставили на совесть:

зашплинтовывали, крепили цементом. Освобождение от старого цемента — первая тяжелая работа, выпавшая на долю наших механиков.

Старые гайки освободили от цемента, расшплинтовали, сняли. Одну за другой завели новые лопасти. Хорошо еще, что погода оказалась к нам милостива. Глубоко окунув в океан свой нос, «Сибиряков» с задранной кормой был совершенно беспомощен. Вот почему так торопились механики: каждый день, каждый час решал нашу судьбу. Малейшее движение льдов, легкие причуды ветра — и эксперимент закончился бы для всех нас одинаково печально.

Но, повторяю, Арктика была к нам милостива. Лопасти сели на свои места. После того часть угля была перегружена обратно, «Сибиряков» тронулся в путь, а мы продолжали бегать с угольными мешками, заканчивая перегрузку на ходу. Ждать, когда весь уголь будет возвращен на место, у нас просто не было времени. Перегрузка на ходу — дело весьма и весьма неприятное. Каждая встреча с льдиной — а на недостаток их жаловаться уж никак не приходилось — требовала от грузчиков не только повышенного внимания, но и большого внутреннего напряжения. Толчки парохода отдавались саднящими царапинами на спинах.

Медленно, но мы все же двигались, сопротивляясь попыткам льдов захватить нас в плен. Перспективы нашего плавания порозовели, но не надолго. Уже на следующий день мы потеряли одну из новых лопастей. Затем сломался упорный подшипник, и в носовой части судна появилась течь. Это было уже совсем скверно, но «Сибиряков» продолжал отчаянные попытки выбраться на чистую воду. Напрягаясь изо всех сил, он тянулся к Тихому океану, ожидавшему нас совсем близко, за Беринговым проливом.

18 сентября, когда из 3600 миль нашего пути до Берингова пролива оставалось всего 100, раздался страшный удар. Корабль вздрогнул. Большая паровая машина завертелась, как швейная машинка. Машину немедленно остановили. Все побежали на корму. На этот раз лопастями дело не обошлось. Отвалилась вся ступица со всеми лопастями, постановка которых потребовала от всех нас такого адского труда. Не выдержав сильного удара, лопнул конец гребного вала. Наш винт навсегда ушел в царство Нептуна.

Справедливости ради замечу, что, несмотря на свою предельно короткую жизнь, новые лопасти все же успели сделать полезное дело. Они вытащили ледокол, в течение, которое повлекло нас на восток. И это не догадка. Владимир Юльевич Визе и здесь вел себя как истинный ученый: наблюдение за дрейфом было организовано уже через полчаса после аварии.

В то, что произошло, просто трудно было поверить. Гребной вал — мощнейшая конструкция из первоклассной стали. Лопнувшее место имело в диаметре 17 дюймов — почти 43 с половиной сантиметра. И вот эта, казалось бы, непобедимая сталь потерпела поражения — ее переломила другая, куда большая сила — сила арктического льда.

Мы оказались в совершенно безвыходном положении. Ни о каком ремонте уже не могло быть и речи. Никаких вариантов на будущее не возникало. С юмором висельников мы называли наш ледокол домом отдыха с паровым отоплением или самым совершенным буйком для изучения полярных течений.

И вот в этой бедственной ситуации, когда на нас, казалось бы, ополчились все силы природы внезапно отыскался союзник. Этим союзником стали течения. Дрейф происходил со скоростью, которая показалась нам очень высокой, — на такой даровой тяге мы прошли за сутки 45 миль. Всего лишь около 60 миль отделяло нас от Берингова пролива. Естественно, что он казался нам в те дни особенно привлекательным и манящим.

Оптимисты рассматривали в бинокли появившийся на горизонте мыс Дежнева и высчитывали сроки завершения похода. Возможно, что эти предсказания сбылись бы, если бы нашего «Сашу» внезапно не подхватило новое течение. Оно с неуловимой энергией повлекло нас обратно, на запад, хотя, видит бог, мы сопротивлялись, как могли.

На первый взгляд может показаться странным, что лишенный тяги ледокол еще обладал способностью к сопротивлению. Мы встали на якорь, а когда на якорную, цепь наваливалась какая-нибудь льдина, просто взрывали ее. И все же, несмотря на отчаянное сопротивление, 8 миль мы потеряли. Потом нас снова понесло на восток. Одним словом, если раньше ледокол двигался, куда направлял его капитан, то теперь и капитан и команда плыли туда, куда несли их незримые, но сильные течения, куда волокла нас сила природы.

Было очень досадно: топлива достаточно, машина в полной исправности, а двигаться нельзя. Машине нечего крутить — винта за кормой нет. Кругом тяжелый лед. Решили и его взять в помощники. Стали подтягиваться за расположенные впереди поля. Уходили вперед, тащили стальные тросы, крепили их за лед или ледовые якоря и, пользуясь паровой лебедкой, пытались подтянуться. Нельзя сказать, что это был лучший из способов кораблевождения. Не все полыньи и трещины проходили у нас по курсу. «Сибиряков» едва двигался, а когда корабль движется медленно, он плохо слушается руля. Одним словом, без руля и без ветрил... Впрочем, почему же без руля и без ветрил?

Первым человеком, кому пришла в голову мысль поставить парус, оказался Владимир Юльевич Визе. Он высказал эту идею старшему помощнику. Через несколько часов все шесть угольных брезентов и столько же шлюпочных парусов были подняты на мачтах «Сибирякова». Под черными парусами, со скоростью девять миль в день, мы снова двинулись на восток.

Сохранились фотоснимки этого своеобразного новоявленного парусника. Выглядели мы, конечно, очень страшно, как старинный пиратский корабль. Но разве не все равно, как мы выглядели? Мы двигались. Останавливались, подрывали лед, вылезали, заносили тросы и подтягивались на них. Одним словом, пускали в ход все средства, кроме зубов, — и двигались. Естественно, что о наших злоключениях мы все время информировали Москву. Из Владивостока на помощь нам откомандировали большой рыболовный траулер «Уссуриец», с которым мы установили прочную радиосвязь. Капитан С. И. Кострубов ввел свое судно в Берингов пролив, приблизился к кромке льда и ожидал нас, чтобы оказать нужную помощь и взять на буксир.

Скромный траулер, пользуясь малейшим разрежением льдов, упорно и смело пробивался навстречу «Сибирякову». Но смелость капитана Кострубова была вознаграждена не сразу. Тринадцать миль оставалось между кораблями, тринадцать миль, на которые ни у того, ни у другого уже не хватало сил. Корабли рвались друг к другу. Лед не пускал их.

«Сибиряков» и «Уссуриец» стояли неподалеку один от другого. Разговоры по радио шли самые энергичные. Но хотелось большего

контакта. Сигнальных ракет на ледоколе не оказалось. Но выручил Володя Шнейдеров. Мы радировали «Уссурийцу»: «Через пять минут зажигаем факелы!» На огонь магниевых факелов для ночных съемок «Уссуриец» ответил сигнальными ракетами. Сигналы были видны и им и нам, но... randevу не состоялось. Наутро течения снова оторвали нас друг от друга.

Только через две недели мы вышли, наконец, на чистую воду. Это произошло 1 октября 1932 года в 14 часов 45 минут у северного входа в Берингов пролив на  $66^{\circ}17'$  северной широты  $169^{\circ}25'$  западной долготы.

Выходили мы на чистую воду торжественно. Прозвучал ружейный салют. Вскоре показался «Уссуриец». Мы идем навстречу друг другу. Вернее, мы ползем, а навстречу нам идет «Уссуриец» — новенькое блестящее судно, недавно построенное и спущенное на воду. Наш буксировщик все ближе и ближе. Уже можно прочитать название на его борту, в сильные бинокли виден и капитан — черноволосый «морской волк» с красным от ветра лицом.

Корабли уже совсем рядом. Воронин троекратным гудком приветствует «Уссурийца», а затем командует: — Спустить паруса!

Черный брезент падает, а «Уссуриец», выкинув приветственные флаги, ловко пришвартовывается к нашему правому борту. Кострубов и мой старый знакомый Красинский переходят к нам на борт и удаляются со Шмидтом и Ворониным для деловых переговоров. Под руководством штурманов наши матросы и матросы «Уссурийца» хлопочут над подготовкой буксира, на котором нам предстоит пройти путь около двух тысяч миль.

Буксировка в открытом океане — дело сложное. Любой корабль представляет собой огромную массу. Чтобы не оборвало трос, на «Сибирякове» выпущено несколько смычек якорного каната. К этому канату прикреплен основательный стальной буксир, на котором и потащил нас «Уссуриец». Тяжесть этого буксирного устройства создавала большой провес, выполнявший в свежую погоду роль своеобразного амортизатора.

Так, «шерочка с машерочкой», как говорили раньше, двинулись на юг мимо берегов Америки и Азии два кораблика. Ничтожно маленькие по сравнению с величественными берегами пролива и безмерно сильные характерами и волей плывших на них людей.

— Внимание, внимание!

Говорит «Сибиряков», говорит «Сибиряков».

Москва, молния: «ЦК ВКП (б) — СТАЛИНУ, СОВНАРКОМ — МОЛОТОВУ, НАРКОМВОЕНМОР — ВОРОШИЛОВУ, ЦИК — УЧЕНЫЙ КОМИТЕТ, „ПРАВДА“, „ИЗВЕСТИЯ“, „РОСТА“, „КОМПРАВДА“.

Экспедиция Арктического института на ледоколе „Сибиряков“ целиком выполнила задание правительства, прошла вдоль северных берегов Союза из Белого моря в Тихий океан.

Это третий в истории проход и первый, совершенный в одно лето без зимовки.

Выйдя из Архангельска 28 июля, экспедиция совершила первый обход Северной Земли, достигла устьев Лены и Колымы с запада, что открывает новые большие возможности хозяйственного развития Якутской республики выходом на запад.

Собраны научные наблюдения, освещающие новые морские пути.

Потеряв 10 сентября в тяжелом льду лопасти винта, ударной пятидневной работой сменили их среди льдов, не заходя в порт. Когда 18 сентября сломался вал и потеряли винт, экспедиция не прекратила работы, а двигалась к цели, пользуясь всеми средствами: морскими течениями, взрыванием ледовых препятствий, подтягиванием от льдины к льдине на тросах и поднятием самодельных парусов.

Во время дрейфа во льдах собран научный материал, освещающий неясную раньше картину морских течений.

В результате упорной борьбы со стихией 1 октября на парусах вышли на чистую воду, достигли цели — Берингова пролива.

Успех достигнут и трудности преодолены благодаря организованности и энтузиазму всего экипажа ледокола и всех научных работников, благодаря развитию соцсоревнования смен и бригад, давшему рекордные темпы

погрузочных работ, и почти поголовному охвату ударничеством.

Во время пути восемь матросов и кочегаров вступили в партию и подано несколько заявлений научных сотрудников.

Свою работу, открытия и исследования новых морских путей считаем частью великого плана социалистического строительства и под этим знаменем преодолели преграды.

Начальник экспедиции ШМИДТ.

Капитан ледокола ВОРОНИН.

Заведующий научной частью ВИЗЕ.

Предсудкома машинист КРЮЧКОВ.

Секретарь ячейки ВКП (б) матрос АДАЕВ».

Но не надо думать, что наш путь за кормой «Уссурийца» по Тихому океану представлял нечто вроде увеселительной прогулки. Разумеется, после Арктики было полегче, но... нелегко. Происшествия случались и здесь. Одно из наиболее неприятных произошло 7 октября, когда во время сильного шторма лопнул буксирный канат. Волна была довольно высокой, но деваться некуда — скреплять буксир надо.

Эту опасную процедуру капитан «Уссурийца» Кострубов провел на самом высоком уровне. Он смело зашел с наветренной стороны прямо под грозный форштевень «Сибирякова», способный проткнуть его, как шампур порцию шашлыка. Отлично проведенный маневр позволил матросам обоих судов бросить друг другу концы. Буксировочный трос, вытянутый привязанными к нему канатами, был сращен, и мы поплыли дальше, невзирая на шторм.

Через неделю, 15 октября, когда корабли бросали якоря у Петропавловска-на-Камчатке, мы приняли по радио следующую телеграмму:

«Горячий привет и поздравления участникам экспедиции, успешно разрешившим историческую задачу сквозного плавания по Ледовитому океану в одну навигацию.

Успехи вашей экспедиции, преодолевшей невероятные трудности, еще раз доказывают, что нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевистская смелость и организованность.



Мы входим в ЦИК СССР с ходатайством о награждении орденом Ленина и Трудового Красного Знамени участников экспедиции.

СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ, ЯНСОН».

Целый месяц на буксире у «Уссурийца» мы шлепали по Тихому океану, получив указание следовать на капитальный ремонт в Японию. 4 ноября 1932 года благополучно добрались до Иокогамы. Перед заходом в порт «почистили перышки». Оба корабля были отмыты, отдраены, покрашены. Все заблестело и засверкало, словно и не было за спиной тяжелейшего похода. Одним словом, в иностранный порт мы пришли с гордо поднятой головой, как и положено, приходить победителям.

Поставили нас на внешний рейд. Прибежал к нам быстрый белоснежный моторный катер с палубой из тикового дерева, чистой, как тарелки на обеденном столе. На катере японские власти. Матросы босиком, офицеры-пограничники и таможенники в накрахмаленных белых кителях, в фуражках, расшитых золотом и позументами.

Японские власти вошли на палубу «Сибирякова». Нас выстроили в шеренгу для медицинского освидетельствования. Один из японских офицеров был врач. Он осмотрел нас, проявляя наибольший интерес к нашим глазам. Нет ли у кого-нибудь из нас трахомы? Трахомы как, впрочем, каких-либо других болезней, не оказалось.

И мы, и японцы с интересом рассматривали друг друга. Сибиряковцы были после похода оборваны и обтрепаны, да к тому же кое-кто обзавелся полярными бородами. Но даже на таком фоне в строю сибиряковцев выделялась одна очень красочная личность. Это был наш завхоз Малашенко. Облик его не мог не произвести впечатления на японцев: огромного роста, с шапкой черных, как воронье крыло, волос, черные усы и солидная, окладистая черная борода. Одним словом, посмотреть со стороны — и наш мирный скуповатый завхоз покажется чистейшим Соловьем-разбойником.

Надо полагать, Малашенко произвел на японцев сильное впечатление. К тому же они были соответственно подготовлены враждебной к нашей стране пропагандой. Видимо, в тенденциозных иностранных журналах большевики изображались именно такими, как наш завхоз. Японцы оживились, и один из них, ослабившись, показал пальцем на Малашенко и радостно воскликнул: — Гепеу! Гепеу!

С формальностями было покончено довольно быстро. Моряки остались на корабле, а мы, экспедиционные работники, высажены на берег. По великолепной автостраде поехали из Иокогамы в Токио. Ехать было страшно: шоферы гнали невероятно, а мы, совсем не избалованные автомобильной ездой, ощущали эту скорость как нечто космическое.

В Токио нас взяли на свое попечение сотрудники советского посольства. Поселились мы довольно далеко от посольства, в квартале донельзя похожих друг на друга коттеджиков. Это и была советская колония. Домики представляли собой уже японскую территорию: права экстерриториальности на них не распространялись.

Я попал на постой в семью заместителя нашего торгпреда. Коттедж был невелик, но и хозяин и хозяйка оказались на редкость милыми, гостеприимными людьми, и я сразу же почувствовал себя уютно и приятно, хотя вся обстановка японского домика была для меня в диговинку. Пол покрыт белоснежными циновками. При входе в дом надо обязательно снимать обувь, и дальше по этим циновкам уже разгуливать в носках.

В первый же вечер из бесед с нашими радушными хозяевами выяснилось то, чего большинство из нас не очень еще понимало: уехав из Москвы обыкновенными, никому, кроме друзей и знакомых, не известными людьми, мы попали в Японию уже как знатные личности. Телеграмма, которую прислали нам ЦК ВКП(б) и Совнарком обошла газеты всего мира, в том числе и японские. Отсюда интерес к нашему походу, информация о нем в газетах, в витринах магазинов, на выставках.

Ситуация требовала, чтобы мы были быстро приведены в приличный вид. Посольство позаботилось об этом. На следующий день с утра нас повезли в большой универмаг. Мы были настолько обтрепаны, одежда и обувь пришли в такое ветхое состояние, что свой путь к новому платью я проделал, стараясь прижиматься к стенкам или прячась за своих товарищей, так как брюки мои были просто в аварийном состоянии.

В универмаге вокруг нас сразу же закружились продавцы. За длинным прилавком показали ткани, из которых на следующий день должны были быть сшиты костюмы. Мне приглянулся темно-фиолетово-коричневатый материал с искоркой. Не зная об этом, на

другом конце прилавка такой же костюм заказал Петр Петрович Ширшов. Только на следующий день, узнав о сходстве наших вкусов, мы поняли, в какое неловкое положение попали. На всех приемах мы старались держаться поодаль друг от друга.

Не считая мелкого просчета с костюмом, все в нашей экипировке оказалось хорошо, и мы ощутили себя вполне готовыми «людей посмотреть и себя показать».

Спрос на нас оказался велик. Географическое общество, разные научные и научно-технические общества, пресс-клуб — все звали для бесед и рассказов о нашем походе. Ну, и к тому же хотелось посмотреть город: ведь от Москвы до Токио немного дальше, чем до Тулы или Торжка, не каждый день поедешь на экскурсию.

Провожая меня в первый мой поход до Токио, жена заместителя торгпреда, у которого я жил, предупредила об одной характерной для Японии тех лет подробности.

— У нас имеется постоянная домашняя работница, — сказала она. — Это очаровательная японская девушка. Она окончила гимназию. Отлично владеет английским языком. Очень мила и доброжелательна. Каждый вечер наша девушка уходит. Нам она говорит, что идет в баню или к подруге. Но мы-то знаем, что идет она совсем в другое место — в ближайший полицейский участок. Она обязана являться туда ежедневно и докладывать о том, что делаем мы. Теперь она должна будет сообщать и о том, что делаете и вы, наш гость. Если она будет спрашивать, куда вы идете, то, пожалуйста, никогда не шутите с ней, а говорите только правду. Иначе ее в полицейском участке могут отколотить, а мы никак не хотим, чтобы у этой славной девушки были неприятности.

Разумеется, я точно исполнял эту рекомендацию, кое-как изъясняясь с японской девушкой на английском языке.

Однако докладов любознательной девушки японской полиции показалось мало. Она обеспечила нам сервис на более высоком уровне. За каждой группой сибиряковцев по Токио ходил специально прикомандированный шпик. Слежка выглядела довольно откровенной, и отчасти это было даже удобно. Стоило нам чуть-чуть сбиться с пути, как мы подзывали нашего соглядата, и он очень любезно нам все объяснял и показывал. Мы угощали его сигаретами. Шпик вежливо зажигал спички. Одним словом, контакты самые тесные.

И все же по уровню туристского обслуживания полицейские уступали настоящим профессиональным гидам. В результате нет-нет да мы попадали совсем не туда, куда нам следовало попасть. Так, однажды, гуляя по центру города, мы забрели в район, который назывался «ёшивара» и славился публичными домами. Попав на эту улицу, мы сразу почувствовали ее исключительность. На ней не было ни тротуаров, ни мостовой, ни какого-либо общественного или частного транспорта. Одноэтажные и двухэтажные домики подчеркнута национального облика, очень похожие друг на друга. Сбегающие вниз козырьки. По углам всякие завитушки, драконы. Все это резное, разноцветное, одним словом — красиво.

В нижней части домика — никаких дверей, а нечто вроде холла. Проходишь этот холл, попадаешь на улицу, затем в холл другого заведения, потом снова на улицу. Так проходишь дом за домом.

Против условных дверей, которыми прохожий попадает в холл, на ярко начищенной медной штанге, на таких же ярких медных кольцах висит богатый занавес из парчи, шелка или бархата, расшитый драконами, хризантемами и орнаментами. Подле занавеса старый японец или японка, рядом — фотографии обитательниц веселого дома. Перед занавесом башмаки, по числу которых нетрудно понять, сколь велик наплыв посетителей.

Покинув улицу увеселительных заведений, мы направились в кино, где я, прямо скажу, оскандалился. Мы остановились возле очень завлекательного плаката, на котором дыбил коня молодой человек в ковбойской шляпе с пистолетами весьма солидного калибра у пояса. Шел какой-то американский «вестерн».

Заплатив деньги, каждый из нас получил вместе с билетом шоколадку. Плитка шоколада была тоненькая-претоненькая, но на обертке были изображены герой и героиня фильма. Реклама там поставлена хорошо.

Симпатичная японочка с электрическим фонариком в руках повела нас в зал, куда можно было входить во время сеанса и даже курить. Ряды откидных кресел стояли на довольно большом расстоянии друг от друга, позволяя билетеру быстро посадить всех на свободные места. На нижней стороне откинутого сиденья кресел были какие-то направляющие ползки. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что назначение у необычной конструкции весьма простое.

Японец засовывает под сиденье шляпу, а полозки служат для того, чтобы шляпа оперлась о них полями.

Ковбои на экране стреляли и горячили лошадей, а японочки с подносами, шныряя между рядами, продавали мороженое в стаканчиках. Сегодня к этим стаканчикам привыкают все с детства, но в ту пору мороженым в Москве торговали иначе. Мороженое накладывалось между двух вафель. Порция мороженого более всего была похожа на катушку, с которой покупатель по окружности вылизывал мороженое, чтобы на закуску съесть и саму вафлю.

Убежденный, что японский стаканчик столь же съедобен, как и московские вафли, я откусил от него край и попытался жевать. Треск пошел на весь кинотеатр, к тому же я чуть ли не порезал себе губы. Хорошо, что этот конфликт заглушили звуки стрельбы, раздавшиеся с экрана, и он не был замечен окружающими.

Так прошли две недели. «Сибиряков» продолжал ремонтироваться. Журналисты писали для японской печати статьи о плавании. Художники Канторович и Решетников подготовили свои зарисовки к выставке, которую устраивала газета «Асахи». Для другой газеты «Ници-ници» Шнейдеров и его помощники делали небольшую документальную картину. Наконец наступил день, когда все осталось позади. Японский пароход повез нас во Владивосток, домой.

1 января 1933 года покинул Японию и «Сибиряков», двинувшийся южным путем в Мурманск, куда он прибыл лишь 7 марта 1933 года. Это был второй в мире корабль, совершивший полный рейс вокруг материка Европы и Азии. Первым была норденшельдовская «Вега», но ей понадобилось для этого 672 дня. «Сибирякову» хватило 223 дня.

Так был подведен первый итог научному спору. Выяснилось, что Северный морской путь можно пройти на всем его протяжении от Белого моря до Берингова пролива. Стало ясно, что для этого нужны новые, более мощные ледоколы, авиабазы для ледовой разведки, топливные базы для подзаправки кораблей, долгосрочные ледовые прогнозы. Одним словом, в полярных льдах можно и нужно было прокладывать дорогу, тот арктический «большак», без которого нельзя осваивать грандиозные богатства Севера.

Все участники экспедиции были удостоены правительственных наград. Был вместе с другими награжден и я, получив свой первый орден — орден Трудового Красного Знамени за номером 202.

Работая над этими записками, вспоминая подробности плавания на «Сибирякове», я невольно задумывался об одном удивительном противоречии. Сегодня те усилия, которые затратил наш коллектив, выглядят чем-то из ряда вон выходящим. Людям, которым сегодня столько же лет, сколько было в те годы нам, эпопея «Сибирякова» представляется нечеловеческим напряжением сил.

Тогда были другие мерки. По этим давним меркам мы просто делали работу, которую поручили нам, нам, а не кому-нибудь другому. Тогда было меньше техники и, если так можно выразиться, отсутствовал тот элементарный комфорт, без которого трудно представить себе работу сегодня.

Труд нашего коллектива был оценен высоко, но никто не смотрел на него как на нечто из ряда вон выходящее. Ведь в те дни, когда мы воевали со льдами Чукотки, вошли в строй последние турбины Днепростроя и были задуты первые домны Кузнецка. И там и тут по всей стране делали свое дело мои сверстники, люди, о которых, вероятно, можно сказать, что они составляли одну из самых больших ценностей своего времени.

Вернувшись в Москву, я на короткий промежуток времени примкнул к тем, кто защищал третий вариант Великого Северного пути — вариант, предусматривавший регулярные полеты дирижаблей.

## Неудачный полёт

*«Даешь советский дирижабль!» Двадцать восемь миллионов народных рублей. Корабль в овраге у деревни Мазилово. Умберто Нобиле и советские дирижаблисты. Встреча на филателистической выставке. Пропаганда с неба. «Отдать поясные!» Поединок с ветром. Над Переславлем-Залесским. Человек на канате. Лопнет или не лопнет? В ход пошла красная лямка. Летим на башню. Спасительные ели. Взрыв цеппелина «Гинденбург». Нужен ли дирижабль сегодня?*

Да извинит меня читатель за нарушение хронологии, в воспоминаниях явно неуместное, но я вынужден снова вернуться назад. Мне хочется рассказать о деле, которое хотя и не было главным в моей жизни, но все же заслуживает, чтобы вспомнить о нем сорок лет спустя.

Волей обстоятельств я оказался в сфере событий, волновавших тысячи людей. Старшим поколением эти события сегодня забыты, младшему — просто неизвестны. Речь идет о дирижаблях, о первых шагах в подготовке великих дирижабельных путей, которые так никогда и не были открыты.

Добрый десяток лет дирижабли окружало исключительное внимание. И это не преувеличение: на какой-то период истории воздушных сообщений дирижабли в нашей стране были действительно всенародным делом.

Передо мной на столе крохотная книжечка с боевым задорным названием: «Даешь советский дирижабль!». На обложке — дирижабль, парящий над индустриальным пейзажем (брошюрка выпущена в 1930 году, когда наша индустрия только создавалась). Надпись в кружке — «Книжка-копейка» — и цифра тиража в выходных данных — миллион экземпляров — выглядят своеобразной характеристикой популярности этой тощенькой брошюрки. Миллион агитаторов за дирижабль вышел из типографии «Крестьянской газеты». Шестнадцать страничек текста, напечатанного сбитым, подслеповатым шрифтом на серой бумаге, обнадеживали читателей: «Дирижабли будут реять над громадными

пространствами Страны Советов, будут связывать далекие окраины с центром, будут вести исследовательскую работу над неизведанными землями — словом, будут помогать строить социализм в СССР».

И не нужно думать, что категоричность утверждений маленькой книжечки представляла собой что-то исключительное. Примерно те же мысли развивали авторы книг: «Дирижабль на хозяйственном фронте», «Строим эскадру дирижаблей имени Ленина», «Дирижабль в СССР» и многих, многих других.

Интересно просматривать сейчас все эти книжки. Ратуя за дирижабль и восхваляя его достоинства, их авторы приводили самые различные аргументы — от экономических выкладок до утверждений, мягко говоря, граничащих где-то с фантастикой. Вот, например, таблица стоимости тонны-километра для разных видов транспорта. Из нее следует: дирижабельные перевозки, хотя и дороже паровых и железнодорожных, зато выгоднее гужевых, автомобильных и самолетных. Или другой пример: американцы построили дирижабль, оснащенный не только мощным вооружением, но и целым отрядом самолетов, которые он якобы может носить в своем чреве, выпускать во время полета в воздух, а затем принимать обратно.

Несмотря на откровенную фантастичность такого рода утверждений, энергичная борьба за советский дирижабль имела вполне реальные причины. Главной было великое, чтобы не сказать величайшее, бедствие, доставшееся от царской России. В те годы оно представляло собой бич государства. Без дорог, без скоростного транспорта управлять большой страной, развивать ее экономику было крайне тяжело. А полеты дирижаблей, озаренные вспышками сенсационных сообщений, подстегивали вполне понятное желание иметь собственный флот воздушных вездеходов.

В 1925 году интерес к дирижаблям приобрел, если так можно выразиться, государственный характер. Под председательством Н. П. Горбунова при Совнаркоме СССР возникла специальная комиссия по Транссибирскому воздушному дирижабельному пути. Дело было поставлено серьезно. Нащупывая наилучшее решение, комиссия привлекла к работе советских и иностранных специалистов, но воздухоплаванию, экономистов, представителей заинтересованных ведомств. Речь шла о создании грандиозной воздушной магистрали,



которой, по замыслу ее творцов, предстояло стать со временем основой для большой международной дирижабельной трассы.

Одновременно с государственными организациями решением воздухоплавательных проблем занималась и общественность. Два дирижабля мягкой конструкции, о которых я уже упоминал, — сначала «Московский химик-резинщик», затем «Комсомольская правда» — были построены Осоавиахимом, развернувшим широчайшую кампанию за дирижаблестроение.

Осоавиахим действительно сделал многое. Именно эта организация начала массовый, подлинно всенародный сбор средств. Очень скоро из разного вида пожертвований собралась впечатляющая сумма — 28 миллионов рублей. Эти деньги и составили исходный фонд для развертывания и развития дирижаблестроения в СССР.

За время экспедиции на цеппелине ЛЦ-127 мы с Федором Федоровичем Ассбергом очень подружились. Этот славный человек, отличный товарищ и превосходный инженер, влюбленный в свое дело, мне очень нравился. Неудивительно, что его страстная увлеченность дирижаблями в какой-то степени заразила и меня.

Не порывая своих давних и уже достаточно прочных связей с Арктикой, я поступил на службу к дирижаблистам. Им тоже нужны были радисты, а известная рискованность полетов на дирижаблях и острота впечатлений, которую приносили эти полеты, пришлись мне по душе.

Правда, справедливости ради скорее следовало бы говорить не о дирижаблях, а о дирижабле. Путать множественное число с единственным тут не следует, так как к тому времени, когда я начал работать в Осоавиахиме, мощный дирижабельный флот этой организации состоял из одного-единственного корабля.

Размещалась моя служба на другом конце Москвы, на задворках деревни Мазилово, от которой сейчас осталось лишь одно название, прилепившееся к отличному новому району Фили-Мазилово, неподалеку от Кунцева. Этот район и сегодня славится своим парком на высоком берегу Москвы-реки. Тогда парк был еще пышнее. Высокий берег кое-где пересекали овраги, уходившие в зеленую гущу деревьев. В одном из этих оврагов, буквально утопавшем в зелени, и располагалась стоянка нашего дирижабля.

Еще задолго до наступления века автомобилей Джером К. Джером заметил однажды, что велосипед можно использовать двояко — или же ездить на нем, или же его чинить. Время подтвердило мудрость английского юмориста. Однако еще до расцвета автомобилизма я смог убедиться в том, что ремонт подчас превращается в главное времяпрепровождение. Во всяком случае, именно так складывалась обстановка в овраге вокруг нашего дирижабля.

Никаких ангаров, никаких навесов. Жалкая гондола, похожая на бельевую корзину, и баллон, весь в заплатках. Летать было некогда. Тут уж не до полетов! Нашей основной заботой было чинить, чинить, чинить. Но ремонтировали мы наш дирижабль с любовью. Мы лелеяли безумно отважную мысль: участвовать в параде на Красной площади, заранее предвкушая впечатления от предстоящего полета. Намеревались разбрасывать какие-то подходящие случаю листовки. Увы, этим гордым планам не суждено было сбыться. Приехали какие-то высокие специалисты, осмотрели дирижабль и сказали:

— Ваш пузырь в таком состоянии, что может развалиться прямо над Красной площадью, а этот вариант нас, разумеется, никак не устраивает.

Поход «Сибирякова» вынудил меня сделать небольшой перерыв в «небесной профессии». Оставив своих коллег в овраге подле дирижабля, я отбыл в Арктику. Затем, пропутешествовав в северных широтах, снова примкнул к когорте дирижаблистов. За время моего отсутствия она существенно обогатилась — в строй вошел новый дирижабль В-3, или как его еще иначе называли, «Ударник».

Он в два с лишним раза превосходил по кубатуре своего предшественника — «Комсомольскую правду». Неудивительно, что газеты писали о нем как о самом мощном советском дирижабле. Но не это побуждает меня вспомнить В-3. Гораздо интереснее другое: к созданию этого воздушного корабля имел самое непосредственное отношение человек, чье имя связано с первыми удачными и неудачными попытками достижения Северного полюса с воздуха, — выдающийся итальянский инженер Умберто Нобиле.

Офицер итальянской армии, Нобиле занимался конструированием дирижаблей и имел большой опыт полетов на них. Именно им был сконструирован дирижабль № 1, который приобрел у итальянского правительства знаменитый Амундсен.

Отправляясь в свой исторический полет, Амундсен взял на борт «Норге» и своего финансового благодетеля Элсворта (того самого, встреча с которым в Берлине так поразила мое воображение), и конструктора Умберто Нобиле. Нобиле был приглашен пилотировать дирижабль.

После того как экспедиция Амундсен-Элсворт-Нобиле была благополучно завершена, началась подготовка к новому полету на полюс. На этот раз дирижабль назывался «Италия», хотя это был почти двойник «Норге». Новую экспедицию возглавил Умберто Нобиле.

Дирижабли были похожи, но результаты полетов получились совершенно противоположные. 25 мая 1928 года в 10 часов 30 минут по причине, и по сей день оставшейся неизвестной, дирижабль «Италия» быстро спустился, сильно ударился о лед, а затем, оставив на льдине часть своей гондолы и грузов, резко взмыл в воздух. С шестью участниками на борту дирижабль улетел в неизвестном направлении, и больше этих людей никто никогда не видел. Девять человек, в том числе и Нобиле, очень пострадавший от удара об лед (у него оказались переломлены ноги и руки), попали на льдину. Десятый — моторист Помелле — был убит на месте.

Невольным пленникам льдины все же чуть-чуть повезло в разразившемся с ними несчастье. Среди обломков дирижаблекрушения оказалось достаточное количество провианта и переносная коротковолновая станция. Правда, наладить ее удалось не сразу. Только на одиннадцатый день после катастрофы архангелогородский радиолюбитель-коротковолновик Николай Шмидт поймал какие-то обрывки сообщений. И, несмотря на то пойманные сигналы, были лишь частью радиограммы, их оказалось достаточно, чтобы понять: с «Италией» случилось бедствие, но кто-то уцелел, кто-то находится в неизвестной части Арктики.

Сообщение было поймано донельзя вовремя. Но еще до того, как советский радиолюбитель услышал сигнал бедствия, Советское правительство, побуждаемое гуманными соображениями, организовало при Осоавиахиме Комитет помощи. 29 мая 1928 года этот комитет обратился к населению европейского и азиатского Севера СССР с призывом помочь пострадавшим. Три ледокола — «Седов», «Малыгин» и «Красин» — двинулись на север, на поиски потерпевших бедствие. И только 11 июня, когда подготовка к

спасательным работам развернулась полным ходом, итальянское правительство официально попросило Советский Союз принять участие в спасательных работах.

Далеко не все страны были едины в своем желании помочь пострадавшим: многие капиталистические государства, в том числе и Соединенные Штаты Америки, отказались принять участие в розысках. Спасательные работы развернули СССР, Италия, Франция, Швеция, Норвегия и Финляндия. Восемнадцать судов и двадцать один самолет были отправлены в Арктику.

Как известно, решающую роль в этих поисках сыграл Советский Союз, но разыскать удалось лишь группу, оставшуюся на льдине. После ее спасения правительство Муссолини официально прекратило поиски. Сделано это было так резко, что Нобиле просто запретили участвовать в дальнейших операциях ледокола «Красин». Пароход «Читта ди Милане», где размещался итальянский штаб поисков, принял на борт спасенных итальянцев и двинулся на юг.

Мне кажется, что странная на первый взгляд позиция правительства фашистской Италии не столь загадочна, сколь типична. Муссолини хотел иметь национального героя, признанного всем миром. Для этого будущему герою был дан дирижабль и созданы условия для организации экспедиции. Когда же, по обстоятельствам от него совершенно не зависящим, произошла катастрофа, интерес к нему был моментально утрачен. Ни сам Умберто Нобиле, ни его планы в отношении дирижаблестроения итальянское правительство больше не интересовали. Именно в эту пору Нобиле и получил приглашение приехать на работу в Москву.

Люди старшего поколения, вероятно, помнят историю спасения «Италии». Тогда об этом много писали газеты. Но, вероятно, мало кто знает, что связи Нобиле с нашей страной надо исчислять не с 1928 года, когда советским людям удалось спасти командира дирижабля и его спутников от смерти, а гораздо раньше.

Как сообщает небольшая заметка в журнале «Вестник воздушного флота», 27 января 1926 года в 7 часов вечера в Деловом клубе в Москве состоялся доклад Нобиле о возможностях полярных полетов на дирижаблях. Доклад прошел при большом стечении публики — присутствовали многочисленные представители Красного Воздушного

Флота, гражданской авиации, итальянского посольства, Комитета по арктическому воздухоплаванию и т. д.

«Конструктор Нобиле, — читаем мы в этом журнале, — отметил дружеское отношение, которое встретили организаторы экспедиции в СССР, и подчеркнул, что успешность проведения работ экспедиции будет много зависеть от сохранения этого отношения». Затем были полеты «Норге», драма «Италии», походы наших ледоколов, розыски и спасение. А через некоторое время Умберто Нобиле приехал в СССР и занялся в Дирижаблестрое конструированием советских дирижаблей. Первенцем этой работы и стал дирижабль В-3.

В августе 1932 года, когда я еще плыл на «Сибирякове», дирижабль В-3 перелетел из Ленинграда, где производилась его сборка, в Москву. Командовал кораблем начальник эксплуатационного отдела Дирижаблестроя известный воздухоплаватель М. Н. Канищев. Вместе с ним руководил переброской дирижабля в Москву и начальник технического отдела Дирижаблестроя Умберто Нобиле.

Не все сложилось гладко. После четырнадцати часов полета иссякли запасы бензина. Под Москвой дирижаблю пришлось совершить вынужденную посадку. Как сообщала «Правда»: «Благодаря исключительному искусству инж. Нобиле этот крайне трудный спуск почти без помощи с земли был произведен блестяще. Мы сели на обширном поле у деревни Милеты, недалеко от станции Малаховка».

Было бы неправдой сказать, что в это время я не встречался с Нобиле, но почти никаких воспоминаний у меня по этому поводу не сохранилось, да и не могло сохраниться, хотя Нобиле проработал в Дирижаблестрое около двух лет. Слишком была велика разница в нашем положении. Я — рядовой радист одного из дирижаблей. Нобиле — конструктор с мировым именем. Я хорошо запомнил лишь подтянутую, с военной выправкой фигуру Нобиле, гулявшего со своей собачкой Титиной.

Прошло много лет, и мы снова встретились с Нобиле. На этот раз встреча произошла в Праге, где в 1968 году состоялась всемирная филателистическая выставка. К тому времени Нобиле было уже больше восьмидесяти лет, но это не мешало ему сохранить бодрость. В Прагу он приехал на автомобиле вместе со своей молодой и очень красивой женой.

На выставке много делалось для развлечения филателистов, а заодно с ними и пражской публики. По площади катилась старинная почтовая карета, в которой сидела дама в платье небесно-голубого цвета с кринолином. На козлах восседал солидный кучер в мундире почтового ведомства каких-то очень стародавних времен. Время от времени он громко щелкал бичом и трубил в гнутый почтовый рожок.

В этой программе развлечений заняли свое место и мы с Нобиле. Нам поручили дать старт трем воздушным шарам, отправлявшимся с одной из пражских площадей в короткий тридцатипятидесятикилометровый полет. Полет этих баллонов давал возможность выпустить специальные конверты и погасить их особыми штемпелями.

В нужный момент, когда нам это подсказали, мы с генералом Нобиле дали соответствующую команду. Разумеется, эта команда не играла какой-то практической роли, а носила скорее, я бы сказал, декоративный характер. Все делалось независимо от нее, само собой.

Однако, рассказывая о запуске шаров, я изрядно забежал вперед. Разрешите вернуться в начало тридцатых годов, когда из воздухоплавательной базы Осоавиахима у деревни Мазилово я перекочевал на Кузнецкий мост в Дирижаблестрой. Это новое для нашей промышленности учреждение размещалось тогда во втором этаже старенького здания, напротив зоомагазина. Здание сохранилось, на его первом этаже и по сей день размещены выставочные помещения. Но Кузнецкий мост был местоположением лишь нашей конторы. Практическая же деятельность развертывалась на одной из станций, где я в 1933 году и совершил свой полет на дирижабле В-3, о чем и хочется сейчас рассказать.

...Наконец дождались. Наш полет разрешен. Началась подготовка к отправлению.

Дирижабль В-3 не принадлежал к плеяде воздушных великанов. После цеппелина он показался мне совсем маленьким, хотя 3 тысячи кубометров — это тоже, в общем, неплохо. Полет, который нам предстояло совершить, был из числа агитационных. Одним выстрелом наше начальство собиралось убить двух зайцев: потренировать начинающих воздухоплателей и одновременно провести агитационную работу. Маршрут шел по кольцу чуть севернее столицы: Москва — Владимир — Иваново-Вознесенск — Ярославль — Москва.

Нам предстояло облететь этот район, сбрасывая по ходу дела осоавиахимовскую литературу. Как рассудили те, кто нас посылал, ценность брошюры, «упавшей с неба», в глазах поднявших ее была явно выше ценности той же брошюры, просто купленной в киоске.

Наконец все проверено и перепроверено. Можно ручаться за поведение разных частей и агрегатов нашего корабля: все механизмы в исправности и действуют, как положено. Однако мы никак не можем отвалить.

Несколько дней проволынили синоптики, и осуждать их за медлительность не приходилось. Март — месяц с неустойчивой погодой и сильными ветрами — действительно мог одарить нежелательными сюрпризами. Ветер для нашего корабля был крайне нежелателен, чтобы не сказать просто — очень опасен. Отсюда и осторожность синоптиков, естественная осторожность людей, отвечающих за свои прогнозы. И вот, наконец, объявление:

— Завтра утром летим. Всему экипажу прибыть на базу дирижаблей самым первым поездом!

Поезд отходил очень рано, и даже трамвай, который, как казалось москвичам, почти никогда не спал, еще бездействовал. От Чистых прудов до Савеловского вокзала путь немалый, но ввиду того, что трамвайное движение не открылось, а персональных автомобилей для нас никто не приготовил, пройти эту дорогу пришлось пешочком. Она показалась особенно долгой потому, что для предстоящего полета надо было одеться потеплее, что я, разумеется, и сделал.

В грязном, мрачном и холодном вагоне пригородного поезда собрался весь экипаж дирижабля. За разговорами и куревом время промелькнуло незаметно. Поезд сбавил ход. За окнами появился щелястый перрон платформы, огороженной какими-то хлипкими дощатыми стенами.

Экспрессы у этой станции не останавливаются. И не удивительно. Крохотная и неприметная пригородная платформа. Однако, подобно многочисленным родственницам, ее щедро украшали образцы изящной железнодорожной словесности. В этом смысле здесь все было в норме. Рядом с плакатами «Береги жизнь, не ходи по путям», «Пользуйтесь аккредитивами», «Не прыгай на ходу» шелестел прошлогодний первомайский плакат, успевший за длительную вахту утратить яркость своих первоизданных красок.

И, тем не менее, несмотря на обыденность, станция эта была для нас замечательной: ведь здесь находился эллинг, в котором стоял дирижабль «Ударник».

Гуськом, по протоптанной в сугробах тропинке, мы направились к эллингу. Снег был по-мартовски рыхл и зернист. Заполнив почти весь эллинг, дирижабль в первые минуты выглядел непомерно громадным. Но стоило стартовой команде осторожно вывести его из ворот, как он сразу же потерял свою величественность и массивность, но не таинственность...

В предрассветных сумерках наш В-3 выглядел допотопным чудовищем. Движения оболочек при порывах ветра усиливали это сходство. Казалось, что огромная машина дышит, и было даже страшно, что такой гигант удерживается руками всего лишь нескольких десятков людей.

Эти люди — курсанты воздухоплавательной школы — держали наш корабль за поясные. Чтобы он взмыл вверх по команде, их надо было отпустить все сразу, одновременно. Но до команды было еще далеко. «Ударник» пополнял запасы подъемного газа. Курсанты приплясывали от холода и сырости. Затекшими от напряжения руками они удерживали корабль, который ощутимо рыскал от малейшего дуновения ветерка.

Конечно, было хорошо, что синоптики дали там, наконец «добро» нэ полет. Однако назвать напророченную ими погоду хорошей было бы, по меньшей мере, рискованно. Сплошная облачность среднего яруса делала наступающий день сереньким и тусклым. Единственное, что нас утешало: сильного ветра не будет...

Шли последние приготовления. Механики — кажется, это их постоянное занятие, — стоя на высоченных стремянках, копались в моторах. Немногочисленный летный состав в неуклюжей меховой одежде влезал в гондолу, готовя приборы и рабочие места. Одним словом, предстоял очередной тренировочный полет. Мы не собирались бить мировые рекорды или достигать недостижимое. «Вывозились» будущие, пока еще молодые, воздухоплаватели. Надо же знакомиться с правилами поведения в воздушном океане.

— Ну-ка, орлы, пошевеливайтесь!

Эти призывы командира-наставника раздавались все чаще по мере передвижения часовой стрелки к назначенному времени старта.



«Орлы» пытались быстрее перебирать ногами в пудовых меховых унтах и тащили последние грузы — тюки с осоавиахимовской литературой, пакеты с бутербродами и большие термосы. Полет предстоял длительный, надо было позаботиться и о провианте.

Старший такелажник Гузеев, задрав голову, несчетное количество раз обошел дирижабль. Миллион, разве чуть меньше, креплений оглядел он всевидящим оком. От сложнейшего такелажа подвески гондолы и моторов, от правильно проложенных тросов рулей глубины и направления зависели человеческие жизни.

В этом хаосе узлов, креплений, петель, роликов и веревок лучше всех разбирался именно он. Гузеев был непререкаемым авторитетом. Десятки лет работы в области воздухоплавания, знания, умение и неисчерпаемый запас рассказов о всевозможных случаях делали его общим любимцем.

Хорошо помню один из его рассказов. В агитполет отправятся небольшой аэростат. Двум воздухоплателям поручили разбрасывать над населенными пунктами осоавиахимовскую литературу. При низкой облачности воздушный шар проплывал над деревней. Оболочку шара скрывали облака. Снизу виднелась только гондола, бесшумно двигавшаяся совсем низко над деревенской улицей. Конечно, такое явление привлекло внимание населения глухой деревеньки от мала до велика. Тем более что в тот день деревня отмечала большой церковный праздник. И тут воздухоплатели, сеятели разумного, доброго, вечного, то ли из озорства, то ли по другим непонятным причинам, осипшими от долгого пребывания на холоде глотками рявкнули какое-то церковное песнопение.

Фурор был необычайный, а нагоняй от начальства огромный. «Спасибо» этим остроумцам народ не сказал.

...Как всегда, в последние минуты перед стартом царила неразбериха и суматоха. Кто-то что-то забыл, срочно нужно было завернуть какую-то гайку, куда-то позвонить по телефону. Затем у дирижабля появились синоптики, или, как их называют обычно, «ветродуи». Молчаливая группа во главе с командиром корабля склонилась над развернутой синоптической картой — это было безошибочным признаком того, что момент старта недалек.

Наконец, все земные дела закончены. Оболочка приняла в свое чрево содержимое многочисленных газгольдеров, что явно пошло ей

на пользу — расправились морщины, и хотя не известно, как выглядят молодые киты в расцвете сил, но дирижабль, вероятно, стал именно таким. И характер у нашего пузыря по мере заправки газом тоже становился ершистее. Как молодой, застоявшийся конь, он все чаще дергался и игриво взбрыкивал в руках стартовой команды.

— Экипаж, на посадку!

Поддерживая друг друга, карабкаясь по зыбкой алюминиевой лесенке, мы с трудом протискивались в дверку гондолы. Теснота в гондоле была воистину выдающаяся. Кормовая часть забита бидонами с горючим и маслом. Сюда уже втиснулись лоснящиеся от масла механик и моторист. Все свободное пространство занято балластом. Будь они неладны, эти брезентовые мешочки с песком! Из-за них ногу некуда поставить, а голова упирается в потолок гондолы.

Я молча втиснулся в свой закуток, что при моем росте было явно нелегко. Собственные ноги под висящим на кронштейнах приемником пришлось ставить на место с помощью рук. От тесноты стало еще холоднее. Можно было или стоять, или сидеть, и притом только в одном положении. А, как на грех, хотелось повернуться поудобнее, подмывало двигаться.

Старт проходил в полной тишине. Раздавались командные слова: «Завести моторы!», «Отдать поясные!» Застрекотали небольшие двигатели, извиваясь, как змеи, упали поясные, на которых удерживался дирижабль, и протокольный возглас стартера: «Дирижабль в полете!» — послышался уже откуда-то снизу. В желтое поцарапанное окно были видны запрокинутые головы провожающих.

Легко и плавно набирая высоту, корабль взмыл вверх. Раздвигался горизонт, расширялась панорама скучного, пасмурного дня. Заснеженные поля перемежались чернеющими перелесками, помартовски грязные дороги напоминали о близости весны.

Москвичи, месяцами не видящие ни заката, ни восхода солнца, общающиеся с природой только во время утреннего, строго прохронометрированного бега на работу, и не подозревают, как близко природа подступает к городу.

Уже в пяти минутах полета от Москвы — бесконечные поля и леса до белесого, сливающегося с небом горизонта редко оживляются трассой высоковольтной линии или полотном железной дороги. Безмолвно и неторопливо движутся поезда. Даже экспрессы с высоты

выглядят еле-еле ползущими. Вовсю старается паровоз: видны клубы пара, но не слышны гудки. Железной дорогой иногда пользуются для ориентировки неопытные штурманы.

Хуже, когда на эти ориентиры желают взглянуть поближе. Тогда над тихими полустанками бреющим полетом проносятся самолеты, пугая своим грохотом ни в чем не повинных железнодорожников. Ничего не поделаешь — надо же прочесть название станции!

Воздушный океан не был таким безбрежным, как казалось на первый взгляд.

Вскоре на борту установился обычный порядок. Все молча занялись своим делом. Рядом с рулевым Людмилой Эйхенвальд, единственной женщиной на борту дирижабля, стоял командир корабля Иван Иванович Мейснер, изредка бросая взгляд на компас. Подгоняемый попутным ветерком, дирижабль вскоре добрался до Волги. Мы летели над Ярославлем... Нет, Волга зимой — это не Волга. В ожидании лучших дней под берегом стояли вмерзшие баржи и пароходики. Волга отдыхала.

Сбрасывание пакетов с литературой заняло не много времени, и, достигнув самой дальней точки своего маршрута, корабль повернул восвояси. Вот тут-то и началось!

Ветер, до этого благоприятствовавший полету, из доброго союзника превратился в противника. Шаг за шагом мы протискивались к далекой Москве, но ветер крепчал. Рулевой все чаще и чаще «упускал» дирижабль. Время от времени корабль сбивался с курса. Нас откидывало назад, и начиналась очередная попытка выправить курс. А для этого нужно было сделать большой полукруг и попытаться снова взять нужное направление. В конце концов, это удавалось, но, как правило, ненадолго.

Внизу — скучные снежные равнины и леса. Уже наступили сумерки, а мы все болтаемся в воздухе, далеко от Москвы, без малейшей возможности вернуться. Через некоторое время выяснилось, что и горючего до базы не хватит. Все чаще передавал я на базу тексты, наспех нацарапанные командиром на клочках бумаги, сообщая о местонахождении дирижабля. Командир информировал начальство, что не в силах вернуться в Москву.

Наконец не столь на моторах, сколь ветром наш дирижабль нанесло на какой-то городишко. Как уютно теплились в домах огоньки

этого утопавшего в сугробах городка! Должно быть, в низеньких комнатах было жарко от печей, а где-то, возможно, поспевал и самовар. Но о самоваре мы не могли даже мечтать. Какой уж тут самовар. Не до жиру, быть бы живу. Нам бы более или менее благополучно опуститься на грешную землю!

Горячее на исходе. Стемнело. Эти обстоятельства и продиктовали решение — не отрываться от города. Так или иначе, но мы должны здесь приземлиться и закончить полет.

Но где же мы собирались приземляться? Несмотря на беспорядочность нашего полета и чрезмерное вмешательство ветра, штурман оказался на высоте. Он хорошо следил за картой и без особого труда опознал в городке Переславль-Залесский. Большое озеро, где Петр I строил свой потешный флот, вплотную подступавшее к домам, подтвердило: мы определились правильно. Дирижабль стал кружить над городом. Почти бреющим полетом он колесил над мирными домишками. Выбегавшие из домов люди наспех натягивали шубы и, задрав головы, недоумевающе следили за непонятным поздним гостем. Тем временем командир закованной рукой писал подробную записку с просьбой принять заблудившийся корабль.

Посадка даже небольшого дирижабля — дело совсем не простое, тем более что вряд ли кто-либо из жителей видел до встречи с нами что-либо подобное. Составить исчерпывающую информацию необученной посадочной команде было сложно: надо было изложить все коротко, но ясно. За борт полетел вымпел с запиской. Прильнув к застывшим окошечкам, экипаж пытался разглядеть дальнейший ход событий. Какой-то мальчишка схватил шлепнувшийся в середине площади вымпел и, прочитав на записке адрес, помчался к дому, расположенному невдалеке от площадки.

Через несколько минут из дома выскочили два человека. Они сели в стоявший у подъезда автомобиль и помчались на окраину города. Дирижабль последовал за ними. На краю города виднелся большой корпус с ярко освещенными окнами. Высокая труба — неотъемлемый признак производственного предприятия — позволяла предполагать наличие большого количества организованных людей. Предположение подтвердилось. Вскоре стали выбегать люди и, одеваясь на ходу, лезли в подъехавшие грузовики. Возглавляемая легковой машиной, вся эта процессия на рысях двинулась в сторону озера. Через некоторое время

вспыхнул яркий костер, и с подветренной стороны треугольником, как летящие журавли, выстроились две шеренги людей. Им предстояло поймать и удержать гайдропы, или, проще говоря, канаты, за которые можно будет подтянуть дирижабль к земле.

Полет заканчивается. Скоро можно будет побегать, вволю потопать по твердой, надежной земле окоченевшими ногами! Резко пикируя и гремя моторами, дирижабль нацелился на шеренги людей. При подходе к земле одновременно выключены моторы и сброшены гайдропы. Увы, в своем стремлении поскорее стать на якорь мы несколько поторопились и раньше времени выбросили гайдропы. Они едва достигли земли. Шеренги встречавших расстроились, произошла легкая свалка и суматоха. А в это время, как на грех, — порыв ветра. Дирижабль отклонился в сторону и вверх. Несколько человек, правда, пытались удержать воздушную громаду, но тщетно!

Со стороны это единоборство с кораблем, вероятно, напоминало охоту первобытных людей на мамонта. «Мамонт» побеждал. Удержать дирижабль явно не удавалось. Все большее число наших спасателей отказывалось от этой попытки и отскакивало в сторону.

Надо отдать должное нашим добровольным помощникам: несмотря на полное отсутствие опыта, они продемонстрировали завидное присутствие духа и мужество. Кончик гайдроба, за который можно было ухватиться, оказался очень коротким, но небольшая группа с мужеством отчаяния вцепилась в него мертвой хваткой. Увы, и им пришлось отпустить гайдроб. Дирижабль пошел вверх, и стала редеть даже эта небольшая кучка. У людей явно не хватало сил для победы, но все же они сопротивлялись, как могли. Даже когда гайдроб уже не касался земли, на нем продолжал висеть упорнейший из упорных — самый последний, самый настойчивый доброволец.

С каждой секундой высота увеличивалась. Положение невольного воздухоплателя, оказавшегося между небом и землей, становилось все опаснее. Забыв, что наши голоса ему не слышны, в гондоле хором кричали:

— Прыгай!

То же самое кричали и с земли. Но в такой миг решиться, наверное, очень трудно. К счастью, прыжок оказался благополучным.

Освободившись от усилий наземной команды, дирижабль поднимался все выше и выше. Земля уплывала из-под ног. Скрылись

уютные огоньки города. Затем померк и огонь костра. Наступила звенящая тишина, прерываемая только посвистыванием ветра в такелаже. Сплошная облачность усиливала темноту. Все неразборчивее становились темные пятна леса. Ориентировка терялась.

— Заводи моторы!

Моторы не заводились.

Дирижабль находился в свободном полете. С каждой минутой забирался все выше. Стрелка манометра давно перевалила через красную контрольную черту на циферблате. Нам не полагалось подниматься выше 800 метров, но приборы уже показывали 1700. Высота полета неуклонно росла, а члены ее отлично понимали: еще немного — и напор газа в оболочке просто разорвет ее изнутри. Сыпаться горохом с лопнувшего на полторакилометровой высоте дирижабля было волнующей, но не самой привлекательной перспективой. Разумеется, подъем надо было остановить. В ожидании, когда это произойдет, экипаж сохранял полное молчание. И хотя каждый по поводу создавшегося положения составил себе собственное мнение, окончательное решение должно было принадлежать командиру.

Мы ждали решения командира, а наше положение тем временем становилось все более угрожающим. В полной темноте дирижабль стремительно поднимался. С каждой минутой нарастала вероятность разрыва оболочки. Моторы не заводились. Куда несло корабль, никто не понимал и не мог понять. А садиться нужно было — нужно было, во что бы то ни стало.

Командир приказал приступить к аварийному спуску. На борту дирижабля в оболочку заделан небольшой треугольник из стального тросика. К вершине треугольника крепко-накрепко крепится ярко-красная лямка. Размещается эта лямка обычно в укромном месте у потолка гондолы, чтобы по неосторожности за неё никто бы не задел. Назначение красной лямки известно всем: она открывает треугольник в оболочке — аварийный клапан.

Пользуются этим клапаном только в исключительных случаях. А так как другого выхода у нас не было, единственный путь к земле могла открыть нам эта красная лямка.

Итак, аварийный клапан раскрыт. В боку дирижабля зияет большущая треугольная дыра, из которой хлещет газ, заставляя дирижабль снижаться. Вырванный клочок оболочки хлопает по гондоле. Не скажу, чтобы этот аккомпанемент доставил нам чрезмерно большое удовольствие. Да, так уж устроен человек: всегда он чем-то недоволен. Так было и с нами. Несколько минут назад нам не нравилась большая, неуклонно нараставшая высота полета. Теперь не по вкусу пришлось стремительное падение в темноту.

Когда мы приблизились к земле и снова стали различимы темные пятна лесов, дирижабль потерял управление. Оболочка, из которой вышла большая часть газа, переломилась пополам. Тросы, идущие к рулям, провисли. Рули были обречены на бездействие. Штурвал оказался явно лишней деталью конструкции.

Под тяжестью моторов осела задняя часть гондолы. Нос корабля задрался кверху, и, хотя по распоряжению командира все сгрудились в носовой части, уравновесить гондолу не удалось. Мы стояли, цепляясь руками и ногами за стенки и окна, но угол наклона оставался примерно 45 градусов. Окна были распахнуты настежь. О том, чтобы беречь тепло, можно было больше уже не думать.

— Право руля! Летим на башню!

Истошный крик обычно спокойного командира заставил всех вздрогнуть. Внизу перед дирижаблем на холмистой местности внезапно вырос на бугре старинный дом с высоченной башней. Дирижабль, снижаясь, шел прямо на это неожиданное препятствие.

Людмила Эйхенвальд, забыв, что рули не действуют, инстинктивно схватилась за штурвал. Разумеется, безрезультатно. Дирижабль по-прежнему несло на башню. Надвигалась катастрофа...

Над головой рулевого беспомощными петлями свисали ослабевшие тросы рулевого управления. За спиной его в полной бездеятельности стоял я. При приближении к земле антенна была убрана, радиосвязь прекращена.

В этом ослабевшем рулевом тросе я с какой-то непостижимой для самого себя быстротой разглядел один из очень немногих шансов на благополучную встречу с землей. Как всегда в такие минуты, когда сознание работает с невероятной быстротой, время словно растягивается, помогая выбрать и реализовать наиболее правильное решение.

Руками в толстых меховых рукавицах я ухватился за трос, быстро обернул его несколько раз вокруг рук и навалился всеми своими восемьдесятю пятью килограммами. То же самое, только голыми руками, попыталась сделать и наша рулевая. В гондоле прозвучал женский крик — трос глубоко рассек ладони обеих рук нашей Людмилы, но зато угрожающая темная тень башни промелькнула слева буквально в двух-трех метрах.

И все же радоваться было рано. Едва миновала одна опасность, как навстречу вам стремительно рванулась другая: двигаясь вперед, дирижабль падал на деревья. Немного счастья надо иметь даже при падении. Будь это дубовый или березовый лес, экипаж корабля превратился бы в шашлык, нанизавшись на торчащие вверх сучья.

Большие заснеженные ели приняли на свои опущенные лапы падающий корабль. Эти естественные пружины смягчили силу удара. Но удар был все же такой, что дирижабль провалился между деревьями до самой земли. Треск ломающихся деревьев, грохот разваливающейся гондолы, слова команды — все смешалось воедино.

Трое выскочили из гондолы и, увязая по пояс в глубоком снегу, пытались завязать гайдроп за ближайшие деревья. Не так-то просто: глубокий снег, темнота — все против нас. А трое прыгнувших людей значительно облегчили изнемогавший дирижабль, и он попытался тотчас же рвануть вверх.

Крики и слова, которыми помогали выскочившим те, кто остался в гондоле, оправдывались лишь опасностью и необычностью обстановки. Наконец гайдроп закреплен. Как смертельно раненое чудовище, оболочка улеглась на заснеженных деревьях. Наверное, мы приземлились неподалеку от, жилья: кто-то разгребал снег, приближался к нам с фонарем.

О нет! Свет не нужен. Взрыв остатков водорода был бы для нас явно излишним...

\* \* \*

В наши дни, когда идут ожесточенные споры о том, возрождать или окончательно хоронить дирижабли, поклонники воздушных кораблей этого типа, памятуя о моих полетах, причислили меня к



своим единомышленникам. Я неоднократно получал приглашения на собрания энтузиастов воздухоплавательной техники. И вот теперь, написав о неудачном полете, я понял, что рискую заслужить репутацию дирижаблененавистника. Спешу сообщить читателям, что. Не хотел бы числиться ни в той, ни в другой категории. Это было бы в равной степени несправедливо.

Все же и название главы «Неудачный полет», и рассказ о таком неудачном полете выбраны не случайно. Дело в том, что все увлечение дирижаблями выглядит, пожалуй, неудачным полетом человеческой мысли. Высказывая такого рода утверждение, призыву на помощь столь авторитетного в мире дирижаблистов человека, как Умберто Нобиле. В 1933 году в газете «За индустриализацию» Нобиле писал:

«За последние пять лет зарегистрировано три больших катастрофы с дирижаблями: „Италия“, Р-101, „Акрон“, которые в значительной степени отразились на дирижаблестроении. Каждая из этих катастроф вызвала длительную дискуссию. Комиссии долго обсуждали причины гибели дирижаблей. Производились исследования, но почти никогда они не давали положительных результатов...

Под давлением бури некоторые менее прочные части могли не выдержать, и это могло вызвать потерю газа. Нельзя претендовать на такую прочность дирижабля, чтобы ни одна его часть не сдала во время бури. Поставить такую задачу перед конструктором — значило бы сделать невозможным проектирование и постройку дирижабля».

В этой статье Нобиле ратовал за исполинский дирижабль, считая, что дирижабль-гигант окажется гораздо более безопасным, нежели морские пароходы. В 1933 году, когда статья увидела свет, такого рода утверждение выглядело вполне правдоподобным и убедительным. Однако через несколько лет жизнь опровергла и этот тезис.

Катастрофы с дирижаблями, о которых упоминал в своей статье Нобиле, не прошли бесследно. Постепенно большинство высокоразвитых стран отказалось от этих летательных аппаратов, отдавая предпочтение быстро развивавшемуся и крепнувшему самолету. Наиболее упорными оказались немцы. Они продержались до 1937 года — до катастрофы дирижабля «Гинденбург» LZ-129, происшедшей 6 мая 1937 года в 18 часов 25 минут на аэродроме

Лейкхэрст (штат Нью-Джерси, куда дирижабль прибыл из Франкфурта).

«Гинденбург» был исполинский корабль объемом в 200 тысяч кубических метров, в два раза больше цеппелина ЛЦ-127, на котором я летал в Арктику. Что случилось с «Гинденбургом», так и осталось загадкой. Высказывались самые разные версии: выстрел зажигательной пулей, вредительство, пожар от искрившего двигателя в тот момент, когда дирижабль выпускал водород, удар молнии...

Эти версии, то опровергаемые, то подтверждаемые специалистами, публиковались печатью всего мира. Однако, не зная причин аварии, все отлично знают ее результаты: погибло двенадцать пассажиров, двадцать два члена команды и один зритель. Умер от ран и ожогов капитан дирижабля Лемм.

Посадку «Гинденбурга» и случившуюся с ним катастрофу снимал какой-то оператор хроники. Он вел себя как в высшей степени деловой и предприимчивый американец. Мгновенно сообразив, что на этой съемке можно сделать большие деньги, оператор, отсняв катастрофу, побежал на телеграф и послал хозяину телеграмму, не пожалев в его адрес эпитетов. Так как телеграмма была с оплаченным ответом, то этот ответ последовал без промедлений: «Вы уволены». Именно этого и добивался предприимчивый хроникер. Он стал обладателем уникального материала, на котором, разумеется, заработал изрядную сумму. Правда, надо заметить, что немецкие специалисты клятвенно заверяли после этой аварии весь мир, что больше не будут пользоваться водородом и перейдут на гелий. Однако их заверения никого больше не волновали: мир утратил интерес к дирижаблям.

И, наконец, вопрос, который так часто задают сегодня: нужен ли нам дирижабль? Полагаю, что нужен. От того, что изобретен радиотелеграф и радиотелефон, никто не станет спиливать телеграфные столбы вдоль линии железной дороги. Как одно из проявлений техники, дирижабль имеет, вероятно, право на существование, но... Тут-то и вступает это обязательное «но». Все решает экономика. И когда поборники дирижабля утверждают, что сегодня он может быть избавлен от большинства недостатков, то остается лишь подсчитать, сколько будет это стоить.

Нельзя забывать и о том, что создание дирижаблей — это по существу создание новой отрасли промышленности, совершенно иной,

чем для самолетов, системы земного обслуживания. Иными словами, трудно надеяться на то, что в ближайшее время произойдет полная реабилитация летательных аппаратов легче воздуха. Слишком высоки барьеры, которые им надо преодолеть, чтобы реально соперничать с самолетами и вертолетами.

Что же касается людей, спешащих раз и навсегда поставить на дирижаблях крест, то я глубоко убежден в их неправоте. Приведу лишь один пример: в конце XIX века ракета была полностью отвергнута и похоронена, уступив место нарезному оружию. Какова ее судьба сегодня — общеизвестно. Да, безапелляционные приговоры всегда опасны...

## Второй ледовый поход

*Проект Шмидта. Арктика в 1933 году. Академику. Крылову и капитану Воронину не нравится пароход «Челюскин». Как искали повара. Старт дан. В Копенгагене. «Шаврушка» и ее экипаж. Встреча с «Красиным». Воздушное крещение капитана Воронина. Таинственный остров. Чета Комовых. С борта «Челюскина» в стратосферу. Девочка по имени Карина. «Челюскин» на мысе Челюскин. Букет неприятностей. Полярная осень. Пожар в угольном трюме. У ворот Берингова пролива. До свидания, «Литке»! Аварийное расписание. По борту трещина! Радиорепортаж с тонущего корабля. Прекращение связи. Спасение «шаврушки». Мы на льдине. Шмидт информирует Москву.*

В крохотной палатке, куда влезаешь на четвереньках, темно и сыро. Палатка не обжита. Вещи и люди еще не успели найти свои места. При тускловатом свете фонаря Отто Юльевич Шмидт пишет телеграмму, на которой стоит номер один, а через несколько минут я начинаю ее отстукивать ключом передатчика.

«13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен „Челюскин“ затонул, раздавленный сжатием льдов.

Уже последняя ночь была тревожной из-за частых сжатий и сильного торошения льда. 13 февраля в 13 часов 30 минут внезапным сильным напором разорвало левый борт на большом протяжении от носового трюма до машинного отделения. Одновременно лопнули трубы паропровода, что лишило возможности пустить водоотливные средства, бесполезные, впрочем, ввиду величины течи.

Через два часа все было кончено. За эти два часа организовано, без единого проявления паники, выгружены на лед давно подготовленные аварийные запас продовольствия, палатки, спальные мешки, самолет и радио. Выгрузка продолжалась до того момента, когда нос судна уже погрузился под воду. Руководители экипажа сошли с парохода последними за несколько секунд до полного погружения.

Пытаясь сойти с судна, погиб завхоз Могилевич. Он был придавлен бревном и увлечен в воду.

Начальник экспедиции Шмидт».

Этой радиограммой, переданной уже из лагеря Шмидта, мы как бы подвели итог плаванию и открыли новый этап экспедиции — жизнь на льдине. От момента выхода «Челюскина» из Ленинграда до гибели прошло полгода. Короткую биографию корабля, ровно, как и плавание отправившейся на нем экспедиции, я опишу в этой главе, сплетая воспоминания очевидца с тем, что сегодня собрано и систематизировало историками Арктики.

\* \* \*

Дирижабельными делами мне пришлось заниматься недолго. Окончательно распрощавшись с воздушными кораблями, я снова вернулся в Арктику.

События здесь разворачивались буквально с неимоверной быстротой.

12 декабря 1932 года в Москву, после завершения похода «Александра Сибирякова», возвратился Отто Юльевич Шмидт. 17 декабря Совет Народных Комиссаров СССР принял решение об организации нового учреждения — Главсевморпути. Начальником Главсевморпути Совнарком назначил О. Ю. Шмидта, его заместителями — С. С. Иоффе и Г. А. Ушакова, членами коллегии — М. И. Шевелева, Ф. Н. Матвеева, Б. В. Лаврова и И. Л. Баевского.

Пяти дней, проведенных в Москве, для Отто Юльевича, человека исключительной энергии, оказалось достаточно, чтобы подготовить и согласовать со всеми заинтересованными учреждениями и организациями проект освоения Арктики, какого еще не знала история нашего государства. Сейчас эта наброски проекта, сделанные Шмидтом, — документ, на долгие годы ставший программой большой работы, — хранятся в архивах. Как отмечают историки севера, большинство пунктов проекта, вышедшего из-под пера Отто Юльевича, превратились в пункты правительственного постановления.

Возникали контуры следующей серии великой картины освоения Северного морского пути. Этой новой серией должен был стать второй

ледовый поход на восток.

Ничто не предвещало неожиданных событий. Предстояло пройти тот же путь, который уже пройден на «Сибирякове». Однако жизнь обострила конфликты, определившие судьбу второй экспедиции. Правда, в тот момент, когда мы собирались в путь, об этом обострении никто из участников предстоящего похода даже не мог догадываться.

Впервые мы уходили в обстановке столь исключительного внимания. Несколько месяцев назад заметки о походе «Сибирякова» терялись в массе других, не менее важных сообщений. Сегодня же все выглядело иначе. Даже «Правда», где ценность газетной площади особенно велика, ввела специальную рубрику «Арктика в 1933 году», публикуя самые различные сообщения об Арктике, о работах, проводимых в ней и предполагаемых.

О масштабе этой работы свидетельствует выбранный наугад номер «Правды» за 7 июня 1933 года. Посмотрите, как много информации под рубрикой «Арктика в 1933 году»!

Рядом с сообщением о предстоящем походе ледокола «Красин» можно было прочесть информацию о летной экспедиции на Чукотку. Профессор-геолог С. В. Обручев (будущий член-корреспондент Академии наук СССР) воздушным путем спешил на север страны для изучения богатств тамошней земли. Магнитометрические съемки шли на Земле Франца-Иосифа. На Новой Земле трудились геоботаники, а на мотоботе туда же направлялась группа геологов; финский профессор просил о включении его в экспедицию на Новую Землю или Землю Франца-Иосифа. Арктический институт приступил к изданию «Полярной библиотеки».

Обилие информации не случайно. В следующем номере, под той же рубрикой «Арктика в 1933 году», «Правда» опубликовала большую статью Владимира Юльевича Визе. Это была программа. Деловая, спокойная и, как всегда у Визе, очень глубокая.

Статья рассказывала об открытии новых станций, о расширении геофизических исследований, о запусках радиозондов, о постройке (это сообщение хочется выделить особо) авиационных баз для исследования Арктики с воздуха.

Такого рода шаги, предпринимавшиеся в 1933 году, требовали от страны больших усилий. Предстояло подключить к арктическим делам

целые отрасли промышленности. Настало время создавать надежную и удобную арктическую технику.

«Авиационной службе в Арктике, — писала „Правда“ 11 июля 1933 года, — нужны специальные самолеты. Работающие над созданием таких самолетов известный авиаконструктор А. Н. Туполев и молодые инженеры Четвериков, Шавров и Яковлев дали уже удачные образцы, отвечающие условиям севера. Сейчас конструкторы работают над разрешением вопросов, связанных с полетами полярной ночью, в пургу и туманы».

Вся эта огромная созидательная работа — акт не только научно-технический, но и политический. В Европе бушевала политическая пурга. Кое-кто старательно напускал туман. Темная ночь германского фашизма уже надвигалась на человечество.

Мы собирались в дорогу, а в адской берлинской кухне уже стряпалась одна из грандиознейших в мире провокаций — процесс о поджоге рейхстага, первый акт великой трагедии, унесшей жизни миллионов. На земле отчетливо определялись два противоположных политических полюса. Волей обстоятельств и подготовка к нашему походу, и сам поход стали предметом пристального внимания советской и зарубежной прессы...

Новорожденное Главное управление Севморпути и его энергичнейший начальник очень быстро заявили о себе. Тщательно обосновав идею нового полярного сквозного плавания, Шмидт обратился в правительство. Его планы и намерения энергично поддержал заместитель председателя Совнаркома СССР Валериан Владимирович Куйбышев. 20 марта 1933 года Куйбышев представил в ЦКВКП(б) соответствующую докладную записку. Все эти хлопоты и окончились правительственным решением. Ввиду большой ответственности за новую экспедицию возглавить ее поручили самому О. Ю. Шмидту, его заместителями назначили И. А. Копусова и И. Л. Баевского. Отто Юльевич начал подбирать кадры для будущего похода. Одно из первых писем было отправлено Владимиру Ивановичу Воронину, который привел в Мурманск из Японии «Сибирякова». Воронин понимал и поддерживал Шмидта. В своем ответе капитан писал:

«Повторить рейс „Сибирякова“ необходимо, чтобы рассеять неверие в этот путь, необходимый Советскому Союзу, а неверие есть у

многих, многие считают рейс „Сибирякова“ счастливой случайностью».

Почти одновременно с Ворониным приглашения стали получать и другие сибиряковцы. Шмидт старался взять как можно больше испытанных людей, на которых мог положиться. Сибиряковцы, продемонстрировавшие в своем трудном плавании сплоченность, энергию и волю, были проверенными кадрами. Естественно, что большинство, из них стали участниками новой экспедиции.

Если с людьми было все ясно, то с судном все выглядело туманно и неопределенно. Шмидт и Воронин строили свои планы на том, что в путь уйдет судно ледокольного типа. Корабль должен был обладать достаточным тоннажем, так как предстояло доставить смену зимовщиков и большое количество грузов на остров Врангеля. Однако корабля, соответствующего требованиям комплексной арктической экспедиции, не оказалось. Было решено отправить в плавание судно, достраивавшееся по заказу Советского Союза в Копенгагене.

\* \* \*

Пароход «Лена», сооружавшийся на верфи фирмы «Бурмейстер и Вайн», для такого похода был, как говорится, не подарок. Заказал его Совторгфлот, получал — Главсевморпуть. Естественно, что эти организации предъявляли кораблю не совсем одинаковые требования. Для решения задач, которые ставил Главсевморпуть, новый пароход годился лишь в минимальной степени. Конечно, лучше было бы взять вместо него другой, но другого просто не было...

Когда 5 июня 1933 года, блистая новехонькой краской, корабль прибыл из Копенгагена в Ленинград, авторитетная комиссия, в состав которой входил знаменитый русский кораблестроитель академик А. Н. Крылов, не пришла от него в восторг: комиссия признала судно построенным без учета заданных условий и непригодным для ледового плавания.

Весьма сурово оценил пароход «Лена» и Владимир Иванович Воронин: набор корпуса слаб, прочность редких шпангоутов не соответствует требованиям ледокольного судна, корабль очень широк, что создает условия для невыгодных ударов о лед. Одним словом,



судно настолько не понравилось Воронину, что он напрочь отказался стать его капитаном. Только авторитет Шмидта и добрые многолетние отношения этих людей заставили Владимира Ивановича изменить первоначальное решение.

Стало ясно, что трудный путь от Ленинграда до Тихого океана предстоит пройти не на ледоколе, а на слегка усиленном пароходе. Что говорить! Осложнение, заставлявшее вспомнить мрачноватую солдатскую поговорку «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах». Отдавая себе, ясный отчет во всем, чем чревато его решение, Шмидт рискнул, и этот риск был оправдан. Шмидт понимал, что если плавание удастся, то все разговоры о невозможности пройти Северный путь в одну навигацию (а эти разговоры продолжали мешать в работе) смолкнут раз и навсегда. Никому больше не удастся вытащить такой аргумент, как исключительно благоприятная ледовая обстановка, которая, если верить противникам, была единственным объяснением удачи экспедиции «Сибирякова».

19 июня 1933 года пароход «Лена» переименовали. Он получил новое название — «Челюскин». Золотые буквы, ярко выделявшиеся на черной краске, должны были понести на север имя славного русского моряка XVI II века, участника Великой Северной экспедиции, одного из тех храбрецов, про которых мы даже не знаем, когда они родились и когда умерли.

\* \* \*

Новое название уже сияло на борту корабля, когда я прибыл в Ленинград, чтобы принять участие в подготовке экспедиции.

Как всегда, вокруг судна царил суматоха. Как всегда, было много хлопот, которые вознаграждаются потом, во время плавания, более или менее спокойной жизнью.

В радиорубке «Челюскина» собралась неплохая компания. Самый младший — Серафим Александрович Иванов, которого иначе, как Симочка, никто и не называл. Несмотря на свою молодость (Симочке было 24 года), он уже успел не только отслужить срочную службу на флоте, но и побывать в Арктике.

Симочка не был нашим коренным кадром. Он направлялся радистом на остров Врангеля, но, будучи человеком трудолюбивым, естественно, не желал сидеть без дела и помогал нам как мог.

Интересной фигурой в нашей четверке был Владимир Васильевич Иванюк. Несмотря на возраст (ему было тогда 34-по моим тогдашним меркам, очень много), Иванюк еще не покинул студенческую скамью. Мастер своего дела, опытный радист-полярник, участвовавший в экспедициях на Землю Франца-Иосифа, Новую Землю, Новосибирские острова, он учился в Ленинградском политехническом институте.

Самым опытным, самым умелым из нашей четверки, бесспорно, был человек, о котором еще не раз придется вспоминать на страницах этой книги — Николай Николаевич Стромилов. Вот интересно получается — с виду суховатый, не очень общительный, но какой превосходный человек!

С Николаем Николаевичем я познакомился в Ленинграде, накануне выхода «Челюскина» в рейс. Этот высокий, сухопарый, чтобы не сказать просто — тощий, молодой человек с рыжеватой шевелюрой поразил меня серьезностью и собранностью. Он великолепно организовал все, чтобы радиорубка «Челюскина» отвечала духу времени и была на уровне лучших образцов техники. Датской аппаратуры на корабле не было. Мы ставили все свое. Это свое — передатчик, пеленгатор, приемник — в дальнейшем отлично служили нам. Я быстро понял, что имею дело с великолепным специалистом, отлично знающим технику. Подкупало и то, что Николай Николаевич был моим товарищем по увлечению: одним из старейших в нашей стране радиолюбителей-коротковолловиков. Я москвич, Николай Николаевич — ленинградец. Сегодня это практически безразлично, а в те времена ленинградец считался знатной фигурой. В освоении коротких волн ленинградцы явно держали первенство. Любовь к коротким волнам нас сблизила, способствовала тому, что мы быстро нашли общий язык.

Короткое знакомство создало хорошие товарищеские отношения, но дружбы еще не было. Дружба пришла позже, когда нас сблизили другие дела, о которых речь впереди.

Я назвал наше знакомство со Стромиловым коротким, так как судьба разъединила нас, даже не дождавшись конца экспедиции. Николая Николаевича отпустили к нам временно. Предполагалось, что

«Челюскин» пройдет Северный морской путь примерно в те же сроки, что и «Сибиряков», и Николай Николаевич вернется на свою основную работу.

Волей судеб все произошло иначе. Мы застряли во льдах. Экспедиция затянулась. Во время вынужденного дрейфа пришлось организовать пешую группу, чтобы разгрузить «Челюскин», уменьшить его личный состав. Эта группа с помощью чукчей на собаках двинулась на юг. Вместе с Ильей Сельвинским, кинооператором Марком Трояновским и другими челюскинцами ушел и Николай Николаевич. Мы попрощались с ним и разошлись, как выяснилось потом, на два года, пока Арктика снова не соединила нас.

\* \* \*

По прибытии в Ленинград выяснилось, что мест в гостинице нет. Добрейший Рудольф Лазаревич Самойлович любезно предложил ночевать в его служебном кабинете. К тому времени Институт изучения Севера переехал со Съездовской улицы на Фонтанку, 34, где находится и поныне, гордо называясь Арктическим и Антарктическим институтом.

Отправившись на ночлег, я попал во дворец графа Шереметьева, еще хранивший остатки былой роскоши. Я ночевал на мягком графском диване, обтянутом старинным зеленым шелком. Стены тоже были обтянуты шелком. Правда, от времени шелк обветшал и висел клочьями, но все же даже в продранном виде было приятно встретиться с историей. Впрочем, у каждого своя точка зрения — Рудольф Лазаревич, пуская меня в свой кабинет, извинялся, что не успел его отремонтировать и привести в порядок.

Дел на корабле было поверх головы. «Челюскин» прибыл в Ленинград с гарантийным механиком (есть и такая должность) — плотным и немногословным датчанином. Механик носил комбинезон, вызвавший своей неземной красотой завистливые взгляды тех, кто был одет в непрезентабельную москвошвеевскую робу. Но, несмотря на представительность гарантийного механика и его пижонский комбинезон, корабль предстал перед нами с опозданием на месяц.

Времени для сборов практически не оставалось. Нам дали на подготовку всего лишь пятнадцать дней, в которых каждый час, каждая минута становились золотыми. В такой короткий срок надо было снабдить корабль всем необходимым.

Это была сложная подготовка, включавшая бесчисленное множество самых различных предметов, от самолета до примусных иголок. Списки инвентаря заставляли иногда вздрагивать, поражая неожиданностью, но — деваться некуда. Как сказал писатель Сергей Семенов, один из моих товарищей по плаванию:

«Даже небольшая полярная экспедиция должна иметь в запасе все то, что может понадобиться человеку при построении нового мира».

Подготовка оказалась сложной еще и потому, что помимо задач чисто практических — прохода в одну навигацию Северным морским путем и доставки на остров Врангеля группы зимовщиков, «Челюскин» должен был стать глазами и ушами советской науки. На ученых, вошедших в состав нашей экспедиции, возлагались самые разнообразные работы — измерения глубин, попутная морская опись берегов со шлюпочными промерами глубин в тех бухтах, куда зайдет экспедиция, поиски знаменитых мифических земель Санникова и Андреева, разного рода астрономические, гидрологические и гидробиологические наблюдения, сбрасывание буев, медико-биологические исследования, наконец, предстояло изучить собственное судно.

«Челюскин» не вызвал восторга у советских кораблестроителей, а поскольку его рассматривали как головной корабль серии, предполагавшейся к постройке на верфях Копенгагена, нужно было как следует разобраться в том, что же он представляет собой, что в нем хорошо и что в нем плохо. Так на борту появился симпатичный член экипажа — инженер-физик Ибрагим Гафурович Факидов, двадцатисемидетный научный сотрудник Физико-технического института. Этот удивительно талантливый человек до шестнадцати лет не знал ни одного русского слова, но, несмотря на это, за последующие двенадцать лет своей жизни он стремительно достиг многих вершин науки. Скорые на клички челюскинцы прозвали молодого физика Фарадеем.

Работам Факидова придавалось большое значение. Он поставил на судне тончайшую измерительную аппаратуру, и результаты его

наблюдений немедленно передавались в Ленинград, решительно отодвигая в сторону одиноких белокрылых чаек, по-прежнему залетающих в опусы наших бравых журналистов.

Напряженная подготовка не знала мелочей. Уж очень опасное общее свойство было у мелочей — разрастаться впоследствии в обширные и ощутимые неприятности. Вот, например, на «Сибирякове» нас очень мучил скверный кок. Кулинарных дел мастер оказался настолько незадачливым, что по ходу экспедиции Шмидту пришлось отстранить его от камбуза. Дабы не повторялась такого рода незадача (а в экспедиции хороший повар — отнюдь не последняя фигура), кока подыскивали загодя.

Повар парохода «Челюскин» сыскался при неожиданных обстоятельствах. Когда в одной из столовых возвращение «Сибирякова» отмечалось большим банкетом, повара, захваченные всеобщим порывом, обещали Шмидту, что для следующей экспедиции подберут нам таких асов дуршлага, половника и кастрюли, каких еще не видели камбузы полярных кораблей. Свое обещание повара сдержали. Так в составе нашей команды появились Николай Семенович Козлов, поварской стаж которого исчислялся с 1916 года, и Юрочка Морозов, совсем молодой паренек, ставший комсомольцем на борту «Челюскина».

Приближалась минута, когда «Челюскин» должен был покинуть Ленинград. Город готовился к проводам экспедиции. В ленинградском парке культуры и отдыха появилась огромная, пятиметровая карта Советского Севера. Жирной линией с запада на восток протянулась на ней трасса предстоящего похода. Не встречая никаких препятствий, не отклоняясь от курса ни на градус, линия огибала Чукотку и уходила на юг к Владивостоку.

Время от времени перед этой картой, как перед театральной декорацией, воздвигалась фигура очередного докладчика, четко и уверенно информировавшего отдыхавших ленинградцев о наших планах и намерениях. Один из таких докладчиков попал в поле зрения объектива корреспондентов. Переданная по бильд-аппарату фотография 13 июля 1938 года появилась на страницах «Правды» рядом с заметкой «Проводы „Челюскина“ в Ленинграде».

А проводы эти и впрямь оказались необычными. Я сидел на поплавке неподалеку от моста лейтенанта Шмидта и пил пиво. Вся

картина отправления разворачивалась у меня на глазах. К этому поплавку подвели «Челюскин». Играл оркестр. Сиял галунами парадной формы Воронин. С капитанского мостика произнес речь Шмидт. Работали кинооператоры и фоторепортеры. Тысячи ленинградских ударников провожали нас в дальнюю дорогу.

«Челюскин» загудел и отвалил от пристани, а я продолжал пить пиво, не испытывая ни малейшего беспокойства о том, как догнать товарищей. Далеко они не ушли. После торжественных проводов на Неве «Челюскин» направился в угольную гавань, чтобы догрузиться углем, необходимым не только нам, но и «Красину».

\* \* \*

16 июля, имея на борту 800 тонн груза, 3500 тонн угля и более ста членов команды и участников экспедиции, «Челюскин» покинул ленинградский порт и направился на запад, к месту своего рождения — Копенгагену.

В пути происходили любопытные встречи. Одна из них качалась громким криком вахтенного матроса:

— Зверь! Тюлень!

Но тюлень оказался животным особой породы. Очень скоро отчетливо показалась подводная лодка, а еще через некоторое время мы даже прочитали ее название-«L-55». Для меня встреча с этой лодкой была встречей со старой знакомой. Еще в годы моей полярной юности, бывая в Ленинграде, я видел ее совсем не в таком ухоженном виде, в каком она предстала на пути «Челюскина». Лодка была тогда только поднята со дна моря, куда при попытке напасть в 1918 году на наш флот, базировавшийся в Кронштадте, ее отправили советские эсминцы.

Поднятая эпроновцами, восстановленная, она под тем же названием, оставленным в назидание потомкам, вошла в состав Красного флота.

Вот и Копенгаген — маленький, чистенький, неторопливый и удивительно уютный. Наш приход не прошел незамеченным. Как радировал в «Правду» ее собкор поэт Илья Сельвинский, «все шесть

дней, проведенные нами в Копенгагене, были для жителей стоянием кометы, нас наблюдали в бинокли, как в телескопы».

Мы простояли в Копенгагене шесть дней, разумеется, не из желания встретить датского короля, который, как говорят, прохаживался по улицам столицы, вежливо приподнимая шляпу перед приветствовавшими его туристами. Короля мы так и не увидели, довольствуясь тем, что лицезрели бесчисленное множество велосипедистов, зеленых от морской сырости памятников, смены караула у королевского дворца. А тем временем руководители экспедиции вели не очень приятные переговоры с фирмой «Бурмейстер и Вайн».

Наш короткий и не самый трудный участок маршрута Ленинград-Копенгаген выявил новые недостатки судна: вместо положенных 120 оборотов машины давали лишь 90, перегрелся один из подшипников, заплывились масляные канавки. Все это и исправлялось в Копенгагене, пока мы любовались его памятниками.

Высадив гарантийного механика, мы двинулись дальше. Корабль с этой минуты считался полностью принятым. Гарантировать качество судна после того, что удалось обнаружить и в Ленинграде и на пути к Копенгагену, было уже трудно. Но у нас оставалась лишь одна возможность: невзирая ни на что, продолжать свое путешествие.

Пройдя Кронерг, где, по преданиям, жил сын датского короля принц Гамлет, мы вышли в Северное море. Здесь произошла еще одна встреча с соотечественниками. Мы обогнали два мощных морских буксира, тащивших огромный плавучий док. Путь у буксировщиков был дальний — из Ленинграда то ли в Севастополь, то ли в Одессу, а свежая погода не выражала им ни малейшего сочувствия. Буксирам было явно тяжело тащить док, очень высокий, а потому особенно ветробойный.

Понимая трудность своих коллег, Воронин, по всем законам морского рыцарства, предложил буксирам помощь. Буксиры поблагодарили, но отказались. Эти упрямые морские работяги меньше всего на кого-то надеялись, полагаясь на собственные силы.

На следующий день, словно угадав наши желания, погода прояснилась. Обычно я уходил в Арктику из Архангельска, а на этот раз впервые огибал Европу с севера. Зрелище, открывшееся нам,

оказалось настолько ярким, настолько красивым, что запомнилось на всю жизнь.

Трудно описать красоту норвежских шхер с их яркими неповторимыми красками... Бесчисленные зеленые островки на фоне яркой синевы неба и серовато-бурых гор. Миллионы овражков и проливов. Вместо привычных нашему глазу деревень — одинокие домики, прилепившиеся на разных уровнях. Эти маленькие домики выглядели очень привлекательно и мило. Их хозяева не жалели красок. Красные, синие, зеленые, голубые... Кое-где в погоне за яркостью домики имели даже разноцветные стены. Это было непривычно, а потому произвело впечатление.

Без особых происшествий, обогнув самую северную точку Европы, украсившую многочисленные туристские проспекты, — мыс Норд-Кап, мы перекочевали из Норвежского моря в Баренцево и взяли курс на Мурманск.

В Мурманске — дополнительная погрузка. К запасу лимонов, приобретенных в Копенгагене, добавились витамины попроще — свежие огурцы, капуста и прочая петрушка. Техника получила пополнение в виде самолета-амфибии «Ш-2», а в состав экспедиции вошел ее экипаж — один из старейших советских полярных летчиков Михаил Сергеевич Бабушкин и механик Жора Валавин, здоровенный веселый мужик в совершенстве владевший той частью русского языка, где слова поднимают руки вверх, сдаваясь на милость многоточиям.

С конструктором «Ш-2» Вадимом Борисовичем Шавровым я лично не знаком. Знаю, что Вадим Борисович — увлеченный коллекционер, обладатель одной из наиболее полных коллекций русских и советских марок за сто лет, с 1857 года. Этот самолет мы фамильярно называли «шаврушкой».

\* \* \*

«Шаврушка» считалась тогда одной из авиационных новинок. К тому времени, когда мы уходили в плавание, самолету было не более двух лет. Деревянный фюзеляж, крыло с полотняной обшивкой, тот же мотор М-11, что так долго тарахтел на У-2, непривычные для современной авиации подкосы, поддерживавшие крыло — такой была



наша «шаврушка», первая советская серийная амфибия, маленькая, неприхотливая, удобная. «Шаврушка» отличалась завидной компактностью и со сложенными крыльями занимала на борту места немногим больше, чем шлюпка.

Достоинства этого самолета сделали его одним из долгожителей вашей авиации, особенно полярной, поставив «шаврушку» по срокам службы где-то рядом со знаменитым ПО-2, рекордсменом продолжительности использования в авиации.

Летающей лодке, попавшей на борт «Челюскина», не повезло. Перед погрузкой самолета на корабль Бабушкин решил проверить его в воздухе. Это зрелище обрело множество зрителей, заполнивших палубу. И... при стечения многочисленной публики произошел конфуз. Бабушкин едва успел завести двигатель, как резкий порыв ветра толкнул самолет, (взлетал с воды) с небольшой баржей. Куски разбитого пропеллера полетели от самолета, словно брызги. Запасного винта не было. Без винта же он был просто никому не нужен, и оставалось одно — ждать, когда появится запасной винт.

В тридцатые годы получила известность целая плеяда блестящих летчиков. Но даже для них Бабушкин был не только признанным мастером, блестяще владевшим сложной профессией полярного летчика, но представителем другого, старшего поколения. За плечами этого широкоплечего, высокого человека в морской фуражке, с аккуратно подстриженными усами, было то, что не имеет себе в жизни заменителей, — опыт. Отсюда то удивительное спокойствие и какая-то подкупающая уверенность в себе, которой дышала вся его фигура.

С Бабушкиным я познакомился, когда он и его «шаврушка» появилась на борту «Челюскина», но о славных делах Михаила Сергеевича в Арктике, разумеется, слышал не меньше других. С 1926 года он летал на разведку морского зверя, в 1928 году участвовал в спасении экспедиции «Нобиле». Сражался с белыми медведями, когда, сделав вынужденную посадку, он пять дней прожил на льдине в ожидании летной погоды. Увидев медведя, обнюхивавшего самолет, Бабушкин приоткрыл дверцу и выстрелом в упор убил его, обеспечив экипаж мясом. Когда через некоторое время появился второй медведь, то вместо винтовки Бабушкин навел на него кинокамеру, а затем отпугнул ракетой.

Таков был наш летчик, глаза капитана. К славу сказать, Воронин отлично знал Бабушкина. Когда Воронин плавал да «Седове», Бабушкин разыскал зверобоев, оторвавшихся на льдине, и спас их, наведя на их льдину «Седова».

\* \* \*

Привычный полярный «большак» привел нашего «Челюскина» к Новой Земле. Мы вошли в Карское море, не замедлившее показать нам и свой плохой характер, и беззащитность нашего «Челюскина» перед настоящими полярными льдами. Мы увидели их 13 августа 1933 года. Словно агрессивные форварды футбольной команды, льды бросились на наш корабль. С ходу в наши ворота был забит гол, неприятный для нас своей неожиданностью.

Первым зарегистрировал действенность ледовой атаки Ибрагим Факидов, не вылезавший из трюмов, где была расставлена его хитроумная аппаратура. Для регистрации того, что произошло, можно было обойтись и без аппаратуры. Согнутый стрингер, сломанный шпангоут, срезанные заклепки и течь красноречиво свидетельствовали — наш «Челюскин» первого ледового экзамена не выдержал.

Плотники быстро поставили распорки. Течь зацементировали, а радиорубка превратилась в штаб. Шмидт консультировался с Москвой, как поступить дальше. Вопрос стоял по-гамлетовски: быть или не быть? Продолжать экспедицию или же возвращаться обратно?

Решили продолжать. Поскольку лед не собирался раздвигаться сам собой, Воронин вызвал «Красина». Для такого вызова у капитана были и дополнительные основания. «Челюскин» доставил «Красину» уголь. Капитан спешил этот уголь отдать. Выгрузка угля должна была уменьшить нашу осадку, снизить вероятность соприкосновения со льдами высокорасположенных слабых частей корпуса корабля.

Решение было верное, но положение настолько серьезное, что, не дожидаясь подхода «Красина», пришлось объявить угольный аврал. Облегчив передний трюм, Воронин спешил приподнять нос судна. После того как этот надрыженный трехдневный труд был окончен, 17 августа к нам подошел «Красин». Был он удивительно деловит и излучал ощущение уверенности своих силах. Извергая клубы дыма,

низкосидящий черный утюг с высокими трубами разбрасывал льдины, словно это были листья, плававшие на поверхности пруда.

Победоносное движение «Красина», его впечатляющая сила не могли не привлечь внимания кинооператоров. Марк Трояновский и Аркадий Шафран были большими энтузиастами своего дела. Спустившись на лед, они полным ходом закрутили ручки своих кинокамер. С занятой ими нижней точки ледокол выглядел особенно монументальным. Однако, выигрышная с точки зрения киноискусства, позиция оказалась небезопасной. Расталкивая льды, «Красин» привел в движение и операторскую льдину. Она закачалась и начала отделяться от соседок, не внося этим движением прилива бодрости в души кинематографистов. Впрочем, льдина словно пошутила. Попугав кинооператоров, она примкнула к остальным, выпустив кинематографистов из плена, продолжавшегося считанные минуты.

Закончив перегрузку угля, «Красин» повел нас сквозь льды. Неприятности подстерегали «Челюскина» и тут. Казалось бы, чего проще — идти по проходу, прорубленному ледоколом. Но и этот вариант оказался неподходящим. «Челюскин» был широк и не слишком поворотлив, а это затрудняло проход по извилистому каналу, возникавшему во льду за кормой «Красина». Сильный удар — и солидная вмятина украсила левый борт нашего судна.

21 августа, обменявшись прощальными гудками, мы разошлись с «Красиным». Ледокол вывел нас из льдов и заторопился по своим делам. Мы же остались наедине с океаном.

\* \* \*

Зная ненадежность судна, Воронин действовал в высшей степени осмотрительно. Грузовая стрела на тросе спустила на воду амфибию. Разбежавшись по воде, Бабушкин поднял Воронина в ледовую разведку.

В истории нашего полярного мореплавания использование самолета, не имевшего связи с береговыми базами и опиравшегося только на корабль, производилось впервые. Никогда не поднимался в воздух и наш капитан. Бабушкин неоднократно предлагал ему полетать, но под разными предлогами Владимир Иванович

отказывался. Ему как-то больше нравилась надежная палуба под ногами. Разведка 22 августа стала воздушным крещением, превратившим нашего капитана в горячего поборника корабельной авиации. Воронин заметил даже, что будь он помоложе, непременно научился бы летать.

Самолет использовался в нашем плавании не только для воздушной разведки. Очень скоро он помог ученым нанести на карту остров, встреча с которым едва не стала для кораблей роковой. Однако чтобы объяснить, как обнаружили мы этот остров, меньше всего, ожидая встретить его на своем пути, следует рассказать о большой научной работе, которую вели Павел Константинович Хмызников и Яков Яковлевич Гаккель.

Окоченевшими от холода руками они брали пробы воды для определения температуры, солености, щелочности. Эти пробы попадали к гидрохимику Параскеве Григорьевне Лобзе.

Для проведения гидрологических наблюдений через каждые 10 миль судно останавливалось, и промерялась глубина. Эти промеры и предупредили столкновение с островом.

Во второй половине дня 23 августа было замечено, что глубина непрерывно уменьшается. К восьми часам вечера замеры показали всего лишь 16 метров. Двигаться дальше стало опасно. «Челюскин» остановился, а к утру выяснилось, что перед ним — остров, не обозначенный на картах.

Открыть землю и не обследовать ее — нелепо. Приблизившись к острову на две с половиной мили, спустили на воду две шлюпки-ледянки. Прикрепленные к днищам полозья позволяют в нужную минуту вытаскивать шлюпки из воды и передвигать их по льду от полыньи к полынье.

Шестнадцать человек во главе с Отто Юльевичем Шмидтом отправились к острову, который предстояло описать и для науки и нанести на карту.

Этот шлюпочный поход, за которым мы с интересом наблюдали с борта судна, как бы повторял в миниатюре арктическую экспедицию. Шлюпки шли трещинами и разводьями, с трудом одолевая эти две мили. Экспедиция носила комплексный характер. Каждый из ученых занимался своим делом — Ширшов собирал гербарий скудных лишайников, Стаханов с ружьем в руках отправился на поиски зверья.

Хмызников занялся геологическими делами, Факидов — магнитными измерениями. Гаккель определял точные координаты острова... — На следующий день, вооружившись фотоаппаратом «лейка», Шмидт улетел с Бабушкиным. Сочетание наземного обследования и проведенной Отто Юльевичем аэросъемки позволили Гаккелю точно нанести на карту остров.

Что же это за земля, расположенная в центре Карского моря, такая удобная для постановки на ней полярной станции, способной раскрыть тайны льдов трудного для мореходов Карского моря? После оживленной дискуссии Шмидт решил посоветоваться с Визе. Я получил распоряжение связаться с «Сибиряковым», на котором находился Владимир Юльевич. Через несколько минут связь установлена. Шмидт рассказал Визе свои впечатления и наблюдения. Визе согласен: по всей вероятности, это земля не вновь открытая, а временно пропавшая. Теперь точно нанесен на карту остров Уединения, открытый еще в 1878 году норвежским промышленником Иогансеном, а затем временно исчезнувший.

Может показаться странным, что острова могут пропадать, а затем появляться вновь. Однако ничего сверхъестественного в этом нет. Все объясняется несовершенством измерительной аппаратуры, которой пользовался Иогансен. Только один-единственный раз, разыскивая в 1915 году пропавшие экспедиции Брусилова и Русанова, капитан О. Свердруп побывал подле этого острова, но определить астрономически его положение не смог. Отсюда легенда о пропавшей земле, конец которой и положила наша экспедиция.

\* \* \*

Как радист, я больше всего имел дело с метеорологическими и аэрологическими наблюдениями. Эти наблюдения имели важное прикладное значение, и поэтому каждые четыре часа в мороз, вьюгу, дождь или ветер дежурный метеоролог делал записи в дневнике погоды.

Каждый день я и мои коллеги передавали по радио в Центральное бюро погоды наши наблюдения. Там эту информацию обрабатывали, превращая в прогнозы, и, как бумеранг, возвращали в Арктику.

Метеорологические наблюдения выполняли супруги Комовы — Ольга Николаевна и Николай Николаевич, направлявшиеся зимовать на остров Врангеля. Я уже упоминал, что одной из наших задач была доставка зимовщиков на остров Врангеля. На этом острове была маленькая полярная станция с тяжелыми условиями работы. Чтобы облегчить людям существование, Отто Юльевич, в виде эксперимента, разрешил ехать туда супружеским парам. Одной из этих пар и была чета Комовых.

Жили Комовы на верхотуре. Метеорологу, каждые четыре часа производящему свои наблюдения, надо было быть поближе к метеобудкам, находившимся на верхней палубе.

Воспоминания о супругах Комовых по всем законам вежливости следовало бы начать с дамы, но, да простит меня Ольга Николаевна, начну я все же с ее супруга. Я всегда с теплотой вспоминаю Николая Николаевича. К сожалению, его уже нет в живых. Этот человек, с черными волосами, черными бровями, черными глазами, но не знаю какой бородой, потому что выбрит он был всегда идеально, принадлежал к числу тех немногих эрудитов, которые своими знаниями могут соперничать со всеми пятьюдесятью томами Большой советской энциклопедии.

Николай Николаевич был на редкость начитанным человеком, всегда готовым поделиться знаниями с любым из нас. Знал буквально все. Побывав уже на Чукотке, Николай Николаевич освоил язык чукчей. Это пригодилось нашей экспедиции в одну из трудных для нее минут. С ходу, без малейшей подготовки, Комов мог запросто прочесть лекцию на любую тему, начиная от истории китайского фарфора и кончая балетом. Эрудиция Комова потрясала, но... как это часто бывает, достоинства Николая Николаевича обратились в недостаток.

Был наш метеоролог словообильным, стремился рассказать о том или ином вопросе предельно обстоятельно. Собеседника, не подготовленного к приему такого большого количества информации, начинало клонить в сон. Одним словом, мы Николая Николаевича побаивались. Попасть в число его слушателей считалось делом опасным. И все же мы многое прощали Комову. Прощали за его жадность к знаниям. Прощали за то, что и он и его жена, Ольга Николаевна, были на редкость милые, доброжелательные люди.

Профессия радиста делала меня источником новостей. Такое богатство семьей Комовых очень ценилось, и время от времени меня приглашали в гости.

По обледеневшим ступенькам трапа я карабкался наверх, туда, где жили и работали метеорологи. Снег. Кругом все серо, темно и холодно. Но каюта есть каюта. В ней мало места, а от множества книг, которые везли с собой Комовы, она выглядела особенно тесной. В тесноте, как всегда, теплее. Это ощущение тепла, возникавшее у гостей, великолепно создавала сама Ольга Николаевна, женщина удивительно умная, тактичная, пользовавшаяся симпатиями всего состава экспедиции.

Красива ли Ольга Николаевна? Об этом я не берусь судить, но она была олицетворением женственности и обаяния. Я не преувеличу, если скажу, что все челюскинцы были поклонниками Ольги Николаевны. Стоило ей попросить что-то сделать, как немедленно объявлялось множество добровольцев.

Получая от Ольги Николаевны приглашения на семейный чай, я страшно гордился. Эта честь оказывалась далеко не всем. А визиты были очень приятными. У Ольги Николаевны всегда находилась банка варенья, да не фабричного с жестяной крышкой, а настоящего, домашнего. На бумажке было аккуратно написано название варенья, и бумажка столь же аккуратно прихвачена аптекарской резинкой.

Я очень любил визиты к Комовым. Это были чудные, домашние часы и минуты, скрашивавшие монотонность нашей жизни.

Третьим человеком в компании «ветродуев» был аэролог Николай Николаевич Шпаковский. Служба погоды требовала раскрытия тайн ветра. Именно эту задачу, при помощи шаропилотных наблюдений и запусков шаров-зондов системы профессора Молчанова, решал Николай Николаевич Шпаковский. Он привлекал к этой работе чету Комовых и радиста Владимира Васильевича Иванюка, инженера Виктора Александровича Ремова.

Дважды присутствовал я при пионерских опытах с радиозондами. Один раз — при запуске их с борта цеппелина, другой раз — на «Челюскине». Но если на ЛЦ-127 было сделано всего 2–3 запуска, то здесь их число достигло 11. Один из этих запусков, проведенный 15 октября 1933 года, принес мировой рекорд — 23 километра. Это было первое в мире научное наблюдение атмосферы на такой высоте.

Знаменитый полет стратостата «Осоавиахим», в котором была достигнута высота 22 тысячи метров, состоялся почти через четыре месяца.

Об этих запусках я всегда знал. Шпаковский согласовывал со мной время своих наблюдений. Это диктовалось деловой необходимостью. Передатчик зонда не должен был мешать нормальной работе судовой радиостанции. Проверенную аппаратуру выносили на палубу и некоторое время выдерживали, чтобы уравнять по температуре с окружающим воздухом. Последняя проверка радиопередатчика, прослушивание его сигналов и, наконец, точно по секундомеру запуск...

Около часа, набирая высоту, передатчик зонда шлет сигналы о проведенных замерах. По мере того как высота растет, а давление окружающего воздуха падает, шар, распираемый изнутри газом, раздувается все больше и больше. Наконец, забравшись в стратосферу, он лопается, заканчивая свой репортаж в пользу науки.

Еще одно событие принесло нам Карское море — у Доротеи Ивановны и Василия Гавриловича Васильевых, направлявшихся на остров Врангеля, родилась дочь. Как и положено в море, где капитан — и царь, и бог, и если угодно — даже нечто вроде регистратора районного загса — запись о рождении была сделана Владимиром Ивановичем Ворониным в судовом журнале «Челюскина». Эта запись гласила: «31 августа. 5 час. 30 м. у супругов Васильевых родился ребенок, девочка. Счислимая широта 75°46'51" сев., долгота 91°06' вост., глубина моря 52 метра».

Дети на арктических кораблях рождаются не часто. Началось изобретение имени новорожденной. Как всегда в таких случаях, недостатка предложений не было. Плебисцит, проведенный по этому поводу, принес новорожденной имя — девочку в честь Карского моря называли Кариной.

А 1 сентября — новое событие. В 4 часа дня капитан Воронин трижды огласил арктическую тишину ревом корабельной сирены. «Челюскин» примкнул к большому собранию кораблей, столпившихся у мыса Челюскина. Едва был, кинут якорь, как к нам прибыла группа старых друзей-сибиряковцев во главе с Владимиром Юльевичем Визе.

Вскоре корабли разошлись, и в «Правду» пошла следующая депеша ее собственного корреспондента Ильи Сельвинского:



«В 4 часа дня впереди нас в тумане возникли очертания кораблей. „Челюскин“ подошел к мысу Челюскин.

Это была великолепная минута. За всю историю овладения Арктикой челюскинский меридиан пересекло всего девять судов, и вот сегодня шесть советских пароходов бросили якоря у самой северной точки самого обширного материка мира.

„Красин“, „Сибиряков“, „Сталин“, „Русанов“, „Челюскин“ и „Седов“, совершив трудный ледовый переход, троекратно приветствовали друг друга простуженными голосами. В десять минут спущена моторка, и мы во главе со Шмидтом стали объезжать корабли. Это был праздник советского арктического флота. Песни, хохот, шутки, возгласы, хоровые приветствия по слогам, как, бывало, дома на демонстрациях.

Заплаканные снежные утесы выпрыгивали из сурового тумана и, мерцая, уходили в серую муть, а меж них, треща моторами, проносились люди... какие люди!

До глубокой, все еще белой ночи мы мчались, друг к другу в гости на корабли, на материк, снова на корабли, покуда обеспокоенная сирена „Челюскина“ не призывает нас на борт. В 7 часов по местному времени подняли якоря, взяли курс на ост».

\* \* \*

Пройдя проливом Вилькицкого, «Челюскин» перешел из Карского моря в море Лаптевых. Оно встретило нас жесточайшим штормом. Столовая опустела. У многих неожиданно пропал аппетит, и появилась потребность «немного поработать над собой у себя в каюте». Сдала и наша камбузная команда. Качка была так сильна, что работать у плиты стало просто невозможно, и наша еда ограничилась чаем и холодными консервами.

По своей жестокости шторм был выдающимся. Отсюда и невероятные беспорядки, которые он наделал на палубе, смыв за борт гидрологическую посуду, часть запаса огурцов, приобретенные в Копенгагене ящики с лимонами. Со своих мест съехали даже строительные материалы, которые мы везли на остров Врангеля. Были

сорваны бочки с бензином; поломаны стойки коровника и ранены коровы...

Впрочем, нельзя было обижаться. Море Лаптевых оказалось к нам милостивым: ведь вода и ветер, даже во время девятибального шторма, неизмеримо менее опасны, чем льды. Все же радоваться не приходилось. Обстановка сгущалась. Информация, которую приносили радиоволны, не сулила ничего доброго. Эфир не скупился на неприятные известия. Ледокол «Красин» сообщал, что сломался один из его трех валов. Силы грозного ледового бойца сразу же резко ослабли. В полуаварийном состоянии находился ледорез «Литке». Рассчитывать на помощь ледоколов не приходилось, а помощь эта должна была понадобиться очень скоро. Как сообщал начальник северо-восточной летной группы Г. Д. Красинский, ледовая обстановка в Чукотском море складывалась явно не пользу неповоротливого «Челюскина».

В преддверии больших неприятностей начались малые. В Восточно-Сибирском море стали попадаться тяжелые льды; 9 и 10 сентября «Челюскин» получил вмятины по правому и левому борту. Лопнул один из шпангоутов. Усилилась течь судна...

Опыт дальневосточных капитанов, плававших северными морями, утверждал: 15–20 сентября — самый поздний срок для входа в Берингов пролив. Опоздаешь — можешь петь: «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу!» Плавание осенью в Арктике — дело трудное. Зимой — невозможное.

Сентябрьские заморозки, объединившись с ветрами, делали ледовую обстановку все более и более трудной. Сплошной лед закрывал поверхность моря, и даже наша «шаврушка». С ее отважным пилотом была бессильна в поисках выхода из создавшегося положения.

Нам обидно и грустно. Изо всех сил стучим мы в ворота Берингова пролива. Стучим настойчиво, взрывами пытаюсь создать путь открытой воде. Взрывы тонн аммонала напоминают постукивание в дверь квартиры глухого. Ледяные ворота заперты на один из самых прочных замков, каким только располагала природа.

Воронин сердится, и мы его понимаем. Капитану чертовски обидно. Был бы у него в руках ледокол! Ну, пусть не «Красин», а хотя

бы «Сибиряков». Сразу же все стало бы иначе. По-настоящему растолкать лед, как это делают ледоколы, у нас явно не хватает сил.

Темп продвижения снижается. Льды с нарастающей цепкостью хватают корабль. Неподалеку от мыса Ванкарем (мы, разумеется, и догадываться не могли, каким притягательным покажется нам очень скоро этот мыс) «Челюскин» остановился.

В один из этих осенне-зимних дней (осенних по календарю, зимних по холоду) к нам прибыло несколько собачьих упряжек. Это был визит вежливости и дружбы чукчей, поселок которых находился в 35 километрах от нас. Воспользовавшись тем, что Николай Николаевич Комов знал их язык, Шмидт вступил с чукчами в переговоры, затем вместе с ними уехал на материк.

Последствия этих переговоров оказались конкретными. Восемь челюскинцев, больных, слабых, торопившихся по разным делам домой или просто в условиях дрейфа не нужных, были отправлены пешим путем. Никто не знал, сколько времени просидим мы во льдах, где каждый лишний человек мог составить достаточно серьезную проблему. По приказу Шмидта нас покидали: Леонид Муханов, назначенный старшим этой группы, поэт Илья Сельвинский, кинооператор Марк Трояновский, синоптик Простяков, радист Николай Стромилов, инженер-электрик Кольнер, врач Мироненко и больной кочегар Данилкин.

Проводы происходили в условиях напряженной работы. Не покладая рук мы вели обколку корабля и взрывные работы. Ничто не помогало. Лед был слишком силен, а «Челюскин» — слишком слаб. Единственное, что нас поддерживало — дрейф. Вместе с зажавшим судно льдом мы неторопливо двигались на восток к столь близкому и одновременно далекому Берингову проливу. Нам оставалось лишь одно — ждать, ждать, ждать...

Дрейф хорош, если его направления совпадают с маршрутом корабля, но больших иллюзий никто не строил. Дрейф (это мы помнили по плаванию «Сибирякова») изменчив, как сердце красавицы. Ждать-то можно было, но чего мы дождемся? Этого пока еще никто не знал. Ко всем врагам внешним, которых напустила на нас Арктика, добавился и внутренний — на корабле начался пожар.

Резкий запах из трюма № 2 не оставлял пищи для кривотолков: большие пласты угля, не подвергавшиеся вентилированию,

самовозгорелись. Это не было чем-то исключительным, но пожар надо было гасить немедленно, чтобы во исполнение всех тех нотаций, на которые не скупятся пожарники, из маленького огонька не родилось бы большое пламя.

Техника борьбы с такого рода пожарами достаточно отработана, хотя и не очень приятна. Чтобы ликвидировать пожар, нужно, прежде всего, докопаться до очага горения. Обнажив коксующийся, докрасна накалившийся уголь, заливаешь его водой и перебрасываешь на свободное место в трюме, чтобы остудить и проветрить. Работа эта более чем неприятная: выделяется много пара и газа.

Когда дышать становилось уже совсем невмоготу, пытались тушить пожар, забрасывая горящие места углем с тем, чтобы прекратить к ним доступ воздуха. Одним словом, чтобы не вдаваться в излишние подробности и не сделать эти записки наставлением для тушения угля при самовозгорании, скажу лишь одно: потребовалось 48 часов адской работы, чтобы перебрать и перегрузить в угольные ямы 250 тонн угля.

Не успели мы отмыться от угля, цепко въевшегося в кожу и потому требовавшего, к великому огорчению старшего механика Матусевича, повышенного расхода пресной воды для бани, как нас уже ждал новый аврал.

Еще ни разу приглашение на работу не выглядело столь торжественно. Эта торжественность заставляла как-то сразу внутренне мобилизоваться. Вечером 29 сентября на общем собрании председатель судового профсоюзного комитета машинист Ваня Нестеров предоставил слово Отто Юльевичу. Наверное, я больше чем кто бы то ни было, знал, что скажет наш начальник, так как в руках он держал радиограмму, содержание которой мне было хорошо известно.

Шмидт сообщил, что северное мореплавание получило сразу букет неприятностей. У Русских островов застрял «Сибиряков». Попав в сильное сжатие, он просил о помощи. Оставлены на зимовку суда донской экспедиции. Через пролив Вилькицкого с трудом пробивался подраненный «Красин». Подобно нам, в той же Колючинской губе вязли во льдах пароходы «Свердловск» и «Лейтенант Шмидт». У мыса Биллингса стали на зимовку три парохода колымской экспедиции.

Начавшийся наутро аврал был одним из самых яростных за все время нашего плавания.

Временами казалось, что обколка судна благополучно оканчивается, что «Челюскин» выходит на чистую воду. Арктика дарила нам эти ощущения лишь на мгновения. Едва успевали мы выколоть и оттащить ощутимую порцию искрошенного нашими усилиями льда, как из глубин в проруби всплывали притаившиеся подо льдом глыбы. Молча занимали они освобожденный участок. В этой тишине и неотступности было что-то страшное, давящее на психику.

Благоприятный по направлению дрейф делал свое дело, и 4 ноября при чудной солнечной погоде мы вошли в Берингов пролив. Было морозно. Стояла розовая дымка. Прямо по курсу был Тихий океан. Направо — самая северо-восточная точка Советского Союза, мыс Дежнева. Где-то внизу, на галечной косе, прилепился поселок Уэллен (там командовала радиоделами наша милая Людочка Шрадер, подробный рассказ, о которой впереди), а напротив, далеко на горизонте, в лилово-розовом тумане темнели горы Аляски.

Мы находились в самом горле, в самом узком месте Берингова пролива. Позади осталось Чукотское море, Северный Ледовитый океан. Мы вошли в Тихий океан и могли считать, что выполнили задание, но, к сожалению, вошли мы туда не своим ходом, а вместе с ледяным полем, в котором мы застряли.

Все складывалось драматично. С капитанского мостика невооруженным глазом мы видели на юге край поля. От кромки и дальше до горизонта была чистая вода.

Пройдя многие тысячи километров, мы споткнулись о последние метры. Мы были уже в Тихом океане и, если бы не проклятая ледяная перемишка, могли полным ходом идти во Владивосток. Могли бы, но не шли...

Обстановка ясна всем, от капитана до кочегара. Начался такой бешеный аврал, что предшествующие показались просто детской игрой. У нас было много взрывчатки, несколько тонн аммонала, запалы, бикфордов шнур. Мы вылезли на лед и мобилизовали весь шанцевый инструмент, все, что было — кирки, лопаты, кайла, пешни, топоры. Все пошло в ход. Мы дрались за свое освобождение из ледяного плена, отчетливо понимая, что это одновременно и бесплодная попытка, и наш последний шанс. Что-то надо было делать. И это «что-то» мы делали, не жалея сил...

В шахматном порядке, по направлению к чистой воде, стали прорубать лунки, надеясь прорвать коридор, по которому мог бы протиснуться наш корабль. Ничего не получилось. Двухметровый лед был тверд, как камень. К тому же, в силу своей солености он был вязким. Продолбить лунку — хитрое дело. Лунка не должна быть очень большой, но и не маленькой. Хочешь, не хочешь, но в нее надо засунуть пудовую банку с аммоналом.

Запихивали эти банки шестами. В банку вставляли запал с коротким куском бикфордова шнура. Шнур начинам фыркать, гореть, шла тонкая струйка дыма. Раздавались предупредительные крики. Кто-то отбегал. Кто-то, кто был поближе, просто ложился на лед.

Грохот очередного взрыва не был сильным. Эффектных фонтанов тоже не получилось. Просто всплескивалась вода, и сыпался ледяной град. Все наши усилия досаждали льдине на уровне комариных укусов. Трескаться и открыть дорогу «Челюскину» к чистой воде лед не хотел. Дыры от ваших взрывов были близко друг от друга, но трещины между ними не появлялись... Лед сопротивлялся нашим взрывным атакам энергичнее, чем сам корабль. Полопалось несколько иллюминаторов, а разбить их — дело не простое — ведь речь идет о стекле толщиной до трех сантиметров.

Двое суток продолжался аврал. Двое суток не прекращалась тяжелейшая работа. Двое суток никто не спал, не ел. Повара тоже заняты на льду, поэтому мы хватали на ходу полбанки консервов с куском хлеба — вот и весь обед.

Руки у всех стерты до крови, кто долбил, кто выгребал из лунок ледяной мусор, у кого были рукавицы, у кого их не было. Шла дикая работа, и работали все, понимая, что время решает все... В любой момент погода и ветер могли измениться, могли подставить подножку коварные течения Чукотского моря...

По существу, мы так ничего и не сумели сделать. Не добрались даже до половины перемычки. Никакого канала не создали. «Челюскин» как стоял впаянный в лед, так и продолжал стоять. Никакого ветра не было, царило полное спокойствие, но это спокойствие оказалось обманчивым. То, что не стал делать ветер, сделало течение: поле сначала замедлило свое движение на юг, потом как бы задумалось, постояло на месте и пошло вспять.

Через некоторое время нас, как пробку, выкинуло обратно через Берингов пролив в Чукотское море. Дрейф не замедлил заявить о себе. Нас неудержимо потащило на север, туда, куда нам вовсе не хотелось попадать.

Отто Юльевич написал телеграмму:

«Литке», Бочеку,  
копия Николаеву, Красинскому.

Дрейф «Челюскина» продолжается в прежнем направлении со скоростью три четверти мили в час. По-видимому, мы находимся в известном устойчивом течении, которое грозит отнести к Геральду и дальше на север, в район полярного пака. Хотя после обратного выхода из Берингова пролива наша льдина уменьшилась в размере, но наступившее и, по-видимому, устойчивое безветрие сильно уменьшает нашу надежду на разлом льдины ветром и волной.

При таких условиях мы обращаемся к вам с просьбой оказать нашему пароходу содействие в выходе из льдов силой ледореза «Литке». Зная о трудной работе, проведенной «Литке», имеющих повреждениях, мы с тяжелой душой посылаем эту телеграмму, однако обстановка в данный момент более благоприятна — для подхода «Литке» к нам, чем когда бы то ни было: по-видимому, «Литке» сможет, следуя между восточной кромкой и американским берегом, подойти к нашей льдине по чистой воде. Состояние нашей льдины подробно обрисовано во вчерашней телеграмме, из которой видно, что до разреженного льда от «Челюскина» три четверти мили, а до кромки в некоторых направлениях две мили.

Мы надеемся, что «Литке» сможет разломать льдину, в которую вмерз «Челюскин», при одновременной работе «Челюскина» и взрывов. В крайнем случае, если бы разломать не удалось, мы перебросили бы по льду на «Литке» большую часть людей для передачи на «Смоленск», что значительно облегчило бы нам зимовку. При необходимости «Челюскин» может дать «Литке» уголь.

Просим вашего ответа.

*Шмидт, Воронин".*

Телеграмма была отправлена 10 ноября, а 12-го «Литке» вышел из бухты Провидения и отправился в Чукотское море. Мы ждали его с нетерпением, однако, чем ближе подходил ледорез, тем яснее становилась безнадежность встречи.

«Литке» закончил порученное ему дело, провел суда от Чукотки до Колымы и, как всегда бывает с ледовыми кораблями, пострадал от этой работы. Наш спасатель тёк. На плаву «Литке» держался лишь благодаря непрерывной работе помп, откачивавших поступавшую воду. К тому же у него были повреждены винты и руль.

На капитанском мостике «Литке» (сейчас, когда «Литке» давно разрезан, этот мостик можно увидеть на Морской выставке у Сретенских ворот в Москве) стояли достойные люди — Г. Д. Красинский и капитан А. П. Бочек. Несмотря на большую течь, ледорез, случайно оказавшийся в районе неприятностей «Челюскина», пришел нам на помощь, честно сообщая, что сам находится в аварийном состоянии.

Мы хорошо понимали благородство этого порыва. «Литке» подошел на предельно близкое расстояние, и начались драматические переговоры между руководителями обеих экспедиций.

В радиорубке — только радисты, Шмидт и Воронин. Дверь наглухо закрыта. Под дверью неотвязно и неотлучно дежурит журналистская братия. Разговоры идут по радиотелефону. Черная тарелка репродуктора, висящая на стене, доносит до нас информацию, решавшую судьбу экспедиции.

Так длилось несколько суток. Корреспондентам ничего не сообщалось. Молчал Шмидт. Не распространялся ни о чем Воронин, да ему никто вопросов и не задавал; ну, а мы, радисты, разумеется, тоже молчали, отлично понимая, что можно, вернее чего нельзя, обнародовать среди наших приятелей-журналистов.

Участникам и свидетелям переговоров было ясно: «Литке» способен приблизиться к нам лишь на то расстояние, которое разрешат преодолеть ему льды. Мы надеялись, что расстояние окажется посильным для пешего перехода.



14 ноября «Литке» находился от нас в 35 милях. И близко и далеко. Казалось, что план переброски части людей на «Литке» становится реальностью. Были объявлены списки. Уходящие собирались в дорогу. Чадолубивые родители Васильевы и Буйко мастерили санки, чтобы перевезти своих малышей.

Определялся вес посильного багажа. Для этого был произведен эксперимент: тройка отборнейших «лошадок» — кинооператор Аркадий Шафран, главный инженер Главсевморпути Ремов и подрывник Гордеев таскали на протяжении часа санки, загруженные пятью пудами кирпича. Экспериментаторы взмокли от пота.

Погода пасмурная. Корабль где-то близко, но, сколько мы ни всматривались в горизонт, даже намек на дым «Литке» не видно. На горизонте повсюду сплошной тяжелый лед, который явно был не по зубам ни нам, ни израненному ледорезу. Отправлять людей никто не рискнул. Вариант пешего перехода с корабля на корабль отпал.

17 ноября, с интервалом в 20 минут, мы получили одну за другой две радиограммы. В первой, правительственной, заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. В. Куйбышев передавал «Литке» в распоряжение Шмидта. Во второй капитан Бочек просил разрешения на вывод «Литке» из льдов. Ледорезу грозила опасность попасть в такое же положение, как и «Челюскин». Состоялось короткое совещание, на котором Шмидт, опросив руководство экспедиции, услышал один и тот же ответ:

— Отпустить!

В радиорубке мирно и тихо сияли большие генераторные лампы. Жужжали вентиляторы передатчика. Было тесно. Воронин молчит. Мы, радисты, храним гробовое молчание. В этой тишине самыми обыденными словами, без всякого пафоса, Шмидт говорит Бочеку и Красинскому:

— Очевидно, мы решаем правильно. Уходите. Вы в аварийном положении. Что делать! Мы остаемся в дрейфе...

\* \* \*

Руководство понимало всю опасность нашего положения: неприятности возможны, а поэтому к ним надо готовиться.

Большая часть этой подготовки упала на плечи хозяйственников. Положение у них было нелегкое: однородные по существу грузы хранились в разных местах корабля (грузы экспедиции, неприкосновенный запас, грузы зимовщиков острова Врангеля). Для аварийной выгрузки такая система не годилась. В случае неприятностей можно было утопить все нужное и выгрузить все не нужное. Вот почему, явившись с докладом к Шмидту, Иван Алексеевич Копусов предложил, не откладывая в долгий ящик, пересмотреть систему хранения.

Шмидт согласился. Но аврал — привычное средство массового использования физических сил участников похода — наш начальник отверг напрочь. На корабле были не только закаленные, готовые ко всему полярники. Среди челюскинцев были женщины, дети и непривычные люди, приглашенные в экспедицию как узкие специалисты, далекие от морской практики.

Шмидт распорядился навести порядок без излишнего шума. Под руководством Бориса Могилевича пять человек провели в глубине трюмов незаметную, но важную работу. За несколько дней все было подготовлено к аварийной выгрузке.

Окончание такого рода работы хорошо было бы завершить учебной тревогой. Сигнал этой тревоги пробил сам океан. В одну из ночей, когда произошло сильное сжатие, пришлось произвести выгрузку на лед. Работа шла всю ночь, и, хотя вскоре все пришлось тащить обратно, это была первая серьезная репетиция, поучительная и полезная.

Теперь, когда окончательно выяснилось, что застряли мы достаточно крепко и придется дрейфовать, было проведено несколько собраний. Тема их не самая приятная: руководители экспедиции откровенно говорили о нашем опасном положении. Надеясь на лучшее, надо было быть готовыми к худшему.

В результате тщательной подготовительной работы на стене кают-компания появился большой лист ватмана. Это было аварийное расписание. Расписание информировало о том, что все грузы решено было держать у бортов корабля. Грузы были разбиты на три сектора. Продовольственный сектор возглавлял наш завхоз Борис Могилевич, сектор спецодежды — его ближайший помощник Александр Адамович

Канцын, сектор хозяйственного оборудования и снаряжения — моторист Григорий Евсеевич Гуревич.

Весь личный состав был распределен на бригады, каждой из которых аварийное расписание точно очертило круг ее обязанностей. В мое распоряжение аварийное расписание выделило так называемую радиобригаду — группу, которой при аварии надлежало обеспечить спасение радиоимущества.

Спасательные работы требовали большой физической силы. Здоровьяков не хватало, и радиобригаду, как спасателей грузов не самых тяжелых, сформировали, не в обиду будет сказано моим товарищам, на уровне той команды, которая составляла гарнизон затерянной в степях крепости, описанной Пушкиным в «Капитанской дочке».

В бригаде числился Петя Новицкий, этот знаменитый «ящик с шумом», летописец нашего похода писатель Сергей Семенов, гидрохимик Параскева Лобза, ихтиолог Аня Сушкина, зоолог Володя Стаханов.

Не буду утверждать, что появление аварийного расписания вызвало бурю ликования и восторгов, но другого выхода не было. В той или иной степени каждый из нас понимал: да, на всякий случай меры предосторожности принять надо.

Аварийное расписание было приказом подготовиться к неожиданностям. Оставалось одно — собрать чемодан. Это не заняло много времени. Я сложил бумагу, карандаш, запасные лампы и всякую прочую деликатную мелочь. На палубе были приготовлены шесты, которым предстояло работать в качестве радиомачт, всякие тросики и т. д. и т. п. Короче говоря, для аварийного случая все было заранее приготовлено и продумано.

Режим, на который мы перешли, распрощавшись с «Литке», был зимним режимом. Оставив какие-либо попытки выбраться из ледового плена, корабль берег силы до весны. Это было нелегко. К весне мы могли выйти подготовленными только в одном случае — сохранив уголь. Но... Это «но» оказалось достаточно большим. Зимовали мы не где-нибудь, а в Арктике, с ее лютыми морозами. Уголь был нужен не только машинам, но и людям.

Угля было мало. Из 3500 тонн, с которыми мы вышли в путь, оставалось лишь 400 тонн. На корабле стало холодно, но все же это

был наш дом, к которому мы привыкли и без которого просто не мыслили себе жизни...

\* \* \*

13 февраля 1934 года, после обеда, капитан Воронин, проявлявший большой интерес к наблюдениям Факидова, зашел в его палатку, разбитую на льду. Капитан стал свидетелем резкого движения пузырька в уровне прибора. Воронин знал, что за движением пузырька последует движение льда. Он немедленно вернулся на корабль, и вовремя. К «Челюскину» двигался возникший вал.

Мы всегда запоминаем то, что связано с большими эмоциональными потрясениями. Неудивительно, что я помню этот хмурый день 13 февраля так, словно он был вчера.

Сплошная низкая облачность. Часы показывали что-то около трех часов дня, но день очень короток. Кругом серо. Видимость отвратительная.

В эту промозглую отвратительную погоду я стоял на палубе — и вдруг крик вахтенного матроса: — Товарищ капитан, по левому борту трещина! На первый взгляд не произошло ничего страшного. Трещина образовалась тоненькая и сверху выглядела как волосок, но определилась опасность. Кто-то выскочил на лед, бросил поперек трещины доску, и на наших глазах доску стало медленно разворачивать.

Где-то за горизонтом происходило сжатие. Одна половина поля стояла на месте, другая двигалась. Трещина, перпендикулярная к борту корабля, прибежала издалека и уперлась в него. Лед неотвратимо скользил вдоль трещины. На нас наваливались миллионы тонн.

Нагнувшись за борт, я стал очевидцем происходившего. Борт корабля пучился, как картонный. Потом как бы грохнули пулеметы — это сорвались с мест тысячи заклепок. Корабль дрожал, стонал, кряхтел, как живое существо.

Борт в надводной части разорвало метров на двадцать. Нутро корабля выворачивалось наружу. Глядеть — на все это было очень страшно. Часть борта отвалилась на лед, а вместе с ней полетели зубные и сапожные щетки, книги, разного рода утварь, подушки,

одним оловом, то, что оказалось в каютах, попавших под этот удар. На редкость нелепо и неестественно выглядели на арктическом льду обыденные житейские вещи. Им тут было явно не место.

Наглядно убедившись, что дело дрянь, я опрометью бросился в радиорубку. Хозяйство в рубке настолько знакомо, что можно орудовать с закрытыми глазами. Орудовать-то можно, но результаты получить гораздо сложнее. Мертвая тишина. Привычный выключатель света превратился в ненужную бутафорию. Включение рубильника не вызвало знакомого урчания умформера под столом. Диагноз ясен — нет тока.

Да что они там, черти полосатые, в машинном отделении! Хватаю огромную телефонную трубку, висящую в таком зажиме, из которого она не выскочит ни при какой качке.

— Машинное отделение! Машинное отделение!

В ответ полная тишина: либо не работает телефон, либо бездействует все машинное отделение. Но мне нужен ток. Да не только мне. Уже наступили сумерки. Короткий полярный день кончился. В трюмах и в машинном отделении стало совсем темно. Что делать? Пустить в ход расположенный на корме аварийный дизелек!

Карьером мчусь по обледенелым ступенькам, скользя, как это любят делать моряки, по поручням. Скорее вниз, на корму! Аварийный дизелек на месте, в своем маленьком помещении. Около дизелька на коленях наш экспедиционный моторист, чудесный товарищ, совершенно не ко времени решивший обратиться к господу богу. Задыхаясь от волнения, он спешит сообщить богу, что попал в арктическую экспедицию исключительно по легкомыслию и больше уж никогда такой глупости делать не будет. Он просит господа бога учесть, что у него маленькие дети и, если он утонет, то, кроме бога, о его детях позаботиться некому. Одним словом, на господа бога он надеялся больше, чем на кого бы то ни было.

С одной стороны, было интересно наблюдать эту картину, но времени для психологических этюдов не оставалось. Пришлось срочно заняться антирелигиозной пропагандой, насыщая свою речь густым фольклором. Почему не работает дизель?

Моторист очухался и сказал, что маленькая, но существенная деталь находится на ремонте в машинном отделении. Это, конечно, было очень мило. Карьером мчусь в машинное отделение... То, что я

там увидел, выглядело совсем безрадостно. В слабом свете, просачивавшемся через какие-то двери и люки, зловеще блестело зеркало воды. Трапы уже наполовину затоплены, а вода, булькая, продолжала прибывать. Искать деталь от дизеля было занятием бесполезным, и я побежал обратно в радиорубку.

Дверь радиорубки, как и все двери в эти минуты, была распахнута настежь. Выходила она в коридор, который вёл на капитанский мостик. За капитанским мостиком штурманское отделение. Там, на столе над картами обычно священнодействовали капитан и штурман. Теперь двери распахнуты и тут. Владимир Иванович Воронин забирал секстанты, судовой журнал и морские документы.

Не сумев запустить основной передатчик, включаю аварийный. Ну, Людочка, выручай...

Надо заметить, что для нас Людочка или, точнее, Людмила Шрадер, радистка с мыса Уэллен, была воплощением всей красоты радио в самой восточной точке Советского Союза. С моих слов Люду знали и любили все челюскинцы. И не удивительно — хорошая радистка, человек редчайшей добросовестности, Люда и до катастрофы была чрезвычайно точна в работе.

Сложность заключалась в том, что очередной сеанс связи с Людой уже состоялся, а до следующего было по времени еще далеко. Слушает ли сейчас Люда? Связь! Связь с берегом! Немедленная связь! Это было самой безотлагательной задачей. Никто на белом свете не мог сказать, сколько времени корабль будет тонуть, то ли сутки, то ли час.

...Людочка (ах, молодец!) тут же ответила на первый же вызов.

«Ну, что у вас там? Почему вылез вне расписания?»

«Людочка, мы тонем!»

Вбежал Иванюк, принес шапку, рукавицы, ватник. Одеваюсь, уже не снимая наушников. Иванюк начал выносить приготовленную аппаратуру. Вошел Отто Юльевич. Нерпичья тужурка расстегнута, а у меня в радиорубке не теплее чем на улице. Очень спокойно Шмидт спросил, есть ли связь, и, услышав, что есть, стал писать радиограмму. Писать было неудобно и холодно. Слова и строчки прыгали вкривь и вкось, а я, стоя за спиной, читал текст и по мере того, как он писался, передавал его. Текст был немногословный:

«Уэллен. Хворостанскому. Машина и кочегарка залиты водой. Вода прибывает. Шмидт.»

Начатый на борту «Челюскина» радиожурнал продолжался и после его гибели в нашем лагере. Сейчас все записанные в него радиogramмы, начинавшиеся позывными «РАЕМ», стали достоянием истории. Наш старенький радиожурнал хранится в Музее Революции.

Еще одна запись, сделанная рукой Шмидта:

«Шесть часов московского. 13.II.

Уэллен. Хворостанскому.

„Челюскин“ медленно погружается. Машины, кочегарка уже залиты. Прибывает вода в первом, втором трюмах. Выгрузка идет успешно. Двухмесячный паек продовольствия выгружен, стараемся успеть еще. По окончании приема пошлите копии всех моих телеграмм в Москву, в Совнарком Куйбышеву и в Главсевморпуть Иоффе.

Шмидт».

Это была последняя радиogramма Шмидта, после которой он сказал:

— Эрнст Теодорович, я уж писать ничего не буду, некогда. Но вы сообщите наше положение Людочке и попросите ее, чтобы после того, как наступит молчание, она следила за нами на всех волнах...

С этого момента, когда навалились неприятности и начались спасательные работы, на девичьи плечи Людочки легла тяжесть работы, которой хватило бы для полдюжины мужчин...

Вот уж когда моя профессия продемонстрировала обратную сторону медали! Радист в любой экспедиции — лицо привилегированное, знатное. Через него идут все новости. С ним заигрывают корреспонденты газет, когда нужно передать корреспонденцию — простыню. За весь этот почет обычной мирной работы пришлось расплачиваться теперь, в часы опасности.

Во время аварии радисту полагается быть в радиорубке, как собаке на привязи. Наушники плотно прижаты к голове, руки на ручках приемника.

Так я и сидел, утешая себя тем, что нахожусь в самой высокой точке корабля. Морские законы предусматривают всякие неприятные ситуации, а посему на крыше радиорубки всегда размещены мощные аккумуляторы, гарантирующие питание аварийной искровой радиостанции.

Пробегая мимо, Владимир Иванович крикнул, что залило машинное отделение, и добавил:

— Держи связь! Сейчас пришлю твою бригаду! Я начал свой самостоятельный, но зато крайне актуальный репортаж.

Репортажу о том, как тонул «Челюскин» при всех его низких профессиональных качествах мог позавидовать любой журналист. Ведь материал был уникальным.

Условия работы были не из лучших. Передо мной обмерзшее окно, плотно закрытое льдом. Не видно в это окно ничегошеньки, а информацию давать надо. Надо сообщать о том, как идет выгрузка, когда мы примерно начнем выходить на лед. Не имея возможности наблюдать все самолично, я черпал нужные сведения у людей, пробежавших под моими дверями.

Несколько раз по коридору пробежал и Владимир Иванович Воронин.

— Владимир Иванович, вы, пожалуйста, про меня не забудьте!

— Сиди, сиди. Не забуду. Я скажу, когда надо будет уходить. Связь есть?

— Все в порядке. Людочка нас слушает.

— Хорошо. Продолжай держать связь!

Корабль тонул не плавно. Он погружался рывками. Лед пропорол нам левый борт. Льдина вошла в глубь судна, и «Челюскин» висел на ней своим разорванным бортом. Каждые пять-десять минут по всему кораблю раздавался грохот и что-то похожее на судорогу. Вода набегала в носовую часть. Корабль становился тяжелее и носом вперед уходил под лед...

На первом трюме стояла наша «шаврушка». Она была маленькая и легкая, но, тем не менее, для того чтобы спустить ее на лед, нужна была стрела, а лебедка не работала — не было пара. Тогда было решено снять самолет несколько необычным способом. Кто-то сообразил, что, когда палуба и нос корабля сравниваются со льдом, надо молниеносно сдернуть «шаврушку» вручную. Так и решили. Никаких митингов и собраний для обсуждения этого решения никто не устраивал. Некогда было.

Конечно, это выглядело как цирковой номер. Все могло кончиться плохо, если бы не четкое руководство нашего замечательного боцмана Толи Загорского. Молодой, тогда ему было тридцать пять лет, он был, как говорят, мужчина в соку. Энергичный, ловкий и складный. У него удивительно хорошо все получалось. В последний момент сдернули



«шаврушку». Сдернули в полном благополучии. Порвали только немного ее полотняные плоскости.

В те зловещие минуты, почти сразу же после того, как удалось снять самолет, корабль стал погружаться носом под лед.

Готовая к действиям, появилась моя боевая бригада. Продолжая сообщать Людочке нужные сведения, я начал давать ценные указания. Сидя с телефоном на ушах, я только покрикивал:

— Это возьмите... Это возьмите... Это не забудьте... Ради бога, осторожнее. Относите все подальше от корабля, и в одно место, в одно место все складывайте. Вы, черти, разбросаете хозяйство по всей льдине, потом измучаемся, собирая. В одно место снесите!

Должен сказать, что команда моя оказалась на высоте. Бойко действовали все, но наиболее высокими спринтерскими скоростями выделялся Петя Новицкий.

А выгружаться было совсем не просто. На корабле темнота. Бегут десятки людей. Все тащат какие-то мешки, ящики, разные предметы. Люди торопятся, сталкиваются друг с другом. Все обледенело. Скользко. Под ногами снег и лед. Одним словом, дело малоинтересное...

Что происходило с кораблем — можно было только догадываться.

Он рывками оседал все больше и больше. Бригада заканчивала работу, когда по моему столу покатались круглые карандаши. Крен стал основательным. Появился Владимир Иванович:

— Через десять минут закрывай лавочку. Скажи, чтобы там, на берегу, за нами как следует следили...

Последние слова Людочке Шрадер:

«По приказу Шмидта сейчас оставляем судно. Сходим на лед. Успешно спустили самолет и две шлюпки. До следующей связи ничего не предпринимайте».

Отсоединять провода уже было некогда, и я их безжалостно отрезал.

Всей бригадой мчимся на крышу радиорубки за аккумуляторами. Чертыхаясь, тащим эти многопудовые банки по узким скользким трапам.

Забираю маленький ламповый передатчик. Теперь надо бы забрать чемодан с личными вещами. Увы, времени на это не хватило.

Личные вещи так и остались в каюте. Сдернув с крючка полушубок, нахлобучив шапку, выбегаю на лед.

Прыгают с большой высоты Шмидт и Воронин, На наших глазах гибнет Борис Могилевич. Он замешкался на корме, присел для прыжка, но поскользнулся и не успел встать.

Быстро поднималась корма. Покатились оставшиеся бочки. В серых сумерках происходило страшное — погибал наш корабль, наш дом. Прижавшись обмороженной скулой к ледяной лупе своей кинокамеры, снимал эти кадры, которые потом увидел весь мир, наш оператор Аркадий Шафран. Страшные кадры — корабль уходил под лед. Скрежет, грохот, летящие обломки, клубы пара и дыма. Все было кончено.

Из майны, куда ушел корабль, вынырнула мерзкая зеленая льдина. Плоская, изъеденная морскими течениями, она, вероятно, дрейфовала вместе с «Челюскиным». Льдина пришла как последнее известие из морской пучины, словно сказав нам: это все...

Сжатие продолжалось, и место, где стоял корабль, закрылось надвинувшимся льдом. В ледяном вале торчали бочки, обломки досок, бревен, раздавленные шлюпки.

Уже в темноте происходила перекличка. Иногда отвечали не сразу. Люди были рассеяны между торосами льда. Тогда начинали тревожно звать сразу несколько голосов. Не дозволялись одного — Бориса Могилевича.

Мы, радисты, без приказа понимали, что от нас требуется и чего от нас ждут. Да и все понимали, что надо делать...

Темно. Поземка. Трескучий мороз. Разумеется, в таких условиях надо, прежде всего, укрыть людей. Это было совсем не просто. Все необходимое для строительства спасено, но в кутерме выгрузки разбросано по льдине и частично уже замечено снегом. Где топор? Где лопаты? Не сразу найдешь нужные инструменты и материалы...

Вспотевшие, мокрые от неистовой работы, люди снова набрасываются на то, что осталось от «Челюскина». Люди не чувствуют ни тридцатиградусного мороза, ни ветра. Начинают сооружать палатки. Мне же предстоит срочно добиться связи с материком.

На три топора огромный спрос, но для радио получаем топор вне всякой очереди.

Радиобригада занята установкой мачт. Видимость нулевая. Где колышки? Помощников много, но дело движется медленно. Колышки пробивают снег, но, дойдя до льда, не хотят держаться.

Мачта была жиденькая и изгибалась на ветру, как удочка. Бегающие в сумерках и пурге, отворачивающие лица от ветра люди налетали на оттяжки радиомачты, выдергивали колышки. С таким трудом установленная мачта грозила упасть. В конце концов, кое-как мачту все же установили.

Теперь — черед аппаратуры. Она сложена в палатке Факидова, переполненной женщинами, детьми и ослабевшими. Разворачивать аппаратуру — значит выставить их на мороз. На такое я решиться не мог.

Отправляюсь к Шмидту. Докладываю. Ответ, разумеется, именно тот, какого я и ждал:

— Женщин и детей не трогать. Под радиостанцию занять первую построенную палатку.

Первым справились со своим делом Сергей Семенов, Ширшов, Гаккель, Громов, Шафран, Хмызников, Решетников. Построились и завалились спать. О решении Шмидта они, конечно, ничего не знали, и я решил быть деликатным, попросив для начала выделить «уголок для радиостанции». Не выгонять же хозяев палатки на жгучий мороз! Потеснились. Немедленно легли в два этажа, но место выделили.

Договорившись с хозяевами, начинаю вносить аппаратуру: аккумуляторы, передатчик, всякую мелочь. В углу, на коленях, приступаю к сборке радиостанции. Освещение небогатое — фонарь с разбитым стеклом. Наш общий любимец, художник Федя Решетников, следит за моими руками и светит мне фонарем. Приходится работать без рукавиц. Плоскогубцы, нож, провода обжигают руки. Изредка грею в рукавах одеревеневшие пальцы, но обогрываются они плохо. Тепла и в рукавах маловато. Начинает то ли подсыхать, не то подмерзать мокрое от пота белье. Затекают колени, но, несмотря на все неудобства, надо терпеть. Палатка так плотно набита людьми, что даже протянуть ноги невозможно.

Наконец приемник включен. Снимаю шапку, надеваю наушники. Мороз обжигает уши, но все быстро нагревается, и становится легче. Включаю приемник: техника работает. Прекрасно! Знакомый щелчок генерации, начинаю вертеть ручку и... вот как иногда может

посмеяться судьба. Сто четыре человека на льдине. Ночь. Мир спит, не подозревая о том, что случилось во льдах, и первое, что услышали потерпевшие кораблекрушение — веселый фокстрот, который передавала Аляска...

Жары в палатке не было. Потные, разгоряченные, люди стали «остывать». Появился мелкий неприятный озноб. Именно в этот момент, как ангел-избавитель, возник Канцын, помощник Могилевича, взявший на себя заведование хозяйством после его гибели:

— Получать теплые вещи!

Пока мы ставили радиостанцию, а остальные занимались строительством палаточного городка, Канцын с помощниками сделали большое дело. Они произвели беглую инвентаризацию всего того, что удалось спасти.

За время от возникновения пробоины до погружения корабля челюскинцы успели сделать многое. Работали все не за страх, а за совесть. Консервы, сыр, масло, свежее мясо (свиней успели заколоть перед выгрузкой), сахар, мука, крупа, чай, сгущенное молоко... Одним словом, на два-три месяца, если подтянуть ремешки, должно хватить.

Однако мы назяблись так, что даже полученные теплые вещи не согревали.

Мы с Ивановым работали, а рядом, используя не только каждый квадратный метр, но и каждый квадратный сантиметр площади, молча, прижавшись, друг к другу, лежали наши товарищи. В первую ночь мало кто спал.

Продолжаю вертеть ручку приемника. Слышу, как Уэллен спрашивает у мыса Северного:

— Не обнаружил ли ты сигналов «Челюскина»?

Нет, нас не слышат. Мои вызовы — глас вопиющего в пустыне! А передатчик исправен. Лампы горят хорошо.

Довольно быстро мы разобрались, почему нас не слышат. Впопыхах мы сделали антенну чересчур короткой, а наш передатчик, работавший на двух малюсеньких лампочках УБ-107, кроме конденсатора, не имел никаких органов настройки. Передатчик был очень слаб — небольшая шкатулка, рассчитанная на то, чтобы держать связь с берегом во время стоянки корабля на рейде. Отсюда и название передатчика — рейдовый. Многим позже проведенные расчеты

показали, что мощность, излучаемая этим передатчиком, была меньше одного ватта.

Надо удлинять антенну, но в темноте и в пургу это невозможно. Отто Юльевич разрешил ждать до рассвета. Ложусь спать. Голова — на коленях Стаханова. Ноги — на животе Иванова. Полы палатки хлопают от ветра. Фонарь коптит. Можно подумать, что все спят, но изредка то тот, то другой молча закуривает. Не спится. Холодно и неудобно...

Чуть начинает светать, поднимаю радиобригаду. Удлиняю антенну. Нас должны услышать...

Слушаю. Зову. Слышна работа Уэллена, мыса Северного. Проходит час за часом. Аппаратура в полной исправности, а связи нет как нет. Отто Юльевич отзывает меня в сторону:

— Свяжемся ли с берегом?

Спрашивает тихим голосом, чтобы другие не слышали. Смотрит испытующим взглядом.

— Свяжемся. Станции предупреждены, слушают нас. У нас очень маленькая мощность.

Все продолжается. Слушаем. Вызываем. Снова слушаем... Проходит полдня. Сажаю за приемник Иванова, сам устраиваюсь у камелька. Ноги в тепле, но голова и спина мерзнут. Начинает клонить ко сну. Иванов монотонно стучит ключом. Кругом тихо. Все работают на месте аварии, там дела хватает. Глаза смыкаются все плотнее. И вдруг истошный крик Симы:

— Уэллен отвечает!

Сон как рукой сняло. Сима кубарем выкатывается из палатки, орет во весь голос:

— Где Шмидт?

Люди угадывают необычное. К месту аварии несется весть:

— Отто Юльевич! Радио!..

И вот небывалое зрелище: впервые в жизни я увидел, как Шмидт бежит. Пробежал мимо меня. Я за ним. Запыхавшись, на четвереньках влезает в радиопалатку. Даю Шмидту журнал, чтобы он записал телеграмму. Шмидт и тут верен себе. Его первые слова:

— Товарищи, у меня большая радиограмма. Может ли Уэллен подождать?

Ну, конечно, может! Кто-то снимает с головы Шмидта шапку, мокрую от снега, сушит ее у камелька. Кто-то дает ему папиросу, спичку, чтобы он закурил, отдохнул, сосредоточился. При скудном свете фонаря Шмидт пишет свой краткий доклад правительству.

Работаем позывными «Челюскина». Но — обязательная форма; откуда радиограмма? Так рождается название нашей льдины — «Лагерь Шмидта».

Все это предшествовало знаменитой телеграмме, начинавшейся словами:

«13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях от мыса Уэллен „Челюскин“ затонул, раздавленный сжатием льдов...»

## Лагерь Шмидта

*Первый день. Правительственная комиссия. Для нашего спасения мобилизовано все. На собаках к лагерю Шмидта. Дисциплина, дисциплина, дисциплина! Газета «Не сдадимся». Заседание партийной ячейки. Штабная палатка. Как мы жили на льду. Правительственная радиограмма. Наши аэродромы. Рассказы Шмидта. Ляпидевский спасает женщин и детей. Лед ломает наш лагерь. Вместе с самолетами готовы в путь дирижабли. Болезнь Шмидта.*

Не знаю, был ли удовлетворен господь бог в первый день творения, но лица челюскинцев, вылезавших утром 14 февраля из спальных мешков, я видел собственными глазами. Оглядывая построенный за ночь палаточный город, мы не испытывали особого восторга. После уютных кают холодные палатки, где люди лежали друг на друге, никак не радовали. Однако никто не жаловался. Все прекрасно понимали — прошли только самые первые, самые трудные часы. Дальше должно быть легче. Наша судьба во многом зависела теперь от нас самих.

Конечно, еще находясь в дрейфе, мы знали, что угроза гибели висит над кораблем, как дамоклов меч. Понимая свое положение, мы готовились к самому неприятному. Теперь нужно было приспособиться к сложившейся ситуации, а это было совсем не просто...

Десяток кособоких палаток, шест, гордо именуемый радиомачтой, унылый самолетик и разбросанные там и сям грузы... Не очень весело.

Житейская мудрость гласит: что нельзя изменить, то надо терпеть.

Даже в трагических условиях было место для шутки и смеха. Наш старший помощник капитана Сергей Васильевич Гудин — подтянутый моряк, из своих сорока лет проплававший двадцать два года, отвечал за порядок на корабле. Эту обязанность Гудин выполнял с завидным педантизмом. Стоял хохот, когда Петр Ширшов рассказал о том, какими страшными глазами посмотрел на него Гудин, когда Петя, вместо того чтобы бежать кругом за какими-то очень нужными ему

приборами, недолго думая, разбил окно в каюте и достал все через выбитое стекло.

— И подумать только! Сознательно, преднамеренно разбить стекло каюты!

Не нужно было напрягаться, чтобы вообразить себе осуждающее выражение лица нашего строгого и непоколебимого в вопросах порядка Сергея Васильевича. А кто-то уже травил другую историю:

— Ребята, слышали, как наш стармех начудил? «Челюскин» тонет, а он вошел к себе в каюту, открыл шкаф, а там новенький заграничный костюм. Посмотрел он на него и закрыл шкаф: ну куда его брать на лед, помнется, запачкается. Спокойнее надеть старый!

Наше место даже в Арктике считалось глухим медвежьим углом. Надеяться на быстрое вызволение не приходилось. Отсюда вывод: сделать все возможное, чтобы не дать стихии прихлопнуть нас, как муху. На месте гибели корабля беспрерывно копошились люди, старательно извлекая все то, что возвратил океан. Среди нас были и плотники, и печники, и инженеры, но строительство оказалось нелегким. Мы имели опыт плавания, опыт дрейфа, опыт зимовок, но у нас не было опыта кораблекрушений. За отсутствием такового мы руководствовались, правда, по памяти, литературными источниками. Героям этих книг было легче. Робинзон Крузо, как известно, попал не на ледяное поле, а на тропический остров, где по воле Даниэля Дефо нашел много разной разности...

Оглядев утром, результаты ночной стройки-молнии, мы поняли, что годились наши сооружения очень не надолго. Не откладывая в долгий ящик, приступили к реконструкции.

Ох, эти реконструкции! Их пришлось производить несколько раз. В результате палатки, в которых поначалу не только стоять нельзя было, но и сидеть-то едва удавалось, стали превращаться в своего рода каркасные домики с брезентовыми стенами, утепленные снаружи снегом.

Льдина произвела известную переоценку и моей работы. Связь стала для нас еще более важным делом, чем на корабле. Вот почему радистов освободили от других обязанностей. У нас была одна задача: не выпускать из рук незримую нить связи с материком.

Москва, а за ней и весь мир знали о гибели нашего корабля. Сообщение о катастрофе с «Челюскиным» было опубликовано



молниеносно. 13 февраля мы затонули, 14-го передали первую телеграмму Шмидта, 15-го полный текст этой телеграммы появился на газетных страницах.

С подкупающей откровенностью Советское правительство опубликовало это сообщение, особенно грустное еще и потому, что пришло оно всего лишь недели через полторы после тяжкого известия о гибели на стратостате «Осоавиахим» товарищей Федосеенко, Васенко, Усыскина. Не успела утихнуть боль от одной трагедии, как надвинулась другая...

Борьба за сотню человеческих жизней началась без минуты промедления. Через несколько часов после сообщения Шмидта Валериан Владимирович Куйбышев поручил Сергею Сергеевичу Каменеву созвать совещание, чтобы срочно наметить планы организации помощи.

Выбор Куйбышева был не случайным. С. С. Каменев, председатель Реввоенсовета СССР и заместитель Народного комиссара по военным и морским делам, на протяжении многих лет занимался Арктикой и был большим ее знатоком. Еще весной 1928 года С. С. Каменев возглавляя инициативную группу, создавшую комитет Осоавиахима по спасению экспедиции Нобиле, а затем — по поискам пропавшего без вести Амундсена.

Через год Каменев — председатель комиссии по составлению пятилетнего плана освоения Арктики. Эта комиссия, в состав которой вошли крупнейшие ученые и полярники О. Ю. Шмидт, А. Е. Ферсман, В. Ю. Визе, Р. Л. Самойлович, Н. М. Книпович, Г. Д. Красинский, Н. Н. Зубов и другие, стала центром всех арктических дел, таких, как создание Арктического института в Ленинграде, составление пятилетнего плана освоения Арктики, координация деятельности разных учреждений, занимавшихся вопросами севера...

С. С. Каменев был неизменным участником всех больших дел, происходивших в Арктике.

Если к этому добавить, что под руководством С. С. Каменева были организованы экспедиции Г. А. Ушакова на Северную Землю и походы «Сибирякова», что С. С. Каменев был большим другом О. Ю. Шмидта, то станет ясно — лучшего помощника В. В. Куйбышев просто выбрать не мог.

По указанию Каменева первые наброски плана спасательных работ составил Георгий Алексеевич Ушаков. Совнарком СССР постановил организовать Правительственную комиссию. Ее возглавил заместитель председателя Совнаркома В. В. Куйбышев. В состав комиссии вошли Наркомвод Н. М. Янсон, заместитель Наркомвоенмора С. С. Каменев, начальник Главвоздухфлота И. С. Уншлихт и заместитель начальника Главного управления Севморпути С. С. Иоффе. Имена этих людей, занимавших весьма ответственные посты, свидетельствовали, сколь велики были полномочия комиссии.

Еще несколько часов — и комиссия начала действовать.

Однако даже для самой авторитетной комиссии десять тысяч километров, разделявшие Москву и лагерь Шмидта, были серьезным препятствием. Медлить было нельзя, было решено, прежде всего, использовать местные средства, сформировав на Чукотке Чрезвычайную тройку под председательством начальника станции на мысе Северном Г. Г. Петрова.

Радиограмма из Чукотского моря взволновала миллионы людей. Она появилась на первых полосах «Правды» и «Известий». Рядом с первой радиограммой Шмидта газеты опубликовали Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «Об организации помощи участникам экспедиции тов. Шмидта О. Ю. и команде погибшего судна „Челюскин“».

Быть может, найдутся скептики, которые скажут, что я взялся не за свое дело, что вместо того, чтобы подробно излагать то, что видел своими собственными глазами, я уделяю неоправданно, большое место тому, чего, находясь на льдине, разумеется, видеть никак не мог.

Разрешите не согласиться. Конечно, я видел далеко не все, но моя профессия радиста делала меня свидетелем (точнее, слушателем) очень многого.

Мы часто говорим: забота партии, забота правительства, внимание народа... Число таких выражений может быть увеличено без малейшего труда, больше того, от неумеренного употребления слова стираются и, воспринимаясь слухом и зрением, не всегда доходят до ума, до сердца.

Для меня лично история нашего спасения наполнила все эти привычные выражения большим содержанием, но, как ни странно, эта история по-настоящему, во всей полноте, еще не написана. Записанная

на газетных листах, она так и не перекечивалась в книги. Даже превосходный толстый том «Как мы спасали челюскинцев», созданный прямо по горячим следам событий и содержащий множество волнующих подробностей, не в силах претендовать на полноту изложения, так как рассказывает главным образом о подвиге семи летчиков, семи первых Героев Советского Союза.

Подвиг этих людей огромен, и я постараюсь написать о них все, что помню, тем более что с некоторыми из летчиков я очень подружился. Но, отдавая должное этим замечательным людям, оказавшимся на острие атаки, нельзя умолчать об огромной работе многих других, о стремительных и точных мероприятиях государства, сделавшего все, чтобы этот подвиг совершился.

Перечитывая старые документы, я хочу, чтобы теперь, почти четыре десятилетия спустя, люди среднего поколения — те, что тогда только бегали в школу или только родились, люди младшего поколения, тогда еще даже не родившиеся, знали об этом бессмертном подвиге, подвиге не одного человека, не десятка людей, а всего народа, всей страны, пославшей сотню людей на трудную работу и мобилизовавшей тысячи, чтобы выручить эту сотню из беды. Я был в числе тех, кого спасали. Мой долг рассказать о тех, кто нас спасал. Я был бы неоплатным должником своего народа, если бы не описал всю эту историю, если бы не опубликовал большую часть забытых и неизвестных подробностей, связанных с нашим спасением.

В Правительственную комиссию и в редакции газет приходило множество писем. Добровольцы отдавали себя в распоряжение комиссии. Молодые, сильные, тренированные, они готовы были на любой риск, на любые лишения ради нашего спасения.

Затем заработал неслыханный фонтан изобретательской фантазии. Рождалось множество разнообразных проектов, и хотя большинство этих проектов было в высшей степени утопично, не могу не вспомнить теплыми словами их авторов.

Один советовал сделать около лагеря огромную прорубь, чтобы в нее могла вынырнуть подводная лодка. Другой предлагал оснастить самолеты воздушными шарами диаметром 4–5 метров. По его мнению, такое комбинированное устройство должно было оказаться гораздо безопаснее обычного самолета при посадке на неровный лед. Третий рекомендовал использовать изобретенную им катапульту для

облегчения взлета самолетов со льдины. Поток проектов был воистину неиссякаемым. Конвейерный канат с корзинами для подъема людей на движущийся самолет. Танк-амфибия. Шары-прыгуны.

Спасибо вам всем, дорогие друзья. Время сделало свое дело. Из пылких юношей мы превратились в людей почтенного возраста, но и сегодня, вспоминая об этих, подчас наивных идеях, не надо их стыдиться. Все эти проекты, в том числе и самые невероятные, были порождены лучшими чувствами, а потому заслуживают уважения...

Итак, первые практические шаги предстояло сделать Чрезвычайной тройке. Это была одновременно большая честь и не меньшая ответственность. Положение Чрезвычайной тройки оказалось совсем не простым. Только два вида транспорта — собаки или самолеты могли стать реальным спасательным средством. Однако в краю, равном по площади двум Франциям, в краю, где жило всего лишь 15000 человек, и самый древний транспорт этих мест, и самый молодой были представлены весьма скромно. Чукотка располагала всего лишь несколькими самолетами. Н-4 летчика Ф. К. Куканова, закончив большую работу по вывозке пассажиров с зазимовавших судов, находился на мысе Северном с поврежденным шасси. Другие самолеты стояли в районе Уэллена. На одном из них экипаж А. В. Ляпидевского (второй пилот Е. М. Конкин, летнаб Л. В. Петров) первым добрался до лагеря Шмидта.

По предложению С. С. Каменева решено было приблизить самолеты к нашему лагерю. На собаках горючее с мыса Северного и из Уэллена повезли в Ванкарем.

Темпы спасательных работ иначе, как удивительными, не назовешь. Правительственная комиссия не успела довести до местных работников свои решения, а районные партийные и советские организации в Уэллене уже начали действовать. Организовывалась спасательная экспедиция: по льду на нартах с собачьими упряжками до лагеря Шмидта. Экспедицию возглавил метеоролог Н. Н. Хворостанский, начальник полярной станции Уэллен.

Все это стало известно, когда была получена следующая радиограмма:

«Организовали чрезвычайную комиссию, мобилизуем весь собачий транспорт. По предписанию районного комитета партии полагаю завтра выехать во главе организованной экспедиции на

собаках навстречу вам. В Лаврентии пурга. С прекращением пурги вылетят самолеты. Жду ваших распоряжений, дальнейших указаний.

Хворостанский».

По льду от материка до лагеря около 150 километров, но краткость расстояния была относительной, расстояние небольшое, но очень трудно преодолимое.

Вызвать нас на собаках или по воздуху? По этому поводу мнения расходились, и даже осторожный Шмидт, отвечая на радиogramму Хворостанского, поначалу считал его вариант вполне реальным.

«Так как самолетов еще нет, — передавал я Хворостанскому ответ Шмидта, — и наш аэродром может поломать, то, по-видимому, наиболее реальна помощь собачьими нартами, что вы начали готовить. Напоминаю только: необходимо взять с собой навигатора или геодезиста с секстантом, хронометром для определения пути, ибо ваши операции будут очень трудными. Надо сразу мобилизовать, возможно, больше нарт, в том числе в Наукане, Яндагае и других местах. Лучше выступить позже, но 60-ю нартами, чтобы закончить дело разом...»

Продиктовав ответ, Шмидт созвал нас на общее собрание, одно из самых незабываемых собраний моей жизни. Собралась сотня людей, закутанных с головы до ног и потому подчас просто неузнаваемых. Трибуна — льдина. Главный докладчик — начальник экспедиции Отто Юльевич рассказывает обо всем: и о том, что установлена связь с берегом, что готовится санная экспедиция и при первой же возможности к нам полетят самолеты.

Шмидт сообщает о мерах помощи, готовящейся в большом, далеком от нас мире, и формулирует то, что предстоит делать нам. Он говорит об организованности, дисциплине, любви и уважении друг к другу.

Главная идея речи ясна — в выпавших на нашу долю условиях мы обязаны, прежде всего, остаться настоящими советскими людьми.

Арктика знает немало трагедий, в которых смерть победила в результате разброда и разлада между людьми. Это самое страшное, когда расходятся мнения, образуются партии приверженцев того или иного варианта спасения. Грустная участь постигла американскую экспедицию на «Жанетте», погибшей в районе Новосибирских островов. Незадолго до революции произошла трагедия с экипажем

затертой во льдах «Святой Анны», когда штурман Альбанов покинул корабль и отправился в тяжелейший двухсоткилометровый поход на юг, к Земле Франца-Иосифа. Спокойно, без аффектации, Шмидт говорил нам обо всем этом. Такая огромная вера была у нас в этого человека, что чувство оторванности от всего мира отступило, мы оставались коллективом, который крепко спаялся за месяцы плавания и авралов.

Положение Отто Юльевича на этом собрании было нелегкое. Состав экспедиции выглядел пестро. Среди нас были ученые, не раз побывавшие в Арктике, опытные матросы, люди бывалые, неоднократно попадавшие в передряги, но были и люди сугубо сухопутные. Многие из них выросли и сформировались еще до революции.

Отто Юльевич произнес внезапно фразу, совершенно на него не похожую. Заканчивая свои размышления о железной дисциплине, он вдруг неожиданно жестко сказал:

— Если кто-либо самовольно покинет лагерь, учтите, я лично буду стрелять!

Мы прекрасно знали Отто Юльевича как человека, который не то чтобы стрелять, но и приказания свои отдавал как просьбы. И все же, наверное, эти слова были точны и своевременны. Они предельно точно сформулировали самое важное для всех нас: дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина!

Что же касается стрельбы, то она была лишь один раз, когда Погосов убил медведицу с медвежонком, обеспечив нас мясом. Единственный человек, кто ушел с собрания огорченным, был кинооператор Аркадий Шафран. Пасмурная погода и недостаток света не позволили ему снять это событие.

Верный своему профессиональному долгу, Шафран занудливо внушал Шмидту, что собрание надо обязательно повторить, только когда погода будет ясной. Чтобы не огорчать энтузиаста, Шмидт согласно кивал головой, хотя о повторении не могло быть и речи. Слишком много дел набегало каждый час, чтобы приносить такие жертвы на алтарь киноискусства. Первым из этих неотложных дел стало сооружение барака. Конечно, лучше было бы не тонуть, но когда это все же произошло, нельзя было не порадоваться, что с нами бригада строителей, так и не попавшая на остров Врангеля. Это были

профессиональные плотники, здоровые и крепкие, в руках которых топор так и играл. Мастерами своего дела они были отменными, но врать не стану — Шекспира они не читали.

На фоне этой бригады ее руководитель, инженер-путеец Виктор Александрович Ремов, резко контрастировал. Очень аккуратный, предельно вежливый, он уверенно командовал своими мастерами. Еще задолго до гибели корабля Ремову пришлось проявить себя, когда при первой же встрече со льдами наш корабль получил повреждения. Пока я передавал и принимал радиogramмы, в которых Шмидт советовался с Москвой, как поступить: идти дальше или же вернуться, Ремов со своими плотниками укреплял корабль изнутри. Таким образом, на классический вопрос «быть или не быть» в известной степени ответил положительно своими действиями наш Виктор Александрович Ремов.

При погружении корабля были перерублены канаты, державшие строительный материал. Когда «Челюскин», встав дыбом, ушел под лед, большая часть строительных материалов всплыла и досталась нам в наследство.

Правда, чтобы получить это наследство, потребовалась каторжная работа. Торошение продолжалось и после гибели корабля. Доски и бревна в хаотическом беспорядке перемежались с кусками льда. Вытаскивать их из этой каши было делом нелегким. Приходилось колоть лед, который зажимал всю эту вермишель.

Расчистили место, и строители приступили к сооружению барака. Никаких проектов, чертежей, утвержденных в соответствующих инстанциях, конечно, не было. Бревна, поелику возможно, не пилили. Длина бревен и брусков во многом определила размеры барака.

Такая стройка требовала изобретательности и находчивости. Отдел технического снабжения нашей льдины не всегда мог предоставить строителям полную номенклатуру необходимых материалов. Никого не смутило отсутствие оконного стекла. Когда дело дошло до остекления, в ход были пущены смытые фотопластинки и бутылки, которые выстраивали, прижимая, друг к другу в оконных проемах, а зазоры между бутылками и бревнами конопатили всяким тряпьем, какое только подворачивалось под руку.

Одновременно с сооружением барака, чуть в стороне, плотники строили камбуз.

Другой, не менее важной работой, выпавшей на нашу долю, стало строительство аэродромов. Забота об их изыскании и оборудовании началась задолго до гибели корабля, после того как группа Ляпидевского была нацелена на снятие людей с дрейфующего корабля. Пожалуй, слово «аэродром» звучит чересчур громко для пятачка размерами сто пятьдесят метров на шестьсот, но сил на изыскание и поддержание в надлежащем виде эти пятачки требовали много.

Изыскать аэродром мог человек авиационно-грамотный. Эту работу поручили Бабушкину. Каждая новая передвижка льдов, а они возникали здесь часто, превращала гладкие поля в ледяной хаос, меньше всего пригодный для посадки такого тонкого аппарата, как самолет.

Найденные площадки держались недолго. Лед буйствовал и ломал их. Число изыскателей аэродромов нужно было увеличить. Бабушкин подготовил группу людей, которые, разойдясь в разных направлениях, смогли бы в кратчайший срок выполнить поставленную перед ними задачу.

Один из аэродромов, найденный за день-два до гибели «Челюскина», и стал первым аэродромом ледового лагеря.

Этот чертов пятачок, находился довольно далеко от лагеря. По утрам туда отправлялась первая рабочая партия, в середине дня выходила вторая смена.

Работа была адская. Если лед сжимался и его торосило, то образовавшиеся валы приходилось срубить, а затем на фанерных листах — волокушах растаскивать в стороны. Если же возникали трещины, то на тех же волокушах нужно было срочно тащить лед, чтобы законопатить трещины.

Поскольку все время стояли сильные морозы, то на протяжении считанных часов все опять схватывало, и наш пятачок, гордо именуемый аэродромом, снова был готов принимать самолеты. Никто не знал, когда эти самолеты прилетят, но готовым к их приему нужно было быть каждый день, каждый час.

Наши аэропорты были недолговечны. Пришлось создать специальную аэродромную команду. Она состояла из механиков Погосова, Гуревича и Валавина. Жили наши аэродромщики на своем хуторе. На случай, если бы внезапно возникшие трещины отрезали их



от лагеря, они имели аварийный запас питания и сами готовили себе пищу.

С первых же дней делалось все необходимое, чтобы принять помощь Большой земли. Все, что происходило на льдине, интересовало не только наших родных и близких. После гибели «Челюскина» жизнь лагеря на льдине интересовала весь мир. Вот почему после тяжелой работы вели свои записи журналисты, делал рисунки художник Решетников, продолжали вести съемку кинооператор Шафран и фотограф Новицкий. Пресса и кино не обижали нас своим вниманием, но мы обижали прессу. С первых дней нашего пребывания на льдине пришлось очень экономить аккумуляторы — настолько, что ни одной частной радиogramмы не было передано ни в лагерь, ни из лагеря. Исключений не делалось. Как мы ни уговаривали Шмидта послать хотя бы пять слов приветя сыну в день его рождения, Отто Юльевич категорически отказался.

Журналисты, оказавшиеся среди нас, скрипели зубами от злости. Шутка ли, сидеть на информации, которую жаждал получить весь мир, и не иметь возможности эту информацию передать! Но иного выхода просто не было. Порвать ниточку связи ради газетчиков? Такой роскоши мы не могли себе позволить.

А там, в Москве, далеко от нас, газетный мир продолжал жить своей привычной жизнью. Во всех редакциях готовились к выезду в Арктику журналисты — и не те наивные молодые люди, с головы до ног обвешанные оружием и фотоаппаратами, какие подчас отправлялись на Север. В редакторские кабинеты вызывали самых опытных, самых умелых, чтобы отправить их поближе к нам, поближе к информации, которую так трудно было заполучить в Москве.

Опыт бывалых редакторов подсказывал — надо пустить вперед асов журналистики. Их ждет большая и очень важная работа. Такой вывод был логичен и точен.

Пока журналисты точили перья, не имея еще возможности размахнуться во всю ширь, начала свои информации Правительственная комиссия. Она регулярно публиковала коммюнике, появлявшиеся в печати за подписью Куйбышева. Комиссия стала центром, куда стекалось все, что делалось для нашего спасения.

В первом же сообщении Правительственной комиссии было сказано, что весь обширный арктический аппарат включился в

спасательные работы.

«Всем полярным станциям, — заканчивал сообщение товарищ Куйбышев, — предложено вести непрерывное дежурство по приему радиogramм т. Шмидта и передавать их вне всякой очереди. Полярным станциям восточного сектора предложено четыре раза в сутки давать сводки о состоянии погоды, положении льда и подготовке, как транспорта, так и организации промежуточных продовольственных и кормовых баз в направлении от станции к месту нахождения лагеря. Радиосвязь с т. Шмидтом поддерживается непрерывно».

Был введен специальный разряд радиogramм под кодовым названием «Экватор». «Экватор» шел вне всякой очереди, пробивая всевозможные заторы.

Это был большой аврал, в котором принимала участие вся Арктика. Несмотря на широкий размах, и этот аврал был только началом, причем началом с немалыми трудностями...

Старая поговорка «первый блин комом» довольно быстро получила еще одно подтверждение при организации нашего спасения. Сторонники и противники похода к лагерю на собаках не долго спорили. Уже на следующий день после гибели корабля увлеченный идеей санного броска Хворостанский мобилизовал 21 упряжку и двинулся в путь, с расчетом мобилизовать остальные 39 упряжек по дороге.

Против этого похода очень возражал пограничник Небольсин, большой знаток собак и опытный в использовании этого транспорта человек. Он считал поход Хворостанского делом опрометчивым. Мобилизация 60 упряжек грозила оставить чукчей без охоты, а это означало голод.

Хворостанский двигался четыре дня. На пятый день Небольсин догнал собачий караван и передал распоряжение председателя Чрезвычайной тройки Петрова прекратить экспедицию. Одним словом, санный вариант (сидя на льдине, мы об этом ничего не знали) отодвинулся на второй план. На первое место вышла авиация.

Тем временем, пока нащупывалась генеральная линия нашего спасения, жизнь в лагере Шмидта шла своим чередом. Постепенно все становилось на свои места.

После общего собрания родилась лагерная газета с гордым названием «Не сдадимся». Мы действительно не хотели сдаваться, что

сразу же почувствовалось в величайшей творческой активности всех корреспондентов нашей газеты с адресом «Чукотское море, на дрейфующем льду».хлопотало у газеты много народа, и первый номер (а всего их было выпущено три) вышел на славу.

«Эта газета, выпускаемая в такой необычной обстановке — в палатке на дрейфующем льду на четвертый день после гибели „Челюскина“, является ярким свидетельством бодрости нашего духа. В истории полярных катастроф мы мало знаем примеров, чтобы столь большой и разнохарактерный коллектив, как „челюскинцы“, встретил момент смертельной опасности с такой величайшей организованностью», — писал в передовой нашей стенгазеты один из ее редакторов Сергей Семенов.

«Мы на льду. Но и здесь мы — граждане великого Советского Союза. Мы и здесь будем высоко держать знамя Республики Советов, а наше государство о нас позаботится». Это из статьи Шмидта, опубликованной в том же самом первом номере «Не сдадимся».

Самые разные авторы, самые разные корреспонденции. Если Федя Решетников нарисовал для газеты картинки, на которых морж, медведь и тюлень требовали от Шмидта предъявления паспорта с пропиской на льдине, а на другом рисунке, не уместаясь по габаритам в палатке, был изображен лежащим на снегу я с радиопередатчиком, то другие авторы, опубликовали в той же газете корреспонденции весьма серьезные. «Отдел информации» сообщал об организации Чрезвычайной тройки под председательством Петрова, а «отдел науки» в лице Гаккеля предлагал выжигать и вырезать на всех поддающихся тому предметах надпись «Челюскин, 1934», Гаккель подходил к своему предложению как ученый, считая, что при дальнейшем дрейфе эти деревянные предметы дадут исследователям еще одну порцию информации. Что же касается другого ученого — Хмызникова, то он разразился обстоятельным сочинением о судьбах полярных экспедиций, попадавших в положение, сходное с нашим.

Я не случайно описываю нашу стенную газету с такими подробностями. Мне хочется, чтобы читатель почувствовал сыгранную ею роль.

Вопросам морального состояния обитателей льдины руководство экспедицией и партийная организация уделяли огромное внимание. Сохранить твердость духа в наших условиях было не менее, а скорее

более важно, чем физические силы, которых в условиях полярной робинзонады требуется немало.

18 февраля собралось на свое первое заседание партийное бюро. Сохранился протокол, равно как и рисунок Федора Решетникова, изобразившего это заседание в одной из палаток, при свете фонаря «летучая мышь». Вопрос стоял один — «Сообщение О. Ю. Шмидта».

«О. Ю. Шмидт, — написано в протоколе, — начинает с того, что с большой гордостью отмечает организованность, дисциплину, выдержку и мужество, проявленные всем коллективом челюскинцев в момент катастрофы. Очень разнообразный по своему составу коллектив, тем не менее, показал себя сплоченным в ответственный момент экспедиции».

Шмидт квалифицировал такое поведение коллектива как акт высокой сознательности, объяснив его в значительной степени той работой, которую проводила партийная организация экспедиции. Еще до выхода «Челюскина» в море Шмидт обратился в Ленинградский транспортный институт с просьбой выделить группу студентов старших курсов, толковых, честных и инициативных коммунистов, которые стали бы партийным ядром экспедиции. Пожелание Шмидта было удовлетворено, и в состав нашей экспедиции попал ряд хороших, умных и энергичных людей, для которых поход стал не только отличной производственной практикой, но и серьезным жизненным экзаменом.

После гибели корабля коммунисты были распределены по всем палаткам лагеря и во многом способствовали поддержанию бодрости духа и дисциплины.

Не следует думать, что все с первого до последнего дня дрейфа было безупречно гладким. Случались и у нас срывы, умолчать о которых было бы нечестно, хотя были они так ничтожно малы и случались так редко, что иной начальник просто предпочел бы закрыть на них глаза, чтобы «не портить общего впечатления», но не таков был Шмидт, не так смотрели на дело члены партийного бюро. Вот почему заседание партийного бюро, происшедшее 18 февраля, оказалось бурным и страстным.

Факты, ставшие предметом оживленных споров наших коммунистов, действительно были не из крупных: один-два человека при разгрузке тонущего «Челюскина» отдали предпочтение личным

вещам по сравнению с экспедиционным имуществом, которое для блага дела надо было спасти, прежде всего. Другие два человека при погрузке продуктов прихватили по паре банок консервов, которые, впрочем, без звука возвратили в общий котел по первому же требованию. Ну, и, наконец, последнее ЧП случилось в день самого собрания. В ожидании самолета Ляпидевского, который, к слову сказать, в тот день так и не сумел прорваться в лагерь, один из участников похода пытался переправить на аэродром свой заграничный, патефон, которым очень дорожил, чтобы вывезти его на Большую землю.

Каждый факт сам по себе невелик, но тенденция выглядела до крайности опасной. Вот почему, не сговариваясь, друг с другом, члены партийного бюро требовали суровых мер, и, когда Шмидт предложил организовать над провинившимися «суд палатки», его предложение, несмотря на высокий авторитет нашего начальника, большинством было отвергнуто.

Наказали их иначе. В здании барака, где происходил товарищеский суд, собрались все члены экспедиции. Провинившимся было стыдно. Самый суровый приговор вынесли владельцу патефона: «При первой же возможности выслать самолетом в числе первых».

Ничего похожего за трудные два месяца существования ледового лагеря в нашей жизни больше не было.

Палатки были поставлены так, что вскоре пришлось заниматься их реконструкцией. Штабная палатка, в которой размещалась радиостанция, не стала исключением. Конечно, в таком виде, в каком ее воздвигли с ходу после катастрофы, она была в высшей степени не комфортабельной.

Облик палатки с низко провисшим потолком прочно врезался в память. По ночам мы не топили. К утру иней, в который превращалось дыхание, белоснежной лапшой украшал палатку и делал наше жилище особенно впечатляющим.

Шмидт поначалу поселился отдельно в крохотной палаточке, путешествовавшей с ним еще в альпинистских походах по Памиру, но его одиночество было недолгим. Начальнику экспедиции удобнее жить рядом с той ниточкой связи, которую держали в руках мы, радисты, да к тому же у нас было теплее, и Отто Юльевич переехал в штабную палатку.

Написав о маленькой палаточке Шмидта, я не хочу, чтобы читатель подумал, что штабная палатка была эдаким палаццо. Большой и комфортабельной она была лишь относительно. На полу набросаны брезенты, какие-то тряпки, на них положена фанера. О том, чтобы встать в полный рост, и думать не приходилось. Посетители (а их в связи с переездом начальника экспедиции стало много) вползали в палатку согнувшись, разогнуться уже не могли. Так на коленях они приползали к Шмидту для докладов. Зрелище было неповторимым. Бородатый Отто Юльевич сидел по-турецки и слушал коленопреклоненных визитеров, словно восточный владыка, по какому-то недоразумению разместившийся не в роскошном дворце, а в скверненькой холодной палатке. Поскольку на льдине предстояло провести явно не один день, проблема комфорта сразу же стала жизненно важной. Каждая палатка — а сбились в палаточные коллективы люди, главным образом, по профессиональным признакам, образовав сообщества научных работников, кочегаров, машинистов, матросов, — старалась обогнать соседей в удобстве быта. Чем удобнее жить, тем легче работать. Отсюда стремление к усовершенствованию.

Палатки стали ставиться на деревянных каркасах и несколько вкапывались в лед, чтобы уменьшить выдувание самого драгоценного для нас на льдине — тепла. В этом отношении многие наши палаточные коллективы весьма преуспели. Кое-где появилась даже возможность стоять в полный рост, а у некоторых были устроены даже две «комнаты». И, наконец, — это было нашей гордостью — удалось построить самое монументальное здание — наш знаменитый барак, куда немедленно переселили слабых, больных, женщин и детей.

Строители воздвигали для камбуза крытое помещение. Самое интересное заключалось в кухонном оборудовании, которое изготовили наши механики. Из двух бочек и медного котла удалось скомбинировать устройство, которое один из челюскинцев назвал союзом суповарки и водогрейки.

Экономичность этого союза оказалась выдающейся. После того как топливо отдавало тепло суповарке, продукты сгорания уходили в дымоход, растапливая по пути лед, приготавливая необходимую пресную воду.

Так постепенно накапливался опыт, заметно облегчивший наше существование. Возникла угроза — недостаток топлива. Двадцать

мешков с углем не могло хватить надолго. Решили и эту проблему.

Отопление на самом высоком уровне устроил Леонид Мартисов — человек, про которого хочется говорить с огромным уважением, и хотя слова «золотые руки» звучат банальным затрепанным штампом, других для определения его мастерства не подберешь. Наверное, я, как старый «кастрюльщик», перепаявший и перечинивший много всякой рухляди в годы военного коммунизма, более чем кто бы то ни было, оценил уровень профессионального мастерства этого человека и его товарищей.

Первая проблема, с которой столкнулся Леонид Мартисов и его помощники, — инструмент. Вернее, отсутствие инструмента, так как, подобрав все, что можно было подобрать, бригада Мартисова располагала молотком, коловоротом, двумя обломками сверла, швейными ножницами и большим ножом. Согласитесь, что для серьезной работы этого было маловато, а почти полное отсутствие надлежащих материалов существенно снижало и без того невысокие шансы на успех. Если плотники еще могли в какой-то степени рассчитывать на то, что их материал всплыл или всплывет, то металл, с которым предстояло работать Мартисову, начисто исключал такого рода возможность.

Несовпадение желаний и возможностей грозило бригаде Мартисова катастрофой. Пока наши механики размышляли, где добыть инструмент и материал, лагерь требовал продукции — нужно было срочно изготовить дымовые трубы, необходимые и для строящегося барака и для камбуза. Времени для поисков и размышлений практически не оставалось.

Артистическое владение профессией позволило Мартисову, быстро приспособившись к обстановке, выполнить и это, и многие другие задания. Мартисов обладал редкостным талантом. Он делал все из ничего. Воспользовавшись частями раздавленных шлюпок, неработающих моторов, он сделал множество полезнейших и нужнейших вещей, в том числе и великолепное отопление в нашей палатке.

Мастер брал медную трубку, иглой (другого инструмента у него просто не было) пробивал несколько дырочек. Получалась самодельная форсунка. Снаружи ставил бочку с горючим. Через эту самодельную форсунку топливо текло в камелек, маленький чугунный

камелек, какие обычно ставят в товарных вагонах при перевозке людей.

Появление отопительной системы меня очень обрадовало, и не потому, что я боялся холода. Холода боялась радиоаппаратура. Аппаратура находилась в плохих условиях. У задней стенки палатки был сделан узенький столик, сколоченный из неструганных досок. Под столом аккумуляторы, на столе передатчик и приемник. Сверху спускался на проволоке керосиновый фонарь.

Стол был священным местом, и я свирепо огрызался, если кто-нибудь осмеливался ставить на него кружки с чаем или консервные банки.

Радиоаппаратуре досталось значительно больше того, что предусматривали ее проектные возможности. Ночью температура падала ниже нуля. Утром, когда загорался камелек, аппаратура потела. Неудивительно, что она пыталась бастовать.

Приходилось осторожненько разбирать приемник и сушить его потроха подле камелька. В такие минуты разговаривать со мной не рекомендовалось. Я походил на бочку с порохом. Ковыряясь в приемнике и передатчике, я бурчал себе под нос всякое. Сознывая опасность остаться без связи, Шмидт наблюдал за моими деяниями молча, ни единым словом не прерывая сердитых монологов. Конечно, я очень ценил эту чуткость Отто Юльевича.

Даже спал я рядом с аппаратурой, прикрывая телом бесчисленные провода и проводочки.

С не меньшим старанием берег я и радиоаппаратный журнал, куда записывались все исходящие и входящие радиogramмы. Журнал хранился у меня под головой, как документ секретный, требующий круглосуточной охраны. Некоторые новости, поступавшие извне, не подлежали широкому опубликованию, ведь многочисленные предприятия по нашему спасению не всегда проходили гладко, а если приятные вещи тотчас же шли в широкое обращение, то о временных неудачах Шмидт иногда предпочитал умалчивать.

Все это было обычным делом. Как существует врачебная тайна, так и для нас, радистов, существовала тайна корреспонденции, особенно такой острой, как переписка по организации нашего спасения.



День начинался рано. По установленному порядку вставать надо было к шести часам утра. Это был час первого разговора с Уэлленом. В половине шестого, ежась от холода, поднимался Сима Иванов. За ночь температура в палатке обычно падала и к утру мало отличалась от наружной. Иванов разжигал камелек, ставил на огонь самодельное ведро со льдом, чтобы приготовить воду. Вторым, за три-четыре минуты до шести часов, вскакивал я. Сразу же садился за передатчик. Уэллен всегда был точен, так что вызовов повторять не приходилось.

Затем пробуждались все остальные, и в палатку начинали врываться последние известия лагерной жизни. Воронин докладывал Шмидту о видимости, состоянии льда, трещинах и торосах. Комов представлял сводку погоды. Бабушкин сообщал аэродромные новости. Хмызников приносил новые координаты. Одним словом, поток информации разрастался и, достигнув максимума, снижал. В полдень повара кормили обедом. Ожирение не грозило нам. Обед обычно состоял из одного блюда. В ход главным образом шли консервы и крупы.

В три часа дня завхоз начинал выдавать сухой паек на следующий день — сгущенное молоко, консервы, чай, сахар и 150 граммов галет, — таков был наш рацион.

В 4 часа 30 минут палатка наполнялась народом. Сюда подтягивался весь штаб экспедиции. С материка шли тассовские сводки, передававшиеся специально для нас. Из них мы узнавали все новости — международные, общесоюзные и новости по организации нашего спасения.

18 февраля во втором сообщении Правительственной комиссии сообщалось: «Принимаются меры по отправке в бухту Провидения дополнительно двух самолетов из Камчатки и трех из Владивостока, что обычно связано в это время года с очень большими трудностями».

Вечерами — неизменное домино. Шмидт, Бобров, Бабушкин, Иванов занимали всю палатку, и мне оставалось лишь одно — уходить в гости. «Иду в гости» означало, что я отправляюсь спать. Я забирался в одну из палаток, выискивал свободное место и засыпал.

Иногда заходил в палатку научных сотрудников. Там играл патефон. Занятно было в скудно освещенной палатке, среди заросших дикими бородами чумазых жителей лагеря слушать голос Жозефины Беккер.

Все это происходило в тихие, нелетные дни. В летные дни «ходить в гости» не приходилось. Я и обедал урывками между двумя переговорами, часто не снимая наушников. Связь требовалась каждые четверть часа, до позднего вечера или до того, когда с берега сообщали, что вылет откладывается. Случалось, что нам сообщали о вылете самолета. Женщины и дети одевались и шли к аэродрому, но тут же поступал отбой: самолет вернулся.

Кто-кто, а мы-то уж эти трудности понимали. В Петропавловск-на-Камчатке полным ходом шел пароход «Сталинград», чтобы, погрузив на борт самолеты, продвинуть их предельно далеко на север. Во Владивостоке грузился углем, продовольствием, арктическим имуществом и самолетами другой пароход — «Смоленск», на котором отправлялись в путь Каманин и Молоков. В Америку для закупки самолетов «Консолидейтед Флейстер», которым также предстояло включиться в спасательные работы, выехал полномочный представитель Правительственной комиссии Г. А. Ушаков с летчиками С. А. Леваневским и М. Т. Слепнёвым. Одновременно нашему полпреду, как называли тогда послов, в Соединенных Штатах Трояновскому было послано указание: приложить все усилия для быстрых и эффективных переговоров, которые предстояло провести Ушакову.

Размах спасательных операций привлек к себе большое внимание зарубежной прессы. «Дело спасения, — писала английская газета „Дейли Телеграф“, — будет находиться в прямой зависимости от выносливости пострадавших и той быстроты, с какой спасательная экспедиция сможет до них добраться. Пока обе стороны сносятся по радио». Немецкая газета «Берлинер Тагеблат» была куда категоричнее: «У них хватит пищи, чтобы прожить, но долго ли они будут жить?» Ей вторила другая фашистская газета «Фольксштимме»: «Кажется, следует ожидать новой арктической трагедии. Несмотря на радио, на самолет и другие достижения цивилизации, в данное время никто не может помочь этой сотне людей в течение всей арктической ночи; если природа не придет к ним на помощь — они погибнут».

Нет, природа не спешила прийти на помощь. Скорее — наоборот. За счет ветров, морских течений, положение наше оказалось слишком неустойчивым, чтобы жить без опаски за завтрашний день. Первые

дни природа была сравнительно милостива, но мы понимали — благодушия хватит ненадолго, а потому готовились к худшему.

Уже через неделю, 21 февраля, выяснилось, сколь зыбок фундамент лагеря.

Неприятности начались с утра. Первыми заметили их те, кто пришел разбирать лес, всплывший на месте гибели. Трещина шириной 15–20 сантиметров, открывшаяся глазам собравшихся, выглядела безобидной, но безобидность была кажущейся. Примерно часов в 10 утра раздался треск. Океан пошел в атаку, и черная полоска побежала туда, где ее меньше всего ждали — прямехонько к лагерю. Первым подвергся нападению лес, с таким трудом выловленный из ледяной воды. Бревна начали снова падать в воду. Пришлось срочно оттаскивать их от краев, но это было только начало. Создалась угроза складу продовольствия. Его защита была организована мгновенно и в жарком аврале мы быстро перебросили продукты подальше от опасного места. Впрочем, и этого трещине словно показалось мало. Она оторвала стенку камбуза, прошла под одной из мачт антенны. За время существования лагеря трещина смыкалась и размыкалась более двадцати раз. Легко догадаться, что большого удовольствия никому из нас это не доставляло.

Появились первые сообщения о подготовке к походу ледореза «Литке» и ледокола «Красин». Надо заметить, что это был сложный шаг. Оба корабля, изрядно истрепанные полярной навигацией, требовали серьезнейшего ремонта. К тому же «Красин» находился в доках Кронштадта, и для того, чтобы оказать нам помощь, должен был совершить кругосветное путешествие.

Тогда мы этого не знали, но позднее стало известно, что Валериан Владимирович Куйбышев обратился за помощью к Сергею Мироновичу Кирову, возглавившему ленинградскую партийную организацию, со следующей телеграммой:

«В Ленинграде стоят на ремонте ледоколы „Ермак“ и „Красин“. Положение экспедиции Шмидта таково, что окончательное спасение всего состава экспедиции может растянуться в связи с дрейфом льдов до июня и дольше. Если принять меры к срочному ремонту „Ермака“ и „Красина“, то они смогли бы сыграть решающую роль в деле спасения Шмидта и ста человек его экспедиции... Прошу детально ознакомиться с этим делом и поднять на ноги всю партийную

организацию и массы рабочих для срочного ремонта „Красина“, имея в виду, что, быть, может, от этого будет зависеть спасение героев Арктики».

Этот шаг Правительственной комиссии одобрил и президент Академии наук СССР, председатель Полярной комиссии А. П. Карпинский. «Если до наступления тепла, — сказал он, — не все челюскинцы будут доставлены на берег, „Красин“ заберет тех, кто останется на льду. Посылка „Красина“ — мудрая страховка на этот случай».

Коммунисты и беспартийные рабочие поняли, сколь ответствен труд, который им предстоит. Закипела жаркая работа, ставшая еще одной гранью того великого подвига, который совершала страна. 27 февраля Шмидт получил радиogramму. Все собрались вечером в бараке. Со всех сторон вопросы:

— Эрнст, что случилось, почему нас собрали?

— Есть кое-какие новости. ТАСС подготовил специальный обзор «Сводка ТАСС для челюскинцев»...

Отвечал как можно равнодушнее, чтобы усилить эффект сюрприза, но наши проницательные Пинкертоны догадываются:

— Старик, ты что-то темнишь!

Развожу руками, пытаюсь перевести разговор на другие темы — не отступают. В этот момент в барак входит Отто Юльевич, и разговоры прекращаются. Уф! можно, наконец, вздохнуть спокойно.

Шмидт зачитывает несколько телеграмм о подготовке авиационных дел, затем о ходе ремонта «Красина» и, наконец, самое главное, из-за чего был собран коллектив.

«Лагерь челюскинцев, Полярное море, начальнику экспедиции Шмидту.

Шлем героям-челюскинцам горячий большевистский привет. С восхищением следим за вашей героической борьбой со стихией и принимаем все меры к оказанию вам помощи. Уверены в благополучном окончании вашей славной экспедиции и в том, что в историю борьбы за Арктику вы впишете новые славные страницы.

Сталин, Молотов, Ворошилов, Куйбышев, Орджоникидзе, Каганович».

Раздается такой взрыв аплодисментов, такое дружное «ура», что, кажется, закачались даже стены барака. Затем полетел в эфир наш

ответ:

«Полярное море, 28 февраля.

С непередаваемым восторгом экспедиционный состав и экипаж „Челюскина“ заслушали приветствие руководящих членов ЦК ВКП(б) и правительства...

В лагере челюскинцев, на льду, не ослабла энергия. Мы знаем, что наше спасение организуется с истинно большевистскими энергией и размахом, мы спокойны за свою судьбу, но не сидим без дела. Насколько возможно, продолжаются научные работы, упорно строим и улучшаем наш лагерь, чтобы пребывание на льду было достойно советской экспедиции...»

Строительство аэродромов было главной нашей работой. Требовала эта работа бездну сил. Все прекрасно понимали: в любой час надо быть готовыми к приему самолетов.

Работа была тяжелой. Усилий аэродромной команды явно не хватало. Расчистка аэродрома входила в обязательное трудовое расписание всего личного состава.

Океан играл с нашей льдиной, то, сжимая, то, отпуская ее. Отсюда — трещины и торосы. Трещины надо было срочно конопатить снегом и льдом, чтобы они поскорее смерзлись, торосы — срубить. Прибавилась еще бурлацкая работа. В связи с опасностями, порожденными трещинами, мы решили перевезти на аэродром наш самолет. Всеобщий любимец механик Жора Валавин трогательно, мобилизовав на подмогу наших плотников, починил свою «шаврушку». Заклеивали ее столярным клеем, а когда не хватило ремонтных материалов, реквизировали у женщин английские булавки.

Четыре километра потребовали, прежде всего, строительства дороги. Чтобы открыть путь огромным саням, на которые погрузили «шаврушку», челюскинцы срубили ропаки, а затем, впрягшись в бурлацкие лямки, потащили амфибию к летному полю. Два с половиной часа тяжелой работы открыли возможность двум людям — Валавину и Бабушкину покинуть наш лагерь. Они благополучно долетели до мыса Ванкарем на английских булавках и могли гордо сказать, что были единственными челюскинцами, которых никто не спасал.

Погосов застрелил медведицу с медвежонком, обеспечив нас свежим мясом — продуктом, которого явно не хватало.

К слову сказать, для одного из челюскинцев это событие обернулось большой неприятностью. Полярники знают, как опасна печень белого медведя, и лучше ее, но есть. Иногда люди заболели, а иногда, как говорят медики, наступал летальный исход. Белопольский слушал эти рассказы и посмеивался. Наш юный самоуверенный биолог считал их сказками, и, когда Погосов подстрелил медведицу, Белопольский, чтобы доказать, как побеждаются предрассудки, съел печень.

Последствия оказались пренеприятнейшими. Белопольский пожелтел. Все тело стало у него ярко-желтого цвета. С лица, рук, спины лохмотьями стала слезать кожа. Сильнейшее отравление было бесспорным.

Больных, равно как женщин и детей, надо было вывозить в первую очередь. Однако составление списка очередности на посадку оказалось делом хитрым и деликатным. С большой обидой пришли наши женщины к Шмидту.

«Отто Юльевич, почему намечено нас всех отправить в первую очередь? А где конституция, где равноправие?»

«Дорогие женщины, все же разумнее будет переправить вас на материк в первую очередь. Не, обижайтесь, возьму уж этот грех на свою душу».

Во вторую очередь попали больные и пожилые люди, затем все остальные.

Теперь лагерь жил уже более или менее устоявшейся жизнью.

Рассказ был бы неполным, если не обрисовать роли Шмидта как одной из главнейших фигур в жизни лагеря. О чем только не беседовал с нами наш начальник! Он читал лекции о диалектическом материализме, о германском империализме, о возникновении итальянского фашизма; политические и философские доклады чередовались с рассказами о скандинавской мифологии, творчестве Гейне, истории монашества в России... Одним словом, всего не перечтешь. Когда мой сосед по штабной палатке Володя Стаханов составил список тем, которых касался в своих сообщениях Отто Юльевич, то в этом списке оказалось около сорока названий.

Отто Юльевич любил играть в домино и преферанс. Единомышленники набивались в нашу малюсенькую палатку. Все сидят по-турецки — вместо стола фанерный лист. Игроки зверски

мешали моей работе по связи, и я их ненавижу тихой ненавистью. На всю жизнь я остался непримиримым врагом козлогонимов и преферансистов.

Зато рассказы доставляли нам неизменное удовольствие.

Библиотека наша не могла похвалиться изобилием. Удалось спасти всего несколько книг, и они были нарасхват. Одна из них, кочуя по палаткам, читалась вслух и к тому же помногу раз, неизменно доставляя аудитории огромное удовольствие. Это был томик Пушкина. Особым успехом пользовался «Медный всадник». Описание наводнения, вероятно, ассоциировалось с горестями и невзгодами, выпавшими на нашу долю.

Заканчивался очередной день. Мы расползались по своим мешкам, и каждый надеялся: быть может, завтра в лагерь прилетит самолет.

Эти ожидания скрашивались передачами из Уэллена, которые вела наша славная милая Любочка. Из окна ее радиостанции был хорошо виден аэродром. И вот с утра начиналось...

В семь часов Люда сообщает: «Один мотор запущен». Через полчаса: «Запущен второй мотор...» Еще через несколько минут: «Один мотор как будто работает плохо». Еще через четверть часа: «Один мотор стал давать перебои и остановился. Второй летчики остановили сами. Слушайте нас через час...»

Через час все начинается сначала. Люда радостно сообщает: «Опять пущены моторы. Самолет рулит по аэродрому, делает пробежку...»

Затем Любочка неожиданно скисает: «Ах, нет, подождите! Почему-то он остановился...»

Почему остановился, Люда не знает. Аэродром далеко. На радиостанцию никто не приходит. Люда может радировать только о том, что видит. Неожиданно ее известие звучит как выстрел: «Самолет пошел в воздух... Скрылся из вида...»

В лагере радость. Очередная партия собирается на аэродром. Назначаем еще один разговор с Уэлленом, еще одну проверку — не вернулся ли самолет. Мы проверяли положение дел до тех пор, пока не получали известия, что самолет возвратился обратно. Так происходило двадцать восемь раз. Двадцать восемь безуспешных попыток сделал Ляпидевский, пытаясь пробиться к нам.

Такие дни выматывали. Ждешь, волнуешься, напрягаешься — и никакого результата. Что говорить, неприятно. На фоне этого неприятного особенно приятным выглядела постоянная готовность Люды помочь нам, насколько у нее только хватало сил.

Людочка Шрадер отличалась тем, что всегда, даже без особой просьбы, сообщала все новейшие сведения. Ей, бедняжке, приходилось на своих плечах выносить всю тяжесть бешеной работы. У Люды были дни, когда она работала с двенадцатью радиостанциями.

Жилой дом в Уэллене располагался далеко от радиостанции. Времени, чтобы ходить на ночлег, просто не оставалось. Люда урывками спала, втиснувшись на тощем матрасике между печкой и радиопередатчиком.

Наконец наступил день, которого мы так долго ждали. 5 марта было холодно. Термометр показывал около сорока, когда вскоре после обычной информации — о сборах и вылете, которую передавала Люда, на сигнальной вышке появился флаг, означавший: к нам летит самолет.

Это семи с половиной метровое сооружение было воздвигнуто на шестиметровом торосе. Вышка использовалась для наблюдений и сигнализации о положении на аэродроме.

Процессия женщин и детей двинулась к аэродрому. В воздухе показался самолет — большая тяжелая машина АНТ-4. Радостный крик. Самолет пошел на посадку. Все заспешили вперед к аэродрому и... Огромная полынья, длиной в несколько километров и шириной метров в 20–25, преградила дорогу.

Спихнули в воду большую глыбу льда, чтобы переправиться на ней, как на плоту, но попытка оказалась неудачной — смельчак принял ледяную ванну.

Легко представить огорчение лучшей части рода человеческого!

Для меня известие о неожиданной трещине тоже было не радостным. Как манну небесную я ждал самолета. Мне позарез нужны были аккумуляторы.

Конечно, нежданная водная преграда была преодолена — на рысях была доставлена шлюпка-ледянка. Дорогих женщин с детьми привезли к самолету, а я получил мои не менее дорогие аккумуляторы.

В тот день, к нам, наконец, пробился молодой летчик комсомолец Анатолий Ляпидевский. Это был трудный полет. В хаосе ледяных глыб и ропаков искать лагерь с воздуха было не легче, чем иголку в стоге



сена. От мороза запотевали, летные очки, и Ляпидевский прилетел в пыжиковой маске, защищавшей лицо, но ухудшавшей видимость. По его признанию, такой маленькой площадки, 450 X 150 метров, он в своей летной жизни не видел. Машина у Ляпидевского была тяжелая, и посадить ее на наш ледовый аэродром, наверное, не удалось бы, если бы не упорная тренировка пилота. Взлетая со своего аэродрома, он, возвращаясь на него, приземлялся на немыслимо крохотный пятачок, специально отмеченный сигнальными флажками.

Появление Ляпидевского в лагере Шмидта сразу же ввело этого замечательного молодого человека в число лучших полярных летчиков мира. Мир требовал подробностей, но... у журналистов было слишком мало информации о том, что же представляет собой Ляпидевский, не говоря уж о невозможности взять у него интервью.

Привожу рассказ репортера «Правды» Льва Хвата, как он добывал нужную информацию:

— Вскочил в газик, спешу в Аэрофлот. Занятия давно кончились, но где-то на четвертом этаже застаю сотрудника отдела кадров. И вот у меня в руках тоненькая папка: «Краткая автобиография пилота А. В. Ляпидевского». Заглядывая в листок, диктую по телефону редакционной стенографистке: «Летчику Анатолию Васильевичу Ляпидевскому двадцать пять лет... Да, да, только двадцать пять... Абзац. Он родился в 1908 году, в семье учителя. Двенадцати лет ушел на заработки в станицу Старощербинскую на Кубани, почти четыре года батрачил. Осенью 1924 года переехал в город Ейск, там вступил в комсомол. Больше года работал на маслобойном заводе. Районным комитетом комсомола был направлен в авиационную школу... Записали? Продолжаю. Абзац. В 1929 году Анатолий Ляпидевский успешно окончил школу морских летчиков. Был оставлен инструктором в авиашколе. Опять абзац. В марте 1933 года перешел на службу в гражданский воздушный флот. Работал на авиалиниях Дальнего Востока, затем переведен в полярную авиацию. Записали? У меня пока все...»

С Ляпидевским в дальнейшем у нас сложились отличные отношения. Толя — милый, душевный и на редкость доброжелательный человек. Вот к кому подходит сравнение человека с математической дробью, числитель которой — мнение о нем окружающих, а знаменатель — мнение о самом себе.

Хорошо помню, как через пять лет после нашего спасения, в 1939 году, мы получали с Ляпидевским Золотые Звезды Героев Советского Союза. Дело в том, что звание Героя Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934 года, а знак отличия — Золотая Звезда — появился в 1939 году. Судьба свела нас в один и тот же день в Кремле. На обороте каждой Золотой Звезды имеется очередной номер. Когда мы вышли из ворот Спасской башни на Красную площадь, я сказал:

— Толя, ты только подумай, Звезды будут получать еще тысячи людей. Все они, разглядывая номер на оборотной стороне, будут вспоминать тебя, потому что на твоей Звезде номер первый.

Ляпидевский улыбнулся и промолчал. Моя возвышенная тирада его явно смутила.

Когда мы возвращались из Арктики, Толю прозвали «дамским летчиком». Прозвали его так потому, что он вывез из лагеря десять взрослых женщин и двух маленьких девочек, а прозвище пристало плотно еще и потому, что был Ляпидевский холост и любое красноречие бессильно описать то внимание, которым одаряла Героя номер один прекрасная половина рода человеческого. По непроверенным слухам, письма и нежные записки носили нашему Толе, чуть ли не бельевыми корзинами.

Меня обуревала черная зависть.

Однажды в одном из подмосковных городов группа челюскинцев, в том числе и Ляпидевский, чудным летним вечером выступала в зеленом театре. Все челюскинцы и местные власти — за столом на сцене. Напротив нас, на скамейках — зрители, в том числе и моя жена.

Стол президиума был длинным, и на противоположном от меня конце сидела красивая молодая женщина, секретарь городского комитета комсомола. Кто-то произносил очередную речь, и вдруг я вижу, как эта симпатичная молодая особа что-то пишет, а затем из рук в руки по столу президиума пошла записка, и странное дело — записка оказалась адресованной не Толе Ляпидевскому, а мне.

Не разворачивая записки, я с торжествующим лицом показал ее жене: вот, мол, не одному Толе получать записки от интересных женщин! Однако, прочитав записку, я свернул ее, положил в карман и постарался, чтобы по моему лицу жена не поняла, что в ней написано. На обратном пути жена учинила допрос:

— Что за записку прислала тебе эта красивая дамочка?

— Ай, ничего интересного...

Но жены остаются женами. Записку пришлось показать. Она была лаконична и впечатляюща:

«Товарищ Кренкель, пришлите мне, пожалуйста, папиросу!»

Да, соперничать с Толей Ляпидевским было не просто... На следующий день после приземления Ляпидевского «Правда» сообщила об этом скромно и коротко: положение дел по спасению обстояло так, что кричать «ура» было еще рано. Одновременно появилось сообщение Правительственной комиссии:

«Комиссия решила дополнительно отправить в Уэллен через Владивосток известного летчика Болотова с самолетом Т-4, имеющим небольшую посадочную скорость. До Владивостока Болотов проследует поездом, а дальше на пароходе».

Летчик Ф. Е. Болотов имел редкий по тому времени опыт, опыт трансатлантического перелёта в Америку через Тихий океан.

Этот нашумевший перелёт произошёл еще в 1929 году на самолете АНТ-4 «Страна Советов». Первый пилот С. А. Шестаков, второй Ф. Е. Болотов, штурман Б. В. Стерлигов и бортмеханик Д. В. Фуфаев пролетели над всей страной, затем над Тихим океаном. Последнюю часть пути на одном моторе, так как второй вышел из строя.

Вот этот драгоценный опыт Болотов и должен был использовать для спасения челюскинцев.

8 марта в «Правде» появилось сообщение о том, что на Аляске Гарри Блунт, арктический летчик общества воздушных сообщений «Пасифик Аляска Эйруэйс», намерен вылететь на помощь челюскинцам. Я не случайно упоминаю об этом сообщении. В те времена советские полярные летчики не раз оказывали помощь американским коллегам. Когда начался поход «Челюскина», в попытке совершить кругосветное путешествие потерпел аварию американский пилот Маттерн. На помощь ему немедленно вылетел С. А. Леваневский, доставивший американца на Аляску. Погибшего Эйльсона разыскал другой наш полярный пилот — М. Т. Слепнев.

Неудивительно, что американцы, не принимавшие, как известно, участия в спасении экспедиции Нобиле, были полны желания оказать помощь челюскинцам. Кое-что даже было сделано, о чем речь впереди.

Эвакуация женщин и детей оказалась на редкость своевременной.

Спустя сутки новая трещина, словно по злому расчету, прошла точно под жилым бараком и разорвала его пополам.

Произошло это ночью. Тревога...

Сжатие объявило о себе скрипом. В кромешной темноте этот скрип производил угнетающее впечатление. Сначала казалось, что где-то визжит щенок, потом, что лает собака. Шумы нарастали. И обиженный щенок, и взрослый пес подавали голоса все громче. Иногда эти звуки перемежались ударами. Удары становились все ближе и ближе...

Это означало, что надвигающийся вал выжимает льдины и они, оказавшись на гребне вала, не удерживаясь, падают вниз, ломая двухметровый лед... Со скоростью медленно идущего человека, тупо и неодолимо, двигался этот разрушающий, не знающий пощады вал. Ледяная мясорубка, работавшая, как слепая, беспощадно страшная машина, способна была стереть в порошок все живое и мертвое. Вал рос. Его гребень достигал пяти-шести метров.

Падающие льдины, ломая лед, заставляли дрожать наше поле.

Внезапно сплошная темень осветилась каким-то таинственным сине-зеленым светом. Гигантский вал вдруг осветился изнутри, став похожим на исполинский бриллиант.

Это случилось вопреки законам природы, и мы сообразили, что не без нашего участия. Горели спички. Спички, как и положено, в полярных экспедициях, имели морскую упаковку — деревянный ящик, обшитый белой жестью с тщательно пропаянными швами. В эту тревожную ночь ящик со спичками попал в ледяную мясорубку и загорелся где-то глубоко в самой подошве ледяного вала. Минут пятьдесят в глухую ночь мы слышали разноголосый хор льдин и видели освещенный вал, не суливший нам ничего хорошего.

Пиротехническими эффектами дело не ограничилось. Трещина под бараком начала расходиться, что явно не располагало к промедлению. Не теряя драгоценных секунд, жители барака начали, как говорится в милицейских протоколах, «освободить помещение». Освобождали в бодром темпе.

Расходясь, трещина превратила бы барак в груду обломков и сделала бы его совершенно непригодным для жилья, если бы не сметливость плотников. Наши строители не растерялись и успели

перепилить стены. Барак разъехался на две половины, как театральная декорация.

Разделение барака на две половины выглядело не очень весело, но группа жителей барака, не пожелав переселиться в палатки, решила сделать одну из этих половин жилой. Поскольку трудно было предположить, что лед завершит разрушение, плотники зашили плоскость разлома досками. Аэролог Шпаковский, доктор Никитин и некоторые другие челюскинцы поселились в этом явно укороченном доме, на берегу трещины, через которую тут же был, воздвигнут мост в виде пары досок. В один из дней меня неожиданно вызвала Люда:

— Кренкель, ты давал сейчас SOS?

— Нет, а в чем дело?

— Сейчас какой-то американец давал твоими позывными SOS и знак вопроса. Я вызвала его, он ждет, а я решила немедленно запросить тебя.

— В лагере все спокойно. Никаких сигналов бедствия никто не давал. Поблагодари американца за внимание, но скажи ему, что чрезмерная услужливость опасна!

Карта, опубликованная 9 марта на страницах «Правды», свидетельствовала о напряженности работы Правительственной комиссии. Карта выглядела оперативной сводкой с холодного, морозного ледового фронта.

Со всех сторон нацеливались на лагерь Шмидта самолеты. С парохода «Смоленск» Каманин, Молоков, Пивенштейн, Бастанжиев, Фарих, с парохода «Сталинград» — Шостов и Шурыгин, из Хабаровска — Водопьянов, Гольшев и Доронин, с мыса Северный — Куканов, с Уэллена — Ляпидевский, Чернявский, Конкин, с Аляски — Леваневский и Слепнев. Это было наступление, и если даже предположить, что при нем неизбежны потери, то все равно такое массовое применение авиации было многообещающим. Москва стремилась действовать наверняка.

Еще сообщалось, что Правительственной комиссии дано распоряжение направить во Владивосток для погрузки на подготавливаемый к походу на север третий пароход «Совет» несколько аэросаней.

Через неделю новая карта выглядела куда внушительнее. Далеко на север продвинулись пароходы «Смоленск» и «Сталинград».

Готовился к выходу из Владивостока «Совет». Заканчивался ремонт ледореза «Литке» и ледокола «Красин». От Москвы на восток спешили аэросани и самолеты. На побережье уже около сотни собак деловито везли грузы и бензин.

И за каждым изменением этой карты-сводки скрывался напряженный труд сотен людей.

— Срочный ремонт «Красина», — заявил журналистам директор Балтийского завода тов. Попов, — небывалый факт в истории судостроения. Рабочие завода выполнили все работы, но встречному плану в 18 дней вместо нормального срока в четыре месяца. За работу в такой же срок одна английская судостроительная компания запросила миллион рублей золотом.

По мере того как самолеты приближались, нужно было готовиться к встрече. Эта подготовка была определена одним словом: аэродром!

Делать ставку на один аэродром было опасно. Наконец отыскался Ляпидевский, пропавший несколько дней назад и не подававший о себе вестей. Чего только не было передумано за эти дни, но теперь стало известно: самолет — на льду у острова Колочина, сломано шасси, но люди целы и невредимы. Ляпидевский и его товарищи успели занять почетное место в наших сердцах.

Работа начиналась рано и проводилась по очереди тремя аэродромными бригадами. Эти бригады возглавляли боцман А. А. Загорский, гидробиолог П. П. Ширшов, мой товарищ по будущей экспедиции на Северный полюс, и машинист А. С. Колесниченко. Инструмент небогатый — ломы, лопаты, трамбовки да фанерные листы-волокуши.

Мы уложились в сроки, поставленные Шмидтом. Через четыре дня аэродром № 1, с которого увезли женщин и детей, разрушенный натиском льдов, был полностью восстановлен. Волновало другое — простоит ли? Гарантия могла быть только одна — обилие запасных площадок. Утирая пот, катившийся градом, аэродромные бригады расчищали эти площадки. Остановка была за летчиками. Продвижение спасательных отрядов происходило куда медленнее, чем хотелось и нам и пилотам. Они сталкивались с неслыханными трудностями.

В последней декаде марта внимание всего мира было приковано к летчикам. В дело нашего спасения решено было включить и

дирижабли, те самые, про которых я уже написал, наверное, даже больше, чем они того заслуживали.

Несмотря на то, что по поводу возможностей применения дирижаблей на севере исписано великое множество бумаги, история Арктики насчитывала всего лишь три рейса дирижаблей. В 1926 году над полюсом пролетел на дирижабле «Норге» великий Амундсен, в 1928 произошла катастрофа с дирижаблем «Италия», летевшим под командованием Нобиле, в 1931 году состоялась международная экспедиция на дирижабле «Граф Цеппелин», в которой принимал участие и я.

Опыт использования на севере дирижаблей не был чрезмерно богатым. Но Правительственная комиссия не сочла себя вправе отвергнуть и те немногочисленные шансы на вызволение челюскинцев, которые могли принести дирижаблисты. Во второй половине марта было сообщено, что из Владивостока в бухту Провидения отправлено два дирижабля.

В эту группу дирижаблистов были включены самые лучшие специалисты. Возглавил ее Э. К. Бирнбаум, один из участников полета на стратостате «СССР-1». Командирами корабля В-2 были назначены Оппман и Суслов, командирами второго дирижабля В-4 — Померанцев и Гудованцев. Вошел в число воздухоплателей, движущихся к нам на помощь, мой старый товарищ и попутчик по экспедиции на «Графе Цеппелине» Федор Федорович Ассберг.

Комментируя возможности этого отряда, известный воздухоплатель Прокофьев, командир стратостата «СССР-1», сказал:

— Дирижабль В-2 может быть использован непосредственно для полетов в лагерь Шмидта, дирижабль В-4 — для обслуживания нужд всех экспедиций и, наконец, служить хранилищем газа для дирижабля В-2. Газовая установка и запас химикатов могут обеспечить работу экспедиции в течение нескольких месяцев...

Сообщение о дирижаблях, по мнению многих, способных повисать над нужной точкой и брать пассажиров с меньшими трудностями, чем самолеты, произвело впечатление. Я же относился к этому с известным скепсисом, памятуя о впечатлениях от полета к Ярославлю, но подрывать моральный дух было бы, по меньшей мере, неприлично, и потому оставалось скромно помалкивать, не распространяясь по поводу своих предположений.

Вторая половина марта была самым сложным, самым напряженным периодом в организации нашего спасения. Месяц ушел на то, чтобы перебросить на Дальний Восток людей и технику. Теперь предстоял самый трудный рывок. Нашим спасателям нужно было пробиться в далекий угол северного побережья Советского Союза, где восточное полушарие сходится с западным. Здесь находились два маленьких селения Уэллен и Ванкарем, внезапно снискавшие себе мировую известность. Они были главными опорными точками спасательных отрядов.

Три летные группы шли к нам на помощь. 17 марта из Николаевска-на-Амуре под командованием Виктора Львовича Галышева вылетели три самолета — В. Л. Галышев, М. В. Водопьянов, И. В. Доронин. 21 марта стартовал каманинский отряд — Н. П. Каманин, В. С. Молоков, Б. А. Пивенштейн, Б. В. Бастанжиев, И. М. Демиров. 28 марта из города Фербенкса на Аляске двинулись М. Т. Слепнев и С. А. Леваневский.

Только один раз удалось долететь до лагеря Ляпидевскому. Преодолев трудный путь из Соединенных Штатов до Чукотки, разбился Леваневский. Потерпели жестокие аварии летчики Бастанжиев и Демиров, неудача постигла такого опытного летчика, как Галышев. Сломал ногу шасси своего Р-5 Каманин и улетел дальше, пересев на самолет Пивенштейна. Ломался при посадке о лед и «Флейстер» Слепнева.

Число неудач, приходившихся на каждую удачу, велико, но это никого не порочит. Напротив, борьба с трудностями делает честь нашим авиаторам.

Летчики упорно продвигались вперед и, наконец, наступили решающие дни. Люда передала, что в лагерь собираются лететь какие-то американские самолеты. Мы догадались, что речь идет о машинах, купленных нашим правительством, которые будут пилотировать Леваневский и Слепнев. Прошло еще несколько дней, и Люда сообщила, что над Уэлленом, несмотря на плохую погоду, на бешеной скорости пронесся какой-то самолет.

Пока мы думали и гадали, что это за таинственный самолет, Шмидт ушел в барак читать лекцию по диалектическому материализму. Меня вызвал Ванкарем.

— Зови Шмидта. С ним хочет говорить Ушаков!



Мы с Георгием Алексеевичем старые друзья и потому радостно приветствовали друг друга. Я объяснил ему, что придется подождать, что просьбу Шмидту передам, но не знаю, сможет ли он подойти к аппарату. Ушаков удивился:

— В чем дело?

— Отто Юльевич читает лекцию по диамату! Мое сообщение даже на Ушакова, человека бывалого, произвело впечатление. Он сказал:

— Раз так, то ясно, что в лагере все в порядке, но Шмидта все же позови!

Разговор Шмидта с Ушаковым, невольным слушателем которого по долгу службы оказался и я, был длительным и не очень приятным. Именно в эти минуты я услышал об аварии, приключившейся с Ушаковым на самолете Леваневского.

«У берегов Чукотского полуострова, подле мыса Онман, — рассказывал Ушаков Шмидту, — неожиданно начался очень сильный снежный шторм, прижавший самолет книзу. Видимость исчезла. Неожиданно перед несущейся с огромной скоростью машиной выросла стена. Казалось, самолет неминуемо врежется в эту стену, но Леваневский показал самообладание и виртуозность управления: в одно мгновение самолет почти вертикально пронесся над скалой, едва не коснувшись лыжами торчащих на ее вершине каменных зубцов. Через несколько минут повторяется почти та же картина. Пилот снова с честью выходит из испытания.

Дальше идти бреющим полетом невозможно, самолет набирает высоту. На высоте 2000 метров — новый снежный шторм, и начинается обледенение. Машина потеряла обтекаемость и стала терять скорость. Вентиляционные трубки покрылись льдом. Работа мотора нарушилась. Машина начала проваливаться...

Спланировав вниз, летчик полетел над прибрежным льдом, выискивая посадочную площадку. Вдоль берега шла узкая полоска сравнительно ровного льда. Самолет снизился и получил удар, которым снесло правую лыжу. Вторым ударом снесло левую лыжу и самолет бросило так, что он ударился в торос и остановился. Потеряв сознание, Леваневский неподвижно склонился над штурвалом. По правой щеке от глаза стекала за воротник тужурки струйка крови.

Медленно, но все же сознание вернулось к нему. Я залил рану йодом, сделал перевязку и, так как самолет приземлился подле чукотской яранги, стал организовывать транспорт для перевозки пилота».

Шмидт хмуро выслушал невеселый рассказ Ушакова, а потом разговор пошел о собачьих упряжках, которые надо переправить на льдину, на случай, если с авиацией что-то окажется не совсем в порядке.

Собак решено было доставить с дальним расчетом, По мере того как челюскинцы будут улетать на материк, возможность приводить в порядок лагерные аэродромы станет все более и более ограниченной. Не исключено, что посадочные площадки будут разрушены, когда на льдине останется всего лишь несколько человек, которым просто не хватит сил на их восстановление. Авиация без аэродромов станет бессильной, и придется уходить пешком. Не вызывало сомнений, что тяжелейший пеший поход до берега гораздо легче сделать, имея надежных собак.

Наконец наступил день, когда мы получили сообщение о том, что к нам летят самолеты. Это было 7 апреля. Самолетов было три — «Флейстер» Слепнева, Р-5 Каманин и на Р-5 Молокова. Первыми вылетели Р-5.

Все три летчика хотели лететь вместе и прибыть в лагерь одновременно.

Поначалу шло все как задумывалось. Однако, когда Слепнев, имея на борту пассажира Г. А. Ушакова, догнал товарищей, он увидел, что за самолетом Молокова тянется шлейф темного дыма. У Василия Сергеевича барахлил мотор. Продолжать полет было опасно, и, сопровождаемый Каманиным (для подстраховки на случай вынужденной посадки), Молоков вернулся в Ванкарем, чтобы исправить повреждения.

Вылетая из Ванкарема, Слепнев сообщил по радио: «Буду в лагере через 36 минут». Я удивился такой точности и посмотрел на часы. Через 37 минут на горизонте показался самолет Слепнева. С большой скоростью он приближался к лагерю, сделал крутой вираж и потом почему-то долго кружился над аэродромом. В лагере недоумевали.

При посадке самолетов на сигнальной вышке обычно находился штурман Марков. Так как он должен был сообщить мне о посадке, мы

условились: троекратный взмах шапки над головой означает благополучную посадку. Но сколько я не глядел, Марков неподвижно стоял на вышке, никаких знаков не подавал, а потом стал спускаться на лед. Что-то неладно. Так оно и оказалось. Вскоре пришли с аэродрома и рассказали, что случилось.

Аэродром был узок, а машина Слепнева обладала высокой посадочной скоростью. Ветер мешал пилоту совершить посадку, несмотря на летное мастерство. Самолет запрыгал, замахал крылышками и, выскочив за пределы аэродрома, подломался. Когда машина остановилась, из нее, словно ничего не случилось, вышел Слепнев. Одет он был с иголочки, что выглядело особенно заметным на фоне наших весьма обшарпанных туалетов: на нем была великолепная меховая куртка, видимо, эскимосского пошива на Аляске, и игривая шапка с меховым помпончиком. Этот пижонский наряд в сочетании с умением Слепнева носить костюм и его великолепным самообладанием не мог не производить впечатления.

Слепнев привез ящик американского пива, шоколад, сигареты — одним словом, ему было чем угощать нас, пока механики, во всеоружии опыта, накопленного при штопании и латании бабушкинской «шаврушки», приступили к исправлению повреждений слепневского самолета.

Собаки, которых привезли Слепнев и Ушаков, не сразу были оценены по достоинству. Они показались мелкими и слабосильными. Но это было не так. Другом собачьей своры и главным каюром лагеря стал наш боцман Толя Загорский. Он отлично знал чукотских собак и умел обращаться с ними, так как во время зимовки подле берегов Чукотки парохода «Ставрополь» Толя подружился с чукчами и научился управлять нартами.

Оглядев напуганных воздушным путешествием и непривычной обстановкой собак, боцман крикнул им что-то по-чукотски, и собаки, почуяв в нем друга, раскрыли ему свои бесхитростные собачьи души, наполненные множеством чувств, среди которых далеко не последнее место занимает чувство дружбы.

Боцман приласкал и накормил собак, запряг их в нарты. Он навалил на нарты пудов пятнадцать груза. К удивлению скептиков, маленькие кудлатые псы резво потащили поклажу. Они делали это куда быстрее и увереннее, чем справились бы с такой работой те

челюскинцы, которые исполняли на льдине транспортные обязанности.

После посадки Слепнева не прошло и часа, как снова затарахтели моторы. В лагерь прилетели Каманин и Молоков, а еще через час ледовый аэропорт отправил на материк первую группу. Каманин повез членов моей радиобригады — зоолога Володю Стаханова и радиста Иванюка, Молоков — кочегара Киселева, повара Козлова и матроса Ломоносова.

Как будто бы все шло наилучшим образом, но радоваться не приходилось. Хорошее и плохое закономерно сменялось. Радость апрельского дня, когда, наконец, три самолета добрались до нашего лагеря, омрачалась неприятными для нас происшествиями. Первым из них была болезнь Шмидта.

Весь день 7 апреля Отто Юльевич провел на аэродроме, на ледяном ветру. Он сильно продрог, к вечеру почувствовал себя больным, а наутро температура поднялась до 39°. Шмидт лежал пластом на груди меховой одежды в штабной палатке. Лить изредка он открывал глаза, облизывал сухие губы и спрашивал:

— Эрнст Теодорович, какие новости?

Порадовать было нечем. После трех самолетов наступили, пожалуй, самые тревожные дни нашего лагеря. Нас трясло самым основательным образом. Толчки эти начались с шести часов утра, а затем усиливались, не переставая. После обеда был разрушен камбуз, и к ужину уже не было горячей пищи. Затем разнесло вдребезги один из наших аэродромов. Лед торосило, и льдина, на которой стоял барак, вдруг полезла на ту, где были наши жилые палатки. Хорошо, что в последний момент ледяной вал вдруг остановился.

Сжатие было куда более жестоким, чем-то, что раздавило «Челюскина». Доживи «Челюскин» до апреля, он неминуемо погиб бы в эту беспокойную ночь. Опасность была велика, и нам пришлось вынести из палатки все, кроме радиоаппаратуры, чтобы не спотыкаться, если очередь дошла бы до передатчика и приемника и больного Шмидта.

Вахтенный разбудил весь лагерь. Со сна я не понял, в чем дело. Полагалось просыпаться уже при дневном свете, а тут — меня разбудили в кромешной тьме. Спросонку я бормотал будившему меня Ушакову, что вахтенный, должно быть, ошибся и будить меня еще

рано. Однако слово «сжатие» мгновенно привело меня в рабочее состояние. Одевшись, я вышел из палатки. Ледяной вал приблизился к радиомачте. Нужно было срочно переносить ее в другое место.

И все же ровно в шесть утра, без минуты задержки, я начал работать с Ванкарем. Я с гордостью подчеркиваю точность, так как любая задержка немедленно стала бы предметом волнений товарищей на берегу.

9 апреля сжатие повторилось с неменьшей силой. Дул сильный ветер — 7, а временами и 8 баллов. Щедро валил снег, и в этой жестокой пурге можно было лишь смутно угадать солнце. Именно в эти минуты, когда вокруг наших палаток клубилась снеговая каша, из Ванкарема, где была ясная солнечная погода, сообщили: «Сейчас к вам вылетают самолеты».

Вот обрадовали! Да, попробуй, прими эти самолеты! При таком сильном ветре со снегом, да еще при поврежденных площадках задача становилась просто неразрешимой. Пытаюсь объяснить Ванкарему, что принять самолеты мы — не в силах, но меня не понимают:

— Кренкель, почему не надо самолетов?

Начинаю объяснять, но в этот момент вбегает Сима Иванов и тихо, чтобы не слышал лежащий рядом в полузабытии с высокой температурой Шмидт, шепчет:

— Кончай работать. Надо переносить мачту, иначе ее свалит лед.

Прямо хоть разорвись. С одной стороны — надо объяснить, чтобы не выпускали самолеты, с другой — необходимо так же срочно спасти мачту. Что делать? Спрашиваю у Шмидта:

— В Ванкареме ясная погода, а у нас нет. Разрешите отставить на сегодня прилет самолетов?

Шмидт кивает головой: он не против. Стремительно отстукиваю в Ванкарем:

«По распоряжению Шмидта на сегодня полеты в лагерь отставить».

А лед гудит, трещит, и кажется, что этот треск раздается у тебя под ногами. Хочется поскорее выскочить, быть где угодно, только не в темной палатке, да и Иванов дергает за плечо:

— Кончай, кончай разговор!

Рука на ключе имеет поползновение нервничать. Приходится приложить усилие воли, чтобы Ванкарем не догадался по моей нервной работе, что у нас не все благополучно. Кончаю разговор с Ванкаремом словами:

«Самолетов не надо. На лагерь надвигается вал».

Мы с Ивановым выскакиваем из палатки и раздетые спешим к мачте. Подбегают еще два товарища. Льдину, на которой стояла мачта, напором вала вдавило в воду. Шлепая валенками по воде, подхватываем мачту и уже в последний момент вытаскиваем ее в безопасное место.

Потом погода утихла, но буйство ее за эти два дня обошлось нам недешево. Во-первых, был стерт с поверхности льда (чуть было не написал «с лица земли») наш барак. Лед растрескался по всему лагерю, вдвое уменьшив его площадь. Угроза жизни населению нашего ледового городка стала принимать самый непосредственный характер.

10 апреля зажужжали полным ходом авиационные моторы. Летчики торопились, и не безрезультатно. Трех человек вывез Каманин, шесть — Слепнев и четырнадцать — дядя Вася, как к тому времени весь лагерь нежно называл Василия Сергеевича Молокова. Надо заметить, что дядя Вася оказался самым результативным из числа героев-летчиков, занимавшихся эвакуацией лагеря. Им вывезено тридцать девять человек. Он первым стал грузить пассажиров не только в кабину своего Р-5, но и в расположенные под крыльями парашютные контейнеры. Вместо трех человек каждым рейсом увозил не меньше пяти. Таких рейсов 10 апреля Молоков сделал три.

Разумеется, доложить обо всем этом Шмидту было очень приятно, но на следующий день пошли такие новости, что я просто растерялся: как информировать Отто Юльевича о них? Дело в том, что член Правительственной комиссии Георгий Алексеевич Ушаков, прилетавший на льдину и вывезенный с нее 10 апреля дядей Васей, принял решение сообщить о болезни Шмидта в Москву. Полагаю, что это решение было правильным. Ушаков знал, что Отто Юльевич перенес туберкулез. Он отдавал себе ясный отчет, что в тех условиях, которые существовали в лагерной палатке, болезнь — слишком

серьезное дело, чтобы класть ее на весы против самолюбия, против естественного желания начальника экспедиции покинуть льдину последним.

Все же, зная о телеграмме Ушакова в Москву, я с большим волнением записывал текст:

«11 апреля. 4.45 московского. Аварийная.  
Правительственная.

Ванкарем. Ушакову, Петрову, копия Шмидту.

Правительственная комиссия предлагает в срок по вашему усмотрению вне очереди переправить Шмидта на Аляску. Ежедневно специальной радиограммой доносите о состоянии здоровья Шмидта. Сообщите ваши предположения о его отправке.

*Куйбышев.»*

Не успел я, как говорится, очухаться, как поступило новое сообщение:

«4.57 московского. Правительственная. Аварийная.  
Архангельск. Радио Ванкарем. Шмидту, Боброву.

Ввиду вашей болезни Правительственная комиссия предлагает вам сдать экспедицию заместителю Боброву, а Боброву принять экспедицию. Вам следует по указанию Ушакова вылететь в Аляску. Все приветствуют вас.

***Куйбышев.»***

Тут было над, чем призадуматься. С одной стороны, надо доставить телеграмму немедленно, тем более что адресат лежит тут же рядом, в палатке. С другой — давняя дружба со Шмидтом, огромная любовь к нему начисто лишили меня дара речи. Я понял, что прочитать такую телеграмму Отто Юльевичу у меня просто язык не повернется. Я решил доложить о принятых сообщениях Алексею Николаевичу Боброву.

Шмидт лежал с закрытыми глазами. Состояние его было очень тяжелым. Пряча радиожурнал за спиной, чтобы не привлечь внимания Отто Юльевича, если он откроет глаза, (журнал выносился из штабной палатки лишь в тех редких случаях, когда Шмидту нужно было огласить на наших собраниях те или иные телеграммы), я выскользнул из палатки. Бобров был в палатке Копусова. Дабы не привлечь к нашей беседе всех, кто находился там вместе с ним, я вызвал Алексея Николаевича и конфиденциально сообщил ему важные новости, подкрепленные телеграммой Ушакова:

«Мобилизовать для убеждения Шмидта общественное мнение челюскинцев и, если это нужно, подкрепить его даже решением партийного коллектива».

Бобров выслушал меня и решил задачу в высшей степени деликатно. Под предлогом секретных разговоров со Шмидтом он попросил из палатки всех посторонних и сообщил ему о правительственном решении. Прочитав Шмидту телеграмму Куйбышева, Бобров сказал:

— Отто Юльевич, теперь вы мой подчиненный и обязаны выполнять приказы!

Не откладывая дела в долгий ящик, Бобров решил тотчас же отправить Шмидта из лагеря. Сразу же возник вопрос: кто же будет сопровождать Отто Юльевича. Так как я знаю немного английский язык, то была выдвинута моя кандидатура. Но Шмидт сразу же запротестовал:

— Нельзя оставить лагерь только с одним радистом!

Решение было правильное, ну, а поскольку других больных в лагере не было, то выбор остановился на нашем докторе Никитине. Никитина вызвали в штабную палатку и сказали:

— Будешь сопровождать Шмидта в Америку!

Наш симпатичный доктор не возражал:

— Я согласён. Только, Отто Юльевич, если можно, распорядитесь, чтобы мне выделили новый полушубок, а то в таком ободранном виде в Америку лететь как-то не очень прилично!

Все засмеялись. Никитина одели в новый полушубок — пусть щеголяет на Бродвее. Отто Юльевича закутали, засунули в спальный мешок и уложили на нарты, соорудив под головой мягкую меховую подушку. Затем челюскинцы в сопровождении Никитина, который в



новом полушубке выглядел просто франтом, повезли своего начальника на аэродром. Дорога после многочисленных торошений была трудной. Нарты часто поднимали и несли на руках, чтобы не трясти больного Шмидта. На руках внесли его и в самолет. Это были очень трогательные и волнующие проводы. У многих были мокрые глаза. Наш славный дядя Вася увез Шмидта, Никитина и плотника Юганова.

По возвращении с аэродрома Бобров радировал Куйбышеву, что распоряжение об эвакуации Шмидта выполнено через десять часов после отправки распоряжения из Москвы, а вскоре, разойдясь с этой телеграммой в пути, пришла удивительно теплая, человечная телеграмма Куйбышева, адресованная лично Шмидту:

«Правительство поставило перед всеми участниками помощи челюскинцам с самого начала задачу спасти весь состав экспедиции и команды. Ваш вылет ни на йоту не уменьшит энергии всех героических работников по спасению, чтобы перевезти на материк всех до единого. Со спокойной совестью вылетайте и будьте, уверены, что ни одного человека не отдадим в жертву льдам.

Куйбышев».

Вылетая далеко не последним из лагеря, Шмидт рисковал ничуть не меньше. Маврикий Трофимович Слепнев, доставивший Отто Юльевича из Ванкарема на Аляску, в город Ном, рассказывал мне, что американские механики, осмотрев самолет, сказали:

— Вам очень повезло! Это чудо, что вы долетели... Дело в том, что во время прыжков самолета на нашем аэродроме лопнули крепления в фюзеляже самолета. Целостность конструкция была нарушена, и все держалось только на обшивке.

В дальнейшем у Шмидта все было хорошо. Американские врачи вылечили его, а после того, как его здоровье привели в порядок, он на обратном пути заехал в Вашингтон и был представлен Рузвельту — президенту Соединенных Штатов. А когда мы возвращались в Москву, на станции Буй в наш поезд сел Отто Юльевич, и на Белорусском вокзале Куйбышев встречал уже всех нас вместе. Но прежде чем наступил этот радостный день, произошло везде много самых разных событий.

## Возвращение

*Челночные операции. Последняя ночь. В яранге у чукчей. Как мы с Леваневским спасали Боброва. Свиток Водопьянова. Поезд идет в Москву. Кортёж «линкольников». Митинг на площади. Рассказ Василия Ивановича Качалова. Встреча с Кировым. Банкетная лихорадка. «Чудесные гости». Прощай, Москва моей юности. Каждый год, 13 февраля...*

С отлетом Шмидта ничего в нашем лагерном ритме не нарушилось. Четко и уверенно совершали свои челночные операции Молоков, Каманин, Доронин и Водопьянов.

План эвакуации четко предписывал, кому и когда надлежит покинуть лёд, но, тем не менее, все здоровые рвались к высокой чести улететь последними. Энтузиастов набралось так много, что один из наших руководителей предложил: во избежание споров не десять, а пятьдесят челюскинцев считать последним десятком. К вечеру 12 апреля на льдине осталось всего шесть человек.

Был незабываемо прекрасный вечер. Полнейший штиль. С вышки отличная видимость на десятки миль. Абсолютная тишина. Изредка чуть-чуть похрустывает лёд. В этом огромном ледяном царстве нас шестеро — исполняющий обязанности начальника экспедиции Бобров, капитан Воронин, начальник аэродрома Саша Погосов, боцман Загорский, Сима Иванов, я и наши лохматые друзья — ушаковские собаки. Как положено, я сижу за приемником в ожидании сообщений из Ванкарема, что самолеты пошли к нам, и вдруг сообщение другого сорта: «Летчики устали, машины требуют осмотра. Поспите последнюю ночь. Самолеты прилетят за вами завтра».

Нельзя сказать, что от этой радиограммы мы пришли в неописуемый восторг. Признаться, мы рассчитывали, что успеем 12 апреля добраться до материка. Но деваться некуда — надо ждать! Никто так не интересовался погодой, как мы в этот вечер. Последние дни держалась на редкость хорошая летная погода с отличной видимостью. В тех местах, где мы бедовали, такая погода — большая редкость. Стоял устойчивый антициклон, и не нужно было быть

особенно догадливым, чтобы сообразить: рано или поздно отличная погода кончится и начнется плохая.

Начнется подвижка льда и торошение. Поломает нашу посадочную площадку, а восстанавливать ее уже некому. Одним словом, «ВВ» — возможны варианты, в том числе и весьма неприятные. Воронин каждые пять минут выскакивал и смотрел, не меняется ли погода. Да не он один. Последнюю ночь мы провели без сна.

Что же делать, чтобы быстрее прошло время? Покормили собак. Поговорили немного, но беседа не клеилась. Решили покушать. Продовольствия в лагере было много, но кормились мы в последнее время неважно. Шмидт экономил. Мало ли что произойдет при очередном сжатии? Теперь же, когда все улетели, в нашем распоряжении остался весь склад продовольствия. В такой обстановке мы могли доставить себе удовольствие и предаться обжорству в лучших традициях древних римлян. Одним словом, мы не растерялись!

Возник спор, что есть и в каком количестве. Остановились на мясных консервах. Труднее, оказалось, договориться о другом — один ящик или два? Одни говорят — один ящик мало, другие возражают — два ящика много. Приняли соломоново решение: съесть один ящик, а если не хватит, приняться за второй. В ящике 72 банки, едоков шесть. При такой расстановке сил одного ящика оказалось более чем достаточно.

В лагерном имуществе оказался эмалированный таз. В нем купали детей. Мы решили использовать его в новом амплуа котла, чтобы разогреть консервы.

Мебели у нас не было. Вилки тоже не было. Уселись вокруг этой бывшей детской ванны на корточках и перстами, легкими как сон, но не мытыми два месяца, стали уничтожать этот ужин. Остатки достались собакам.

Итак, в эту ночь нам не спалось. Да и ночь была короткой, начинался полярный день. На востоке стало брезжить, и небо зарозовело. Ванкарем вызвал меня и начал подробный репортаж по вопросу, занимавшему нас более всего:

— Летчики проснулись. Летчики одеваются. Летчики завтракают. Моторы греются. Самолеты пошли к вам!

Тут же телеграмма Боброву: «Отправляем три самолета. Осмотрите лично лагерь, чтобы в нем не осталось ни одного человека. Свободное место догрузите собаками...»

Новое дело! Да как же можно забыть собак? Мы отлично понимали, что представляют собой эти собаки.

Когда для нашего лагеря понадобились собаки, председатель Чрезвычайной тройки Петров обратился к чукчам и сказал:

— Советская власть прислала меня и летчиков спасать челюскинцев. Возможно, им придется выбираться пешком. Я очень прошу вас от имени Советской власти дать две упряжки собак!

Петров гарантировал, что собаки вернутся в полном порядке. Чукчи, получив такое заверение, дали две упряжки. Петров дал вексель от имени Советской власти, нам же надлежало его оправдать. За собак мы боялись больше, чем за себя.

Самолеты летят к нам полтора часа. Знали мы и точку горизонта, где должны появиться долгожданные черточки, но проходит час, полтора, два... Ванкарем запрашивает:

— Самолеты у вас?

— Нет, а разве они не вернулись?

— Нет!

Беспокойство на берегу и у нас, а через некоторое время сообщение с материка:

— Самолеты вас не нашли. Вернулись обратно. Сейчас вылетают снова. Дайте дымок посильнее!

Что же делать? Опять ждем. Стали разводить костер. Самолетов прилетало много. Мы сожгли все наше тряпье, машинное масло, солярку, керосин, бензин, щепки. Одним словом, сложить последний костер оказалось не из чего.

Мы как-то не сразу сообразили, что можем сжечь хоть весь лагерь. Ведь и палатки, и снаряжение, и продовольствие через какие-то полчаса придется бросить.

Разложен последний парадный костер. Он был огромен. Туда пошли нераспечатанные рогожные кули с новехонькими полушубками, палатки, великолепные спальные мешки, личные чемоданы, подушки, одеяла... Когда все это горело и недостаточно дымило, я собственными руками кинул в огонь два огромных фанерных ящика с папиросами первого сорта «Казбек». Много лет я, как закоренелый

курильщик, не мог забыть этого варварства. Пока последние самолеты добирались к нам, посадочная площадка, как того и следовало ожидать, дала трещину, да к тому же самую плохую, какую можно было придумать, — по диагонали. Раскололась и на глазах стала расходиться, достигнув ширины тридцати сантиметров.

Водопьянов лихо сел на льдину по противоположной диагонали. Мы, ни живые, ни мертвые, ждем — чем окончится посадка, не произойдет ли на наших глазах катастрофа? Большие передние лыжи проходили запросто, маленькой была третья опора самолета — хвостовая лыжа. Мы боялись, что коротенькая лыжа нырнет в трещину и зацепит за лед. Тогда — катастрофа.

Водопьянов сел благополучно. За ним — Молоков и Каманин. Водопьянов высовывается из-под колпака, машет рукой, что-то кричит. Мы подбегаем к самолету. От винта идет рвущий поток воздуха. Тесемки от шапки больно хлещут по лицу. За треском мотора ничего не слышно. Остается только догадываться, какие слова сейчас произносятся.

Прежде всего, стали грузить собак. Они были тут же под руками, на привязи. Одной рукой хватаешь пса за хвост, другой за загривок, и не в рукавицах, конечно. Собакам такое отношение не нравится. Они огрызаются, хотят укусить. Вслед за собаками нырнул в каманинский самолет и собачий друг Толя Загорский. Толя разбирался со своими четвероногими попутчиками в плацкартах — кому как сидеть. Получаю указание из Ванкарема закрыть станцию. Отвечаю Ванкарему, что снимаю, передатчик и уже не слушаю его.

По международному коду даю: всем, всем, всем... «К передаче ничего не имею, прекращаю действие радиостанции».

Медленно три раза повторяю: «РАЕМ! РАЕМ! РАЕМ!» Это позывной «Челюскина», он же служил позывным лагеря Шмидта.

Я еще не знал, что скоро он станет моим личным позывным, который будет мне присвоен как радиолобителю за то, что я выполнил в лагере Шмидта свой профессиональный долг.

Делаю последнюю запись: «Снят передатчик 02.08 московского 13 апреля 1934 года». Лагерь Шмидта умолк...

Владимир Иванович Воронин вырезал из спасательного круга кусок с надписью «Челюскин» и взял из сигнального свода флагов букву «Ч». Обрезаю провода приемника и передатчика. На миг комок

подкатывает к горлу: нет, это не просто — одним движением оборвать нить связи с Большой землей, которая была для нас нитью жизни.

Воронин и Погосов садятся к Молокову, мы с Бобровым и Симой Ивановым — к Водопьянову. Саша Погосов на своем боевом посту до последней минуты. Он дернул каманинскую машину, затем нашу и, подтолкнув самолет Молокова, сам прыгнул в него на ходу.

По просьбе Боброва Водопьянов делает круг над лагерем, а затем берет курс на Ванкарем.

Все на берегу! Ура! Качаем всех летчиков. Предельно грязные, оборванные и заросшие, мы обнимаем и целуем наших спасителей.

\* \* \*

Возникает сложная проблема расселения всей оравы. Единственный дом среди чукотских яранг — фактория Ванкарем не мог похвастать большими размерами. Не знаю его происхождения, но, судя по предельной разнокалиберности дерева, построили его явно из обломков какого-то судна. В домике всего две комнаты, одна из которых к тому же исполняет по совместительству еще и обязанности кухни. Помимо хозяев, здесь размещаются два члена Чрезвычайной тройки (обладатель квадратной белокурой бородки председатель тройки Г. Г. Петров и пограничник А. Небольсин), а также двадцать человек летчиков и челюскинцев.

Плотность населения в Ванкареме была так велика, что спали в три смены, а питались за единственным кухонным столом в четыре. Даже при самом жгучем желании воткнуться в эту чащобу человеческих тел не было ни малейшей возможности. Нас троих определили на постой в одну из яранг около фактории.

Яранга — сегодня экзотика, а в то время — нормальное чукотское жилище. Это довольно большая куполообразная постройка из шкур и старых брезентов. Ничем не примечательная снаружи, она полна неожиданностей. Входишь в ярангу и, если мерять нашими русскими мерками, попадаешь в «сени». В них еще холодно, но полно всякой утвари — винтовка, ведра, посуда. Только за этими сенями начинается жилая часть.

Жилая часть занимает примерно треть. Пожалуй, скорее всего, ее можно сравнить со сценой: она возвышается над землей на два бревна. Эти бревна — плавник, выловленный не обязательно хозяином жилища. Строится яранга на долгие годы. Этот плавник мог выловить и отец, и дед нынешнего владельца. Из бревен сложен квадрат, засыпанный морской галькой, площадью около пяти квадратных метров. Сверх гальки постелены моржовые шкуры. Они похожи на линолеум и отполированы несколькими поколениями.

Сходство со сценой усугубляется еще занавесом из оленьих шкур. Чтобы пролезть внутрь, надо отвернуть уголок этого тяжелого занавеса.

Во весь рост стоять нельзя — высота метр с четвертью, не более. Максимум, что можно там себе позволить — стать на колени. Но самое интересное — это отопление и свет. В уголке стоит наклонная доска величиной чуть поменьше газетного листа. Внизу — полоска ягеля, знаменитого мха, которым питаются олени. Ягель прижат косточкой — то ли моржовой, то ли какого-то другого зверя — и служит фитилем. А на наклонной доске лежат куски моржового или тюленьего сала. Сало потихоньку тает и, стекая по наклонной доске, питает фитиль.

Хозяйка яранги, действуя косточкой удивительно ловко, на ночь тушит жирник, убавляя фитиль, или же наоборот, если надо, прибавляет тепла и света. Над этим огоньком круглые сутки висит чайник. Чай пить можно в любую минуту. Один раз, по неосторожности, я попробовал поправить этот фитиль, и сразу же все разладилось. Огонь сник, и фитиль стал отчаянно коптить. Хозяйка засмеялась, взяла косточку, и через несколько секунд все было в порядке.

Хозяин яранги был знаменитым человеком. Он был на шхуне «Мод», когда Амундсен проходил по Северному морскому пути. Хозяин показал нам фотографию, где он снят вместе с Амундсеном. Рассказать что-либо интересное об Америке он не мог.

Хозяйка угостила нас белыми лепешками и экзотическим лакомством. По-чукотски оно называется копальхен. Один раз в году, в сезон, чукчи бьют моржей. Они разделявают их туши, выбрасывая кишки и бережнейшим образом снимая шкуры, которые ценятся очень высоко. Шкура идет на продажу или используется как строительный

материал, а мясо моржа, нарубленное кусками, закладывается в ямы. В этих ямах оно не гниет, а киснет. Его не солят (чукчи сравнительно недавно узнали, что такое соль), а квасят. Зимой в ярангу приносят твердый, как камень, кусок. Полукруглым ножом хозяйка скоблит его.

В русской кухне тоже есть кушание, называемое скобянкой. Копальхен — это по существу та же скобянка, только в чукотском варианте. Быстро растет гора пушистой мороженой стружки, которую и есть нужно в таком холодном, не оттаявшем виде. Берешь тремя перстами эту стружку и отправляешь ее в рот, ощущая острейший пикантный вкус. Закуска получается первоклассная.

Так же, как и все мужчины, хозяйка курила. В маленьком помещении нельзя было продохнуть, но зато было тепло. Мы оценили это по достоинству. Спали мы вповалку на полу. Спали так крепко, что снов не видели.

Пока мы предавались сну, на страницах «Правды» появился фотомонтаж, который действительно не снился. На первой полосе было помещено изображение пятиконечной звезды. В центре — фотопортрет Боброва, по углам — остальные и предельно короткая подпись: «Последняя шестерка». В этом же номере «Правды» было напечатано приветствие Алексея Максимовича Горького, короткое, но волнующее:

«Только в Союзе Социалистических Советов возможны такие блестящие победы революционно-организованной энергии людей над силами природы.

Только у нас, где началась и неутомимо ведется война за освобождение трудового человечества, могут родиться герои, чья изумительная энергия вызывает восхищение даже наших врагов.

*М. Горький»*

Из самых разных стран мира поступали приветствия, перепечатывались высказывания разных газет. В этом потоке информации появилась одна радиোগрамма, доставившая мне особое удовольствие.



Читатель, быть может, помнит, как, находясь на Земле Франца-Иосифа, я установил радиосвязь с «Маленькой Америкой» — американской экспедицией адмирала Берда, работавшей в Антарктиде. Теперь, несколько лет спустя, адмирал Берд оказался в день нашего спасения в 135 километрах от «Маленькой Америки». Оттуда он и послал следующую радиограмму:

«Мистер Мэрфи сообщил мне из „Маленькой Америки“ по радио подробности спасения членов советской научной экспедиции на „Челюскине“. Это — подвиг, производящий большое впечатление, и я счастлив передать через ТАСС мои поздравления советским летчикам, которые успешно выполнили такую опасную миссию».

\* \* \*

На мысе Ванкарем я познакомился с Леваневским. Высокий, стройный, немного рыжеватый, с мужественным красивым лицом, он выглядел как-то не очень приспособленным к окружающему обществу.

Был ли он гордым, как его иногда пытаются изображать люди, недостаточно хорошо знавшие Сигизмунда Александровича? Вряд ли. Так сказать нельзя. Скорее другое — Леваневский производил впечатление очень сдержанного.

В дальнейшем мы с ним очень подружились. Подружились и наши жены. Одним словом, мы стали добрыми семейными знакомыми, и выпили вместе не один литр водки, но это все произошло потом. Тогда же, в апреле 1934 года я встретил человека, наглухо застегнутого на все пуговицы, державшегося с откровенной отчужденностью.

Я далек от того, чтобы осудить за это Сигизмунда Александровича. Легко было понять его состояние: опытный полярный летчик, пропутешествовал из Москвы до Аляски, проехав добрую половину земного шара, получил в Америке первоклассный самолет, прилетел на нем в СССР, разбил его, чуть не погиб сам и не спас ни одного челюскинца.

Несмотря на броню, в которую заключил себя сам в эти дни Леваневский, у нас возникли с ним взаимные флюиды, для которых эта

самоизоляция не смогла стать камнем преткновения. Мы вместе (разумеется, очень по-разному) участвовали в спасении одного из челюскинцев, который, если бы не помощь Леваневского, мог бы погибнуть уже здесь, добравшись до твердой земли.

Чтобы рассказать эту историю, необходимо небольшое отступление...

В эти первые дни, проведенные в Ванкареме, сразу же дали о себе знать два обстоятельства. Во-первых, духовный голод. Большинство челюскинцев отдыхало, поглощая книги, взятые из библиотеки фактории. Второе — болезни.

На льдине почти никто не хворал. С возвращением на Большую землю многие, словно сговорившись, начали болеть. В основном гриппом, протекавшим в тяжелой форме. Больных (их оказалось шестнадцать человек) направили в единственную больницу, которой тогда располагала Чукотка — в бухту Лаврентия. Для небольшой больницы такая нагрузка оказалась непосильной, и здоровые челюскинцы пришли на помощь больным.

В больнице починили все, что только можно было починить. Перестали скрипеть двери, заработала ванна, были отремонтированы кровати, примусы, лампы, наточены хирургические инструменты. Для отопления больницы добыли уголь, в кооперации достали ситец, из которого пошили новое белье. Группа челюскинцев стала братьями милосердия, освоив соответствующую технологию вроде банок, клизм и горчичников. Наш повар обеспечивал больных питанием.

Для одного из наших товарищей дело чуть не закончилось плохо. У Алексея Николаевича Боброва случился острый приступ аппендицита. Срочно понадобился хирург, который находился в Уэллене. От Уэллена до бухты Лаврентия всего лишь час полета, но на местном аэродроме находился только один У-2, да и тот в весьма сомнительном состоянии; и все же Леваневский решил лететь, хотя и понимал, что самолет держится на «честном слове».

В тундре — вынужденная посадка. Уж тогда, когда в бухте Лаврентия считали, что самолет погиб, Леваневский все-таки доставил великолепного человека — хирурга Ф. Л. Леонтьева.

Моя роль в спасении Алексея Николаевича оказалась неизмеримо скромнее. Волей обстоятельств я стал одним из ассистентов доктора

Леонтьева, причем ассистентом, не предусмотренным никакими нормами обычной операционной.

Едва Леонтьев начал операцию, старенький движок, обслуживавший лаврентьевскую больницу, то ли кашлянул, то ли чихнул, одним словом — поперхнулся и замолчал. Ничего хорошего из этого не получилось — в больнице сразу же стало темно, а тут операция в самом разгаре.

Кто-то зажег керосиновую лампу и, быстро сунув ее мне в руки, превратил меня этим актом в фонарный столб. Нужно было светить, обеспечивая доктору элементарные условия для операции. Казалось бы, работа не из хитрых, но ответственная.

— Так... Ближе свет...

— Ну, куда ты со своей лампой в кишки лезешь...

— Света, побольше света...

— Осторожнее, не накапай тут керосина...

Доктор Леонтьев свое дело знал. Операция прошла успешно, дав мне, возможность рассказать в этих записках, как мы с Леваневским спасали Боброва.

\* \* \*

Теперь, стараясь припомнить все, что мог, чтобы воздать должное спасшим нас летчикам, расскажу немного о Водопьянове. Именно он, Михаил Васильевич, вывез меня с челюскинской льдины, а через три года доставил на другую льдину, но о полюсе речь впереди, а сейчас хочу рассказать о приобщении Водопьянова к литературе.

Рассказывать о том, что писал Михаил Васильевич, нет ни малейшего смысла. Его произведения издавались неоднократно, а потому доступны каждому, кто хотел бы с ними познакомиться. Интереснее рассказать про обстановку, в которой летчик сделал первый шаг из бурной авиационной среды в покои ее величества литературы.

Из Ванкарема мы добрались до бухты Провидения. Здесь нас ждал «Смоленск». Плыли мы весело. Позади трудные времена, острые впечатления, сложные переживания, большая напряженная работа. Здесь, на отличном современном корабле, мы, люди деловые и

работящие, оказались в несколько неожиданной для себя роли, роли пассажиров.

Под мерный стук корабельных машин было приятно поспать. Отмывшись от экспедиционной грязи, мы довольно быстро отоспались, и тогда начался тот великий треп, когда никому никуда не нужно спешить, напрягаться, когда можно вспоминать, размышлять, мечтать...

У каждого это происходило по-разному, и если пишущие люди, как, например, корреспондент «Комсомольской правды» Михаил Розенфельд, рассказывали о своих еще не дописанных романах, то мы, люди не пишущие, наоборот, со страшной силой стали рваться к перьям.

Началось это с легкой руки Ильи Леонидовича Баевского. Поддержанная журналистами, начала воплощаться его идея создания коллективной книги «Поход „Челюскина“». В двух толстенных томах эта книга в том же 1934 году, увидела свет.

Дело было не только в книге. Нашему тяготению к писанию немало способствовал повышенный спрос корреспондентов на любые дневники, рассказы, статьи, воспоминания, написанные челюскинцами и их спасителями. Писание стало распространенным занятием. Водопьянов не являл собой исключения.

Из всех самодеятельных писателей, у которых прорезалась в те дни страсть к литературе, Михаил Васильевич оказался одним из наиболее продуктивных. Он прилежнейшим образом писал по несколько часов в день. Каждая новая страница аккуратно подклеивалась к предыдущей. Свиток рос, рождая у большинства веселое почтение:

— Миша, как продвигаются твои обои?

— На каком километре держишь?

Такого рода вопросы сыпались градом. Я считал и считаю, что Водопьянов сделал доброе дело, записав все, что помнил и знал об Арктике. Адресованные самым широким читателям, его книги сыграли полезную роль, и началось все со свитка, длина которого так и осталась неизмеренной.

\* \* \*

Незаметно, «за разговором», добрались до Владивостока. Здесь впервые мы поняли, чем была для всего советского народа борьба за наше спасение.

Встречу открыл гидросамолет. Он пролетел над самыми мачтами, сбросив на палубу множество букетиков ландыша и сирени, посланных женщинами Владивостока.

Затем прошел военный корабль. Блистая белоснежной формой, моряки приветствовали нас громким «ура!». Потом, вздымая водяные борозды, промчались торпедные катера, а когда мы приблизились к берегу, навстречу нам вылетела эскадрилья военных самолетов и вышла целая эскадра самых разных судов, возглавляемая ледоколом «Добрыня Никитич».

Мы медленно шли вперед. Когда открылся город, заревели гудки владивостокских заводов. Подали свой голос все советские и иностранные корабли, стоявшие на рейде. «Смоленск» заревел в ответ. Едва причалили, как прогремели выстрелы артиллерийского салюта. Весь Владивосток вышел на улицы, окрасившиеся флагами и приветствиями. Эти часы были незабываемо волнующими...

Специальным поездом двинулись челюскинцы из Владивостока в Москву. Все тревожнения, осложнения и неприятности остались позади. Кругом верные, проверенные друзья, и как приятно, поворачиваясь ночью на другой бок, прислушиваться к мерному стуку колес, а не к толчкам и скрипу льда.

Полного покоя все же не было. На больших станциях в поезд подсаживались корреспонденты, очевидно, всех газет и журналов Советского Союза, начиная от «Мурзилки». Нас всех без исключения терзали. Приходилось отбиваться от шквала вопросов. Расскажите о самой-самой страшной минуте. Что вы в этот момент думали?

Что ощущали? Что делали?

О черт! Ничего я не думал и ничего не ощущал по простой причине — не до того было.

Так или иначе, мы хорошо уживались с литературной братией. Эти славные ребята хотя и мучили нас, но в благодарность за мучения рассказывали нам новейшие анекдоты.

Вторым занятием были обязательные дежурства и днем и ночью. На любой станции, малой или большой, в любое время суток нас трогательно и торжественно встречали. Поезд замедляет ход, и, еще не

слыша, какой марш играют, уже улавливаешь рывкание геликонов и удары барабана — пора выходить в тамбур, открыть дверь и быть готовым к очередной речи. При слабом освещении маленькой станции видишь в полутьме море голов. Славные, милые люди! Вместо того чтобы мирно спать, они пришли нас приветствовать!

Под конец дежурства, если на него пришлось много остановок, не говоришь, а хрипишь сорванным голосом и принимаешь охапки цветов. Нам дарили цветы, конфеты и торты.

На одной станции мы получили огромный торт — наш ледовый лагерь с шоколадными палатками и льдинами. Торт был произведением искусства. Единственный его недостаток — он не пролезал ни в окно, ни в дверь. Пришлось торт разрезать и внести в вагон. На следующей станции нас приветствовали дети, и мы вручили им этот торт-уникум.

А вот зачем нам подарили двух живых поросят, я и до сих пор не знаю.

И все же не обошлось без неприятностей. Полным ходом наш поезд нырял в очередные туннели вдоль чудесного Байкала и, выскочив из последнего туннеля, дал экстренное торможение. С верхних полок вперемешку с чемоданами посыпались люди, а в вагон-ресторане бой посуды превзошел все положенные железнодорожными правилами нормы.

Виной была беспризорная вагонетка, нагруженная несколькими рельсами. Как и почему она появилась на нашем пути — неизвестно. Кругом не было ни души...

По дороге домой многие челюскинцы вступили в партию. 15 июня подал заявление Леваневский, 16-го — Ляпидевский. Подали заявление Факидов, Васильев и я. На перегоне Барабинск-Тебисская состоялось заседание бюро экспедиционной ячейки ВКП(б), на котором было принято решение рекомендовать нас к приему в кандидаты партии.

В Ярославле — гром оркестров. Мы ныряем в море смеющихся, радостных людей. Рукопожатия, объятия, а вот и зажатая среди встречающих мелькнула моя Наташа... Ура! Вот, наконец, она! Моя милая, милая. Но Федя Решетников, мой добрый друг, опередил меня и первым расцеловал Наташеньку. Вот ведь чертяка...

Каждые сто пятьдесят километров пути менялся паровоз и машинист. Локомотивные бригады были просто как на подбор — лучшие из лучших. Особенно запомнился машинист Томке. Если нужен портрет заслуженного потомственного машиниста, то писать такой портрет надо было в Томке. Весь облик этого седого кряжистого человека внушал глубокое уважение.

Машинисты изо всех сил старались, ведя наш поезд по стране, а мы, поелику возможно, платили им взаимностью. На каждом перегоне и челюскинцы и летчики делегировали своих представителей в паровозную будку. Очень уж хотелось ответить на чувства этих прекрасных людей, которые они проявляли к нам, своим пассажирам.

До Москвы пять часов езды, но они промелькнули как минуты. Семейные, московские новости докладывала Наташа, стоя со мной у открытого окна в коридоре. Стояли в обнимку и целовались, целовались...

На окружающих нас было в высшей степени наплевать по той причине, что они занимались тем же самым.

Часто на бреющем полете нас обгоняли самолеты с надписью: «Привет челюскинцам».

Замелькали знакомые места: Пушкино, Мамонтовка, Клязьма. Такое впечатление, что чуть ли не все дачники высыпали, чтобы нас приветствовать. Между станциями нас тоже приветствовали группы людей. Совсем недавно, это значит через тридцать пять лет, одна женщина мне сказала:

— Я вас лично не знаю. Тогда мне было пятнадцать лет. Я тоже бежала вас встречать и по этому случаю надела мои единственные парадные туфли и, торопясь, сломала каблук.

Я вдохновенно соврал, что видел это печальное событие, и выразил свое, правда, несколько запоздалое, соболезнование.

По соединительной ветке наш поезд передали на Белорусский вокзал.

К Москве подъезжали 10 июня во второй половине дня. Как всегда бывает при возвращении после долгого отсутствия, чем ближе к столице, тем большим становилось наше волнение. Так уж устроен человек. Он может держаться в труднейших условиях, но в эти минуты мы волновались, как школьники.

Волнение в равной степени распространялось и на приезжавших и на встречавших. Как рассказывали мне потом мои близкие и друзья, к четырем часам дня город преобразился. Даже трамваи, основная тяговая сила московского транспорта (метро еще только строилось), остановились. Центр города заполнен людьми, ринувшимися на улицу Горького, по которой должен был пройти последний этап нашего путешествия: Белорусский вокзал — Красная площадь.

Цветы в этот день стали предметом большого дефицита. К двенадцати часам они были всюду распроданы, и на дверях цветочных магазинов появились записки: «Цветов нет».

Первыми объявили москвичам о нашем прибытии самолеты эскорта — звено, сопровождавшее наш экспресс. Затем, отдуваясь дымом и паром, украшенный цветами и портретами героев-летчиков эмалево-синий паровоз СУ-101-04 подтащил наш поезд к перрону. В будке локомотива — один из лучших железнодорожников страны, делегат XVII партсъезда товарищ Гудков. Помимо локомотивной бригады, на паровозе пассажир — единственный челюскинец, занимавшийся в этот момент работой. При исполнении служебных обязанностей въезжал в Москву на синем паровозе, разукрашенном цветами, наш неутомимый кинооператор Аркадий Шафран. Выглядел он просто на зависть своим московским коллегам. На Аркаше был летный комбинезон и большие летные очки.

Секрет экзотического туалета нашего оператора был, в общем, довольно прост. На лед Аркадий выскочил в ватнике. Ему надо было снимать гибель «Челюскина», и тут уж было не до личных, вещей, благополучно ушедших на дно морское. Во Владивостоке его попытались приодеть, но получилось жидковато. Пошивочное ателье и магазины Владивостока 1934 года не то что с Парижем или Лондоном, но и с менее значительными городами соревноваться еще не могли. Одели нашего Аркашу в какую-то ситцевую рубаху и костюм «х/б», как называют обычно в ассортиментных списках хлопчатобумажные ткани. Въезжать в Москву в таком виде молодому элегантному человеку не хотелось, а летный комбинезон, хотя и не первого сорта, был не только эффектной, но и очень удобной одеждой для въезда в столицу. Аркадию пришлось ползать по паровозу и тендеру с углем, выбирая лучшую съемочную точку. Отсюда и летные очки, защищавшие глаза от угольной пыли. Как и положено bravому



хроникеру. Шафран вертел одной рукой ручку камеры, а другой делал приветственные жесты.

Начальник сводного караула рапортует Шмидту:

«Товарищ начальник героической экспедиции! Товарищи Герои Советского Союза! Для вашей торжественной встречи построен караул от войсковых частей московского гарнизона, вооруженного отряда Осоавиахима и сводного отряда Аэрофлота!»

Шмидт принимает рапорт почетного караула. В. В. Куйбышев, М. М. Литвинов и С. С. Каменев обнимают Отто Юльевича, поздравляют с благополучным прибытием челюскинцев в Москву.

Трудно описать эту встречу... Перрон полон встречающих. Мы попадаем в объятия матерей, отцов, жен, детей, знакомых и незнакомых людей. Бессвязные первые слова, тихие слезы радости, бесконечные букеты цветов, рвякающий оркестр, родственники, вцепившиеся, словно крабы, в своих близких. Пошли...

Впереди Куйбышев, Шмидт, большие люди, которым мы доставили так много хлопот. Путь устлан широкой ковровой дорожкой. Толкаясь и мешая друг другу, трудятся в поте лица своего вездесущие фотографы, припадая на колено в погоне за сверхудачным кадром.

Когда мы вышли на площадь, я даже зажмурился. Море людей, заполнивших площадь, заволновалось. И хотя по дороге от Владивостока до Москвы было много радостных встреч, то, что мы увидели в столице, превзошло все ожидания.

В те годы советская автомобильная промышленность только формировалась, и лишь легковые автомобили отечественного производства ГАЗ-а, в высшей степени скромные, сходили с конвейеров автозаводов. На площади (в те время ни сквера, ни памятника Горькому еще не было, и примыкавшая к ней улица Горького была еще старой Тверской-Ямской) нас ожидало восемьдесят легковых автомобилей самой шикарной, самой знатной тогда американской марки «линкольн». Это были большие черные машины с поднимающимся и опускающимся тентом. Впереди на радиаторе — прыгающая собака. Очень солидный и приметный клаксон. Брезентовые тенты были откинуты, а борта увиты цветами. В ожидании пассажиров они стояли стройными рядами. В первую машину сели В. В. Куйбышев, О. Ю. Шмидт и Н. П. Каманин. Автомобиль долго не мог тронуться с места. Его обступали со всех

сторон. Сотни рук засыпали машину и ее пассажиров розами. Со всех сторон возгласы:

— Привет челюскинцам! — Да здравствуют герои летчики! — Да здравствует Шмидт!

Откуда-то появился микрофон, и Отто Юльевич произнес короткую речь, в которой благодарил москвичей за теплый прием.

На речь Шмидта площадь ответила громовым «ура» и взрывом аплодисментов.

Тронувшись в путь, мы проехали под Триумфальными воротами. Этот памятник архитектуры (он перемещен сейчас на Кутузовский проспект) был поставлен в честь победы русского оружия над Наполеоном, в честь солдат русской армии, в 1814 году вступивших в Париж.

В этот день даже Триумфальные ворота помолодели и в полном смысле слова «расцвели». Сверху донизу они украсились цветами. Когда наши восемьдесят «линкольников» один за другим ныряли в проем арки, сверху посыпались новые порции цветов.

Куда только глаз хватало, по Тверской-Ямской и Тверской (часть улицы Горького между Белорусским вокзалом и площадью Маяковского называлась Тверской-Ямской, а между Маяковской и проспектом Маркса — просто Тверской) были видны бесконечные человеческие головы. По обеим сторонам улицы — конная милиция в белоснежных гимнастерках и таких же сверкающих белизной шлемах. Со всех домов сыпались листовки. Полагаю, что дворники отнеслись к этим листовкам не столь восторженно.

Москвичи, приветствовавшие нас, стояли дисциплинированно и густо. В открытых окнах — радостные лица, машущие платочки... Похожее на кастаньеты цоканье копыт эскортирующей нас конной милиции. Многочисленные портреты челюскинцев в витринах магазинов — поменьше, а просто на столбах — величиной в нормальную простыню. Узнавание доставляло удовольствие, как решение сложнейшего кроссворда, и окончательное решение по вопросу «кто есть кто» выносилось путем открытого голосования. Легче всего узнавали Шмидта, но бороды были не у всех.

Так, наконец, мы прибыли на Красную площадь. Была чудная погода. Из Никольских ворот вышли Сталин, Ворошилов, Калинин, Орджоникидзе и другие руководители партии и правительства. Они

поздоровались с нами, и затем все поднялись на мавзолей. Часть челюскинцев разместились на крыльях мавзолея, часть на ступеньках, где в своей широкополой шляпе, с большими усами, хорошо известными нам всем по фотографиям, стоял Алексей Максимович Горький и плакал, не будучи в силах сдержать своих чувств. Тут я имел честь пожать ему руку.

Начался митинг. От правительства с большой речью выступил В. В. Куйбышев.

— Спасение челюскинцев показало, — сказал Куйбышев, — что в любой момент вся наша страна поднимется на защиту, когда это будет нужно, и что многих и многих героев сможет она дать. Спасение челюскинцев показало, насколько мы можем уже рассчитывать на свои собственные силы, на выросшую у нас свою отечественную технику, насколько успешно мы осваиваем эту технику.

Потом говорили Шмидт, Каманин, Молоков, Ляпидевский, Воронин, Бобров...

Начался парад. Красноармейцы, физкультурники, колонны рабочих, комсомольцев, отряд барабанщиков, почему-то одетых в милицескую форму, конница, артиллерия, танки...

Слушая ораторов, глядя на проходивших людей и технику, я думал, как быстро все меняется. Каких-то полтора десятка лет назад мы были бедны, как церковные крысы. Драгоценностью выглядела старая паянная и перепаянная кастрюля, а жестяная печка-буржуйка казалась венцом технического прогресса и цивилизации. Как все изменилось...

С ревом и гулом прошла над головами собравшихся воздушная армада. Замыкая строй самолетов, над площадью, сопровождаемый двумя истребителями, летел восьмимоторный гигант «Максим Горький». Истребители эскорта, выглядели рядом с ним крохотными мушками. Для контраста к воспоминаниям о печке-буржуйке лучшего символа новой техники нарочно не придумаешь.

Еще в апреле, через несколько дней после нашего спасения, АНТ-20 (как все самолеты А. Н. Туполева, «Максим Горький» обозначался инициалами конструктора и имел свой порядковый номер) был выведен на летные испытания.

Строили «Максима Горького» в тех местах, где проходила моя юность. Испытывали там, где теперь садятся только вертолеты — на

бывшей Ходынке, затем Центральном аэродроме, ныне аэровокзале и вертолетной станции. Для того чтобы преодолеть расстояние между этими двумя точками, самолет разобрали, и целая процессия автомобилей и повозок (об этом даже писали в газете) ночью потащила исполина через Разгуляй, Басманную, по Садовому кольцу Садовой-Триумфальной, Тверской-Ямской и Ленинградскому шоссе. Чтобы вести самолет на аэродром, пришлось разобрать ворота.

В день нашего приезда «Максим Горький» был впервые показан советскому народу.

Двести тысяч листовок, посыпавшихся на Красную площадь с борта АНТ-20, были рапортом тулолевского коллектива народу.

Пролетая над орлами, украшавшими кремлевские башни, «Максим Горький» выглядел особенно внушительно. Под картиной можно было смело ставить подпись «Старое и новое».

Для позеленевших от времени орлов, веками державших в лапах эмблемы самодержавной власти, это был один из последних парадов. Вскоре Совет Народных Комиссаров СССР принял решение заменить к 7 ноября 1935 года царских орлов звездами. Кремлевские башни приняли хорошо знакомый нам сегодня вид.

Из далекого Уэллена пришла радиogramма от чукчей, оказавших нам первое гостеприимство на материке. Они поздравляли с благополучным возвращением домой. Большое впечатление произвело поздравление, появившееся в газетах. Знаменитая революционерка Вера Николаевна Фигнер, старая женщина с молодой душой, писала: «Вы явили мужество и солидарность между собой, качества, пример которых всегда помогал мне жить»... Услышать такое от человека, чью волю не смогли сломать злоешие казематы Шлиссельбурга, было очень почетно.

Трогательным был рассказ народного артиста СССР Василия Ивановича Качалова.

«Однажды в феврале я пришел в театр, чтобы сыграть роль „от автора“ в „Воскресении“. Это были первые дни вашего пребывания на льдине, наполненные множеством неясностей и не вызывающие уверенности в будущем. Актеры, люди эмоциональные, волновались.

„Председатель суда“ даже начал путать реплики, а в антракте сказал мне: я что-то „наложил“, но, понимаешь, не мог

сосредоточиться. Одна мысль в голове: „Челюскин, льдина... Подумал, и как-то уж очень не по себе стало...”

Я увидел крупные слезы, побежавшие по гримированным щекам моего товарища. Через несколько дней — тот же спектакль, та же сцена. Я заметил необычную оживленность „заседателей“, которым по ходу пьесы полагалось изображать скуку, сонливость и равнодушие.

Я подошел поближе и отчетливо услышал шепоток, никак не предусмотренный Львом Толстым:

— Ляпидевский вывез всех женщин с льдины».

Затем наступила эпоха банкетов. Все жаждали позвать в гости челюскинцев, а, пригласив, считали обязательным признаком хорошего тона не только послушать наши рассказы, но напоить и накормить нас. Делалось все это от души, и мне пришлось изрядно поездить по стране, рассказывая то, что уже известно читателям этих заметок. Конечно, вспоминая об этих встречах, я далек от того, чтобы уделить им большое место, но о некоторых все же надо рассказать.

Вскоре вместе с женами нас пригласили в Ленинград. На перроне, как полагается, блистал медью труб оркестр. Гремел авиамарш «Все выше, и выше, и выше!..» Под этот марш мы бодро сошли на платформу Московского вокзала.

Погода была ленинградская — сырая и пасмурная. Накрапывал дождичек. На Невском перекрыли все движение, и мы, опять на этих знаменитых «линкольнах», только с поднятыми по случаю плохой погоды тентами, покатали на Дворцовую площадь. Машины шли ниточкой, малым ходом, по середине проспекта. Мы протискивались между приветствующими нас ленинградцами.

Ленинградцы стояли под зонтиками. В руках у многих были букеты цветов. Тенты на машинах прикрывали пассажиров только сверху, боковушек не было, и, поскольку машины шли медленно, Шмидта, ехавшего в первом «линкольне», молниеносно завалили цветами.

Не все букеты попадали в машину Шмидта. Часть цветов падала на мостовую, где луж было предостаточно. Эти упавшие букеты кое-кто подбирал и бросал в следующие машины.

Я ехал в седьмом или девятом автомобиле, и на мою долю достались эти подмокшие цветы, не попавшие в первые машины. На Дворцовую площадь мы приехали в совершенно невозможном виде,

обляпанные грязью с головы до ног. Прежде чем появиться перед ленинградцами, мы долго и упорно утирали свои физиономии.

На следующий день нас пригласили в Петергоф. В петергофском дворце челюскинцев принимал Сергей Миронович Киров. Хозяин этого званого обеда был в знакомой нам по многочисленным фотографиям гимнастерке. Стол стоял покоем. Во главе стола сидел Сергей Миронович.

Меню было таким огромным, что попробовать можно было от каждого блюда только по самой малой толике. Мы с женой все попробовали, а для порядка даже отмечали карандашом.

После этого впечатляющего угощения мы вышли в зал, и начались танцы. Пол в этом зале — художественное произведение. Разные сорта дерева, мозаика, изумительные узоры. Я стоял недалеко от Сергея Мироновича, когда к нему подошел белый как лунь согбенный старец в ливрее, видимо, царских времен:

— Сергей Миронович, ведь это музейное помещение. Мы посетителей заставляем войлочные шлепанцы надевать, а тут танцуют...

Сергей Миронович внимательно выслушал его и спросил:

— Скажи, старина, царей помнишь?

— Помню, Сергей Миронович, помню...

— Ну, а как цари танцевали? Надевали шлепанцы?

— Нет, Сергей Миронович, цари шлепанцев не надевали...

— Ну и мы не будем надевать.

Пригласили нас в один из крупных городов на Волге. Принимали нас в здании, где в старые времена было дворянское собрание. Зал с колоннами из настоящего мрамора. Зашторенные окна, полумрак. На улице жара, а в зале прохладно. Как фирновый снег, блистают накрахмаленные салфетки. Глядя на все это великолепие, мы сразу же обратили внимание, что на столе, только бутылки с шампанским. Обращаемся к официантам:

— Нельзя ли попросить какой-нибудь минеральной водички или лимонада?

— Нет, ни воды, ни лимонада нет.

Короче говоря, на этом банкете не было ни водки, ни коньяка, никаких вин, никакой фруктовой или минеральной воды. Было лишь одно шампанское. Ох, и хороши мы были!!

Мои описания разного рода пиршеств, имевших место, бледнеют перед тем литературным памятником, который воздвигли этой банкетной лихорадке мои любимые писатели И. Ильф и Е. Петров. Фельетон «Чудесные гости», появившийся в «Правде», повествовал о великой битве редакции газеты «Однажды вечером» с редакцией газеты «За рыбную ловлю», — битве по поводу челюскинцев.

Чудесных гостей пригласила газета «Однажды вечером». Редакция готовилась к их встрече, как могла.

«...из комнаты, на дверях которой висела табличка „Литературный отдел и юридическая консультация“, исходил запах колбасы и слышался отчаянный стук ножей. Там засели пять официантов и метрдотель в визитке. Они резали батоны, раскладывали по тарелкам редиску с зелеными хвостами, колесики лимона и краковскую колбасу. На рукописях стояли бутылки и соусники.

Сотрудники, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто заглядывали в эту комнату и, вдохновившись сверканием апельсинов и салфеток, снова устремлялись на лестницу.

Заведующий литературным отделом стоял перед редактором и, нервно притрагиваясь к своим маленьким усикам, говорил:

— Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, а потом они поедут на завтрак в ЦУНХУ, оттуда, минут через десять — на обед со знатными людьми колхозов, а там уже стоит наш человек с машинами, схватит их и привезет прямо сюда закусывать...

...Час прошел в таком мучительном ожидании, какое едва ли испытывали челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Александрович, не отрываясь от телефона, принимал сообщения.

— Что? Едят второе? Очень хорошо!

— Начались речи? Отлично!

— Кто пришел отбивать? Ни под каким видом! Имейте в виду, если упустите, мы поставим о вас вопрос в местное. Может, вам нужна помощь? Высылаем трех на мотоциклах...

Бедная редакция „Однажды вечером“! Она лишь в самый последний момент узнала, что этажом ниже в редакции газеты „За рыбную ловлю“ тоже накрывают столы. Там тоже ждали челюскинцев, их челюскинцев!

Такой подлости от своих коллег и соседей „Однажды вечером“ совсем не ждала. Но сражаться с ними было очень трудно. „За рыбную

ловлю“ (это было самым опасным для конкурентов) имела в лифте своего человека, а приказ лифтерше был дан самый категорический: остановить лифт не на четвертом, а на третьем этаже. Редакторы обеих газет т. Барсук и т. Икапидзе уже стали надвигаться друг на друга.

В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы, и освещенный лифт остановился на третьем этаже... Рыбная лифтерша сделала свое черное дело...

Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый Барсук говорил о нерушимой связи рыбного дела с Арктикой и о громадной роли, которую сыграла газета „За рыбную ловлю“ в деле спасения челюскинцев. Пока Барсук действовал таким образом, „Однажды вечером“ переминался с ноги на ногу, как конь. И едва только враг окончил свое торжественное слово, как товарищ Икапидзе изобразил на лице хлебосольную улыбку и ловко перехватил инициативу.

— А теперь, дорогие гости, — сказал он, отодвигая плечом соперника, — милости просим закусить на четвертый этаж...

Чудесные гости, устало, улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, двинулись в редакцию вечерней газеты.

В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный Барсук сумел все же отхватить и утащить в свою нору двух героев и восемь челюскинцев с семьями...

...А дальше все было очень хорошо и даже замечательно. Говорили речи, чуть не плакали от радости, смотрели на героев во все глаза, умоляли ну хоть что-нибудь съесть, ну хоть кусочек. Добрые герои ели, чтобы не обидеть. И на третьем этаже тоже, как видно, было хорошо. Оттуда доносилось такое сверхмощное „ура“, что казалось, как будто целый армейский корпус идет в атаку».

Далеко за полночь, на нейтральной площадке, встретились оба редактора. У одного в петлице была чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном, другой обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Они занимались важным делом — меняли челюскинцев, тщательно высчитывая достоинства каждого из чудесных гостей.

Я не мог не пересказать здесь эту великолепную историю, ибо, как участник многих встреч такого рода, оценил всю точность юмора высокочтимых мною И. Ильфа и Е. Петрова.



Трогательное и смешное в эти дни часто оказывалось рядом. И челюскинцы, и встречавшие нас сотни тысяч москвичей были растроганы тем, что автомобили, доставившие нас на Красную площадь, увиты гирляндами цветов. Однако три недели спустя попытка проехать в таком разукрашенном цветами автомобиле вызвала совсем иную реакцию. Такая попытка, по не зависящим от меня обстоятельствам, была сделана, и я оказался ее невольным участником.

Получив приглашение, приехать в гости, в один подмосковный город, я удивился, увидев у подъезда своего дома увитый гирляндами цветов газик. Хотелось тотчас попросить снять эти запоздалые украшения, но лица делегатов подмосковного городка, приехавших за мной и Василием Сергеевичем Молоковым, излучали такое доброжелательство, что попросить снять цветы означало обидеть этих славных милых людей, чего я, конечно, позволить себе не мог.

Язык не повернулся что-либо сказать, и мы поехали. Но проехали немного. На площади Дзержинского постовой милиционер свистнул и, остановив наши машины, строго спросил:

— Что это за деревенская свадьба? Сидевший в первой машине Молоков занялся популяризацией Арктики. Милиционер, познакомившись с одним из Героев Советского Союза, с удовольствием выслушал, что во второй машине едет еще и Кренкель. Взмах руки — и наши разукрашенные автомобили гордо покатали дальше. Что же касается меня, то к краскам цветов добавились еще мои щеки, красные от стыда.

Вернувшись в Москву после завершения челюскинской эпопеи, я много ходил по городу. За время отсутствия, как всегда, произошли изменения. Стих трамвайный перезвон на Арбате. Последний трамвай прошел по этой улице за десять дней до возвращения челюскинцев. Исчезла Сухарева башня. Я застал лишь груды обломков, которые развозили грузовики и ломовые извозчики. Москва моей юности уходила в безвозвратное прошлое...

Первые годы челюскинцы как-то не очень поддерживали отношения друг с другом. Потом все изменилось. Наш славный Виктор Александрович Ремов, взяв на себя бездну хлопот, вновь организовал нас в коллектив. Каждый год, 13 февраля, обычно в ресторане «Прага», мы вместе с летчиками, нашими дорогими спасателями, отмечаем дату

гибели «Челюскина»... Нас уже немного. Болезни, возраст, война сделали свое дело.

Мы досиживаем до последней минуты, когда в ресторане уже начинает мигать свет и официанты, хорошо знающие всю нашу компанию, вежливо напоминают:

— Пора уходить.

Мы расходимся, чтобы через год, 13 февраля, встретиться снова. Слишком многое связывает нас, чтобы мы могли поступить иначе. К тому же в этот вечер нам всем бывает обычно очень хорошо...

## Северная Земля

*Вам поручается строительство новой станции. Опять на «Александре Сибирякове». Наши гости — медведи. Двенадцать собак. Здесь ты виден со всех сторон. Самые северные стахановцы. К нам прилетел гидролог. Необычная охота. День рождения. Консультирует Костя Зенков. Неважный остров. На ушаковской зимовке. Оживляем технику. Радиоперекличка. Цинга. Нам плохо. Смена.*

Наконец прошла полоса встреч, выступлений и скучного сидения в разного рода президиумах в качестве свадебного генерала. Выдержал водопады водки, лавины винегрета и обвалы закусок.

Возвратившись как-то ранней весной из очередного вояжа, узнаю от жены: «Звонил Отто Юльевич и спросил: „Наталия Петровна, скажите, вы не знаете, как Эрнст Теодорович, вообще, собирается работать?“ Зная Отто Юльевича, это «вообще» я воспринял как приказ со строгим выговором и предупреждением и на следующий день был первым посетителем Шмидта.

— Вот мы предполагаем, поручить вам строительство новой станции и назначить вас начальником. Что вы скажете?

Сразу я ничего не мог сказать, потому что от радости в зобу дыханье сперло. Ой, до чего здорово! Новая станция, новые места и новое амплуа — красота! Радость и гордость обуревали меня за доверие, которое мне сочли возможным оказать.

Мне поручалось добраться, высадиться и построить станцию или на острове Визе, или на мысе Арктическом, северной оконечности Северной Земли, или на мысе Оловянном в проливе Шокальского. Эти многочисленные «или» объяснялись очень просто — куда пустит лед, куда сумеем пробраться.

К тому времени здесь, в Москве, появилась уже (видимо, без этого нельзя) арктическая бюрократия: приказы, циркуляры, инструкции, нормы расходования, формы отчетности — все это имелось в изобилии и все это надо было переварить и освоить.

В обязательном порядке начальники станций посещали курсы. Я познакомился со славными людьми: Леонидом Владимировичем

Рузовым — мыс Челюскин, Иваном Михайловичем Никитиным — мыс Желания и Александром Григорьевичем Капитохиным — остров Уединения. Мы держались кучкой и злоупотребляли служебным положением Капитохина, который был старостой группы, — одурев от всяких премудростей, бегали на угол, чтобы освежиться кружкой пива. Капитохин ставил галочку — «на занятиях были».

На всю жизнь запомнились лекции по пожарному делу. Я узнал массу интереснейших вещей: с огнем надо быть осторожным, он мечтает стать причиной пожара, трубы надо чистить и окурки под матрац не совать.

Наш педагог, по случаю жаркой погоды, был в ситцевой косоворотке с расстегнутым воротником и подпоясан кавказским ремешком. Он был неплохим человеком, но излишком интеллекта не страдал.

— Значит, так — это огнетушитель системы «Тайфунт»...

Следовало в течение академического часа объяснение, каким местом «Тайфунт» надо ударить об пол, чтобы он начал действовать. Одолеваемые дремой после очередной кружки пива, мы почтительно внимали лектору.

Мною он не был доволен. Я очень толково повторил, каким местом надо ударить об пол, но вызвал негодование, сказав — «системы Тайфун...»

— Товарищ Кренкель, я же ясно и четко сказал «Тайфунт», а вы перевираете название. Спорить я не стал...

Первая половина лета прошла в хлопотах. Вот уже и поезд Москва — Архангельск. Провожать нас пришел сам Отто Юльевич. Это было, безусловно, большой честью.

И, конечно, Наташенька. Все уже было переговорено и обговорено дома, а тут оставался только официальный поцелуй при всех и грустный взгляд, когда поезд тронулся.

Привычный Архангельск был как дом родной. Иногда заходили освежиться в ресторан «Арктика», напротив летнего сада. Там заказывали единственное имеющееся блюдо — треска по-польски. Так как она была не свежей, а соленой, ресторан благоухал на весь квартал. Целыми днями мы пропадали в джунглях необозримых складов на Бакарице. Здесь мы получали положенное нам имущество, конечно, стараясь прихватить и неположенное.

Старый друг «Сибиряков» принял на борт нашу четверку и смену полярников, следующую на остров Уединения.

Все было привычным и дорогим. «Сибиряков» бодро бежал по пустынному морю. Днем у нас были кое-какие дела, например кормежка собак и свиней, а светлым вечером полярного дня мы собирались в клубе — около теплой трубы, с подветренной стороны. Не было темы, которую мы бы не затрагивали — в общем, кто во что горазд.

На Уединении помогли в выгрузке, побродили по острову и через два дня, распрощавшись с Капитохиным и его милой женой хирургом Александрой Петровной, отправились дальше.

На острове Визе нас не пустил тяжелый лед. Ткнулись по направлению к мысу Арктическому, но и тут потерпели неудачу.

В августе мы входили в пролив Шокальского. Вот они, молчаливо угрюмые горы и сползающие ледники, среди которых мы проведем год жизни.

Отличное и предельно точное название дал своей книге истинный герой Арктики — Георгий Алексеевич Ушаков: «Но нехоженой земле». Да, нехожена...

По этому берегу со дня сотворения мира прошли три года назад только два человека: Ушаков и геолог-геодезист Урванцев. Каюр Серега Журавлев дошел с ними только до мыса Берта. Но рассказ о них — впереди.

Первого сентября «Сибиряков» уходил. Чуть ли на колене дописывались последние слова последнего письма жене с извечными словами: не волнуйся, обнимаю, целую и т. д.

Ну, конечно, пара глотков горячительного, выстрелы и прощальные гудки, все как полагается в таких случаях.

Дом, в котором нам предстояло жить, стоял на каменистом косогоре, среди огромных каменных глыб. С крыльца открывался далекий вид на юго-запад на пролив, который где-то на горизонте соединялся с морем.

В непосредственной близости от дома в пролив выдавался мысок с флагштоком, а вправо отходила небольшая бухточка, наша гавань. Умаявшись за день, мы пошли отсыпаться. Спали долго и упорно. Наш дортуар, а проще говоря, двухъярусные койки, занимал за печкой угол большой комнаты.

Наутро мы увидели картину — груда ящиков на берегу. Каркас сарая есть, но надо его защитить досками. Доски приходится нести, имея под ногами занесенные снегом здоровущие камни. Ящики, тюки, бочки, о господи!..

Но, как говорится, глаза страшат, а руки делают. Наш механик Мехреньгин, на все руки мастер, сноровисто зашивает досками сарай. Берет в рот жменьку гвоздей и быстро орудует молотком. Метеоролог Кремер не хочет отставать... Тоже гвозди в рот, но тут же начинает отплевываться.

«Слушай, Николай Георгиевич, чем это гвозди смазаны?»

«Да должно быть, тавотом...»

«Н-ее-т, что-то непохоже...»

Кремер был прав. Вряд ли собаки, бегая по открытым ящикам с гвоздями, оставляли за собой следы тавота.

Метеоплощадка высилась на бугре с положенными ей аксессуарами: две стандартные метеобудки, столб с флюгером и дождемер. Четыре раза в сутки, в темноту и пургу Кремеру надо было идти к будкам. Те же разбросанные камни, снег, заструги. Жалея нашего метеоролога, положили толстые доски, так будет удобней.

— А леер будем протягивать? — спрашивает Кремер. Опять у троих веселое настроение.

— Милый мой, леера между домами натягиваются только в плохих кинофильмах, когда пургу изображают с помощью выработавшего свои ресурсы авиадвигателя. Ишь ты, леер ему нужен! Обойдешься и так...

Борис Александрович Кремер был впервые в Арктике. У летчиков есть выражение: «вывозить» молодого летчика — это когда опытный пилот демонстрирует в действии новичку новый, неизвестный ему самолет. Так и я «вывозил» Кремера и поэтому считаю себя его полярным крестным отцом.

Житейская мудрость гласит, что человек обыкновенно недолюбливает тех, кто на него похож. В нашем случае эта мудрость дала осечку. Мы в чем-то похожи (и даже одинаково сильно картавим). Мой крестник в дальнейшем оказался отличным полярником, неоднократно возглавлявшим коллективы крупных полярных станций.

Редела груда ящиков, и все как-то потихоньку успокаивалось. Запыхтел маленький двигатель, уходили на мыс Челюскина наши

метеосводки. Все становилось привычным, и очередной день тоже начинался как обычно. За окном было темно, плита еще не прогрела комнату, и явно не хотелось вставать.

Метеоролог уже вернулся с площадки, составил и передал первые сведения о погоде наступившего дня. Теперь он возился с чайником у плиты за досчатой перегородкой. Это было его обязанностью. Без ошибки можно было сказать, какой крышкой, какую кастрюлю он задел. А вот и ковшик брякнул: повешен обратно на бочку с водой.

Начало рабочего дня мало, чем отличалось от московского, разве что ближайшие люди находились к югу от нашего острова в трехстах километрах.

В центре помещения стояла огромная, монументальная печь, как символ тепла и жизни. Досчатая перегородка от печки к стене образовала спальню и кухню. Находясь в спальне, можно было без излишних вопросов безошибочно определить по запаху меню обеда.

Наступило время утреннего чаепития, но ему не суждено было состояться. Внезапно бешено залаяли собаки. Это не было обычной утренней собачьей перебранкой. Чувствовалось, что имеется веская причина, вызвавшая такое необычайное возбуждение. Мы еще не успели выскочить на крыльцо, как лай собак стал удаляться.

Быстренько: штаны, сапоги, ватник — и с винтовками выбежали из дома. Стояла поздняя осень.

Припорошенные первым снегом высокие горы нарядно и величественно отражались, как в зеркале, в спокойной воде пролива. Величавые айсберги молчаливо двигались к югу. Эта торжественная тишина нарушалась лишь лаем удаляющихся собак. Вся свора мчалась по следам медвежьего семейства. Медведица с двумя медвежатами неслась галопом по береговой террасе вдоль берега бухты. Если бы медведица была одна, она легко могла бы отделаться от назойливых преследователей, прыгнув в воду, но медвежья мама не могла бросить своих детенышей. Большой, массивный зверь с непонятной ловкостью и изяществом прыгал с камня на камень, но малыши явно отставали.

Если медведица одним прыжком перемахивала через большой камень, то медвежата были вынуждены обегать его. Время от времени медведица возвращалась, чтобы мордой и лапами подтолкнуть медливших медвежат.

Ревущая свора собак настигла медведей. Впереди, молча, летели вожак. Даже срываясь с камней, они кубарем катились вперед все ближе и ближе к медведям. Едва поспевая за ними, мчались более слабые собаки, возмещая отчаянным лаем отсутствие скорости.

Все это отлично было видно с высокого крыльца нашего дома и происходило в полукилометре от нас, на противоположном берегу бухточки.

Нам было жаль убивать таких красивых зверей, но надо было думать о свежем мясе для себя и о корме для собак на долгую полярную ночь.

Что делать? Бежать кругом бухты или спустить шлюпку? И то и другое требует чересчур много времени — упустим медведей. Остается одно — стрелять и тем самым задержать как-то всю группу. Пара ящиков для упора — и стрельба началась. Первые пули, как полагается, мимо, но вот наступила заминка. В бинокль увидели, что один из медвежат ранен. Теперь они никуда не уйдут. Материнские чувства медведицы не позволяют ей оставить даже убитого, а тем более раненого детеныша.

Вдвоем подгребаем на шлюпке к крутому заснеженному берегу. Группа держит круговую оборону. Собаки хватают медведицу за безопасное для них место, за штаны, заставляя ее сесть и потерять драгоценное время. Когда мы были уже совсем близко, медведица бросилась в воду и, злобно рыча, поплыла к нам. Надо было нас напугать и отогнать. Оставшиеся на берегу, медвежата дружно и жалобно заревели. Им было страшно без матери.

Первым выстрелом медведица была убита и белым бугром заколыхалась на воде. Медвежата, напуганные выстрелом, затем молчанием матери, не думая долго, как по команде бросились в воду и поплыли к ней. Один был убит сразу, другой, поняв свою ошибку, повернул обратно, но, устав, решил отдохнуть на спине убитой медведицы.

Мы взяли медведей на буксир. Для этого пришлось до плеч засунуть руки в замерзающую воду, чтобы накинуть петли. Буксировка шла медленно, начался ветерок, и появилась волна. Кое-как добрались до дома, переоделись, покурили и приступили к нужной работе. Пришлось подрубить лед, устроить пологий скат, и лишь тогда вчетвером вытащили добычу на берег.



Началась разделка медведей. Дело совсем нешуточное и требующее опыта и сноровки. Первое условие — отличный, острый промысловый нож.

Шкура снимается вместе с толстым слоем сала и накидывается на высокие козлы. Снять шкуру не так уж трудно, но кропотливая, почти ювелирная работа начинается с лапами и головой. Пасть, глазные впадины имеют черный ободок. Он крепко сидит на кости — если повредить, то Госторг сильно сбавит цену на шкуру. Когти тоже должны быть в полной исправности.

Мы были рады. Мяса хватит надолго. Окорока развесили по стенам дома вне досягаемости для собак, остальное — в бочки, а требуху собакам. Вся эта работа продолжалась несколько часов. Наконец, покончив с нею, отмылись, и подоспело время обеда. После обеда решили немного прихватить — мы основательно не выпались.

Но не тут-то было: опять лай собак, и, на этот раз совсем уже удобно, как цель в ярмарочном тире, в тридцати метрах от дома опять три медведя обнюхивают злополучное для их родичей место. Допоздна пришлось трудиться.

Все же шесть медведей в один день — это неплохо. В основном, мы трудились для собак и радовались такому богатому улову.

Тут уместно сказать добрые слова о собаках. Не помню, кто произнес такую мрачную фразу: чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Оставим людей в покое. Спор на эту тему мог бы завести чересчур далеко; обратимся лучше к собакам.

Сразу же отметем бедных городских собак. Это не собаки, а игрушки в руках себялюбивых людей.

«Ах, как я люблю своего Рекса!» Любить он, может быть, и любит, но забывает, что жизнь его любимца хуже собачьей. Три обязательные прогулки с собакой, от которых старательно отбиваются все члены семьи. Да и что это за прогулки — на поводке, с намордником, и вся зелень — это склон между трамваем и бульварной оградой. Давайте пожалеем городских собак и поставим на этом точку.

В давние времена ни одна полярная экспедиция не могла обойтись без собак — единственного тягла в полярных условиях. Хвала собакам, высокая оценка их работы, признание в них подлинных друзей часто встречаются на страницах полярной литературы.

С наступлением двадцатого века самолеты, вертолеты, вездеходы основательно стали теснить своих четвероногих предшественников.

Много лет назад на Колыме еще существовал питомник ездовых собак. Колымская! В свое время это была мечта любой экспедиции, любого полярника: средней величины, с широченной грудью и массивными лапами, она с первого взгляда внушала доверие. Отличительным признаком были почему-то разномастные глаза.

Сейчас ездовые собаки сохранились и сохраняются у чукчей на побережье Камчатки. А как же иначе: выезд на промысел, поездки к родственникам и на ближайшую факторию за сотни километров, чтобы купить муку, керосин и патроны, требуют наличия своего выезда. Было и у нас на зимовке двенадцать собак. Георгий Алексеевич Ушаков, понимая все их значение при грандиозной работе по исследованию Северной Земли, заказал себе именно колымских. Несколько этих животных — а может быть, это уже было новое потомство — досталось нам. Зато почти все остальные были ниже всякой критики: нормальные обитатели архангельской живодерни. Хозяева их еще искали, а они уже ехали покорять Арктику. Несколько упрощая и переводя на житейскую практику теорию Дарвина, мы решили, что произойдет естественный отбор, но даже для этих короткошерстных псов надо было на зиму заготовить корм и торопиться, пока была чистая вода, где нет-нет, да и вынырнет черная круглая голова тюленя с топорщащимися усами и удивленными коровьими глазами. Можно было, и посвистеть — тюлень любопытен и подплывает ближе, где и наказуется его нездоровое любопытство пулей из мелкокалиберки.

Разделка очередного тюленя была всегда радостным событием для всей нашей своры. У нас просто ног не хватало, чтобы отбиться от этой радостно возбужденной компании. Туша разделана, а вся требуха, кроме печенки — это уже наше лакомство, — идет на растерзание собакам.

С четкостью фотографии запомнилась картина: слабосильный пес ухватил длинную-предлинную кишку и, не жуя, быстро ее заглатывает, но за несколько метров от него к другому концу этой же кишки подходит вразвалку общепризнанный всей стаей вожак — Казанова, получивший такую кличку за полное пренебрежение к моногамии, и начинает заглатывать ту же кишку, но с другого конца.

Несостоятельный слабосильный партнер упирается всеми четырьмя лапами, его тащат, как на аркане, по шуршащей гальке, и поединок кончается плачевно: новый хозяин выдирает кишку прямо из глотки.

Экзаменом для животных является работа. Тут в полной мере познается их истинный характер.

На появление в дверях человека с упряжью четвероногие друзья реагируют различно: одни подбегают с утренним приветствием, а другие молниеносно исчезают. В упряжке четное количество собак, и каждая пара, имея да плече и груди шлею, тянет за пропущенную через кольцо общую лямку. Таким образом, нерадивое отношение замечает не только человек, но и собачий партнер. Честный работяга на ходу подкусывает отстающего ленивца, а на очередной, стоянке обеспечен серьезный собачий разговор.

У собак, как и у людей, есть своя табель о рангах, своя иерархия.

Когда поглощались ежедневные куски мяса, и вдруг подходил Казанова, то даже сильные собаки предпочитали отходить в сторону. Единственное, что они могли себе позволить, — глухое рычание.

Жалею, что именно я был виновником гибели Казановы.

Наводя порядок во время очередной кормежки, я схватил его за загривок. Он зарычал на меня, ощерился и попытался укусить. Это не удалось, но он вырвал большой клоч на коленке моих штанов, а это были особые штаны: кожаные, на байке, с высоким корсажем, сделанные моей женой. Штаны были моей гордостью и предметом зависти моих товарищей.

Обстановка созрела для воспитательных мер. Прижав Казанову коленом к снегу, левой рукой держа за загривок, кулаком я стал внушать этому сукиному сыну, кто тут из нас является царем природы.

Вокруг сидели все собаки, молча, наблюдая эту экзекуцию. Казанова встал, молча, медленным шагом ушел из сарая и лег.

Я навещал его, носил воду и вкусную еду. Он не ел, он не вставал. Через неделю он подох.

Я не мог, конечно, нанести ему кулаком смертельные повреждения. А самолюбие есть и у собак.

Кроме нас, четверых, в доме жили еще три существа. Во-первых, мощная немецкая овчарка Грейф, приехавшая из Москвы. Этого пса, совсем еще маленьким щенком, мы вместе с женой привезли домой в наволочке на трамвае. Характер у него был хороший, если не считать

перепорченную хозяйскую обувь. Собакам в дом заходить не полагалось. Поэтому они косились на Грейфа и явно его недолюбливали, но резких выпадов себе не позволяли. Все же это был приближенный и любимый пес начальства. Это даже собаки понимали.

Во-вторых, кошка. Совсем маленьким котенком мы его прихватили или, проще говоря, украли из последней архангельской бани. Лешу Голубева, который вез котенка за пазухой, высадили с трамвая. Поднимать такой шум и так красноречиво выражаться могут только трамвайные кондукторши. Леша вышел с передней площадки и, проходя мимо открытого окна, сунул мне котенка; а сам вернулся в вагон с задней площадки.

Не мудрствуя лукаво, кошку назвали Муркой. Однако через несколько месяцев мы сделали сенсационное открытие: наша Мурка вовсе не мурка, а совсем наоборот.

Что делать? Мы устроили торжественные крестины и при всеобщем одобрении нарекли бывшую Мурку — Лукой.

Нашего полку прибыло. Вместе с котом, собакой и людьми нас теперь стало шесть особей мужского пола. Некоторое время была у нас еще седьмая особь, о которой следует рассказать.

В Архангельске в качестве продовольствия нам дали огромнейшую свинью, да еще поросую. Не надо говорить, как много внимания мы уделяли этой даме, вернее не ей, а будущим окорокам. Мы обращались с ней как с севрской вазой. Под высоким крыльцом был устроен закуток и тщательно законопачены все щели, чтобы не продувало. Наконец наступил волнующий день. Будучи начальником (а начальство должно все знать, уметь и делать), объявил, что «командовать парадом буду я». Была приготовлена шайка с теплой водой, и мои ассистенты, бережно зажав в ладонях очередной теплый комочек, мчались в дом. Мы были наслышаны, что новорожденных купают, вот мы и купали наших поросят. Все они были в непонятном нам облачении — в пузыре тонкой пленки, похожей на целлофановую, которую мы сдирали.

Жаль, что свинья не обладала даром речи, иначе она бы сказала: «Слушайте, вы, болваны, дайте-ка я лучше сама управлюсь». Наша чрезмерная забота и мои слабые познания в области акушерства привели к печальным результатам, из десятка уцелел только один.

В технике существует такой неофициальный термин — «дуракоупорный»; именно таким оказался этот поросенок. Нарекли его Васькой, и был он нашим общим любимцем. Во время чаепития или шахматной партии Лука и Васька сидели у нас на коленях. Посередине комнаты, распластавшись, лежал Грейф. Ему было жарко, и холодный линолеум приятно освежал. Лука пластом ложился на шею этого страшного пса, а Васька, стуча копытцами, подбегал и устраивался на паху Грейфа. Момент укладки, учитывая копытца, Грейф переносил стоически, хотя и ворчал.

Кухонный угол был моим царством. Всего вдоволь. В сарае штабели мешков и ящиков с консервами. Отличные колбасы — такие твердые, что запросто можно убить человека, бочки с треской, селедкой и прочая снедь.

Дело было за мной, а я старался. Пришлось освоить такое хитрое дело, как выпечку хлеба. Он не должен быть пресным, не должен быть перекившим, внизу не должно быть закала, наверху не должна отставать корка. Таким образом, выпечка хлеба не так уж сложна: четыре «не должен» и лишь одно «должен» — быть вкусным и, желательно, съедобным. Полярный суп почти не сходил с повестки дня — надо сначала разварить сухие овощи, а потом вытряхнуть туда банку мясных консервов и тут же подавать на стол. Варить не надо, ни-ни, иначе будут не куски мяса, а тряпки.

Популярностью пользовался суп «андалюз» — рис и томатная паста. И, конечно, бессмертный и известный всем морякам, извините, десерт — компот из сухофруктов: мутная, сладкая вода с черными кусками неизвестно чего. Ходят слухи, что это сушеные груши.

Паштетов из соловьиных язычков, как у императора Нерона, у нас не было, зато этот всемогущий властелин не знал вкуса почек белого медведя. Однако хватит о кулинарии, не это было главным.

В нашей компании я был единственным кандидатом в члены партии. Заявление было подано еще в поезде, когда челюскинцы возвращались домой. Мне было тридцать лет, и я не боялся вопроса: «А где ты был раньше?» Раньше я был на маленьких зимовках, где не было партийной организации.

Вся история челюскинцев привела меня к вступлению в партию. Я почувствовал силу коллектива. Я соврал бы, сказав, что я был

грамотным марксистом, но встречи с хорошими людьми, кое-какой житейский опыт и весь настрой тех лет дали свои результаты.

Надо сказать, что работа в Арктике — отличная школа для любого человека. Не все ее выдерживают, некоторые уходят с первого курса этого сурового жизненного университета. В условиях большого города бывает трудно порою разобраться в человеке — какой он? Как поведет себя в трудные минуты? Ведь видишь его восемь часов в день. А как он проводит остальные шестнадцать?

Другое дело в Арктике. Двадцать четыре часа ты живешь как на блюдечке, и товарищи твои видят тебя со всех сторон со всеми, как и положено любому человеку, изъясными. Тут все по честному, карты на стол...

Мое кандидатское звание никаких преимуществ мне не давало, а скорее наоборот.

Трое отличных честных людей представляли собой «беспартийную массу».

Николай Григорьевич Мехреньгин, наш механик, был старше нас всех. До революции он работал мотористом на судах заграничного плавания. Работал инструктором по моторной части и не раз уже побывал на полярных станциях. Где-то под Архангельском есть не то деревня, не то речушка под названием Мехреньга, и там все жители Мехреньгины. Вот родом оттуда и был наш Николай Георгиевич. Спокойный, уравновешенный, понимающий шутку и мастер на все руки, он был, уважаем всеми нами. О метеорологе Кремере я уже писал. И, наконец, наш радист Алексей Голубев. Вместе с И.Д. Папаниным он зимовал один год на Земле Франца-Иосифа. Много лет назад, став радистом на год раньше меня, он натаскивал меня по азбуке Морзе. Вместе ходили в кино, вместе ходили в пивные, когда у одного из нас появлялись деньги. Последнее случалось не часто.

Имея таких замечательных товарищей, самой большой глупостью было бы командовать. Каждый отлично знал свои прямые обязанности, и никто не гнушался любой работой.

Все же звание начальника в наших необычных условиях накладывало на меня известные обязательства. Человек (если он не стоеросовая дубина) должен учиться всю жизнь. Сначала школа с двойками и тройками, а затем большая жизнь, уже без отметок. Хотя это не совсем так. И жизнь — в лице окружающих — ставит тебе

отметки. До гробовой доски человек учится. Услышал, увидел, прочитал что-либо хорошее — прими на вооружение и повтори. Что-либо плохое — обязательно запомни и не поступай так.

Никаких курсов, семинаров, инструктивных бесед у нас не было. Наше дело было всего лишь регулярно давать погоду. Как мы это делаем, никого особенно не интересовало, лишь бы не было ЧП вроде пожара или смертоубийства. Несколько условных значков на синоптической карте, где обозначен мыс Оловянный, были доказательством, что наша четверка жива и делает положенное дело.

Мы регулярно слушали радио и были в курсе всех международных событий. Оценка давалась незамедлительно: она была лаконичной и весьма красочной.

Регулярно проводились политбеседы. Все с удовольствием принимали участие, отлынивающих не было, тем более что говорили «за жизнь» и как-то приноравливали все к нашим условиям, к нам самим.

Вспоминали и комментировали случаи из собственной жизни, вспоминали прочитанные книги и в поисках иллюстрированного материала вторгались даже в классику. Доставалось от нас и Евгению Онегину. Эх, нам бы сюда этого лондонского денди! Показали бы ему тут кузькину мать... Короче говоря, мы единодушно решили, что в полярники Евгений Онегин никак не годится. По Ленскому тоже вынесли решение: хлюпик, надо было врезать по уху Онегину и отбить Ольгу.

\* \* \*

В августе 1935 года произошло событие, всколыхнувшее всю нашу страну. Донецкий шахтер Алексей Стаханов, умело, используя новейшую технику, которой в то время располагала угледобывающая промышленность, и, применив новую организацию труда, поставил небывалый рекорд по добыче угля.

Началось всенародное стахановское движение. В каждой радиопередаче сообщалось о новом включении десятков и сотен тысяч тружеников в это замечательное движение. Во всех областях современной жизни находил применение метод Стаханова.

Программа наших работ была более чем скромная: четыре раза в сутки вести наблюдения погоды, следить с помощью футштока за приливами и отливами, делать снегомерную съемку.

Конечно, все это было не очень масштабно, но мы были единственной станцией в огромном архипелаге Северной Земли и наши сведения нужны были синоптикам. Может быть, от нашей будничной работы прогнозы погоды станут чуть-чуть лучше; на это, во всяком случае, мы надеялись.

Когда началось стахановское движение, мы внимательно следили за московскими передачами и никак не могли сообразить, каким образом и нам стать бы стахановцами. Угольных пластов под рукой не было, не было и многого другого — например, станков, паровозов, вагонов, дойных коров и инкубаторов. Было у нас четверых только нормальное чувство гражданственности нормальных советских людей.

— Эх, ребятки, хорошо бы и нам включиться в это дело?

— Хорошо-то хорошо, — а как?

Мы слышали: больше и быстрее, но не могли сообразить — чего больше и что быстрее в наших условиях мы смогли бы сделать. Если вместо четырех положенных метеонаблюдений мы начнем делать шестнадцать, то вряд ли мы станем стахановцами.

Наконец, в одной из передач четко был дан ключ и сформулирован основной тезис: «Оседлать технику и гнать ее вперед».

Ясно... Но у нас, прямо надо сказать, с техникой — не густо: упряжка собак, бензиновый движок в три лошадиных силы, скромная радиоаппаратура, стандартные метеоприборы — вот и весь наш арсенал. Кого же оседлать, кого и куда гнать вперед?

Мы долго мучались, спорили, уж очень нам тоже хотелось быть стахановцами и, в конце концов, родился хороший план. Как уже говорилось, расширять преподанную нам программу работ не имело никакого смысла. А нельзя ли выполнить что-либо сверх программы? Мы находились на берегу широкого пролива Шокальского. Лишь два года назад по этому проливу, считая с сотворения мира, прошло первое, и пока единственное судно; следовательно, пролив со всеми его глубинами, течениями, приливами и отливами был совершенно не изучен.

Предстояло определить направление и скорость приливно-отливных течений, измерить температуру воды на различных



глубинах, попытаться установить водообмен между двумя морями.

У нас не было гидрологической аппаратуры, да она просто и не была предусмотрена на первый год зимовки. Никто из нашей четверки не был на короткой ноге с тайнами гидрогеологии.

Начальство в управлении полярных станций одобрило наше предложение. Ответ гласил: «Подготовьтесь к приему гидролога со всем его хозяйством. Он прибудет к вам с наступлением светлого времени, самолетом». Начались деловые переговоры с милейшим Леонидом Владимировичем Рузовым — начальником большой полярной станции. Уточнялись программа, сроки работ и время прибытия гидролога. Надо было согласовать миллион мелких житейских вопросов, от которых зависел успех. Нам четверым пришлось изрядно потрудиться и создать хорошие условия для нового члена коллектива.

В мало-мальски приличную погоду запрягались собаки и на середину пролива доставлялось все необходимое для незатейливого строительства: бревна, доски, куски толя, гвозди, плотничий инструмент, а также несколько мешков угля, камелек, керосин и пара ящиков с консервами. Таких рейсов было много. Иногда накрывало непогодой. Иногда приходилось наравне с собаками впрягаться в лямки. Ругались, но дело двигалось. Очевидно, мы были самыми северными стахановцами страны.

Наконец на льду был построен домик. Слово «домик» не совсем соответствовало этому строению. Если говорить об архитектурном стиле, то наше детище больше всего походило на обыкновенный ящик.

Закипело скоростное строительство. Мы не должны были ни с кем согласовывать свои планы, нам не докучали районные архитекторы, подземное хозяйство и красные линии нас также мало волновали, и поэтому, начав утром, к вечеру мы уже справляли новоселье.

Четыре вмороженных столба, каркас из досок, обшитый толем, создали отличные условия для круглосуточных гидрологических работ независимо от погоды.

Нам сообщили необходимые размеры посадочной площадки. Пришлось ее поискать и обозначить границы вешками, подготовить костер для дымового сигнала и посадочное «Т».

В конце февраля, выбрав день с летной погодой и используя еще очень короткий срок светлого времени, самолет доставил нам

гидролога. Мы радостно встретили представителя науки.

Перед началом работы надо было проверить все привезенные приборы. И тут оказались неполадки: что-то сломано, что-то не работает, не лезет. Пришлось нашему Мехреньгину заняться необходимым ремонтом. Началась работа.

Очередной промер сделан. Еще целых полтора часа надо ждать. Гидролог, повернувшись спиной к двери, подтянув колени, сладко сопит во сне. Он отдыхает, а меня одолевают одновременно и зависть и дрема.

Спит человек на жестком топчане, под головой — свой собственный кулак. Ну что тут завидного? Он один проработал здесь более двенадцати часов подряд, а я недавно пришел на смену, чтобы дать ему возможность выспаться. Ну и пусть спит себе на здоровье! Не будем завидовать, тем более что зависть — это скорбь о благополучии ближнего. Благородные чувства взяли верх, черные мысли изгнаны, Задремал и я. Неизвестно, чем кончилось бы это занятие, если бы не запахло паленым.

Присаживаться к раскаленному камельку не следует. Слов нет — тесновато. Вдоль стены — подобие столика из неструганых досок, топчан с возлежащим на нем гидрологом и дальше в углу — поле нашей деятельности, проще говоря, прорубь во льду. Над ней — лебедка для опускания гидрологических приборов. Около столика — камелек и тут же дверь.

Под потолком было нестерпимо жарко. Раскаленный докрасна камелек давал себя чувствовать. Наверху были тропики, внизу — умеренный пояс, а под решетчатым полом — настоящий лед Арктики. Этим климатическим поясам соответствовала и наша одежда: на ногах валенки, затем ватные штаны и рубашка с закатанными рукавами. Сидеть лучше всего было на опрокинутом ведре.

...Тишина и трубка с махоркой настраивали на мечтательный лад, а жара неодолимо клонила ко сну. Свет керосиновой лампы едва освещал дальний угол, где в проруби, как бы дыша, медленно колыхалась вода. Сказочным хрустальным колодцем уходила прорубь в таинственную непроглядную тьму.

Ширина пролива около двадцати километров. Скованный льдом, он казался безжизненным, но под зимней броней шла своя жизнь —

жизнь моря. Внезапно сон как рукой сняло — в проруби что-то шевельнулось...

Ну, что за ерунда! Конечно, померещилось! Лунная ночь, хоть газету читай. На фоне бархатного звездного неба безмолвно высятся горы со сползающими ледниками. Иногда начинает играть северное сияние. Наши товарищи безмятежно спят в десяти километрах от нас. Кто же решил подшутить и войти в нашу хибарку таким необычным путем? Может быть, знаменитый командир «Наутилуса» капитан Немо возник из небытия? А может быть, это какой-нибудь зверь?

Последний вариант наиболее вероятный. А раз так — в первую очередь нужна осторожность, чтобы не спугнуть гостя. Не отрывая глаз от проруби, не вставая, надо было перевалиться на колени и при этом медленно, без резких движений, взять со стола револьвер. Этим закончились приготовления к охоте.

За неимением собаки пришлось стойку делать самому. В неподвижном безмолвии прошло несколько минут... Неужели померещилось?

В черной глубине мелькнула тень и затем медленно, как на фотографической пластинке, проявились две светлые точки. Вскоре они превратились в два выпуклых глаза, в упор устремленных на меня. Вот обрисовалась круглая, как шар, голова, и, наконец, я разглядел редкие топорщащиеся усы. Тюлень решил вынырнуть и подышать свежим воздухом, приняв свет керосиновой лампы за лучи солнца. Охотничий азарт достиг апогея.

Только не двигаться! Не спугнуть! Единственными звуками были гулкие удары моего сердца.

Тюлень не торопился навстречу своей незавидной участи. Грохнул выстрел...

Вначале события разворачивались по плану: револьвер отлетел в сторону, сразу же удалось подхватить тюленя «под мышки» и с ходу, рывком вытащить из воды.

Далее началась внеплановая часть охоты. Зверь был смертельно ранен, но яростно бился из последних сил. Борьба происходила в узком проходе между топчаном и стенкой. Тюленя надо было оттеснить подальше от проруби и поближе к камельку, который первыми же ударами хвоста был опрокинут. Такая же участь вскоре постигла и керосиновую лампу. Наш домик-ящик наполнился паром от

упавших на лед углей, смрадом несгоревшего угля и вонью разлитого керосина.

У меня хватало хлопот, и в тоже время я не мог отказать в любезности ответить на вполне естественные вопросы моего товарища. Бедняга проснулся в обстановке, похожей на последние дни Помпеи. Легко представить себе его состояние: выстрел над самым ухом, пробуждение в крошечной тьме, грохот падающих вещей, звон разбитой лампы, пар, вонь, чад и какая-то непонятная возня.

Помочь мне было нелегко. Для этого требовалось, но крайней мере, опустить ноги на пол, а это единственное свободное место было ареной единоборства. В темноте трудно было справиться с барахтающимся тюленем, тем более что он был скользким и не за что было ухватиться и прижать его к полу. Наконец удалось его уgomонить. Охота закончилась.

Запасная свеча осветила картину побоища. Трудно было поверить, что при таком небольшом количестве вещей можно учинить этот потрясающий беспорядок. Тут был винегрет из опрокинутых ящиков, ведер, кастрюль, столика, топчана, камелька, лампы, разбросанной одежды, двух вспотевших, вымазанных кровью и жиром людей и одного убитого тюленя. Не хватало только револьвера. Он стал данью за необычную охоту: в суматохе его смахнули в прорубь.

Утром прикатали на собаках наши товарищи. Хорошо, что доказательство налицо, иначе меня заподозрили бы в родстве с бароном Мюнхаузенom.

Результаты охоты все достойно оценили вечером за сковородкой с огромной тюленьей печенью.

Побывать в Арктике и не привезти жене экзотический сувенир в виде песка, тем более что в то время модными были белые, было бы смешно.

\* \* \*

В Архангельске были куплены капканы. После окончания работ, не терпящих отлагательства, и подготовки к полярной ночи мы занялись песцовым промыслом. Дело было не только в сувенирах. Надо было двигаться и почаще быть на свежем воздухе. Хождение в

склад, на метеоплощадку, в баню, заготовка воды на кухне и кормежка собак — все это моцион, недостаточный для четверых здоровых мужчин. Этак, чего доброго, и цингу можно схватить. Кроме того, в случае удачи мы заработаем немалую толику денег, так как шкурки подлежали обязательной сдаче Госторгу.

Еще с осени мы убили несколько тюленей и разместили их на несколько километров к северу и к югу от нашего домика. Берег был обрывистый, но имелись ложбинки и овражки, спускающиеся к проливу. Ясно, что эти места — хода песцов. Тюленя надо почти наглухо завалить камнями и оставить маленькую дыру, через которую песец может немного ущипнуть этого лакомства. Все это делается до наступления морозов. Туша благополучно разлагается и смердит на всю округу. А этого только и надо. Песца привлекает этот аппетитный (о вкусах не спорят!) запах, он привыкает к месту и будет сюда возвращаться. Затем наступает зима. Все заносит снегом, и ветер так крепко его прибивает, что он звенит под ногами. Вот тут и начинается для песца все человеческое коварство.

Перед этой интересной дырой вырезается круглая яма немного больше патефонной пластинки. Сюда вставляется капкан и цепью крепится за ближайший камень, иначе песец его запросто уволочет. Дужки капкана следует обмотать толстым шпагатом. Бывали случаи, что песец перегрызал сухожилие раздробленной ноги и уходил на трех лапах.

Теперь надлежит насторожить капкан. Желательно наладить максимальную чуткость, и не менее желательно, чтобы уцелели пальцы. Капкан надо закрыть пластинкой снега. Ножом вырезать кусок снега и начинать его обтесывать — чем тоньше, тем лучше. Как полагается, в последний момент пластинка ломается, но, как говорил Нансен, в Арктике самым главным являются три вещи: терпение, терпение и терпение. Все старательно припорошивается снегом. Милости просим!

В тихую погоду в вечерние часы, обязательно вдвоем, отправлялись на очередной осмотр капканов.

Лунный свет, скрип шагов, величественная природа, ближайшие два человека, вероятно, в махорочном дыму играют в шахматы, а все остальные за много сот километров от тебя.

Ходили и в темную, пасмурную погоду. Фонарь «летучая мышь» едва выхватывает перед тобой дорогу. Где-то тут должен быть капкан. Он еще не виден, но уже слышен. Песец беспокойно ворочается и бренчит цепочкой. Зверек яростно, с шипением пытается броситься на нас и крутится как волчок.

Тяжелый промысловый нож берется за кончик. Песец старается укусить ручку. Даже не сильный удар по черному носику достаточен. Осторожности ради связываются лапки, и трофей закидывается за спину. Однажды такой трофей, болтаясь за спиной, очухался и прокусил мне толстенную рукавицу и палец до кости. За полгода мы добыли пятьдесят песцов. Как приятно промерзшим и продрогшим возвращаться домой! Издали, виден на косогоре наш домик с обледеневшим окном. После мороза с наслаждением вдыхаешь родной запах жилья. Тут все: махорка, керосин, вчерашние щи, псина и мокрые валенки. Хорошо!

В непогоду, когда в трубе бренчали вьюшки и горсти снега стучали в окно, а бедняга Кремер в крошечной тьме и снежной круговерти брел на метеоплощадку, мы занимались обдиранием песцов. Надрез по внутренней стороне задних лапок, — затем туда просовывается рука и с треском отдирается мездра от тушки. Шкурка снимается как чулок и сушится на пальцах. Впереди еще много работы по очистке.

Милые модницы и не подозревают, что о каждом песце можно написать целый рассказ.

\* \* \*

Круглосуточная ночь тянулась однообразно, но мы не скучали. У нас, четверых здоровых мужчин, не было времени для скуки, тем более для всяких утонченных переживаний и эмоций. Работа и условия ее нам нравились. Лучшего мы и не желали.

С нетерпением ожидали очередного новолуния, желательно с тихой и безоблачной погодой, при которой можно свободно читать вне дома. Сохранился фотоснимок нашего дома, сделанный при полной луне. Выдержка — целых двенадцать минут. Видны все камешки и мельчайшие детали. Уютно светится окно. Единственный недостаток

— луна не выдержала такого издевательства и за двенадцать минут на снимке стала похожей на длинный парниковый огурец.

Выходные дни ничем не отличались от будничных. Зато мы радостно отмечали большие праздники, Даты и дни рождений. Так незаметно подошел и мой день рождения. Все капитально помылись, побрились и облачились в городские одежды.

Стало семейной традицией, что моя жена при отправке на очередную зимовку или экспедицию вручала мне плотно упакованный пакет: вскрыть 24 декабря, ровно в шесть часов вечера. Обычно это была картонная коробка от обуви. На этот раз была использована квадратная коробка, обклеенная бумагой с названием давно исчезнувшей кондитерской фирмы Эйнем.

В нашем доме все было на виду и при всем желании никак нельзя было уединиться. Вопрос решился просто и четко: «Ребятки, не мешайте. Буду открывать женин подарок». Все люди одинаковы, и у всех бывают минуты, когда надо быть в одиночестве. Сев в углу на свою койку, стал развязывать — именно развязывать, а не резать — тугие узелки бечевки. И веревочка из дома, и эти узелки завязывали руки моей Наташеньки.

А вот и содержимое: несколько коробок хороших папирос «Золотое руно» для трубки, бутылка с кофейным ликером домашнего изготовления, несколько до сего времени неизвестных мне фотографий Наташи с детьми Ирой и Люсей и самое ценное — письмо.

Читаю письмо и старательно отворачиваю лицо. В эти минуты я незащищен. Вероятно, по моему лицу можно было прочесть, как по открытой книге, — хочу домой! Возможно, и глаза были подозрительно влажными.

К вечернему чаю все получили по рюмочке ликера. Сначала был проведен краткий инструктаж: ребята, лакать этот божественный напиток, как водку, не полагается. Это дурной тон. Надо пригубить несколько капель и затем старательно языком размазывать их по небу, чтобы ощутить весь букет. Вот мы вчетвером размазывали и ощущали...

Было выдано каждому по одной хорошей папиросе. Содержимое посылки стало общим достоянием, и гомеопатические дозы радовали нас еще несколько недель.

Что же касается письма, то на следующий день я знал его уже наизусть, но это нисколько не мешало перечитывать его вновь и вновь. За тридевять земель, далеко-далеко живет самый верный и самый дорогой человек на белом свете.

Как известно, в жизни мужчины два очень серьезных шага — выбор профессии и выбор жены. Счастлив тот, кому повезет правильно решить эти вопросы раз и навсегда, на всю жизнь.

Полярники, как правило, хорошие мужья. Тут влияют и расстояния и разлука на долгие времена. Получается, что любовь прямо пропорциональна расстоянию. Если бы наши милые жены знали, как только одна мысль о них незримой теплотой греет и озаряет дни и часы разлуки!

По вопросу о выборе профессии я ничего путного посоветовать не могу. Пусть в этом деле помогают нашей молодежи дни открытых дверей и большая аудитория Политехнического музея с афишей: «Кем быть?»

В дни, когда гремело имя Валерия Чкалова, я старательно уговаривал славных мальчишек в школах — ради бога, не все становитесь летчиками. Это будет страшным бедствием для страны. Мы все умрем от голода, некому будет нас лечить, дома развалятся, кино прекратит свое существование, да и летать будет не на чем, исчезнут геологи, металлурги, нефтяники, конструкторы, слесари, инженеры и так далее. И второе — на ком жениться?

Один юноша обратился с этим вопросом к мудрецу: на блондинке или на брюнетке? Следует предпочесть голубые или карие глаза? Должна ли она быть высокой или небольшого роста? Мудрец ответил — женись на любой. Хорошо мудрецам давать такие бесплатные советы. На самом деле все это значительно сложнее.

В горячке увлечения и влюбленности вряд ли кто-либо занимался детальным изучением анкетных данных своей избранницы. Просто надо быть счастливым. Мне повезло — оба шага я сделал удачно.

\* \* \*

Работа по гидрологии показалась нам недостаточным вкладом в стахановское дело. Начальником управления полярных станций был



челюскинец, хороший товарищ и хороший человек Иван Александрович Копусов.

После длительных разговоров, а подчас и споров, мы выработали программу действий, и вскоре Москва дала согласие на осуществление нашего плана.

К северо-западу в двухстах километрах от нас тянулась цепочка небольших островов, как бы форпостов Северной Земли. Осенью 1930 года к одному из этих островов пробился «Георгий Седов». Хорошо было бы добраться до неизвестной пока земли, но тяжелый лед и позднее время года не позволили этого сделать.

На одном из этих островов и зимовала знаменитая четверка Ушакова. В благодарность за гостеприимство по предложению С. Л. Журавлева (знаменитого Сереги) островок назвали Домашний. С 1934 года зимовка была законсервирована.

Наше предложение сводилось к следующему: Мехреньгина и меня самолеты доставят на Домашний, а Кремер и Голубев, останутся на мысе Оловянном. Четыре человека будут обслуживать не одну, а две полярные станции. Мы были так уверены в одобрении операции, что еще до получения ответа стали деятельно готовиться.

И тут и там обязательно должны быть представители двух специальностей: метеорологии и радио. Алексей Голубев, стал приучаться к работе с нашим небольшим двигателем, а мне предстояло под руководством Кремера постигнуть таинства метеорологии или, менее насыщенно, просто научиться делать метеонаблюдения.

Костя Зенков, этот «бродяга Севера», мой добрый знакомый по первой зимовке, оказался на одной из соседних с нами станций. Это было большой удачей. Костя был участником последней зимовки на Домашнем, и мы выкачивали у этого удачно подвернувшегося консультанта все необходимые сведения.

А знать нужно было многое. Мы рассчитывали, что вдвоем будем жить на Домашнем что-то около шести месяцев. Костя по памяти весьма приблизительно перечислил, какие продукты были оставлены, но твердо рассчитывать на эти воспоминания было опасно. Нужно было быть готовым к худшему варианту, чтобы не запеть потом Лазаря. Все же полтора года и дом, и имущество на Домашнем были безнадзорными. Черт его знает, что могло случиться: штормом раскрыть крышу, вообще смыть дом, стоящий на круглом пятачке из

гальки. И, наконец, любопытные медведи. Если они забрались в склад или дом, то хорошего не жди.

Нам обещали дать два самолета, но предупредили: можно перебросить на Домашний двух человек и четыреста килограммов груза. Четыреста... не так уж много. Смастерили на всякий случай маленький передатчик, взяли приемник, положенные батареи и ручную динамомашину, кое-какую одежку и продукты.

К середине марта мы были полностью готовы, но подводили внешние причины: то плохо проходили пробные полеты самолетов, то не задавалась погода. Наконец наступил день с хорошей летной погодой. Тормошу радиста и никак не могу понять причину задержки. Все же допек моего коллегу.

«Знаешь, один из летчиков нашел у своей жены в комоде флакон одеколона и выпил его. Рузов боится выпустить к вам».

Эка незадача! Надо же споткнуться об этот треклятый тройной одеколон!

«Дорогой Леонид Владимирович, давай не упустим погоду. Прошу немедленно направить к нам твоего изощренного эстета».

Через несколько часов самолеты благополучно сели у нас. Мешки с грузом были на месте. Погрузка шла быстро. Леша Голубев, оставался один в доме и, наблюдая в бинокль, сообщал подробности. Распрощался с Кремером и втиснулся в самолет опытного полярного летчика Мауно Линделя. Знакомы по «Сибирякову» и штурман Петров, и бортмеханик Игнатьев. На втором самолете с летчиком Батурой летел Мехреньгин.

Разбег, шлейф поднятого снега сияет всеми цветами радуги, быстро мелькает и исчезает из виду наш желтенький, еще не успевший потемнеть домик.

Прощай, мыс Оловянный, вперед к острову Домашнему!

Погода как на заказ. Сияющее солнце на безоблачном итальянском небе, видимость отличная. Справа большие белые купола Северной Земли, кое-где прошитые высокими черными скалами. Налево — запад и все Карское море. Внизу лед, и не поймешь, где кончается лед и где начинается земля. Разве что иногда видна с высоты приливная трещина.

Все полярные станции знали о нашем полете и внимательно следили за нами. В служебном порядке это вовсе и не надо было

делать, но все стали нашими болельщиками. Самолет был оборудован радиотелефоном, и он не бездействовал. Многочисленные слушатели всего бассейна Карского моря ловили мою актуальную передачу вплоть до последних слов: «Выбираю антенну, сейчас пойдем на посадку».

Что можно сказать про остров Домашний? Неважнецкий остров!

По не совсем точным данным мир был создан за шесть дней. Вероятно, создатель притомился, может быть, ему просто надоело, а к субботе остались еще кое-какие остатки строительного материала. Куда их деть? Выбросить! Вот они и были выброшены на задворки нашей планеты.

Разве это остров? Пять километров в длину, полкилометра в ширину, пять метров над уровнем моря и на северо-западе прищепка-круглая, как блин, площадка, меньше футбольного поля, состоящая из морской гальки. Посередине блина — домик.

Ура! Хотя жилище и погребено наполовину под снегом, но уже с самолета видно: крыша цела.

Остров плоский, как стол. Даже начинающий альпинист с досадой только бы плюнул — ни одного пика! Впрочем, пики были. Правда, высотой не более сантиметра: сквозь тонкий снежный покров проглядываются, негостеприимно ощерившись, трухлявые сланцы. Лучше бы садиться на ледяное поле, но вокруг был только торосистый лед. Если в момент посадки при большой еще скорости чирикнуть по этим небольшим камешкам, то могут быть большие неприятности. Однако все обошлось благополучно. Несколько кругов на бреющем полете — и, углядев более или менее безопасную полосу, Линдель первым посадил свой самолет.

Пока шла выгрузка имущества, мы вдвоем со штурманом Петровым отправились к дому. Надо было на глазок посмотреть, можно ли оставаться или это рискованно. На детальный осмотр времени не было: самолеты ждали с работающими моторами.

Дом и склад внешне целы. «Ну, как? остаетесь?» — «Остаемся...»

Благодарим летчиков, жмем руки, при штилевой, ослепительно солнечной погоде выдерживаем два снежных душа от взлетающих самолетов, прислушиваемся к стихающему рокоту моторов, и вот личный состав новой полярной станции в количестве двух человек, запыхавшись, сидит на своих пожитках. Ну, пошли осваивать наше

новое обиталище. Низенький квадратный домик с квадратными окнами. Окна забиты досками, и выглядит это неуютно. Какой-то выморочный вид. Дверь в холодный досчатый тамбур открыта настежь, и все забито плотным снегом. Лопата была предусмотрительно захвачена, и первым делом было — проникнуть в дом.

Бррр! Там темно, и если термометр сегодня показывал минус 35, то в доме нам показалось еще холоднее. Мы знали, что рядом со складом лежит две тонны угля, но именно в этом месте высился солидный сугроб.

Нужны свет и тепло. Отдираем доски с окон и топором крошим их.

Весь дым идет в дом. Ясно — или труба забита снегом, или надо прогреть дымоход, чтобы стало тянуть. С этой проблемой справились. В плиту вмазан чугунный котел. В нем до краев замерзшая вода. Опять волнение — разорвало его или он цел? Прошло значительное время, прежде чем эту глыбу можно было повертеть и, наконец, с трудом вытащить. К счастью, котел оказался целым. Вскоре наше жилище походило на холодную баню: клубы пара и едкого дыма, но до тепла еще ой как далеко.

Разбитое окно и, как следствие, наполовину забитая снегом кухня заставили нас немедленно выгрести его. На полках интригующие выпуклости. Под одной оказалась тарелка с недоеденными макаронами и одной котлетой! Привет тебе, рекордсменка! Все же это здорово — полтора года!

Кухня представляла собой узкий закуток направо от дверей. Между плитой и кухонным столом только и стоять одному человеку. Большое печное зеркало, образуя целую стену, выходило в жилую комнату. Окно кухни глядело на запад.

До горизонта лед, лед и лед. В солнечную погоду — красота, в пасмурную — мрачно и уныло.

Налево от дверей — совсем уже маленький закуток с фанерными стенами — это радиостанция. С трех сторон наглухо прибитые стеллажи, на них радиоаппаратура, а под ними аккумуляторы. Свободное место оставалось только для стула радиста, ну, разве что еще за его спиной можно было стоять.

Основная и единственная комната была почти квадратной, что-то около двадцати квадратных метров. Направо и налево две двухъярусные койки. Обеденный стол с керосиновой лампой под жестяным абажуром. В углу стол науки — самый вульгарный ширпотребный стол с гулким фанерным верхом, обклеенный отстающим дерматином. Здесь было единственное место, где можно без помех писать, читать и размышлять.

На стене шкафчик с барометром, на полках самописцы и запасные приборы.

Именно за этим обшарпанным столом родился портрет архипелага, увеличившего территорию Советского Союза на 37 тысяч квадратных километров. Это было дело рук, воли и разума «великолепной четверки» Ушакова, о которой я уже рассказывал.

Осенью 1932 года Ушакова с его товарищами вывезли на материк. Вторая смена имела совсем скромное задание — метеонаблюдения и больше ничего. В числе новой четверки было трое мужчин и четвертый человек — начальник зимовки... женщина!!!

Это был один из экспериментов Отто Юльевича Шмидта. Прямо скажем, рискованный и ненужный. Единственный случай, когда я не мог согласиться со Шмидтом и даже осуждал его. Правда, моего мнения он и не спрашивал. Все же это мучительно для всех четверых. Два года в общей комнате, и одна ситцевая занавеска на нижней койке! Я решительно против такого женского «равноправия».

Будучи в последующие годы начальником управления полярных станций, я слыл отъявленным женоненавистником. На небольшие полярные станции (5-10 человек) женщины мною не посылались. Хочу, чтобы меня поняли. Я очень люблю женщин во всех их многочисленных ипостасях — от прабабушек до тех, о которых мужчины не рассказывают, но Арктика есть Арктика и нечего тут экспериментировать.

Нам двоим, предстояло привыкать к новому жилью. Беглым осмотром и самыми неотложными делами мы занимались до позднего вечера.

В доме был умопомрачительный хаос. Так бывает после погрома или обыска. Нам было известно, что осенью 1934 года корабль не мог снять личный состав станции и лишь открывшаяся на короткое время полынья позволила Анатолию Дмитриевичу Алексееву вывезти людей

на гидроплане. Все это происходило внезапно, чем и объяснялся беспорядок в доме. Один из четверых был тяжело болен. Завернув в одеяла, его отнесли на самолет, доставивший всех на базу. Здесь больной и умер. Самолет был перегружен, и часть собак пришлось оставить. Пристрелить? Рука не поднималась, ну как же можно стрелять в друга. Они были брошены на произвол судьбы. Мы с волнением обнаружили косвенные следы происшедшей собачьей трагедии. Вокруг дома валялись какие-то непонятные плоские железки, похожие на кухонную терку. Бедные собаки жевали неоткрытые консервные банки, выдавливая оттуда струйки мяса.

Поздно вечером, набив печку до отказа, мы завалились спать на чужих неприбранных койках, в грязи и хаосе. Конечно, вроде и не полагается оставлять печку без присмотра, но в доме стоял еще лютый холод, так что мы пренебрегли противопожарными правилами.

Но не спалось. Миллион впечатлений. Устали, малость понервничали, набегались и наработались...

К полуночи температура в доме поднялась до 13 градусов мороза. Наконец, кое-как заснули. Было еще темно, когда мы проснулись. Сразу же два непонятных явления. Во-первых, откуда-то мощно капает и стучит по полу, как настоящий дождь, и, во-вторых — стоит какой-то невозможный и удушающий смрад. Соскочив с койки, тут же поскользнулся. Шла бодрая капель с потолка, а на непрогретом еще полу образовался настоящий каток. Зажгли лампу и стали выяснять, что же так воняет. На стене висел шкафчик. Его содержимое скромно представляло современную медицину. Коробочки и мази нам не докучали, а вот всякие склянки и бутылочки разморозило, и по стене сочился бурный поток. Все это хозяйство сгребли и неуважительно выбросили. Затем долго и упорно мыли стену и пол. Все же несколько дней жили как в аптеке.

Очень интересно так беспардонно хозяйничать в брошенном, чужом доме. На каждом шагу, куда ни повернись — открытия, находки, загадки.

Постепенно все стало налаживаться. Сразу же отпала одна важная забота: харчей хватит с избытком. Правда, мешки с мукой были в толстом панцире подмокшей, испорченной муки, но из середки все же можно было кое-что наскрести. Сгущенное молоко, топленое масло, мясные консервы, гречневая крупа, галеты и полмешка сушеного лука,

нет... от голода мы не умрем. Нашли в результате длительных раскопок и остатки угля. Это хорошо, мерзнуть не будем. Хуже обстояло с керосином — жалкие остатки, да еще десяток свечей.

Но нарождался полярный день, и проблема освещения нас не особенно волновала.

Первоочередным делом было установление радиосвязи. Летчики покинули нас в полном здравии и благополучии, но все же надо было поскорее объявиться, мол, жив курилка и все в порядке. Сначала радиодела не заладились. Все отсырело, все мокро. Было много тщетных попыток вызвать какую-нибудь соседнюю станцию. Тогда занялись просушкой аппаратуры. Через два дня подсохло в доме, просохла радиоаппаратура. Мехреньгин самоотверженно и безропотно до седьмого пота крутил ручную динамо-машину. Наконец нас услышал остров Уединения. Радостно было и нам и товарищам на Уединении. Все соседние станции Карского моря следили за нами и проявляли интерес не только в служебном порядке, но просто из чисто человеческих чувств и любопытства.

Первая наша радиограмма — рапорт Шмидту. Через сутки пришел ответ: «Через Челюскин, мыс Оловянный, остров Домашний, Кренкелю, Мехреньгину. Горячо обнимаю, поздравляю новым успехом. Шмидт».

Мы ходили именинниками. Нас похвалил сам Отто Юльевич. Мы его не воспринимали как начальника. Это был родной отец, которому мы верили на слово и больше, чем сами себе.

Так уж устроено на белом свете, что без начальства жить нельзя. Мой добрый друг Марк Иванович Шевелев как-то спросил меня:

— Хочешь ли жить спокойно и знаешь ли ты, для чего существует начальство?

На первый вопрос я ответил утвердительно, на второй — отрицательно.

— Так вот, запомни: начальство существует лишь для того, чтобы отравлять жизнь подчиненным. Если это войдет тебе в плоть и кровь, то ты будешь как в броне, которую никакое начальство не пробьет.

Отто Юльевич начисто опровергал эту мрачную характеристику.

После официальных телеграмм, конечно, немедленно были посланы весточки нашим женам. Надо же было успокоить домашних — дескать, все в порядке.

Сразу же посыпались запросы от газет, радиовещания и т. д. Корреспонденция со дня на день грозила увеличиться, и надо было подумать о бедняге Мехреньгине. Несмотря на богатырскую силу и ангельское терпение, вряд ли ему было под силу удовлетворить запросы всех редакций. Наши предшественники заряжали мощную аккумуляторную батарею с помощью ветряка. Мы это не могли делать. Вместо ветряка на камнях лежала куча искореженного ржавого металла. Аккумуляторы внешне как будто целы; Разыскали кислоту, развели ее снеговой водой — ну, а чем заряжать? В холодных сенях обнаружили небольшой бензиновый двигатель. По всему было видно, что им никогда не пользовались. Удастся ли нам его оживить и использовать? И где его поставить? Единственное место — тут же, в нашей жилой комнате. Затащили этот агрегат, прибили здоровенными гвоздями к полу. Мехреньгин начал колдовать. Через несколько часов движок стал робко чихать. Для нас это были божественные звуки. Вскоре он уже гремел, как положено, обороты на полный ход, и контрольная лампочка горит полным накалом. Ура! Электрификация делала успехи и на нашем острове. Свет лампочки стал меркнуть по простой причине: сизый дым заволок все помещение. Мы не знали, чем кончатся наши попытки оживить двигатель, и поэтому о выхлопной трубе заранее не побеспокоились.

Ну, как же тут не попробовать зарядить аккумуляторы. Форточки, двери настежь — надо устроить сквозняк, а двигатель — пусть дымит в комнате на здоровье. На четыре часа пришлось уступить нашу комнату этому громыхающему и извергающему дым чудищу. Мы бродили вокруг дома, мерзли и любовались окнами, освещенными электрическим светом. Красота! Двадцатый век! Одна лампочка в наших условиях была тоже немалым прогрессом.

Уже поздно ночью стали пытаться на аккумуляторах запустить передатчик, доставшийся нам по наследству. Ура! И тут удача!

— Дорогой Николай Георгиевич, — сказал я Мехреньгину, — разреши тебя поздравить, что отныне перестанешь быть белым негром и не надо больше крутить эту проклятую ручную динамку.

Утром, ни свет, ни заря мы уже долбили стену дома и прилаживали выхлопную трубу. Головы у нас трещали, как после хорошего перепоя. Все же мы вчера незаметно нахлебались газа, а ночью спали как в бензиновой бочке. Утром гордо пили чай при



электрическом свете, двигатель, как укрощенный тигр, не воняя, мирно трясся рядом с нашим столом. Мелкой дрожью бренчала посуда, аккумуляторы, заряжаясь, начинали потихоньку булькать, и мы были несказанно горды.

Одновременно в первые же дни мы занимались приведением в порядок скромного метеохозяйства. Ведь только для этого — давать погоду — мы и заявили сюда. Слазили на столб и починили флюгер. Привели в порядок метеобудки и поставили приборы. На третий день остров Домашний уже четыре раза в сутки давал погоду.

Дело это не очень хитрое, но что мне трудно давалось и угнетало, так это облака. Какого черта создатель придумал их такую кучу на мою бедную голову? Имелся атлас с изображением всевозможных облаков. Для вящей убедительности их названия были латинскими. Я больше всего полюбил сплошную низкую облачность — тут все ясно, а вообще говоря, еще лучше густой туман, когда вообще ничего не видно.

Погожие, ясные дни радовали меня как нормального человека, но повергали в уныние как метеоролога. Бывало, что на небосводе был представлен чуть ли не весь атлас облаков от первой до последней страны. Вот и разберись! Мусоля, глядя то на картинки, то на небо, и произнося всякие нехорошие слова, я твердо решил — нет, стезя метеоролога мне явно противопоказана. Пусть разбираются без меня.

Вовремя уходили сведения о погоде, радиоаппаратура работала нормально, и мы были довольны. Все, что было задумано, осуществилось, и не зря мы затеяли всю эту историю. В доме навели порядок, и стало уютно, может быть, мы просто привыкли. Обследовали все закоулки и нашли много нужных вещей. Теперь мы были хозяевами положения и знали, чем располагаем, что можно расходовать, с чем надо быть экономным, а чего и просто нет.

Дело дошло до того, что мы даже стиркой занимались. Конечно, это скучное занятие. Вспомнилось, как хорошо и рационально стирать белье на судне. Было это со мной на «Сибирякове». На шкертике — (это веревка) спускаешь белье за корму. Машина, ворочающая винт корабля, попутно и отлично стирает твоё белье. Перед вахтой все было спущено за борт. Однако вахта оказалась напряженной по работе, и через четыре часа я вытащил только тесемки и пуговицы от моих

невыразимых. Вообще стирка белья — это одна из самых тяжелых работ в Арктике.

Провели мы пробную связь со всеми станциями Карского моря. Всюду нас хорошо слышали. Хуже всего проходила связь с нашими друзьями, оставшимися на мысе Оловянном. Виною тому были горы и ледники Северной Земли, лежащие между нами.

На острове Уединения, как я уже писал, командовал Александр Григорьевич Капитохин — тот самый, с которым мы изнывали на подготовительных курсах. Он и предложил: «Давай устроим переключку полярных станций Карского моря. Расскажем о своем житье-бытье, поделимся опытом, может быть, сделаем музыкальные вставки».

Рассказали всем об этой затее, всех оповестили, дали время на подготовку. В определенный день и час началась переключка.

Начал остров Уединения. Капитохин, открывая радиособрание, произнес краткую речь и затем, командуя парадом, стал давать слово мысу Челюскина, острову Русскому, мысу Стерлегова, Усть-Таймыру, мысу Желания и нам, острову Домашнему. Регламент строго соблюдался. Мне рассказывали, что в очень древние времена родовой общины мог говорить каждый, но стоя на одной ноге. Как только опустил другую ногу — все, твое время истекло. Мудрое правило! Завести бы его на наших собраниях. В день переключки мы узнали от своих коллег, кто, сколько убил медведей, сколько поймано песцов. Повара на все Карское море сообщили рецепты новейших блюд.

Великолепной была художественная часть. Мыс Желания заявил свое появление в эфире ревом туманной сирены. Затем последовала игра на баяне. Неважно, что некоторые клапана заедало. Все же мы поняли всю душевную тоску, которую вложил баянист в эту песню. Мыс Стерлегова угостил нас джазом на кастрюлях, гитарой, и деревянные ложки были ничуть не хуже кастаньет. А вот программа мыса Челюскина мне лично не понравилась. Сначала выступил доморощенный поэт. Тут мы все (как я потом выяснил) заскучали. А окончательно нас добил и поверг в уныние несостоявшийся Карузо.

Мы чудно провели время, и все были очень довольны. Однако через несколько дней, мы получили нагоняй из Москвы от нашего начальства. Нам предложили впредь не заниматься такого рода самодеятельностью.

Жизнь текла спокойно и размеренно. Метео и радиосвязь были основной работой, но, чтобы это осуществлять, надо было делать уйму всякой работы. Поварские дела попрежнему остались за мной. По сравнению с Оловянным не хватало многих продуктов, и поэтому наше меню не блистало разносолами. Был хлеб, каша, сгущенное молоко, галеты и чай. Тот же полярный суп из мясных консервов со жменькой сушеного лука не сходил с нашего стола.

Вскоре первый медведь оказался долгожданным и дорогим гостем.

Медвежья охота мною уже ранее описана, но охотничьи подвиги на Домашнем стоят того, чтобы о них рассказать.

Во-первых, мы никуда и никогда на охоту не ходили. Зачем же, ведь медведи сами придут к нам. Наше дело было проще простого — изредка посматривать в окошки. Появление очередного зверя никаких эмоций не вызывало.

Он шел со стороны моря. Время было обеденное, уже кипел суп.

— Слушай, давай поедим суп, он медленно идет, мы успеем.

Молча хлебали суп, к окну и не подходили. Надо пойти помешать кашу, чтобы не подгорела, ну, и конечно, попутно взглянуть в окно. — Идет?

— Идет. Знаешь что? Мы успеем и кашу съесть. Потом убьем медведя, разделаем его, помоемся, а потом уж будем чай пить.

Мы делали то, что явно не следует делать, — делили шкуру убитого медведя. А дальше все было очень просто. Открывалась большая, низкая форточка. На двойную раму окна клалась винтовка. Вот и все приготовления к: охоте. Можно было еще закурить в ожидании зверя. Между домом и крепким сугробом был узкий проход. Подходя к дому, медведь попадал в мертвую зону, и мы его не видели. Ну, а кончалось тем, что он появлялся на гребне сугроба и с любопытством смотрел на нас. Расстояние — полтора метра. Одним выстрелом обычно заканчивалась охота. Затем — нудная и грязная работа по разделке медведя.

Совсем плохо было у нас с витаминами. При разделке туши, вытащив кишки, кружкой черпали кровь и, круто посолив, пили ее — вместо молока. Нельзя ведь забывать и о цинге.

Свежее мясо было большим подспорьем. Конечно, это не телятина — сильно отдает рыбой. Надо острым ножом резать мясо по волокну и

стараться выковыривать как можно больше белых комочков, похожих на рисовые зерна — это жир, от него и запах. А лучше всего вымачивать мясо целые сутки в уксусе. Бифштексы были феноменальной величины. И были они с кровью и сушеным луком.

Частенько утром у дверей мы обнаруживали следы медведей. Нашим счастьем была крепкая задвижка, а для медведя — наш крепкий сон.

Первое мая встретили достойно, как полагается. День был серый, сильно мела пурга. Все же Мехреньгин залез на крышу и водрузил флаг, а я внизу в единственном числе изображал первомайскую демонстрацию. Два одиноких винтовочных выстрела были салютом. За обедом поделили и съели единственную плитку шоколада. Чертыхаясь, обменялись мнениями на тему о том, что нет ни капли выпить. Вероятно, для нас обоих, не считая детских лет, этот Первомай был редчайшим — без выпивки.

Вечером было светло — уже вступало в силу круглосуточное солнце. Сев за приемник, стал слушать Москву. Передавали «Кармен». Я оперу вообще не люблю. Во-первых, трудно понять слова, и, во-вторых, если кто-нибудь умирает, то ужасно долго и нудно верещит, делясь своими переживаниями.

В старые времена существовала пародийная опера «Вампука». Я был мал и сам «Вампуку» не видел. Помню только две строки:

«Дон Диего близко, ему с горы спускаться склизко».

А вот «Кармен» и «Евгений Онегин» — действительно стоящие оперы. Оперев голову на руку и закрыв глаза, я пригорюнился. Ну как же...

«Кармен» навевает всякие несостоятельные желания. В Москве праздник, девушки, как мотыльки, вылупились из своих зимних, не очень цветастых коконов и теперь поражают нашего брата своим весенним видом. На углах торгуют букетиками подснежников, милиция гоняет этих торговцев, но так, больше проформы ради...

Разве весну прогонишь?

А у нас? Одна комната, партнер еще рта не открыл, а ты уже знаешь, что он скажет, давным-давно иссяк запас древнейших анекдотов — таких старых, за рассказывание которых, как известно Каин убил Авеля, пахнет бензином и медвежатиной... Завтра и послезавтра все то же самое... Открываю глаза и в одном метре, за

окном, вижу морду медведя. Не двигаясь, не убирая руки и продолжая слушать оперу, говорю:

— Коля, на меня медведь смотрит. Давай-ка... Слышу, как Мехреньгин заклацкал затвором винтовки, открыл форточку, и грохнул выстрел.

«Кармен» дослушать не удалось. Взмахнув навахой, Хосе убил Кармен, а Мехреньгин — медведя.

Определенных рабочих часов у нас не было. Мы были как на казарменном положении. Вставали в шесть, чтобы вовремя дать погоду. Затем откапывали занесенную дверь и уголь, топили плиту, готовили нехитрый обед, отвечали на всякие телеграфные запросы, стирали бельишко, постреливали медведей, писали коротенькие корреспонденции в газеты, слушали радио и читали.

С книгами дело обстояло великолепно. В Академии наук Ушакову была дана небольшая часть личной библиотеки Анатолия Федоровича Кони. Это был видный русский юрист, общественный деятель, сенатор, член Государственного совета и академик. Кони был большим знатоком русской литературы и поддерживал дружеские отношения с Н. А. Некрасовым, И. А. Гончаровым, Ф. М. Достоевским, Л. Н. Толстым и В. Г. Короленко. Известно, что Анатолий Федорович подсказал Толстому сюжеты для «Воскресения» и «Живого трупа», заимствованные из судебной практики. После Октябрьской революции Кони остался на родине.

Во всю длину двух стен, под самым потолком, были книжные полки. Потолок был низкий и закопченный. Вот в таких зверских условиях хранились уникальные книги. Многие имели дарственные надписи на имя Кони. Имелись тяжелые, как кирпичи, роскошные тома энциклопедии Брокгауза и Эфрона, наши и зарубежные классики. Я предавался литературному лукулльству. Мехреньгин обычно что-то мастерил, а я с головой уходил в книги, в другой мир. Пушкин и Шекспир зимовали вместе с нами на острове Домашнем.

Был наш дом снаружи неказист. Никогда он не красился. Серые, бревенчатые, истеганные ветрами стены. Небольшие окна (тепла ради) глядели как-то подслеповато. Точно в таких же избушках столетия назад зимовали наши предтечи, имена которых стали историей и произносятся с уважением.

Но какая огромная разница между нами! Для них иногда прощальный поцелуй жены в Архангельске был последним. Уходили в холодную неизвестность: умирали, гибли и пропадали без вести. О них никто ничего не знал, и они ничего не знали.

У нас же — два шеста, бронзовый канатик через дырку ныряет в дом к приемнику — и весь мир как на ладони.

Поток информации с большой земли не обходил нас. Мы знали и слышали все. Приходили ласковые слова от наших жен, мы слышали голос Шмидта, голоса товарищей, мы получали фитили и напоминания от начальства, были в курсе больших событий.

В начале мая простая поздравительная радиogramма разволновала меня. Три подписи: Папанин, Ширшов и Федоров. Вот оно? Наконец! Вот они, мои товарищи по экспедиции на Северный полюс.

Тут же сугубо деловой вопрос: «Какие штаны можно взять у тебя дома как образец для пошивки меховой одежды?»

И второй вопрос: «Сообщи свои пожелания по радиоаппаратуре».

Все было предельно ясно и без всяких уточнений. Вероятно, личный состав уже утвержден, иначе мне бы не стали посылать такие запросы. Спасибо дорогому Отто Юльевичу. Он не забыл меня. Несколько позже все станции следили за полетом Водопьянова и Махоткина на Землю Франца-Иосифа. Тоже ясно: разведка и выбор места для базы будущей экспедиции. Еще позже, когда началась навигация, я внимательно следил за продвижением двух кораблей — «Русанова» и «Герцена» под командованием Папанина.

Все ежедневные работы делались по-прежнему, но как-то машинально, по заведенному порядку. Остров Домашний уже потерял для меня свою экзотику. Всеми помыслами я был уже там — в Москве и на полюсе. А жизнь шла своим чередом.

С 19 июля было приказано давать погоду каждые три часа. Летели на покрытие дальности беспосадочного полета Чкалов, Беляков и Байдуков. Вылетев 20 июля, они шли по маршруту: Москва — Мурманское побережье — по 65 меридиану до острова Виктория — Земля Франца-Иосифа — Северная Земля — мыс Челюскина — Тикси — Якутск — Петропавловск-на-Камчатке.

Для метеоролога и радиста в единственном числе было довольно сложно давать погоду так часто — каждые три часа. Мобилизовали будильники, подстраховывал еще и Мехреньгин. Спал в рассрочку по

два часа. Кроме того, нам было предписано вести наружное наблюдение. По очереди стояли на юру на нашем мысочке. Мы слышали радио самолета, и в четыре часа утра он шел слепым полетом где-то между мысом Желания и нами. У нас же была низкая сплошная облачность, противная морось и плохая видимость. Ничего мы не видели.

Узнав о благополучной посадке на острове Удд, мы мысленно поздравили наших летчиков и немедленно завалились отсыпаться.

Неожиданно на нас свалилась беда. В середине июля начал как-то странно киснуть мой товарищ. Однажды ночью как-то не спалось, и я услышал в мертвой тишине домика какие-то странные звуки. Мехреньгин плакал. Ну так, как плачут обычно мужчины — без слез, не голосом, а так... кряхтел и кашлял. Настойчиво стал выпытывать причину.

— Да вот уже пятый день с ногой что-то неладно. — Снимай штаны. Покажи ногу.

От пятки до колена вся левая нога была сине-багровой. В ненапряженном состоянии — тверда, как полено, а от ходьбы к вечеру сильно опухает и чувствуется сильный жар. От нажатия пальцем остаются ямки. А так все тело чистое и десны в порядке.

Версия Мехреньгина, что он зашиб ногу месяц тому назад, показалась мне не очень убедительной. Через несколько дней синева поднялась выше, и теперь вся нога до бедра походила на огромный кровоподтек.

Послал Мехреньгина наводить порядок в складе. Мне надо было с глазу на глаз побеседовать с Александрой Петровной Анохиной, врачом-хирургом на острове Уединения.

Кратко сообщил признаки, и последовал такой же краткий диагноз: цинга!

— Александра Петровна, родненькая, что же делать? — Делайте согревающие компрессы. А что-нибудь свежее, какие-нибудь витамины есть?

— Нет, ничего нет. Вот только мясо. Ни одной травинки и ничего зеленого на наших камнях нет, а то бы стали жевать.

Александра Петровна долго расспрашивала о возможных витаминах. Вот чего нет, так нет. Нет витаминов. И все же они

нашлись. Долго Александра Петровна смеялась над моей серостью. Уточнялся вопрос, есть ли у нас горох.

Мне в популярной форме было объяснено, что лущеный горох не годится. На наше счастье, в складе было ведро с нелущеным горохом. Весь вопрос; не пострадали ли зародыши от мороза? В сите, на мокрой тряпке в теплом месте мы проращивали очередную порцию гороха до сантиметровых ростков. Почти видно было, как там копошатся витамины. Жевали в день по стакану гороха, и по ассоциации приходили мысли о пиве, но его не было. За компанию ел горох и я, а через десять дней моя правая нога была точно такой же красивой, как у Мехреньгина левая.

Вот мы оба и зацинговали. Обычно кровоточат десны и шатаются зубы. У нас была какая-то особая цинга — ударила по ногам.

Убили очередного, одиннадцатого по счету, медведя. Был он небольшим, двухгодовалым. Тащить его пришлось метров двести. То, что раньше мы делали запросто, теперь давалось с трудом.

Одышка, головокружение и слабость были верными признаками цинги. И витаминной крови не удалось попить — прострелили желчный пузырь.

До смены оставалось два месяца. Надо как-то дотянуть и не отправиться к праотцам. Тревожило и другое: в каком виде я заявлюсь в Москву? Могут вежливо сказать, что полюс — это не место для инвалидов.

Мы строго соблюдали лечебный режим, ели сырое мясо, с отвращением жевали горох и двигались, несмотря на боль в ногах и одышку. Каждый день по шуршащей гальке нашего пяточка, хромая, брели к высокому плато нашего острова. Высота в четыре метра казалась нам тяжелой. Потом брели по ровному месту два километра и доходили до брошенного когда-то ржавого бидона. Это был наш контрольный пункт. Правилom было ногой, конечно здоровой, пнуть ни в чем не повинный бидон и «обложить» его. Потом садились, отдыхали, курили и молча смотрели на юг. Там где-то идет жизнь, плывут корабли, а мы — двое доходяг — занимаемся вынужденным променадом. Затем молча брели обратно. Вспомнилась строчка: «Во Францию два гренадера из русского плена брели». И вид у нас был ничуть не лучше, чем у этих гренадеров.



В июле началась навигация. Эфир бурлил новостями. Если мы не слышали интересную новость, соседи, естественно, нам ее сообщали. Год 1936 был тяжелым в ледовом отношении. Три больших каравана судов — два с запада и одна с востока — в районе мыса Челюскин уткнулись в еще не вскрывшийся пролив Вилькицкого. Ледоколы пытаются форсировать десятибалльный лед, но тщетно. Топчется вся эта армада, тычась в различных направлениях. Иногда просто стоят из-за густого тумана. Летчики делают все возможное, а подчас и невозможное, чтобы ледовой разведкой помочь кораблям.

На «Литке» — сам Отто Юльевич.

Иногда мы подслушивали его переговоры с капитанами и летчиками. Интересно бы знать, умеет ли Отто Юльевич вообще волноваться и нервничать. Что-то не похоже на это.

Восьмого августа «Сибиряков» вышел из Архангельска. Он имел задание: завезти грузы и произвести смену полярников на Уединении, Домашнем и Оловянном.

8 августа у нас обильно выпал снег, и пейзаж стал опять зимним.

18 августа была последняя медвежья охота. Привожу мою дневниковую запись: «Мехреньгин растолкал меня. Со стороны острова шла медведица с двумя большими медвежатами. В окно было видно медленное шествие. Маленькие интересовались радиомачтой и поиграли с ящиком. Мы вышли, и они идут прямо к нам. С первого выстрела уложили медведицу. Медвежата вроде как хотят бежать, но поджидают маму. Это решило их участь. Шкуры хорошие».

Эх, и дернуло нас убивать их. Лучше бы отпустить. Намучились с ними страшно. Кружится голова, болят ноги, колени. Трясутся руки. У нас обоих опухли лица и руки. Ну да, ее величество цинга. А у меня еще какой-то непонятный озноб. Дома было плюс 24 градуса тепла, а я три часа сидел в полушубке и дул горячий чай.

Через десять дней «Сибиряков» добрался до Уединения. Тоже не совсем удачно. Пришлось команде за полтора километра груз тащить по льду к острову.

Хороший знакомый по «Сибирякову» и «Челюскину», ныне уже капитан Михаил Марков сообщил мне о посылке от Наташи. Сообщалось, что в посылке что-то булькает. Это хорошо! И письмо везет. Такое толстое, что отроду таких не возил.

Шмидт дал указание прекратить выгрузку, забрать старую смену и идти «Сибирякову» на разведку, чтобы помочь застрявшим караванам. Вот тут-то и началось! То туман, то «Сибиряков» застрял во льду, а время идет и идет.

Мы знали, что наш вид цинги должен кончиться внутренними кровоизлияниями. Вопрос стоял просто: что раньше — то ли «Сибиряков», то ли сосуды полопаются. А горох уже съеден...

Как ни печально, но пришлось готовиться к худшему варианту. Сделали электроосвещение от аккумуляторов. В ночные часы стадо уже темнеть. Керосина не было. Правда, повесили только одну лампочку. Аккумуляторы тоже надо беречь.

Не скрою — со шкурным интересом следили за «Сибиряковым». Капитохин и Александра Петровна были уже на корабле и, сообщая всякие новости с Большой земли, как-то старались развеселить нас.

Как на ладони, были все перипетии и осложнения большого количества кораблей. Мы отлично понимали, что трещат большие планы, сотни и тысячи людей ждут необходимого оборудования, простаивают в тумане и льдах корабли, а тут мы двое со своей цингой путаемся под ногами. Мы все это отлично понимали, но легче нам от этого не было.

На душе очень погано. Но нас двоих не забыли. Шмидту каким-то образом стало известно наше положение, хотя мы сами ему не писали и вообще не скулили. «Дорогой друг, надеюсь вас скоро увидеть. Шмидт». Через две недели «Сибиряков» закончил разведку, караваны двинулись по назначению. К этому времени у нас открылась большая вода, хотя лед и маячил на горизонте.

С материка радиограмма: «По распоряжению Шмидта вас снимаем самолетом. Подготовьтесь».

Ну, как же так? На «Сибирякове» идет смена. Надо же сдать станцию как положено, честь по чести.

Началась торговля с летчиками и пристальное наблюдение за горизонтом. Капитохин сообщает: работаем в тяжелом льду, продвигаемся медленно.

Выдалась чудесная погода и у нас и у летчиков. Вот они и говорят: такие дни бывают редко, да и вода для посадки гидроплана бывает не всегда.

Чуть ли не слезно умолял подождать несколько часов. И, наконец, ура! На далеком горизонте в сильный бинокль мы увидели долгожданные тонюсенькие черточки — мачты корабля.

Дальше было очень просто. Разве что прослезились, обнимаясь с добрыми друзьями. Сдача станции заняла всего несколько часов. Нам приходилось отпихиваться от чересчур сердобольных людей. На корабле нас встретили с мужской лаской: папиросы, водка, письма и посылка от жены. Неотлагательно приступили к изгнанию цинги. Отличное средство от цинги, рекомендованное Джеком Лондоном, тертая сырая картошка. По три стакана в день мы пили эту несусветную пакость.

К мысу Оловянному нас не пустил лед. На две недели мы застряли на далеких подступах в ледяной ловушке. Пришлось просить помощи, и нас вытащил «Ермак» — дедушка русского ледокольного флота.

Капитан «Ермака» Владимир Иванович Воронин послал Кремеру и Голубеву радиограмму: «Понимаю и сочувствую вашему положению. Рисковать двумя кораблями не могу. Мы уходим». Жаль было наших товарищей. Вот мы благополучно выскочили и уходим, а они остаются вдвоем на второй год зимовки на стахановской вахте.

В марте следующего года самолетом им доставили немного свежих продуктов. Пилот Махоткин передал устное предложение Шмидта: если очень невмоготу, консервируйте станцию и садитесь на самолет. И Кремер и Голубев отказались — ведь скоро начнется навигация. Оба они были вывезены самолетом в сентябре 1937 года, когда я уже благополучно добрался до полюса,

## К перекрёстку меридианов

*Притягательная точка. Прошу считать меня кандидатом. Готовится экспедиция. Ленинградцы проектируют радиоаппаратуру. Опять Стромиллов. Шмидт докладывает Политбюро. Генеральная репетиция. Путь к далекому острову. Разведчик над полюсом. Посадка на полюсе. Мы без связи. Первые телеграммы. «Интернационал» под аккомпанемент самолетных моторов. Мы остаемся вчетвером.*

Вероятно, немногие точки земного шара могли бы соперничать в притягательности с Северным и Южным полюсами. На кораблях и собаках, на лыжах, воздушных шарах, дирижаблях и самолетах люди стремились к ним, рискуя жизнью за право первооткрывательства и погибая подчас при осуществлении заветного желания.

Имена смельчаков, отправлявшихся в ледяную пустыню, широко известны. Об их подвигах написано множество книг. Это были в высшей степени достойные люди, и к тому времени, когда после гибели «Челюскина» мы дрейфовали на льдине в 1934 году, человечество уже смогло отметить первое двадцатипятилетие достижения Северного полюса. Честь свершения этого подвига принадлежала американцу Роберту Пири.

Но даже после того как прошло четверть века, такое завоевание выглядело весьма иллюзорным. Люди отлично понимали: достичь полюса и повернуть обратно — это еще далеко не все, что нужно человеку, во имя чего следует рисковать жизнью.

Белое пятно по-прежнему оставалось белым пятном. Чтобы стереть его, предстояло поселиться на полюсе, прожить там какое-то время, достаточное для проведения надлежащих научных изысканий.

Задача, веками казавшаяся неразрешимой, к концу первой четверти XX века выглядела совсем иначе. Успехи воздухоплавания сделали свое дело. Идея завоевания полюса приобрела конструктивный характер. Первым мысль о высадке ученых на полюс высказал примерно в 1925 году знаменитый полярник Фритьоф Нансен, глава международного общества «Аэроарктика». Он не сомневался, что дирижабль сможет доставить туда научную

экспедицию. И хотя замысел Нансена казался многим ученым фантастичным, его поддерживали советский исследователь В. Ю. Визе, норвежец Свердруп, швед Мальмгрен, трагически погибший вскоре при катастрофе дирижабля «Италия». Однако практика полетов дирижаблей и самолетов в последующие годы показала, что идея Нансена на самом деле сложнее, нежели это казалось на первый взгляд. «Аэроарктика» то ли не смогла, то ли не захотела реализовать его замысел. Затем сыграл свою недобрую роль разрешившийся в 1929 году жесточайший экономический кризис, а в 1930 Нансен умер, так и не реализовав свою идею.

О возможности экспедиции на Северный полюс я впервые услышал, как уже упоминал, в 1930 году от Владимира Юльевича Визе. Выслушав его рассказ, я немедленно попросил Визе считать меня первым кандидатом на возможную вакансию радиста на Северный полюс.

К моему великому огорчению, дело оказалось не очень реальным. Когда в 1931 году В. Ю. Визе на конференции «Аэроарктики» поставил вопрос о создании дрейфующей станции и все участники конференции поддержали его, то немецкая фирма «Строительство цеппелинов» не выразила ни малейшего желания предоставить для этой цели воздушный корабль. А «контрольный пакет» в виде реально существующих дирижаблей был в руках этой фирмы. Нетрудно догадаться, что дело было отложено на неопределенный срок.

Все это выглядело неутешительно, и поэтому Советский Союз, ни на кого не рассчитывая, стал самостоятельно продвигаться к осуществлению великой цели.

Спустя некоторое время на борту «Сибирякова», когда мы проходили по Северному морскому пути, я услышал о планах покорения полюса. На этот раз уже не международных, а советских. Отто Юльевич Шмидт, рассказывая о планах освоения Арктики, сообщил, что экспедиция на Северный полюс, с высадкой там небольшой группы научных работников, запланирована на последний год второй пятилетки.

Это уже деловой разговор! Конечно, я не преминул заявить о своем желании стать участником экспедиции, отлично понимал, что замыслы, записанные в пятилетних планах, когда приходит их время, становятся конкретными делами.

Третий раз вернулись к той же теме после гибели «Челюскина», во время дрейфа ледового лагеря. Времени там было достаточно, и мы с Отто Юльевичем Шмидтом и Петром Петровичем Ширшовым не раз беседовали на волновавшую нас тему. Двухмесячное пребывание в палатках на льду казалось нам вполне приличной практикой, обогатившей опытом, который в других условиях накопить было бы трудно. Иными словами говоря, мы рассматривали ледовой лагерь челюскинцев как своеобразную практику и модель будущей дрейфующей станции «Северный полюс».

Добраться до Северного полюса для настоящего полярника — мечта жизни. Неудивительно, что энтузиастов, готовых реализовать эту идею, сыскалось много. Решающую роль сыграл не энтузиазм отдельных личностей, а система, научный подход к решению проблемы. По инициативе О. Ю. Шмидта, С. С. Каменева и других руководителей советских арктических исследований острова и побережье советской части Северного Ледовитого океана были покрыты сетью полярных станций. Станции регулярно передавали информацию о погоде, состоянии льда, физике и химии моря. Не хватало только сведений из центра полярного бассейна — с полюса.

Штурм полюса начал О. Ю. Шмидт. К этому обязывали и положение руководителя, и душа романтика. Через год после челюскинского дрейфа Шмидт перешел к делам практическим. Он понимал: задача настолько серьезна и необычна, что решить ее в лучшем случае можно за два года, не быстрее.

К тому времени вопрос: лететь ли к полюсу на самолете или на дирижабле — уже не стоял. И слабые стороны дирижаблей, и сильные черты самолетов определились с достаточной очевидностью. Вопрос заключался в другом — как использовать самолет, ибо десанты, а такая экспедиция была десантной операцией, бывают и парашютными и посадочными. Одним словом, нужен был специалист по авиационным делам.

Вскоре Шмидта вызвал Сталин. 13 февраля 1936 года, ровно через два года после гибели «Челюскина» Отто Юльевич и несколько знаменитых летчиков, в том числе Леваневский и Громов, отправились в Кремль. Сталина интересовала проблема трансполярных полетов. Основные вопросы, которые он задавал, касались безопасности этих полетов. В такой ситуации, как говорится, сам бог велел Шмидту

доложить о проектах организации станции «Северный полюс». Сообщение было встречено с интересом. Сталин принес глобус, предложив конкретно продемонстрировать, где и что предполагается сделать.

Советская авиация находилась на подъеме. Авиационная промышленность, созданная позже, чем в других странах, словно торопилась наверстать упущенное. Летчики и конструкторы стремились реализовать популярный лозунг тех дней: «Летать быстрее всех, выше всех и дальше всех». К тому времени, когда Сталин вызвал на доклад Шмидта, быстрее и выше всех мы уже летали — существовал самый быстроходный в мире истребитель. Поликарпова И-16, и совершили свои первые полеты советские стратостаты. Сталину хотелось как можно эффективнее и убедительнее продемонстрировать миру дальность советских самолетов. Возможности для этого были. Коллектив А. Н. Туполева дал «РД», двадцать пятый по счету АНТ. Оставалось вывести его на надлежащую трассу. Генеральная репетиция была уже проведена полетом на остров Удд, для которого, как знает читатель, я, находясь на Северной Земле, давал нужную информацию. Но теперь хотелось большего. Установление мирового рекорда дальности в сочетании с пролетом над полюсом было для этой цели делом весьма подходящим, а возможность гарантировать летчикам метеорологические сведения, от которых во многом зависел успех экспедиции, делало будущую станцию «Северный полюс» на редкость своевременной и нужной.

После подробного доклада Шмидта было принято решение поручить Главному управлению Северного морского пути организовать в 1937 году экспедицию на Северный полюс, а Наркомтяжпрому — изготовить необходимые для этого самолеты. Именно с этого момента я и оказался вовлеченным в орбиту дел экспедиции, развернувшихся незамедлительно...

Первым в работу по подготовке экспедиции включился Михаил Васильевич Водопьянов. По приказу О. Ю. Шмидта вместе с летчиком В. М. Махоткиным он 29 марта 1936 года вылетел на север. Задача летного отряда — найти место для будущей базы. Ею стал один из островов, откуда до полюса — рукой подать, девятьсот километров. Для самолета пустяк. Но именно эти девятьсот километров оказались в

1914 году непреодолимым барьером для Георгия Яковлевича Седова. Здесь, на этом острове, покоится прах отважного исследователя.

Близость к полюсу привлекла внимание организаторов экспедиции. В их глазах это было большое достоинство. Ведь чем ближе к полюсу опорная база, тем больше грузов могла взять наша экспедиция.

Найти базу — только половина дела. Гораздо трудное ее освоить, доставив туда грузы, необходимые будущей экспедиции. Вскоре после возвращения Водопьянова — а вернулся он 21 мая 1936 года — ледокольный пароход «Русанов» и пароход «Герцен» повезли грузы, необходимые для постройки на острове станции.

Это была очень сложная работа. Лед тем летом оказался тяжелее обычного. Приходилось искать кружные пути. Дважды подходил «Русанов» к острову и оба раза отступал. Выгрузку удалось организовать лишь с третьей попытки. И не самую удобную — грузы пришлось тащить на руках два с половиной километра, взрывая большие торосы, сбивая мелкие и наводя через трещины мосты. Когда кончилась эта адская работа, «Русанов» вернулся в бухту Тихую, где взял грузы с «Герцена». «Герцен» не мог совладать со льдами. Перегрузив все, что надо, с «Герцена» и пополнив запасы угля, «Русанов» снова пошел к острову, и все началось сначала.

Теперь на безлюдном дотоле острове закипела жизнь. Быстро строились жилые дома, радиостанция, мастерские, технические, продовольственные и хозяйственные склады, машинное отделение, баня, скотный двор... Большая группа полярников была оставлена на зимовку. Вершину купола ледника, возвышавшегося над островом, предстояло превратить в посадочную площадку.

Доставкой всего сложного хозяйства и строительством руководил И. Д. Папанин, а затем, закончив эту огромную работу, он отбыл на материк, оставив начальником зимовки Яшу Либина. После совместной работы на мысе Челюскин, где, к слову сказать, с ними зимовал и Евгений Константинович Федоров, Либин в глазах Папанина был стопроцентно проверенным человеком. Отличный товарищ, смелый полярник, он вместе с Федоровым совершил поход с мыса Челюскина на реку Таймыр по местам, которые в то время на карте выглядели белыми пятнами.



Поход был трудный. Эти районы и сегодня не очень-то населены, тогда же это были совершенно нехоженные земли. От мыса Челюскин до реки Таймыр далеко. Добираться туда пришлось сначала на собаках по тундре зимним путем, а потом идти по реке против течения на маленьком клипперботе и еще пешком. Чтобы не пользоваться пышными словами о героизме, которые я не люблю, скажу, что это был сильный номер, с большой долей риска.

Папанин знал, что оставляет на острове не только смелого человека и опытного полярника, но и отличного организатора. И действительно, Яша Либин и другие воспитанники и выученики Ивана Дмитриевича, оставшиеся готовить наш плацдарм для овладения полюсом, показали себя лучшим образом. К тому времени, когда Папанин, организовав базу, вернулся на материк, стало ясно, что врачи не разрешат Владимиру Юльевичу Визе трудную зимовку, которой он ждал так много лет. Медицина возражала категорически, наотрез, и было решено, что станцию «Северный полюс» возглавит И. Д. Папанин.

Весной 1936 года, когда происходили эти важные события, я, как уже известно, читателю, зимовал на Домашнем. Именно туда и пришел запрос Папанина: можно ли шить полярное обмундирование по размерам моей одежды, оставшейся в Москве?

Конечно, можно! Я немедленно отправил жене телеграмму, чтобы в качестве эталона был передан мой лиловый костюм, тот самый, который я сшил в Японии после прихода туда «Сибирякова», не доглядев, что из такого же материала заказал себе костюм и Ширшов.

Эталон оказался удачным. Вернувшись с острова Домашнего, я обнаружил, что сшитые по нему полярные туалеты сидят на мне отлично. Но мало того — я не обнаружил самого эталона. Костюм исчез. Впрочем, нет худа без добра: это избавило меня от необходимости опасаться, что вдруг мы с Ширшовым появимся где-нибудь, одетые как близнецы.

Следующая радиограмма, предлагавшая прислать пожелания по поводу создания специальной радиоаппаратуры, окончательно убедила: в своих предположениях я не ошибся и на полюс обязательно попаду.

Первомайское поздравление Папанина, Ширшова, Федорова не оставляло ни малейших сомнений по поводу того, кто мой будущий

начальник и кто мои спутники. Конечно, сразу же захотелось вернуться на материк, чтобы принять участие в подготовке радиохозяйства для предстоящей экспедиции. В условиях Северного полюса уверенная связь с землей — вопрос жизни и смерти участников дрейфа. Если допустить мысль, что мы не сможем передать по радио координаты, определенные Е. К. Федоровым, то это практически значит, что нашу группу просто невозможно будет разыскать, ибо найти ее в полярном бассейне труднее, нежели пресловутую иголку в стоге сена.

Как я ни торопился на материк, пришлось в очередной раз запастись терпением и сидеть на острове Домашнем. Пока мои будущие товарищи занимались делом, я ждал, поглядывая на календарь.

Только 27 октября 1936 года в 5 утра на «Сибирякове» мы пришли в Архангельск.

К восьми утра я уже попал в город. Немедля нырнул в парикмахерскую. Там было тепло и светло (горели лампы) и пахло так, как пахнет во всех парикмахерских мира. Ножницы парикмахера ласково щебетали, приводя меня в христианский вид. Блаженствуя в удобном кресле, я поймал себя на мысли, что ничего похожего не ждет меня на Северном полюсе. Будет холодно, грязно, темно, неудобно и сыро...

Рассчитавшись с мастером, я заторопился на московский поезд. Добирался я до дома спокойно, зато дела, нахлынувшие сразу, без каких-либо промедлений принесли великую кучу волнений и беспокойств.

Прибыв в Москву, я сразу же включился в подготовительные работы, которыми уже давно занимались мои товарищи. И не нужно доказывать, что, прежде всего я стал готовить аппаратуру.

Требования к радиоаппаратуре были установлены на редкость жесткими. Прежде всего, вес. С учетом грузоподъемности самолетов на все радиохозяйство отводилось лишь 500 килограммов. Боже мой, сколько вещей надо было взять: мачты, оттяжки, ветряк для зарядки аккумуляторов, аккумуляторы, трехсильный бензиновый движок, основная аппаратура, запасная аппаратура, запасные части для ремонта...

В эти дни, дни больших забот и волнений, судьба снова столкнула меня с человеком, которого я хорошо узнал во время подготовки к экспедиции «Челюскина». Моим партнером по радиоделам опять стал Николай Николаевич Строилов.

Мы встретились с ним в Ленинграде, когда уже полным ходом большой группой специалистов создавалась наша уникальная радиоаппаратура. Это дело было поручено радиолaborатории НКВД Ленинградской области. Начальником лаборатории был известный любитель-коротковолновик Л. А. Гаухман, начальником исследовательской части и главным инженером проекта радиоаппаратуры «Дрейф» — В. Л. Доброжанский, основными руководителями работ — старшие радиотехники Н. Н. Строилов и А. И. Ковалев.

Разумеется, там был большой коллектив, работавший с огромным энтузиазмом, — разработчики Теодор Гаухман и Николай Иванович Аухтун, конструкторы Маша Забелина и Тоня Шеремет, технолог Женя Иванов, механики Толя Киселев, Алеша Кирсанов, Саша Захаров, монтажник Виктор Дзервановский... Одним словом множество народа — молоденьких симпатичных девиц и юношей, что-то непрерывно мотавших, ковырявших, паявших...

Всем этим работникам — и большим, и малым, удивительно милым, добросовестным, скромным, создавшим «Дрейф», которому предстояло обслуживать первую в истории человечества дрейфующую станцию «Северный полюс», — мой земной поклон. Не раз, находясь на полюсе, мы теплыми словами поминали их работу. Аппаратура работала безупречно.

Теперь подлинная палатка стоит в Ленинграде, в музее Арктики, и если войти, то направо, на столе, можно увидеть и наше радиохозяйство.

Готовую аппаратуру надо было проверить. Это сделали дважды. Один раз неподалеку от Ленинграда, второй раз — под Москвой в Теплом Стане. Я выходил в эфир с позывными РАЕМ, и никто из моих корреспондентов в Москве, Киеве, Ярославле, Саратове, Могилеве, в Англии, Чехословакии, Швеции, Дании, Польше, Германия, Японии, Центральной Африке и США не подозревал, что участвует в испытании аппаратуры, предназначенной для Северного полюса.

Долго и упорно мы собирались в дорогу. На третьем этаже старого Гостиного двора в Рыбном переулке в маленькой комнате помещался штаб экспедиции. В соседних комнатах стучат машинки, щелкают арифмометры, снуют посетители. Обычная жизнь обычного учреждения, каких в Москве немало. Однако эта привычная канцелярская жизнь иногда нарушается. На узкой лестнице со стертymi от времени каменными ступенями нет да нет, создаются пробки. Лестничное движение обычно нарушаем мы, когда тащим нашу меховую одежду. Одежда добротная. Она производит впечатление. Посетители, встречающиеся на нашем пути, единодушно одобряют ее качество:

— В таких одежках не замерзнешь и на Северном полюсе!

Сами того не ведая, они попадают в цель. Но мы помалкиваем. Об экспедиции на Северный полюс пока знают немногие, и нам не велено особенно распространяться.

А одежда и впрямь хороша. Весь опыт предыдущих арктических экспедиций, как отечественных, так и иностранных, использован для того, чтобы одеть нас наилучшим образом. В нашем гардеробе егерское и шелковое белье, шерстяные и меховые чулки, огромные валенки, высокие горные ботинки со шнуровкой, сапоги, меховые рубашки, шерстяные свитера, легкие шапки из пыжикового меха, по пять пар самых разных рукавиц на брата.

По мере выполнения заказов на одежду, приборам и экспедиционному снаряжению в маленькой комнатке становится все теснее и теснее. Груды меховой одежды, образцы тары, бинокли, ножи, табак, керосиновые печи, посуда, обувь, белье, фотоаппараты, оружие придают комнате вид не то филиала Мосторга, не то военного лагеря.

Старая истина гласит, что тщательная подготовка — это три четверти успеха. На дрейфующем льду надо не только жить, хотя бы с минимальными удобствами, но и работать. Трудно сказать, на что следует больше всего обратить внимание. Для того чтобы работать, надо быть сытым и одетым. Для того чтобы дать о себе знать, должны безупречно работать астрономические приборы и радиостанция...

В таком деле, как экспедиция на полюс, со стороны видна лишь героика. На самом деле — это настойчивая работа. Продумать надо все мельчайшие детали жизни. Нужно знать, где и что можно заказать. Книжка экспедиции с перечнем телефонов содержит номера от

Госплана СССР до мастерской валенок. Все снаряжение должно отвечать самым строгим требованиям.

Наше обиталище — палатка — просто шедевр. Даже палаткой это чудо называть не хочется. К нему больше подошло бы название домик. Основа этого домика — легкий каркас из дюралюминиевых труб.

На каркас надевались три чехла. Первый — из легкой прорезиненной ткани. Второй — неповторимой красоты, по существу это было голубое, шелковое, стеганое одеяло. На изготовление его и наших, также шелковых, спальных пижам, которыми мы, кстати говоря, и не очень-то пользовались, ушло 17 (!! ) килограммов гагачьего пуха. Старушки монахини в артели, где все это шилось, умилялись: точь-в-точь такие одеяла шили когда-то купеческим дочкам в приданое. И, наконец, третий чехол — черный брезент, пропитанный водоотталкивающим составом, и надпись: «СССР. Дрейфующая экспедиция Главсевморпути 1937 года». С торцевой части домика — серп, молот и звезда.

Три метра семьдесят сантиметров длины, два семьдесят ширины и два метра высоты — таковы были габариты нашего домика, любовно и продуманно изготовленного в одном из цехов завода «Каучук». В окнах — стекла из небьющейся пластмассы. Мы должны были быть готовыми к трещинам и торошению. Создатели нашего домика гордились тем, что вес домика не превышал 160 килограммов, и утверждали, что мы просто можем на руках унести свое жилье на другое место.

Как жаль, что ученые еще не выдумали питательных пиллюль. Почти треть всего нашего груза составляло продовольствие. Бессмысленно было бы везти его в обычной таре. Мы получили запаянные жестяные банки весом 44 килограмма каждая. Такая банка — на четверых на десять дней. В институте инженеров общественного питания ничуть не удивились, когда Папанин, придя к директору института М. Белякову, сказал: — Обеспечьте нас обедом на два года! Так был принят заказ на наши банки. Содержимое было достаточно разнообразным. Желтая, твердая как камень плитка — порция горохового супа. Такая же плитка, но красная, — кисель. Специальные конфеты из шиповника содержат большое количество витамина «С». В виде брикетов представлены кофе, чай, какао. Яйца и молоко — в порошке. Сухари с тридцатипроцентным содержанием мясного

порошка. Куда ни ткнись, повсюду калории и витамины. Пять тысяч кур прекратили свое земное существование, чтобы в сушеном порошкообразном виде лететь на полюс.

Но куда сложнее, нежели технику, одежду и питание, было подготовить людей. Нам нужно было быть мастерами на все руки. У каждого из нас должна была быть вторая профессия, умение в нужный момент помочь товарищу или заменить его, если почему-либо он выйдет из строя.

Федоров должен был стать моим дублером. Нам с Папаниным выпали обязанности и метеоролога и механика. Всем четверым предстояло крутить лебедку при подъеме с глубины проб воды и всякой живности для Ширшова. Подготовка шла полным ходом, а один вопрос, немаловажный для нас, так и оставался нерешённым: как будет представлена в нашем ледовом лагере медицина? Полтора года (экспедиция была запланирована именно на этот срок) без доктора... Стали обсуждать: что же делать? Первая мысль — взять пятого человека. Конечно, можно было бы подобрать легонького врача, килограмм на пятьдесят живого веса. Но тогда палатка должна быть больше, одежда, продовольствие тяжелее и так далее... Мы не укладывались в жесткий лимит: десять тонн и ни килограмма больше. Арифметика не получалась.

Что же делать? Выход один — врачом должен стать кто-то из нас. Добровольцев не нашлось. Прикинули и решили: больше всего к лицу это Ширшову. Он гидробиолог, а гидробиология и медицина — почти одно и то же.

Петра Петровича откомандировали в Государственный институт усовершенствования врачей. Началась работа по программе, которую составил для Ширшова его наставник — доктор А. Чечулин: изучить болезни, наиболее распространенные в Арктике, освоить диагностику, так как, прежде чем лечить, надо хотя бы как-нибудь разобраться, от чего лечишь.

Сначала обучение фельдшерскому искусству — практика по уходу за ранами, умение делать инъекции и, наконец, хирургия. Петру Петровичу давали куски мяса, кривую хирургическую иглу, кетгут, и он сшивал эти куски, затем вскрывал фурункулы, останавливал кровотечения. А хирурги заставили его еще, и попрактиковаться на трупах, где ученик ампутировал пальцы, кисти рук, ноги.

И все же воспринимали мы Петра Петровича как медика с известным подозрением. Серьезность его занятий стала нам известна позднее. Тогда же, возвращаясь из клиник, Ширшов больше рассказывал нам о безмерных достоинствах одной из сестер, удивительно красивой блондинки. Что же касается его хирургической практики, то речь Петра Петровича была впечатляющей:

— Ребята, я теперь запросто могу оттяпать вам и руки и ноги. Но не хотел бы, чтобы моя первая помощь стала для кого-нибудь из вас и последней!

Мы оценили самокритичность нашего доктора и понимали, что лучше обходиться без его помощи. Эта убежденность помогла нам продержаться.

13 февраля, ровно через год (день в день) Шмидта опять вызвали в Кремль. Его сообщение слушали Сталин и другие члены Политбюро. Я обращаю внимание на этот факт, так как десятилетие, начавшееся в 1930 году, свидетельствовало о том, что та буйная Арктика, похожая на Запорожскую Сечь, с которой я столкнулся в дни моей юности, уже осталась далеко позади. Поход «Сибирякова», поход «Челюскина», экспедиция на полюс и другие полярные предприятия тех лет свидетельствовали, что случайность, неорганизованность, надежда на случай — это уже история. Сегодняшний день — точные расчеты, сделанные во всеоружии науки, тщательно отобранные люди, сложные задачи, поставленные перед нами.

Как вспоминал впоследствии Шмидт, доклад в Кремле пришлось делать обстоятельно, решая по ходу совещания ряд немаловажных вопросов. Большое внимание уделялось личностям — начиная от начальника экспедиции до младших специалистов. Только здесь, на этом совещании, Шмидту было разрешено личное участие в экспедиции. Поначалу Отто Юльевича не хотели пускать на полюс. Конечно, руководить экспедицией будет Шмидт. Но зачем же лететь самому? Как доказывал на этом совещании Ворошилов, уровень связи позволяет руководить экспедицией из Москвы.

Разумеется, Шмидт сопротивлялся такому решению, как мог. В ход пошла самая различная аргументация, и Отто Юльевич сумел отстоять свои желания. Он полетел.

Затем Шмидт подробно охарактеризовал всех членов летного отряда экспедиции. Сталин спросил: почему среди летчиков нет

Леваневского? Шмидт разъяснил, что Леваневский в Америке и просто не успеет принять участие в экспедиции.

— Ну, хорошо, — согласился Сталин. — Зато он первый воспользуется новой станцией при своем транспортном перелете...

Чубарь лестно охарактеризовал Папанина, отметив его жизнерадостность и организаторский талант. Ворошилов дал согласие на включение в состав экспедиции в качестве флаг-штурмана одного из лучших аэронавигаторов советских военно-воздушных сил Ивана Тимофеевича Спирина. Это ему предстояло найти в ледяной пустыне заветную точку полюса.

Проблема кадров была завершена. Сталин первый подписал постановление и передал его на подпись другим. Вылет назначили на середину марта...

Не прошло и недели после этого совещания, как началась генеральная репетиция. По улицам Москвы проехал грузовик, ощерившийся дюралевыми трубами, радиомачтами, различными тюками и ящиками. Вряд ли москвичи, встречавшие эту машину, выделяли ее как-то из других автомобилей. Вряд ли кому-либо приходило в голову, что это едет имущество экспедиции на Северный полюс.

Отъехав на несколько километров от Москвы, грузовик остановился. На территории радиоприемного пункта Севморпути, вдали от любопытных взоров, мы разбили палатку, установили ветряк и мачты. Дребезжащая груда дюралевых труб поначалу повергла нас в тихое уныние, но разобрались мы довольно быстро, и через два часа палатка уже стояла.

Койки в два яруса, откидной столик и, в общем, небольшие размеры делали палатку более всего похожей на купе железнодорожного вагона. В общем, не так уж плохо.

Направо от входа — стол радиостанции. Наверху — радиоаппаратура, внизу — аккумуляторы. Налево — кухня, которую тут же оккупировал Папанин, спеша продемонстрировать нам свои кулинарные таланты. Накормил нас Иван Дмитриевич хорошо. После обеда, который он стряпал в высшей степени вдохновенно, есть не хотелось около суток. Такова сила калорий, брошенных в обеденную кастрюлю.



Каждый из нас опробовал свое хозяйство. Все вместе мы сделали первые выводы по организации быта. Первый из них (его подсказал приехавший к нам в гости Шмидт) был таков; на ночь, залезая в спальный мешок, обязательно раздеваться до белья и не спать в верхней одежде. Правда, одевание и раздевание не могут быть причислены к самым приятным процедурам, но зато раздетому в теплом мешке гораздо лучше спится.

Итак, генеральная репетиция, или, если прибегать к театральному языку, черновой прогон, окончилась. Настала пора действовать. Остановка теперь за малым — за погодой. Погода была нелетная. И февраль кончился, а мы еще никак не могли покинуть Москву. В 11 часов утра 21 марта на очередном совещании летчиков и синоптиков в Главсевморпути нам сообщили, что надежд на ясные морозные дни нет. Откуда-то с юга, чуть ли не из самой Африки, прет мощная волна теплого воздуха, и единственный шанс добраться до полюса — это поскорее от этой волны удрать.

К пяти часам вечера принято решение: вылетать завтра, 22 марта, в семь часов утра. И хотя экспедиция снаряжается целый год, и хотя решения ждали не то что со дня на день, а с часа на час, оно всколыхнуло, взволновало. Это «завтра» было одновременно желанным и немного страшным.

Не теряя ни минуты, наша четверка немедленно направилась на склад. Едва успели доехать, как прибыли грузовики. Адрес на ящиках, как в романе Жюль Верна: «Москва — Северный полюс». Точно отмечаются номера каждого ящика в списке. Грузовики мчатся на вокзал. К десяти часам вечера доверху загружен отдельный товарный вагон. Прицепили его к архангельскому пассажирскому поезду в полночь.

Закончив погрузку, поехал домой. Добрался уже к часу ночи, но спать не хотелось. И есть не хотелось, хотя ничего не ел с утра. Последняя ночь в Москве была бессонной. Телефонные звонки — надо хоть так попрощаться с друзьями, — укладка личных вещей, дорожного обмундирования. Последний домашний салат из свежих огурцов, который приготовила жена, понимая, что этот салат я буду не раз вспоминать в Арктике. Последняя ванна...

В пятом часу утра позвонил Папанин. Он тоже не спал всю ночь. Затем звонок из гаража: машина вышла. Пора приниматься за

шнуровку высоких ботинок, обладающих, по заверениям специалистов, какой-то неслыханной прочностью.

Пришла машина. Вещи вынесены. Зашел попрощаться с детьми. Девочки просыпаются:

— Папа, ты куда?

— Да вот поедem с мамой на аэродром посмотреть самолеты.

Несколько поцелуев, и, к счастью не вникнув в происходящее, дети быстро засыпают. Последний напутственный поцелуй. По традиции получаю его дома. Всякий раз, когда я уезжал, у нас с женой действует одно неписаное правило: сдерживаться при расставании, щадить друг друга.

Заехав в гостиницу «Москва», где нас ожидали Петя Ширшов и Женя Федоров, помчались на аэродром. Улицы Москвы пустынные, зато на летном поле изрядное оживление. Отчасти оно ощущалось потому, что уже работали моторы на самолете командира отряда Водопьянова, но в большей степени его создавали фоторепортеры и кинооператоры, снимавшие всех участников экспедиции бесчисленное число раз.

Наконец объявляют: через десять минут начинается посадка. Такое дело требует порядка. Везде появились часовые. Пока шла вся эта кутерьма, я несколько раз подходил к самолету. А когда пора лететь — не пускают. Часовой требует пропуска. Дежурный пропуска не дает за отсутствием документов. А их-то я, конечно, не взял. Паспорт не требуется: на полюсе можно пока жить без прописки, партийные документы, как положено, сдал в политическое управление. В таких условиях доказать, что я — это я, дело не простое. И пока я решал задачу, дядя Вася (а вылетал я на самолете Молокова) уже запустил моторы, и бежать мне пришлось через лужи и проталины, не разбирая дороги.

Не буду описывать всех перипетий нашего перелета, продолжавшегося, как говорят, по не зависящим от нас обстоятельствам без малого месяц. Это сложное путешествие происходило под знаком острой и непрерывной борьбы с погодой. Весна буквально наступала на пятки. Из всех сил мы старались удрать от нее на север, однако Борис Львович Дзердзеевский, главный синоптик экспедиции, красивый мужчина с мефистофельской бородкой, не очень-то торопился нас пустить. Мы долго сидели в

Нарьян-Маре. Каждое утро командиры кораблей с глазами, полными надежды, смотрели на Дзердзеевского, а он произносил одну и ту же фразу, не боясь превратить ее в литературный штамп: — Лететь не рекомендую! Запретить вылет Дзердзеевский не мог. Но без его рекомендации никто не мог этот вылет, и разрешить, а он не рекомендовал. Трасса до полюса была длинная, и единственное, что могли делать наши летчики, — продвигаться по ней поэтапно. Добрались мы до острова лишь 18 апреля.

Последний промежуточный аэродром встретил нас веселым морозцем в 23° и ярким солнцем, светившим все двадцать четыре часа в сутки. Однако и тут на протяжении месяца Дзердзеевский продолжал повторять свою неизменную фразу: — Лететь не рекомендую!

На острове у входа в жилой дом — огромный белый медведь, повязанный красным галстуком. Он держал в лапах полотенце с хлебом-солью и большой жестяной ключ с надписью: «Ключ от полюса». Медведя подстрелили за два дня до нашего прилета и заморозили в сидячем положении.

5 мая в разведку улетел на самолете СССР-Н-36 Павел Головин. С Головиным полетел Стромилов. Поначалу радио самолета-разведчика стрекотало так благоприятно, что Водопьянов приказал, было греть моторы. Головин лихо отсчитывал параллели, которые пересекал его самолет. Погода была ясной, лед хорошим. Но в последний момент прогремела команда: отставить! Полюс закрыт сплошной стеной облаков, а это нас не устраивало...

Обнаружил Головин сплошную облачность на 88° широты. Но тут, вместо того чтобы повернуть обратно, как это планировалось при его вылете, Головин решил «рвануть до полюса». И рванул... Головин, штурман Волков, механики Кекушев и Терентьев, радист Стромилов стали первыми советскими людьми, пролетевшими над самой северной точкой мира.

Николай Николаевич рассказывал потом, как произошла эта первая встреча советских людей с полюсом. Добравшись до заветной точки, экипаж увидел под крылом клубящееся море облаков. Только информация штурмана свидетельствовала о том, что цель достигнута. Соседи Стромилова, бортмеханики самолета, немедленно решили отметить достижение цели. Терентьев дал расписаться Стромилову в блокноте и выбросил блокнот за борт. Второй механик сбросил иной

сувенир. Сначала вниз полетели три куколки — белая, желтая и черная, символизировавшие три расы людей, населяющих земной шар. Вслед за ними, разбрызгивая содержимое, полетел бидон с маслом.

— Для смазки подшипника земной оси!

Нетрудно было догадаться, что так мог поступить лишь один человек в экипаже Головина — бортмеханик Кекушев. Этот коренастый, широкоплечий человек производил впечатление личности в высшей степени солидной. Мастером своего дела он был великолепным. Но не только это принесло ему славу в полярной авиации. Был Кекушев еще и редчайшим мастером розыгрыша. Особенно на шумела история с часами Шмидта. Сценарий этой истории был разработан Кекушевым заранее и осуществлен во время одного из перелетов, когда им пришлось облететь все наиболее крупные станции Арктики. На каждой происходило примерно одно и то же. Сидят полярники за столом, а Кекушев спрашивает:

— Ребята, а вы заказали часы со Шмидтом?

— Какие часы?

— Эх, ребята, вы все прохлопаете. В Амдерме уже давно список послали...

— А что это за часы?

— О, это прекрасные часы... Они с гирями, а когда начинается бой, то открывается окошечко и оттуда выскакивает не кукушка, а голова Шмидта. Сходство портретное. Борода, как в натуре. Он и отсчитывает бой часов вместо кукушки.

— Ох, как здорово, а где их купить?

— В Москве, в Центральном универмаге. Телеграфируйте директору, сколько часов вам.

Директор магазина с пачкой телеграмм пришел в Политуправление Главсевморпути. О беседе Кекушева с начальством можно было только догадываться.

После того как экипаж поприветствовал Северный полюс, самолет СССР-Н-166 стал возвращаться.

Полет Головина заставил нас пережить несколько острых минут. Когда самолет прошел уже большую часть пути от полюса до острова, наш аэродром стало закрывать надвигающимся туманом. То ли аппаратура у Головина подвирала, то ли он сам немного просчитался,

не знаю, но, во всяком случае, летчик промахнулся и вышел западнее острова.

Мы волнуемся. Большая часть нашего коллектива — представители пятого океана. Что такое контрольный срок полета и каков он у самолета Головина, известно всем досконально. Пилот плутает. Туман все гуще и гуще, а бензин, по подсчетам специалистов, уже кончился. Нас всех колотила мелкая дрожь... Шутка ли — экспедиция на полюс еще не началась, а над нами нависло такое страшное ЧП, как гибель самолета и потеря людей.

И вот, когда по всем расчетам специалистов самолет Головина уже просто не мог лететь, послышался шум мотора и машина ворвалась, чуть ли не на бреющем полете. Площадка, как уже говорилось, была на куполе ледника на высоте четырехсот метров. Но купол — в тумане, и Головин стал садиться прямо около жилых домов. Никто этого «аэродрома» не мерял. Взлетел с него только маленький У-2, но Головин решительно плюхнулся на этот пятачок. Деваться ему было больше некуда. Самолет еще катился, когда замолкли моторы.

Начались объятия. Головин целуется со Шмидтом, затем подходит к машине, открывает контрольный кран главного бака и оттуда, на глазах всей собравшейся публики, вытекает — я видел это собственными глазами — одна-единственная столовая ложка бензина.

Прошло еще две недели, прежде чем погода нам, наконец, улыбнулась. На нашем маленьком У-2 Яков Мошковский вывез Дзердзеевского на высоту трех тысяч метров, и главный синоптик благословил вылет.

У дверей жилого дома появился трактор «Сталинец». Во всеоружии своих шестидесяти сил он готов был тащить к летному полю сани, скорее похожие на плот. Полозьями служили толстенные бревна, зашитые сверху не менее внушительными трехдюймовыми досками. На этих санях перебрасывались на купол бочки с горючим и маслом.

Казалось бы, брать с собой нечего — личные вещи уже в самолете. Засовывай в карман, зубную щетку, вешай фотоаппарат — и в дорогу. Однако и тут набралось много разного скарба. Штурманы везут приборы, радисты — аккумуляторы, бесчисленными кулечками и пакетиками обросла и наша четверка.

Добавочная поклажа — чистая контрабанда. Стараемся побольше напихать в карманы. Там можно обнаружить и пачки папирос, и питьевую соду, и горсть гвоздей. Борьба идет за каждые сто граммов. В наволочке везем селедки, возмущая соседей вытекающим из этой не самой надежной тары рассолом. Мы успокаиваем их: если рассол вытечет, самолету будет легче.

Трактор пытит. Мы потихоньку ползем в гору, со скоростью пешехода преодолевая четырехкилометровый путь. И, когда достигаем цели, перед нами открывается панорама бухты. Отсюда многие экспедиции пытались достичь полюса.

На площадке нас ждет работа. Несколько дней назад прошел снег. Его пригрело солнышко, он подтаял и примерз. Вооружившись лопатами, мы счищаем снег. Шум стоит страшнейший.

На нашем воздушном такси У-2 со станции прилетели Шмидт и Дзердзеевский. На купол напал туман. Погода явно портилась. И мы, и летчики не скрывали своего огорчения. Но «бог погоды» Дзердзеевский успокаивает:

— Туман не надолго, скоро можно будет лететь!

Еще до того как купол закрыло туманом, У-2 привез со станции термосы с ужином из двух блюд. Бедный Жюль Верн, даже его гениальному воображению не под силу было нарисовать картину, которую мы видели воочию. На далеком севере, на куполе ледника, поднявшегося на 400 метров над уровнем моря, режут четыре тысячи лошадиных сил моторов первого самолета, отбывающего к полюсу, а пока режут моторы, повар в белом фартуке кормит из термосов ужином улетающих. Вот и придумай что-либо более будничное и более фантастичное!

Никто не произнес слова «вылетаем», но в одно мгновение это стало ясно. Вылетаем одни — первым идет к полюсу флагманский самолет Н-170 Михаила Васильевича Водопьянова, второй пилот Бабушкин. На нем летим мы четверо, Шмидт, флаг-штурман экспедиции И. Т. Спирин. Ему и Жене Федорову, с их астрономическими инструментами, предстоит отыскать среди снега и льда полюс и привести машину к этой заветной точке.

Погода отличная. Пятый час утра по московскому времени. Сняты чехлы. Механики дают полные обороты, проверяя моторы. За самолетом мириадами алмазов вздымается снежная пыль. Именно в

этот момент — ни раньше, ни позже — милейший местный доктор, встретивший нас, надев трогательную нарукавную повязку с красным крестом, пожелал сделать снимок на память. Отказываться неудобно — хозяева были так гостеприимны...

Глядя на доктора, ловлю себя на мысли, что он одновременно похож и на Чехова и на его героев. Доктор очень мил, но аппарата его мы боимся. Наверное, последним воплем техники он был вскоре после изобретения Дагерра и Ньепса. Во всяком случае, светосила этой камеры такова, что даже при ярком солнце надо крепко держаться друг за друга, чтобы изображение не получилось смазанным. Воздавая должное доктору, держимся.

Водопьянов и Бабушкин уже на своих местах. В «моссельпроме» — так называют носовую часть самолета — хозяйничает Спирин. Рысью обегая провожающих, тычась, друг в друга мокрыми носами для последнего поцелуя.

Для облегчения из самолета выкинуто все, что только можно выкинуть. Сняты крепления, подставки для приборов, откидные сидения. Папанин, Ширшов и я размещаемся в центроплане. Женя ушел к Спирину в «моссельпром».

Итак, поехали! Легкий рывок. Моторы дают максимальные обороты. В люк каскадом летит снежная пыль. Второй механик П. П. Петенин уже на ходу влезает в самолет и захлопывает люк. Самолет убыстряет бег. Толчки учащаются. Внутри все гудит и резонирует. Поднимемся ли? Сколько по этому поводу было споров и разговоров...

Начав свой путь с самой высшей точки ледника, самолет катится под горку, разгоняется. Сейчас или-или. Или, разогнавшись, взлетим, или, если не успеем взлететь, соскочим с двадцатиметровой высоты ледника на морской лед. Пилот жмет на всю железку. Моторы ревут. Четыре тысячи лошадиных сил все же оторвали от земли нашу донельзя перегруженную машину. Взлет произведен мастерски. Мы дружно выражаем наши чувства поднятыми вверх большими пальцами.

Водопьянов делает вираж. Под нами проплывают домики. Прощай, остров. Ты был гостеприимен. И хотя мы жили тут, как шпроты в банке, долгие месяцы будем вспоминать такие достижения человеческой культуры, как печку, рукомойники и баню.

Маяк нудно бубнит две буквы «Н» и «А». Между ними и лежит наш курс. А в Москве волнуются синоптики. Шквалистые ветры — не лучший союзник перегруженного самолета. Мы успокаиваем — все в порядке. Наши радиogramмы доходят до Москвы в течение нескольких минут.

Для облегчения работы пилота нам предложили перебраться поближе к центру тяжести самолета. Стоим около механиков. На пультах огромное количество приборов. У каждого мотора приборы свои, а моторов у нашего АНТ четыре. На каждом пульте одна из стрелок ровно и неуклонно маячит против цифры «1600». Это число оборотов в минуту. Однако нам, людям авиационно-необразованным, куда приятнее наблюдать за величинами конкретными — более близок сердцу мерцающий круг трехлопастного винта. Иногда солнце освещает винт, и тогда вспыхивает неугасимое пламя. Через окошко Ширшов время от времени фотографирует льды. Пока ничего радостного — крупных полей нет, под нами широкие трещины. Невольно примеряемся: если и дальше будет так, то плохо, на такое поле садиться было бы очень скучно.

Монотонная размеренность полета внезапно нарушается. Механики проявляют какую-то не очень понятную активность. Они поочередно исчезают в левом крыле самолета. Потом Флегонт Бассейн, первый бортмеханик, идет к Водопьянову, и что-то кричит ему в ухо. Разговор кончается быстро. Бассейн с бесстрастным лицом становится у пульта управления. Остальных механиков не видно. Потом появляются и они, а вместе с ними возникает неурочный спрос на марлю и йод. Заливаются бесконечные порезы на руках.

О том, что все это означало, мы, пассажиры, узнали только после посадки. Потек радиатор одного из двигателей. Это грозило большими неприятностями. Перегретый мотор обязательно вышел бы из строя. К счастью, наши механики не растерялись. До самой посадки, в невероятной тесноте, лежа вниз головой, они голыми руками собирали при помощи тряпок вытекавший антифриз, выжимали его в ведро и вновь доливали в радиатор.

Не прошло и часа после вылета, как впереди по курсу показались легкие редкие облака. Затем, по мере продвижения к северу, облака стали уплотняться. Самолет набрал высоту, и вскоре мы уже шли над почти сплошной облачностью.



Очень редко в облаках открывались маленькие оконца, и тогда видны были трещины во льдах. Они гораздо уже тех, которые мы наблюдали в районе острова.

Нет да нет, самолет проходит через легкие облака. Тускнеет солнце, меняется окраска нашего ярко-оранжевого крыла. Новые опасения — не возникнет ли обледенение? Это было бы скверно, но нет, обледенения не происходит. С каждым часом опасность становится меньше. Бензин расходуется — самолет облегчается.

Мимо нас часто проходят Федоров и Спирин. У обоих в руках астрономические приборы. Открывается верхний кормовой люк самолета. Спирин высовывает полголовы наружу, крепко прижимается затылком к самолету, смотрит в прибор. Однако струя воздуха настолько сильна, что прибор невозможно удержать. Спирин явно недоволен. Он пробирается в самый хвост самолета: из более защищенного люка легче наблюдать за солнцем.

Истекает шестой час полета. Спирин и Федоров вдруг забежали и оживились. С сияющим лицом Женя кричит мне в ухо: — Полюс!

Инстинктивное движение к оконцу. Надо обязательно посмотреть, как выглядит полюс сверху. Не видно. Под нами все та же бесконечная поверхность облаков.

По самолету забежали солнечные зайчики. Водопьянов разворачивается. Скоро посадка.

Сердобольные люди учили, как вести себя при посадке на неподготовленные аэродромы:

— Упритесь ногами и руками в стойки, но так, чтобы перед физиономией не оказалось никаких предметов!

Действовали по этой инструкции. Трем можно было упираться, четвертому — Жене Федорову — сделать это было труднее. Руки у Жени были заняты ящиком с хронометрами, а уж если выбирать, то он, безусловно, предпочел бы разбивать лицо, а не приборы. В такой обстановке не позаботиться о Жене было бы грех. Усадили его среди мягких баулов, как в гнездышко.

Механики разматывают через весь самолет, от хвоста к пилотскому креслу, трос. Это особый трос. Конец его — в распоряжении Бабушкина...

Спускаемся ниже. Ныржаем в облака. Меркнет солнце, Освещение становится серым, скучным. Посадка уже близка. И в эти минуты,

когда, как известно пассажирам современных воздушных лайнеров, в салонах зажигается обычно табло: «Не курить», вдруг едкий запах горелой резины. Очевидно, замыкание — и, судя по запаху, не малое.

Ох, какой это был неприятный запах... А самолет все ниже и ниже. На высоте 500 метров выходим из облаков. Отчетливо видны большие поля, гряды торосов и неширокие трещины. Водопьянов осмотрительно выбирает наиболее благоприятное место, делает несколько кругов. Круги заканчиваются виражом, от которого дух захватывает. Круто вертанул Водопьянов! Моторы сбавляют обороты. Бабушкин дергает за трос, протянувшийся к хвосту. С хлопком раскрывается тормозной парашют. Теперь этим никого не удивишь. Такие парашюты давно приняты в реактивной авиации. Тогда же применение парашюта при торможении для сокращения послепосадочного пробега было стопроцентной новинкой. Пробежав 240 шагов, самолет стал.

Мы на полюсе.

У люка оживление. Скорее на лед! Скорее посмотреть, как выглядит полюс. Поздравляем друг друга, восхищаемся деталями полета и посадки. Не верится, что мы на полюсе, не верится, что в такой прозаической обстановке осуществилась давняя мечта человечества.

Ну, а коль мечта осуществлена, ее надо вспрыснуть. Из самолета извлекается бутылка коньяка и несколько алюминиевых кружек. Кружки выставляются на снегу, я в роли виночерпия. Пробку прячу в нагрудный карман, Сувенир! Когда-нибудь буду показывать внукам. Тост краткий:

— За нашу Родину!

Дружно гремит троекратное «ура». И кружка холодная, и густой от мороза коньяк обжигает. Но за такой тост что угодно выпьешь! На этом торжественная часть и заканчивается.

Начинаются будни. Экзамен, в котором переэкзаменовки не дано и не будет. Механики закрыли моторы чехлами. Началась разгрузка, а я поспешил на помощь к Симе Иванову, который потрошил свою радиостанцию. Запахом горелой резины в самолете угостил нас именно он.

Сима торопится, и его легко понять. Последнее радио ушло с самолета в то время, когда мы кружили над полюсом, и сообщили, что

идем на посадку. И вот в самый неподходящий момент передача оборвалась на полуслове.

Легко понять, какие умозаключения делались на острове.

— Что у тебя, Сима?

— Плохо дело, сгорел умформер?

— Отремонтировать можно?

— Нет...

Вопрос излишний: где уж тут ремонтировать обмотку, которая состоит из сотен метров провода, втиснутого заводом в пазы якоря.

К сожалению, не удалось из-за веса полностью захватить мою радиостанцию. С нами прибыла только аппаратура, необходимая для пуска станции и минимальной ее работы. Привезли всего лишь один комплект аккумуляторов да небольшой бензиновый двигатель. Ни ветряного двигателя, ни велосипеда с динамо-машиной для аварийного питания у нас нет.

Рассчитывали, что сразу после посадки связь с островом установит значительно более мощная самолетная рация, а мы не спеша, развернем свою. Непредвиденный выход из строя самолетной радиостанции разрушил первоначальный план. Оставалось одно — не теряя ни минуты, развертывать собственную.

Аппаратура уже выгружена. Крепкие серые фанерные ящики, обшитые парусиной. В ящике № 1 — основная радиостанция, в ящике № 2 — запасная, затем две мачты и ящики с набором инструмента.

Все помогают мне. Папанин и Ширшов ставят небольшую темно-зеленую палатку. Спирин и Бабушкин укрепляют мачты, оснащают их такелажем. Работать трудно. Температура минус пятнадцать, свежий ветерок студит руки.

Особенно внимательно следим при выгрузке за аккумуляторами. Один — двенадцативольтовый, питающий машину радиопередатчика, накал передатчика и накал приемника. Другой аккумулятор — анодный. Вес двенадцативольтового — сорок килограммов.

Сейчас некогда заниматься удобным размещением приборов, некогда думать об удобствах. Все ставится на снег в палатке. меховая куртка служит и полом и стулом. Соединять провода, налаживать хозяйство приходится стоя на коленях. Эх, не люблю стоять на коленях!

Наконец в четвертом часу дня 21 марта 1937 года включаю машинку передатчика. Аппаратура проверена на острове. Осечек быть не должно. Заглушенное гудение машинки, спрятанной в ящике, показывает, что все в порядке. Но это только кажется. Не успел я заняться настройкой передатчика, как услышал изменение оборотов машинки. Обороты падали. Гудение приобретало все более низкий тон.

Вольтметр подтвердил то, о чем нетрудно было догадаться: аккумуляторы сели! Моя ошибка! Переоценил их качества. Две недели они простояли в самолете и частично саморазрядились. Вот неприятность!

Срочно притащили двигатель с динамо-машиной. Распаковали и тут же, на снегу, приступили к зарядке аккумуляторов. После часа работы двигателя аккумуляторы чуть-чуть ожили. Можно было немного послушать эфир. В эфире царство радиомаяков — ритмичные, монотонные сигналы. Надо пускать передатчик и звать, звать, звать... Палатка вся занята аппаратурой. Над головой висят провода. Работать приходится лежа на боку. Ноги не помещаются в палатке и высовываются наружу.

Тут же рядом на ящике неотлучно и молча сидит Отто Юльевич Шмидт. Завидуешь его внешнему спокойствию. Ни одного резкого нервного замечания, которое было бы столь понятным в этой напряженной обстановке.

Проходит час за часом. Попеременно слушаю, затем пускаю передатчик. Опять вынужденная задержка, опять надо подзаряжать аккумулятор.

Напряжение огромное. Сейчас дело исключительно за связью. Если не будет связи, последствия могут сказаться неотвратимыми.

А остров все бубнит и бубнит. Сквозь мощные сигналы ему не услышать наш слабенький передатчик. Остальным еще хуже, они находятся дальше, южнее, и слышимость у них еще меньше.

Поскольку материковым станциям услышать нас не удастся, они в 17 часов получают распоряжение прекратить работу. Эфир очищается от лишних сигналов. Прекращает работу и остров. Все слушают нас. Слушают на всех волнах...

И все же наши вызовы остаются гласом вопиющего в снежной пустыне. Опять приходится делать перерыв в работе и подзаряжать

аккумуляторы. И снова зову. И снова безрезультатно...

Наконец в 21 час 30 минут вдруг совершенно ясное ощущение: сейчас нас услышат, будет ответ. Уверенность так велика, что хочется сказать об этом сидящему рядом Шмидту. Но вызовов были десятки. Неудобно как-то на полюсе в такой момент заниматься черной и белой магией. Лучше помолчать.

Приемник включен...

Быстро, как пуля, появляется в эфире наш остров. С бешеной скоростью несутся точки, тире нашего позывного. Вот ошибка, вот срыв буквы. В такие минуты даже выдавшие виды опытные радисты нервничают и ошибаются.

По всему видно, что нас услышали. У меня по лицу расплывается улыбка. Отворачиваюсь, чтобы Шмидт не видел ее, — ведь пока даются только позывные. Надо подождать, что скажет остров.

Но вот слова: «Ну и радость тут... Где вы? Давай сюда сообщение». Шмидт и я жмем друг другу руки.

— Они подождут, пока я напишу телеграмму? — спрашивает Отто Юльевич.

— Конечно, — отвечаю.

Кто говорит, что небесной музыки нет? В полном сознании и твердой памяти утверждаю, что есть еще более прекрасные вещи. Например, установление связи группы людей, находящихся на дрейфующем льду Северного полюса, с родной землей, да еще после двенадцатичасового перерыва.

Пока Шмидт пишет подробную телеграмму, говорю с островом. Ну, конечно, нас услышал Коля Стромилов. Сообщаю самое главное:

«Все живы, самолет цел... У Симы перегорела его основная машинка. У меня садится аккумулятор. Пишем радиogramму: лед — мировой...»

Волнуясь и спеша, отвечает Стромилов. Узнаю подробности тревожных часов, которые провели наши товарищи. Уже наступила ночь. День закончился мрачно, тоскливо. Умолкли обычные шутки. Москва шлет запрос за запросом. Густым туманом заволокло купол, на котором, наши друзья уже готовили самолеты, чтобы лететь на поиски. И вдруг совершенно неистовый вопль Стромилова:

— Слышу?..

В соседних комнатах люди соскакивали с коек, хлопали двери, из ближайших домов бежали в нижнем белье, босиком по снегу. В мгновение ока небольшая радиорубка наполнилась до отказа, как московский трамвайный вагон в часы пик.

Стромилов пишет. Мошковский, изогнувшись, из-под его локтя шепчет вслух каждое записанное Стромиловым слово. Этот шепот слышат все...

Идет телеграмма номер один с Северного полюса. Полюс заговорил. Телеграмма адресована: Москва — Главсевморпуть.

«В 11 часов 10 минут самолет СССР-Н-170 под управлением Водопьянова, Бабушкина, Спирина, старшего механика Бассейна пролетел над Северным полюсом.

Для страховки прошли еще несколько дальше. Затем Водопьянов снизился с 1750 метров до 200. Пробив сплошную облачность, стали искать льдину для посадки и устройства научной станции.

В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку. К сожалению, при отправке телеграммы о достижении полюса внезапно произошло короткое замыкание. Выбыл умформер рации, прекратилась радиосвязь, возобновившаяся только сейчас, после установки рации на новой полярной станции.

Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в 20 километрах за полюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудольфа. Положение уточним. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных самолетов с грузом станции.

Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам много беспокойства. Очень жалею. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части задания.

*Начальник экспедиции Шмидт».*

Тут же принимаю ответ с острова:

«Северный полюс. Шмидту, Водопьянову, Папанину, всему экипажу и зимовщикам.

Поздравляем, обнимаем, целуем. Гордимся вами. Счастливы успехом нашей Родины. В рубке собрался весь коллектив. С замиранием сердца следим за каждой буквой, выходящей из-под карандаша Строилова. Ждем от вас путевку на вылет.

*По поручению коллектива Шевелев, Молоков».*

И тут же начинаются деловые будни.

— Кренкель, давай метео!

— Приборы еще не установлены, могу только дать погоду описательно.

— Надо скорее, сейчас!

— Подождете. Тысяча девятьсот тридцать семь лет после рождества Христова никто не знал погоды полюса, потерпите еще полчаса.

— Ну ладно, пока.

— Пока.

На этом закончился первый обмен телеграммами Северного полюса с островом. Договариваемся о порядке и сроках последующей работы. Долго и трудно устанавливалась первая связь. Теперь все пойдет как по маслу.

Уже прошла полночь. Следующий срок связи назначен в шесть часов утра. Надо еще воспользоваться свободным временем и зарядить аккумуляторы. Все спят. Пасмурное небо сеет мелким снежком. Метет порывистый ветер. Холодно от долгого неподвижного лежания на боку в палатке у радиоприборов. Честно заработанный в Арктике ревматизм сильно дает себя знать.

Трудно привыкнуть к мысли, что погреться негде. Все кажется, что вот куда-нибудь забежишь и отогреешься. Но, увы, забежать некуда. Согреться можно либо чаем, либо напаялив на себя побольше теплой одежды.

Кончена зарядка. Очень хочется спать. Но утром надо дать первую метеосводку. Вместе с Папаниным устанавливаем нашу метеобудку, укрепляем в ней приборы.

Даже чаю не пьем — нет терпенья возиться с примусом и ждать. Забираемся в жилую палатку. Рядышком, в спальных мешках, давно уже спят Ширшов, Федоров и неразлучный наш общий друг кинооператор Марк Трояновский. Места маловато, но зато от тесноты быстро разливается по телу блаженное тепло. Хозяйственные мысли и планы на следующий день путаются с сознанием, что мы на полюсе и все в порядке. Да, денечек был горячий. Наступает сон. Вспоминая все тревожнения в эти напряженные часы, когда не клеилось со связью, я думал о своих друзьях-радистах — и уже умершем Симе Иванове, и ныне здравствующем Николае Николаевиче Строилове. Я хочу, чтобы читатель поверил, что высокие оценки их профессионального мастерства — не только мое мнение, но и мнение всех, кто работал с этими превосходными знатоками своего дела. Мне хочется привести здесь отзыв о Строилове и Иванове Отто Юльевича Шмидта.

«Строилов поехал, чтобы остаться на острове и держать связь со своим другом Кренкелем и, если нужно, разъяснять, ему недоразумения, которые могли бы возникнуть с новой станцией.

Но на деле Н. Н. Строилов сделал гораздо больше. Он летал радистом в разведках Головина, флаг-радистом на самолете Молокова. Это артист своего дела. Любо, весело смотреть, как этот длинный и худой человек с горящими глазами, Дон-Кихот по фигуре, уверенно колдует среди тонких деталей современной большой радиопередаточной аппаратуры. Его тонкие нервно-подвижные пальцы, какие бывают у скрипача, казалось, непосредственно излучают таинственные волны.

А наш радист флагманского корабля С. А. Иванов, по фигуре — скорее Санчо Панса, в свою очередь не менее четко и надежно держал связь непосредственно с Москвой, с Диксоном с любой станцией. Моряк, многократный зимовщик, участник челюскинской эпопеи».

Уже через три часа меня извлекают из мешка. Пора передавать первое метео. Трем самолетам, оставшимся на острове, идти к полюсу теперь будет легче, чем нам. Они пойдут с открытыми глазами, опираясь на наши сведения о погоде и о посадочной площадке.



Хотя радиостанция еще полностью не развернута, хочется вознаградить за труды первых обитателей полюса; Решено каждому из чертовой дюжины (нас высадилось на полюсе тринадцать!) дать по 25 слов. Пиши, кому хочешь и что хочешь.

Оригинальностью никто не блеснул. Телеграммы удивительно похожи. Весь вопрос в том, кому повезло, а кому не повезло с адресом. Самая невыгодная знакомая оказалась у нашего оператора Марка Трояновского. На адрес ушло одиннадцать слов из двадцати пяти. Вечером 23 мая остров передал радиограмму:

«Правительственная № 2768. 106 сл. 23.V. 20 ч. 12 м.

Начальнику экспедиции на Северный полюс товарищу О. Ю. Шмидту.

Командиру летного отряда товарищу М. В. Водопьянову.  
Всем участникам экспедиции на Северный полюс.

Партия и правительство горячо приветствуют славных участников полярной экспедиции на Северный полюс и поздравляют их с выполнением намеченной задачи — завоевания Северного полюса.

Эта победа советской авиации и науки подводит итог блестящему периоду работы по освоению Арктики и северных путей, столь необходимых для Советского Союза.

Первый этап пройден, преодолены величайшие трудности. Мы уверены, что героические зимовщики, остающиеся на Северном полюсе, с честью выполнят порученную им задачу по изучению Северного полюса.

Большевистский привет отважным завоевателям Советского полюса!

*И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, Л. Каганович, М. Калинин, А. Микоян, А. Андреев, А. Жданов».*

На четвереньках из палаток вылезали их обитатели, от самолета бежали люди. Шмидт читал ровным громким голосом. Абсолютный штиль, мягко падает снег. Такие минуты незабываемы...

А затем начались будни. Тяжелыми пешнями Папанин, Федоров и Ширшов, при помощнике Марке Трояновском, продолбили прорубь. Лед оказался толщиной три метра десять сантиметров.

Постепенно прибывают самолеты. Мы посещаем их как гости. Пилоты смотрят на нас косо. Гости стараются что-то прихватить, не гнушаясь ничем.

— Инструмент, всякие проволоочки, алюминиевые трубы, провода, электрические лампочки — нам понадобится здесь все.

Когда нас стали гонять от самолетов, Папанин, который поначалу щедро угощал всех замечательной украинской колбасой, свою щедрость убавил. А так как колбаса была действительно вкусной, то летчики потянулись в гости к нам. Иван Дмитриевич выработал жесткую таксу и начал товарообменные операции: одна колбаса — метр дюралевой трубы. Все довольны, все смеются.

Наконец 28 мая установили основную жилую палатку.

Управляться с маленькими гайками голыми руками на морозе довольно скучно, но собрали палатку быстро. Собрали, обтянули чехлом, устлали пол шкурами. В палатке тепло и уютно. Затем начали пристраивать к ней снежный тамбур и кухню. В связи с окончанием первой очереди строительства состоялось новоселье. Переехали из легких временных палаток в жилой дом. После маленьких экспедиционных палаток в нем чудо как хорошо.

Жилой дом снискал всеобщую зависть участников экспедиции. Еще бы, ведь в нем были сделаны настоящий стол и настоящие койки. За солидность, по сравнению с остальными холодными палатками, его прозвали «Домом Советов».

Сначала кухню и радиостанцию думали поместить в жилой палатке, но потом решили временно вынести их в снежную пристройку. От этого в доме стало просторнее и чище.

Заработал наш ветряк. Обдуваемый полярным ветром, он весело машет крыльями, оживляя пейзаж. Станция полностью введена в строй. Аккумуляторы полностью заряжены. Теперь в наших руках неисчерпаемый источник тока для связи.

Работы шли строго по плану. Мы были одновременно строителями, товароведками и грузчиками. Сортируя грузы, распределяли их по трем базам в разных концах льдины.

Две недели жизни большой компанией пролетели быстро. Но хотя мы знали, что останемся вчетвером, последний день пришел, как всегда, как-то неожиданно и внезапно. Надо было написать домой, но получалось плохо. В последний момент что-то нацарапали на бумажках.

В пять часов вечера 6 июня — митинг в честь подъема флага и торжественного открытия дрейфующей станции «Северный полюс». Вместо трибуны — нарты. Бамбуковые шесты в роли флагштоков. Короткая речь Шмидта. Затем речь Папанина. Поднять флаг было поручено мне.

— Флаг поднять!

— Есть флаг поднять!

Трехкратный залп из винтовок и револьверов. Мы стоим с обнаженными головами и поем «Интернационал». Нам аккомпанируют 16 тысяч лошадиных сил — механики прогревают моторы.

Наступают последние минуты. Со всеми целуемся, обнимаемся. Пилоты суют нам в руки подарки, провезенные на полюс контрабандой, сверх груза, который был записан в соответствующих документах.

Василий Сергеевич Молоков подарил примус, Бабушкин — колоду карт, Мазурук — патефон с пластинками... Одним словом, у каждого нашелся для нас какой-то милый, приятный сюрприз, свидетельствующий о том, что паши строгие пилоты, нет да нет покрикивавшие на нас, когда мы занимались на их кораблях мелкими кражами, все знают, все понимают и питают к нам самые нежные чувства.

Сереньким днем, обдавая нас вихрями снега, один за другим уходили на материк самолеты. Описав круг над льдиной, они ныряли в облака. Стих звук моторов. Наступила тишина...

В первые минуты, хотя мы и готовились к ним, было как-то не по себе. Все-таки не привыкли мы с малых лет оставаться вчетвером на полюсе. Но человек на то и человек, чтобы привыкнуть к самым невообразимым ситуациям. Вот мы и начали привыкать к нашей жизни на перекрестке меридианов.

## Лагерь у земной оси

*Гидрологическая лебедка. Мои товарищи. Самые северные домашние хозяйки. Проблемы нашего быта. Встречи с Чкаловым. Самогонщик Ширшов. Сюрпризы примуса. Лето на полюсе. Визит белых медведей. Трагическая судьба Сигизмунда Леваневского. Дрейф на льдине и в воздухе. Пришла зима. Последнее ламповое стекло. Ночи коротковолновика. К нам идут ледоколы. Льдина трескается. Нас тащит на юг. Операции по спасению. Гибель дирижабля. Видим огни кораблей! Летчик Власов — первый человек на льдине. Моряки у нас в гостях. Домой! Встреча в Москве. Несостоявшийся академик.*

Шестого июня улетели доставившие нас самолеты, а седьмого уже полным ходом шла работа. Начали мы с самого тяжелого — принялись мерять Ледовитый океан, определяя его глубину и температуру воды на разных уровнях. Ширшов в ожидании этой минуты просто горел от нетерпения. И мы понимали его волнение: таких промеров в районе полюса никто и никогда еще не производил. С таким же воодушевлением нашу информацию ожидали десятки ученых в различных странах мира.

И вот, предвкушая сладость первого в мире океанологического эксперимента на Северном полюсе, готовим к делу ширшовскую лебедку. Петр Петрович затратил много сил, чтобы сделать это важное орудие предстоящих исследований легким, удобным и надежным. Вся конструкция собрана из дюралевых труб, а барабан изготовлен из лучшей стали. Для установки лебедки Папанин и Ширшов выстроили специальное сооружение из досок.

Наконец приготовления окончены. Груз, щуп и барометр скрылись в воде. Побежали стрелки счетчика. Быстро, слой за слоем, сматывался тросик.

О том, на какую глубину предстоит нырнуть приборам, можно только гадать. Ширшов из осторожности отрегулировал тормоз так, чтобы скорость спуска не оказалась чрезмерной. Трос бежал вниз, а мы, как приклеенные, стояли подле лебедки. Интересно! Продолжался спуск не много, не мало — два часа сорок минут. Два часа сорок минут

приборы шли вниз и достигли глубины 4290 метров. На сердце у Петра Петровича сразу же полегчало. Он очень боялся, что пяти тысяч метров троса может не хватить.

На этом интересное и закончилось. Спуск был самодействующим процессом — на нас работала сила тяжести. Иное дело подъем. Тут никаких сил, кроме наших мышц, не существовало. Я глубоко убежден, что если бы древние искали для каторжников работу потяжелее, то выкручивание гидрологической лебедки оказалось бы вне конкуренции.

Океанские глубины неохотно расставались со своими тайнами. Ну а если без высокого стиля, по-простому, то двое крутят, двое отдыхают. Силенок хватало минут на десять, не более, а затем смена. Прерывать подъем приборов нельзя.

Наше первое научное открытие, связанное с лебедкой: когда крутишь — время идет очень медленно, когда отдыхаешь — очень быстро.

За время дрейфа нам не раз приходилось делать гидрологические промеры. Не хочу врать — более легкими они не показались даже после усиленных тренировок. Выкручивание лебедки — очень тяжелая работа, но перепоручить ее было некому.

Люди, формировавшие наш состав, исходили из правильных соображений. Четыре специалиста посылаются для важной работы. Значение ее понимает каждый из четырех. Опыт жизни в условиях Арктики тоже имеет каждый. И, хотя пятачок, отведенный для жизни, не превышал пяти квадратных метров, ни одному из четырех и в голову не могло прийти, что его сосед чем-то может быть недоволен. Железное слово «надо» пронизывало все, в том числе и наши взаимоотношения.

Не помню кто, но кто-то из великих однажды сказал: свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого. Нам это изречение не подходило. Мы великолепно понимали: государству наша работа обходится чрезвычайно дорого, к тому же было еще одно, чрезвычайно важное обстоятельство — престиж страны. Отдавали мы себе и достаточно ясный отчет в той степени риска, которой подвергались по ходу дрейфа. Все это требовало от всех четверых безупречной работы, организованности и очень добрых товарищеских отношений. Хочешь — не хочешь, но совмещаться было просто

необходимо. Мы были одновременно и первопроходцами (звучит красиво!) и подопытными кроликами (ничего худого не вижу в этом и по сей день!). Мы понимали, что и в том и в другом случае не имеем права ударить в грязь лицом. Это и предопределяло наши взаимоотношения.

\* \* \*

Подняв столь важный вопрос, как приработка четырех разных характеров, я должен представить читателю своих товарищей. Дело нелегкое, ведь говорить придется о людях, которых сегодня знают во всех странах мира.

Начальник экспедиции И. Д. Папанин. Начну с того, что начальник в Арктике не профессия, тем более что подчиненные подобрались такие, которых ни проверять, ни понукать не приходилось. Иван Дмитриевич — прирожденный великолепный организатор. И работа слесарем на севастопольском заводе, и служба на флоте, куда он попал в 1915 году, научили его той разной разности, которая никогда и никому лишней не бывает, а на зимовке просто становится предметом острой необходимости. Короче — Иван Дмитриевич был мастер на все руки.

Мы, естественно, рассказывали друг другу о себе. Не скупился на такие рассказы и Папанин. Мы слышали, как с первых же дней революции он отдал себя в распоряжение Советской власти. Это были бурные, очень суровые годы его жизни: и тайные походы через тылы белых, и служба в бригаде бронепоездов, и бурные годы гражданской войны.

Когда в 1931 году я впервые познакомился с Папаниным (после посадки цеппелина ЛЦ-127 в бухте Тихой), Иван Дмитриевич, как уже упоминалось, прибыл туда на «Малыгине», где в угоду филателистам всего мира специальное почтовое отделение ставило на конверты гашения, столь дорогие сердцу каждого любителя почтовых марок. Папанин, работник Наркомпочтеля (Министерство связи еще просто не успело родиться) заведовал этим отделением.

К тому времени Иван Дмитриевич стал в Арктике человеком известным. Я знал, что по заданию того же Наркомпочтеля он строил

первую радиостанцию на Алданских золотых приисках и организовал охрану этой радиостанции. Организовал блестяще. Когда в один прекрасный день на нее налетела группа головорезов, Папанин, имея всего десять человек, дал налетчикам сокрушительный отпор.

Постепенно об Иване Дмитриевиче в Арктике стали складываться легенды. Большая часть этих легенд относилась к его хозяйственности и пробивной силе. Небольшого роста, расположенный к полноте, но удивительно быстрый и ловкий в движениях, он действовал всегда с какой-то неповторимой стремительностью, с каким-то редким талантом мгновенно превратить собеседника, подчас даже случайного, в своего союзника и помощника.

Я еще не видел человека, который, глядя на Папанина, умеющего показать пример, сумел бы устоять против знаменитых папанинских слов:

— Братки, надо помочь!

Папанин был самым старшим в нашей четверке — при высадке на полюс ему исполнилось уже сорок три года, а нынешний академик Евгений Константинович Федоров, тогда еще просто Женя — самым младшим — ему было лишь двадцать семь. Однако, несмотря на столь юный возраст, Женя, испытанный полярник. Зимовать он начал сразу же после окончания Ленинградского университета. Его первой зимовкой в 1932–1933 годах стала бухта Тихая, где Папанин был начальником. Потом, снова вместе, они зимовали на мысе Челюскина.

Пожалуй, наиболее характерная черта Жени Федорова, которая произвела на меня впечатление, — его удивительная работоспособность. В нашем содружестве он был, прежде всего, астрономом, изучал проблемы земного магнетизма, а когда после полярной ночи появилось солнце, занимался еще и актинометрией. К этому надо добавить, что Женя был еще нашим основным метеорологом, запасным радистом и рядовым крутильщиком лебедки. На все у него хватало времени и сил. Это удивительно работающий, способный, хорошо организованный человек.

Сейчас академик Е. К. Федоров руководит метеорологической службой Советского Союза. Но так же, как и тридцать лет назад, Евгений Константинович прост, приветлив, так же работоспособен.

Из всей четверки после самого себя лучше всех я знал Петра Петровича Ширшова. Полярные приключения как-то очень сближают,

а с Петром Петровичем мы бедовали дважды. Один раз на «Сибирякове», второй — на «Челюскине». Закончив вуз, молодой гидробиолог изучал водоросли в родном Днепре, потом на маленьком боте плавал у скал Новой Земли, исследуя кормовую базу промысловой рыбы. В Арктике шире разворачивается человек и ученый, ему приходится крепить концы, смело вести суденышко в шторм, быть таким человеком, на которого товарищи в трудную минуту могут положиться. И Ширшову по душе было стать полярником. В Челюскинском лагере он — первый бригадир и прораб аэродромных работ.

Трогательным и симпатичным существом был и пятый член нашего коллектива — черный пес по кличке Веселый. Он был действительно веселым, добрым, хотя и вороватым, что огорчало нашего рачительного начальника.

Конечно, люди мы все были очень разные. Пожалуй, наиболее шумные — мы с Папаниным. Быть может, это и способствовало тому, что временами между нами возникали легкие разногласия, которые и Федоров и Ширшов амортизировали молниеносно, пуская в ход елей умиротворения. Но не эти разногласия — главное в наших отношениях. Напротив, в них властвовала забота друг о друге.

Когда, в связи с перелетами через полюс или по каким-либо другим не менее важным причинам, мне приходилось помногу часов сидеть за приемником, Папанин трогательно варил черный кофе и приносил прямо на радиостол мою обеденную порцию. Главным ночным сторожем был я, потому что последнее метео надо было передать в полночь, а первое — в шесть утра, и потому спать приходилось в рассрочку. Хорошо потрудившись ночью, я отсыпался днем, Папанин заботливо укрывал меня, чтобы я не замерз.

\* \* \*

Среди наших повседневных дел встречались и просто скучные, но делать приходилось любую работу, в том числе и надоедливую. Чтобы наши молодые ученые Ширшов и Федоров смогли всецело отдавать свое время науке, мы с Папаниным стали самыми северными



домашними хозяйками земного шара. Две недели в кухне хозяйничал он, а две недели — я.

Правда, многое в наших кухонных делах приведет в ужас представительниц лучшей половины рода человеческого. Однако, рассказывая обо всем этом, прошу снисхождения и скидки на условия производства, значительно уступавшие кухне и столовой современной отдельной квартиры. Прежде всего, мы не мыли посуды. Но не потому, что были грязнулями. Напротив, вымыли бы с радостью, но лимитировала вода. Как я уже отмечал, расход топлива на приготовление пресной воды, кроме питья и готовки, представлял для нас непозволительную роскошь.

Проблему мытья посуды удалось разрешить гениально просто. Вместо того чтобы мыть наши сервизы, то есть алюминиевые плошки, мы на каждой из них ножом выцарапали фамилию собственника, чтобы не путать. Задача борьбы с грязью была исчерпана. Каждый ел из своей персональной плошки. В нее наливался суп, накладывалась каша, затем следовал компот. Поев, мы выставляли все эти миски на мороз, а перед следующей едой каждый брал собственную посудину и ударом об лед выбивал из нее остатки еды.

Хотя все четверо имели полярный опыт, но быт на дрейфующей станции все же оказался для нас во многом необычным. Пришлось привыкать, постепенно втягиваясь в его ритм. Весна, от которой мы старательно удирали, чтобы долететь до цели, догнала нас здесь, на полюсе. За весной пришло и полярное лето. Солнце, не заходящее ни днем, ни ночью, превратило в кружево снеговые стены нашей кухни, а радиорубка приобрела сходство со знаменитой падающей Пизанской башней.

Жизнь на льдине была ключом. Полярный день немало способствовал тому, что мы просто не замечали бега времени. Солнце одинаково и утомительно светило круглые сутки. Руководствоваться приходилось другими приметами — в шесть часов утра обязательное метео открывало рабочий день, зверский аппетит и усталость свидетельствовали о его конце. Послав в полночь последнее метео, ложились спать, чтобы через шесть часов снова начать свой трудовой цикл.

Особенность зимовки на льдине — повышенная бдительность, куда большая, чем в тех случаях, когда зимуешь на берегу. Ежедневно

мы обходили все три наши базы с продуктами и снаряжением.

Проблема продовольствия приносила нам ощутимые сюрпризы.

Первый урон мы потерпели, когда сдались изготовленные еще в Москве сто пятьдесят килограммов пельменей. Уже в Холмогорах стало ясно — их надо выбросить. Заменяли телячьей и свиной тушами. Затем, едва мы долетели до полюса, прокисли пятьдесят килограммов ромштексов. Попытка их съесть вызвала дружный протест всей четверки. Душа и желудок не принимали. Экономный Папанин был вынужден пойти навстречу пожеланиям трудящихся, и порционная пища — а во всех приличных ресторанах ромштекс идет по этой высокой категории — была передана в пользу Веселого. Ромштексы воняли отменно. Веселый хватал ромштекс зубами и долго размахивал им перед тем, как съесть. Умная собака сообразила, что такую пищу перед употреблением необходимо проветривать.

Стремясь уберечь телятину и свинину, взятые в Холмогорах, Папанин выдолбил в торосе «ледник» для мяса. В других условиях этого оказалось бы вполне достаточно. Но на полюсе, с высокой, круглосуточной солнечной радиацией, папанинский ледник подкачал. Под воздействием солнечных лучей, проникавших сквозь стены холодильника, мясо нагрелось. Очень скоро наши мясные запасы перешли в ту же категорию собачьего корма.

Не следует думать, что мы купались без конца в солнечных лучах. Летняя погода на полюсе была достаточно изменчивой. Временами солнце уходило за облака, по палатке барабанил дождь, и все содрогалось под порывами жестокого норд-оста. Нет, погода далеко не всегда благоволила к нам. Иногда мы часами пребывали под проливным дождем. Над нами раскрывались шлюзы пресной воды, под нами четырехкилометровая толща соленой. Мы посередине. Плохая погода приносила свои дополнительные проблемы, в том числе и такую, как сушку одежды и обуви.

И все же, независимо от погоды, научные работы продолжались нормально — каждый день.

Помимо промеров глубин и температур, Петр Петрович время от времени опускал (слава богу, не на четыре километра, а помельче) планктонную сетку. Обычно она приходила с уловом. Сеть безапелляционно доказывала, что и на полюсе есть жизнь. Вытаскивая из нее всякую мелочь, Ширшов сыпал латинскими названиями, а мы

почтительно внимали, сделав лишь один бесспорный для себя вывод: длина латинского названия любой твари, попавшей в руки Ширшова, обратно пропорциональна ее величине. Для простоты мы окрестили Петин улов морскими блохами.

Иногда наука и быт проходили в нежелательное соприкосновение. Бурное таяние снега продолжалось. Льдина покрылась озерами, потекли ручейки. Одни из них, шириной метра в полтора и глубиной в полметра, протекал прямо перед входом в нашу палатку. Через ручей перекинули доску, которую торжественно назвали мостом, а чтобы нас не залило, Папанин прорубил водоотводную канавку. Канавка Папанина вела прямехонько в гидрологическую прорубь Ширшова. Наша кухня получила шикарный водопровод. Пресной воды — хоть залейся! Зачерпнули и, пожалуйста, хочешь — кипятить чай, хочешь — мой посуду, хочешь — умывайся.

Водопровод действовал так хорошо, что я попытался приспособить его для мытья посуды. Ничего не вышло — Ширшов взбунтовался:

— Грязная посуда и чистая наука несовместимы!

Пришлось согласиться. В самом деле, нехорошо, если в приборы попадут остатки борща, а в списке выловленных из океана существ появится неведомое ученым — «макарона вульгарис».

\* \* \*

В многочисленных хлопотах первые две недели не прошли, а пролетели. И вдруг важное задание: обслуживать перелет экипажа Валерия Павловича Чкалова в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс. 18 июня 1936 года в 4 часа 5 минут В. П. Чкалов, Г. В. Байдуков, А. В. Беляков вылетели из Москвы.

Каждые два часа мы аккуратно передавали метеорологическую сводку, с величайшим нетерпением ожидая Чкалова и его друзей. Уж очень хотелось всем нам получить из Москвы посылку. В самом деле: ну что им стоит, ведь это так просто, пролететь над нами и сбросить письма от родных, газеты и четыре литра спирта. В общем, мы ждали эту воздушную посылку.

Хочу оговориться сразу: доставить спирт мы попросили Валерия Павловича не от чрезмерного желания утолить жажду. В этом смысле вели мы себя в высшей степени умеренно. Причина заключалась в том, что на острове, перед вылетом на полюс, четыре бидона со спиртом куда-то испарились, а обнаружили мы это исчезновение уже на полюсе, после того как самолеты улетели обратно. Мы очень расстроились. Спирт был необходим Ширшову для консервации тех многочисленных морских блох, которых время от времени он аккуратно вылавливал из океанских пучин. Среди них попадались совершенно уникальные экземпляры, и наука никогда не простила бы Петру Петровичу, если бы он не законсервировал их за недостатком спирта.

Отлично выспавшись, я начал свое бессменное наблюдение за самолетом Чкалова. Его было хорошо слышно. Наблюдение я вел непрерывно и все, что принимал, тотчас же передавал на остров.

В каждом деле должен быть, ко всему прочему, еще и элемент счастья. Нет, в тот день оно нам не улыбнулось. Погода была омерзительная. Морозящий туман, такой плотности, что в трех шагах человека не видно, мокрый снегопад и низкая сплошная облачность. Температура — полградуса тепла. Все сыро. Утром в 5 часов 50 минут Папанин вдруг сказал: — Ребята, мотор!

Признаться, мы с Женей решили, что шумит ветер, но на всякий случай все же вышли наружу. Оказалось, Папанин прав. Шум мотора чкаловского самолета слышен совершенно отчетливо, но между нами и Чкаловым была невероятная толща облаков. Мокрые, по колено в раскисшем снегу, стояли мы, произнося всякие слова, в этом беспросветном сыром месиве. Письма, газеты, спирт — все пролетело над нами и двигалось теперь дальше в Америку.

Постепенно гул мотора, удаляясь на север, замолк, а мы, мысленно пожав руки героям (прямой связи с самолетом не было), — пожелали им счастливого пути.

Для меня такая встреча с Чкаловым была второй. Второй раз, находясь в Арктике, я обслуживал чкаловский экипаж метеорологической информацией. За год до randevu над полюсом, находясь на острове Домашнем, как уже говорилось, я тоже посылал им свое метео, когда они летели на остров Удд, ставший после этого островом Чкалова. Более коротко я познакомился с Валерием

Павловичем позднее, почти через год, когда мы вернулись с полюса. Мы подружились и часто встречались в маленьком подвальчике в Старопименовском переулке, где под руководством Б. М. Филиппова зарождался нынешний Дом работников искусств (ЦДРИ), а также во Всероссийском театральном обществе на улице Горького.

Наши встречи обычно происходили после работы, в 10–11 часов вечера. И актеры, и работники искусств встречали нас в высшей степени гостеприимно и приветливо. У них было всегда уютно, а потому мы с Чкаловым любили эти встречи, чувствуя себя и в ЦДРИ и ВТО как дома. Было у нас с Валерием Павловичем излюбленное развлечение — мы заходили на кухню, к поварам, и только после такого визита выходили уже в общий зал, где продолжали трапезу за столами, покрытыми белоснежными скатертями и с накрахмаленными салфетками.

Я научил поваров, а заодно с ними и Валерия Павловича, готовить беф-мосолов, редкое кушанье, не описанное даже в таком классическом кулинарном сочинения, как поваренная книга Елены Молоховец. Чтобы приготовить беф-мосолов, берется кусок хорошего мяса и бросается на раскаленную плиту. Никакого масла, никаких сковородок, мясо основательно солится, перчится и надо только следить за тем, чтобы оно не подгорело. После хорошей рюмки водки это раскаленное наперченное мясо производит сильное впечатление.

Но тогда, на полюсе, я меньше всего предполагал, что год спустя мы с Чкаловым будем предаваться подобным развлечениям. Тогда мы оба находились на работе: он летел в Америку, я дрейфовал на ледяном поле к берегам Гренландии.

Наша жизнь отнюдь не такая уж тихая и безмятежная, как можно было бы предположить: плывут, мол, себе потихоньку, согреваясь на не заходящем круглые сутки солнце. Нет, все выглядело иначе...

Пожалуй, не всякий за свою жизнь переменил столько квартир, столько я за один лишь месяц жизни на полюсе. Сначала зеленая палатка, в которой просто негде вытянуть ноги. Затем недолгая жизнь в снежном радиодоме. С трудолюбием, достойным лучшего применения, солнце упорно разрушало эту великолепную постройку. По льдине, весело журча, побежали ручейки. Просачиваясь под снег, они, словно сговорившись, бежали почему-то в мой дом. Я пытался спастись, подставлял под ноги ящик. Хотелось верить, что вот-вот

похолодает, все подмерзнет и сооружение окрепнет, но получилось наоборот.

Теплая погода держалась более чем устойчиво, подвальный этаж радиодома продолжал наполняться водой. Вскоре на том месте, где я работал, образовался полноводный бассейн. Вода прибывала, и я вынужден был переехать на третью квартиру — в нашу, жилую палатку.

Я попал в рай. Тепло и сухо. Лежат оленьи шкуры, аппаратура стоит на столике и через иллюминатор видно, как падает снег. Просто блаженство!

Переезд в палатку совпал с усовершенствованием, организованным Н. Н. Стромиловым. Провозившись несколько дней, остров организовал нам радиотелефонную связь. Я включил громкоговоритель, и целый час мы наслаждались, слушая «литературную передачу». Нам читали газеты за первые дни июня. Пожалуй, только в этот момент мы по-настоящему поняли, какой отклик не только в Советском Союзе, но и во всем мире вызвала наша экспедиция. Мы просто поразились, узнав, сколько места уделяли нам газеты.

Установление нашей радиотелефонной связи трудно отнести к крупным завоеваниям техники, но удовольствие мы получили громадное. Нам обещают читать полученные с ледокола «Садко» газеты, пока хватит материала.

Однажды мы получили молнию: в ближайшие дни через полюс в Америку полетят М. М. Громов, С. А. Данилин, А. Б. Юмашев. Евгений Федоров назначен спортивным комиссаром Центрального аэроклуба СССР. Конечно, столь высокое назначение вызывало у нас прилив почтения к нашему Жене. Раньше будил его просто: — Женя, вставай! Теперь:

— Товарищ спортивный комиссар, разрешите толкнуть вас в ваш многоуважаемый бок!

Комиссар вставал так же неохотно, как и бывший Женя.

12 июля весь утренний выпуск московского радио посвящен вылету Михаила Михайловича Громова. С этим сообщением вновь возрождается надежда на письма, газеты и посылку со спиртом. На этот раз Папанин решил готовиться к встрече активно. Он развел в бидоне краску, и трое пошли рисовать на ледяном поле два ядовито-

желтых круга. Каждый — диаметром по 150 метров. Круги рисовались для того, чтобы летчикам было легче найти место лагеря, так как среди трещин, разводьев и торосов разглядеть палатки, особенно в пасмурную погоду, очень трудно.

Техника рисования такова: бидон с краской ставился на нарты. Ширшов и Федоров выступали в роли тягловой силы. Папанин, макая веник в краску, делал движения, которыми хозяйки обычно сбрызгивают пол в жаркие летние дни. Малевали этот круг долго и упорно. Тащить нарты было тяжело. «Лошади» и крепыльщик с веником время от времени менялись местами. Краской перемазались все трое. После окончания живописных работ художники прилегли поспать, а я, как приклеенный, дежурил у радиоаппаратуры. Остров сообщил, что в 22 часа над станцией слышался шум мотора. Пытаюсь следить за самолетом, но это трудно. Данилин не придерживается расписания, является, когда ему удобнее, и передачи его длятся одну-две минуты. Живописцы проснулись. Часы свидетельствуют, что самолет должен быть скоро в наших краях. Так хочется, чтобы летчики сбросили нам груз!

В 02 часа 05 минут с оглушительной громкостью врываются сигналы самолета:

«Привет завоевателям Арктики — Папанину, Кренкелю, Ширшову, Федорову. Экипаж самолета 0-25 Громов, Данилин, Юмашев».

Ответил на условленной волне: «Взаимный привет советским орлам!» И снова тишина. Теперь уже ясно, что до встречи остаются считанные минуты.

Федоров приготовил форму акта. Акт надо передать в Москву. Оттуда этот документ, заверяющий прохождение самолета над полюсом, отправится в Международную авиационную федерацию. Я у приемника, остальные трое вышли из палатки, слушают, наблюдают.

Погода на этот раз благоприятствовала — облачность высокая, так что можно пройти под облаками. Томительно и долго ждем, но ничего нет. Четыре человека, измазанные канареечной краской, наконец, опускают головы: больше уже ждать нечего. По сведениям, которые я почерпнул в эфире, ясно: самолет прошел к полюсу по меридиану острова, а мы находимся значительно западнее.

15 июля наше поле, вроде бы, оделенное природой неслыханной прочностью, вдруг показало, что лед — это совсем не твердая земля. На южной окраине поля возникло первое серьезное сжатие, местами породившее шестиметровые торосы. Восприняли это мы довольно спокойно.

Привыкнуть к неожиданностям и уметь оказывать им сопротивление, хотя масштабы льдины и силы четырех человек выглядели несоизмеримыми, стало нашей обязанностью. Но сил эта обязанность требовала много. И океан, и солнце непрерывно подбрасывали нам работу.

Огромные голубые озера объективно очень красивы, но если из этих озер приходится извлекать десятки бидонов, весом по тридцать килограммов каждый, да делать к тому же эту работу не в слишком высоких сапогах, то тут уж на красоту природы внимания не обращаешь. Каждый бидон продовольствия, каждый бурдюк с керосином бесчисленное число раз прошел через наши руки. Это дополнительная нагрузка крайне утомительна, тем более что ход научных работ изменить нельзя. Мы движемся, и по пути дрейфа необходимо равномерно наносить глубины, делать суточные серии магнитных, гравитационных и других наблюдений.

Несмотря на трудности, работали мы в полном соответствии с нашими планами. Вот только читать почти не приходится, и не потому, что, не было книг — нет, не было времени. Его не хватало даже для сна.

Уловы у Петра Петровича получались отменные. Число «морских блох», поднятых им из пучины морской, возрастало с каждым днем, но... столь же стремительно убывали запасы спирта. Впоследствии, когда мы вернулись в Москву и корреспонденты задали свой классический вопрос: «Что вы считаете самым героическим во время дрейфа?» — Я, не задумываясь, отвечал, что добычу спирта для консервации трофеев нашего Пети.

Упомянув о героическом поступке, считаю своим долгом описать его. Когда были исчерпаны все скудные запасы спирта, мы занялись обсуждением способа добычи этого необходимого науке продукта. Отсутствие спирта ставило под угрозу нормальный ход научных работ,



а этого мы допустить не могли. Как всегда, личное отступило перед общественным. Нарушив государственную монополию, мы соорудили маленький самогонный аппарат и, за отсутствием подходящего сырья, стали перегонять спирт из коньяка.

Как большинство самогонщиков, Петр Петрович начал свое черное дело ночью. Смотреть спокойно на такое варварство было не по силам, и я отворачивался. Ужасно хотелось дать корреспонденцию в газету под высоконравственным названием: «Высшая форма самоотречения на полюсе, или перегонка коньяка на спирт во имя сохранения морских блох для мировой науки». Однако, не уповав на то, что редакторы бросятся предоставлять газетные поля для такого рода корреспонденции, я ее так и не написал.

Результаты перегонки оказались удовлетворительными. Соотношение один к двум. Из литра коньяка — поллитра спирта. За утренним завтраком дегустировали продукцию спиртзавода имени Ширшова. Члены комиссии выпили по рюмочке, закусили луковицей, салом и сухарями. Эх, красота, какая! Прямо по жилкам побежало. Сразу согрелось! И, удовлетворенная дегустацией, комиссия дала работе Ширшова в области винокурения положительную оценку. Отсутствие поблизости милиции позволяло безнаказанно продолжать начатое дело до накопления надлежащих запасов спирта.

В том крохотном мирке, который ограничивался нашей льдиной, все, что выходило за рамки ежедневной работы, становилось событием. Работы было много, делали ее мы добросовестно, но зато время от времени баловали себя небольшими праздниками. Опишу один из таких радостных дней — день двухмесячного пребывания на льдине.

Погода в этот день стояла чудесная. Хорошая видимость, слабый ветерок и почти полное отсутствие дрейфа.

Утром наготовили побольше горячей воды, побрились, капитально помылись. Затем Федоров побрил мне голову — процесс, потребовавший концентрации силы воли, так как слезы текли в три ручья. Бритвой, которой орудовал мой цирюльник, в июле на экваторе масло бы резать, а не голову брить. Ничего не попишешь: как говорят французы, хочешь быть красивым — надо страдать.

Потом, помытый и побритый, готовил обед, а вечером — последняя серия удовольствий этого великолепного праздничного дня:

сменили белье, которое не снимали два месяца. Вечером курили сигареты «Тройка» и «Кавказ», устроили концерт, прокрутив весь комплект имевшихся в нашем распоряжении граммофонных пластинок, и слушали очередную «литературную передачу» с острова.

Так же как маленькие радости доставляли большое удовольствие, так и небольшие огорчения подчас выглядели угрожающими. Прожив два с небольшим месяца на льдине, мы столкнулись с крупной по нашим масштабам неприятностью — начали выходить из строя чересчур нежные бесшумные горелки заграничных примусов. Починить их — ни малейшей возможности. Единственная надежда — два честных советских примуса с двумя запасными горелками, подаренные нам летчиками.

Советские горелки оказались прочнее, но и они начали бастовать, а это грозило уже форменной катастрофой. Горелки забились, и мы рисковали тем, что единственным источником света и тепла окажется керосиновая лампа. Вот нелепость! Горючего много, а жечь его негде. Мысль о том, что придется воду и пищу греть на керосиновой лампе, устраивать отопление на фитилях, не казалась никому из нас привлекательной. Вот когда пригодился мой опыт, как прожигать примусные горелки, возвращая их в строй. В маленькой мастерской на Солянке я прошел совсем не плохую практику...

Сначала из моих ремонтных ничего не получилось. Второй примус и маленькая паяльная лампа, которыми я пользовался, как орудиями производства, оказались слишком слабенькими. Нагар, накопившийся в примусной головке, не желал отлетать. И тогда я достал большую паяльную лампу...

О, это была машина! Зверь с бензобаком на полведра. Тигр, лев! Лампа горела так, что рядом с ней было страшно сидеть, и ревела, заглушая человеческий голос. В кухонной палатке сразу стало так жарко, что я вспотел, скинув даже фуфайку. На шум в одном белье прибежал Папанин. Вместе с ним торжествовали победу. Лампа-зверь сделала свое дело. Горелки прожжены. Примуса будут работать, а лампа сдала экзамен на то, чтобы в надвигающуюся полярную зиму работать вкупе с примусами на растопке снега.

А Москва тем временем жила своей привычной жизнью. Пижоны блистали белыми брюками из рогожки и парусиновыми туфлями, начищенными до снежной белизны зубным порошком. По только что

выстроенному каналу Москва-Волга ходили пароходы, в том числе и «Радист Кренкель», торжественно поименованный так, вероятно, для повышения моей моральной стойкости.

На киностудии документальных фильмов заканчивался монтаж картины об экспедиции на Северный полюс. В Партиздате экспрессом шел сборник «Северный полюс завоеван большевиками», который и по сей день покоится в моем книжном шкафу. На Страстной площади, по случаю столетия гибели поэта недавно переименованной в Пушкинскую, под гулками ударами чугунных баб рассыпались стены Страстного монастыря.

Вся эта пестрая московская панорама возникала перед глазами, когда я читал адресованную нам радиограмму корреспондента «Правды» Лазаря Бронтмана. Его репортаж в девяносто два слова был насыщен информацией и дружескими пожеланиями.

«За вами следит вся страна, — писал Бронтман, — люди переживают лужи, сжатия и дрейф. Пишите больше, пусть Петя и Женя пишут о научных результатах, а то тут уже появились знатоки».

Конечно, это было правильное пожелание. Наши молодые ученые были верны правилам и традициям, из поколения в поколение передававшимся в мире науки. Скрупулезно накапливая факты, Ширшов и Федоров исследовали их с тем, чтобы через несколько лет написать солидные фолианты — точные, проверенные, размеренные, взвешенные.

Спорить трудно — такая работа необходима. Однако никто из нас четверых не имел права пренебрегать еще одним весьма немаловажным соображением. Мы не забывали и о политической стороне нашей миссии. Уж, коль скоро советские полярники первыми оседлали полюс, то, как же не отчитаться на страницах газет о своей работе. Вот почему, не боясь обвинений в упрощенчестве, Ширшов и Федоров должны были просто и популярно рассказывать о первых научных результатах нашего дрейфа. К тому же мы не имели гарантий, что обязательно вернемся на Большую землю, а потому изо всех сил старались передать максимум информации.

Однако, договорившись обо всем этом, мы не сумели сразу же включиться в исполнение намеченной программы. Давно не дул ветер. Аккумуляторы не заряжались. Пока пришлось воздержаться от

посылки частных и корреспондентских радиogramм. Отправлял я на материк только метеo.

\* \* \*

А солнце тем временем щедро бросало на льдину свои лучи, что не осталось без последствий. Любая бумажка, самая маленькая щепочка, упавшая на лед, глубоко, сантиметров на 20 втаивала в него. Валялась около палатки обертка от плитки шоколада — теперь на этом месте глубокая дыра, куда и ногу можно засунуть. Особенно красиво втаивали в лед бечевки. Получались группы столбиков, толщина и форма которых в точности соответствовала петлям брошенного вервья.

В связи с летом и занятия у нас были летние. Ходили в одних фуфайках (по местной погоде ситуация не из частых). Ширшов спустил в большую лужу байдарку, Папанин, в ту же лужу, — надувной резиновый клиппербот. Корабли пошли по внутренним морям и озерам нашей льдины, взяв курс на базы. Обследование мореходами этих баз показало, что они высятся буквально на островах.

Лето немало способствовало расширению наших представлений о жизни на полюсе. Кроме мириадов «морских блох», вылавливаемых аккуратным Ширшовым, помимо птиц, нет-нет да залетающих в эти края, заявили о себе и более серьезные звери.

Ночью первого августа наш Веселый вдруг поднял неистовый лай. Пес буквально захлебывался от злости, и не реагировать на это было просто неприлично. Выйдя из палатки, я увидел, что у клиппербота, рядом с нашей северной базой, спокойно ходит медведица с двумя медвежатами. Топчутся на месте, обнюхивают базу, к нападению не переходят.

Северные медведи любопытны. Их не мог не заинтересовать вертящийся ветряк.

Всунув голову в палатку, я кинул охотничий клич:

— Медведи!

Схватил винтовку. Медведи стали уходить. В такой ситуации, не ожидая, когда мне составят компанию товарищи, я принялся стрелять.

Расстояние большое. Медведи бежали галопом, их подпрыгивающие зады при всем желании нельзя было отнести к хорошим мишеням.

Снайпер я неважный. Выскочили Папанин и Ширшов. Они помчались за медвежьим семейством. Погоня продолжалась, как в приключенческом кинофильме. Иногда медведи останавливались и, обернувшись, разглядывали нас. Расстояние было большим, стрелять с него просто бесполезно, и мы продолжали мчаться, не разбирая дороги. Мы бежали даже через встречавшиеся на пути озера, вздымая при этом тучи брызг. Бесполезно! Постепенно медведи словно растворились в тумане и исчезли между торосами. За бесперспективностью преследование пришлось прекратить.

Возвращались домой разгоряченные и огорченные. Мне не повезло: поскользнувшись на середине ледяного озера, я окунулся в ледяную воду и зачерпнул полные сапоги воды. Выбравшись на берег, я решил вылить воду из сапог самым примитивным способом — лег на спину и задрал ноги кверху. Результат заявил о себе мгновенно: ледяная вода хлынула в штаны, и стало очень неприятно.

Появление медведей — большая сенсация не только для нас. Их визит заинтересовал и ученый мир. Ведь если медведи гуляют по полюсу, значит, они находят себе там пищу. При хорошей погоде Папанин и Ширшов, погрузив на нарту резиновую байдарку, отправились обследовать границы нашей льдины. Трещину развело в широкую полынью местами до семидесяти метров. Темная вода, крутые торосистые берега выглядели так красиво, что я вооружился киноаппаратом. Однако на самом интересном месте аппарат, как положено, заело. А стоило ему забастовать, как из полыньи вынырнул зверь — морской заяц. Вот и круговорот жизни на полюсе: заяц ест «морских блох», медведь ищет зайца. Мы же, случайные живые существа в этих местах, готовы подстрелить и того и другого.

Выстрел Папанина оказался метким, но извлечь убитого зверя мы не смогли. Течением его утащило под лед.

\* \* \*

12 августа 1937 года был дан старт последнему из трех трансполярных беспосадочных перелетов. В 18 часов 15 минут с

аэродрома под Москвой взлетел Н-209, тяжелый воздушный корабль конструкции В. Ф. Болховитинова. На Н-209 летели С. А. Леваневский, Н. Г. Кастанаев, В. И. Левченко, Н. Я. Галковский, Н. Н. Годовиков, Г. Т. Побежимов.

Самолет погиб. Ни один из шестерых членов экипажа не вернулся из Арктики. Произошла трагедия, обстоятельства которой и по сей день — неразгаданная тайна.

Так уж видно бывает во все времена и у всех народов — о победителях говорят и вспоминают куда чаще, чем о побежденных. И хотя Леваневский был летчик выдающийся, вспоминают о нем не часто, гораздо реже, чем он того заслуживает. Вот почему мне хочется восполнить этот пробел.

В трудной и рискованной летной службе, кроме отличных физических данных, знания техники, профессиональных навыков, обуславливающих потолок возможностей летчика, есть еще один фактор. О нем упоминают даже в солидных сочинениях по авиации и называют его элементом счастья. Да, в дополнение к воле, таланту, мастерству надо, чтобы еще чуть-чуть повезло, а вот этим-то Леваневский похвастать не мог. Он был невезуч.

В августе 1935 года Леваневский первый раз попытался перелететь через Северный полюс. Вместе с Г. В. Байдуковым и В. И. Левченко он вылетел на самолете АНТ-25 из Москвы в Сан-Франциско. Однако невезение не замедлило напомнить о себе: в полете стало выбивать масло, и пришлось вернуться обратно.

Наша дружба с Леваневским началась в 1934 году после спасения челюскинцев, и отношения сложились на редкость хорошие, хотя мы были совершенно разными людьми. Леваневский собран, замкнут, немногословен, серьезен, подтянут. Одним словом, я видел в нем свою полную противоположность. Впрочем, может быть, именно это нас и сблизило. Противоположные натуры и характеры обычно быстро и хорошо сходятся.

Мы были с Сигизмундом почти ровесники (он на год старше меня), подружились и наши жены. Короче: очень скоро установилась хорошая семейная дружба. Мы приезжали к Леваневским, они жили около зоологического сада, а Леваневские бывали у нас. Однажды Леваневский сказал:

— Слушай! Это дело секретное, и распространяться о нем не следует. Хочу лететь через Северный полюс в Америку. Свой план я изложил в письме на имя Сталина и теперь жду ответа.

Не скрою, сообщение друга произвело на меня впечатление. Я сообразил, что произойдет после ответа на его письмо.

— Скажи, Сигизмунд, а если дело состоится, кто будет у тебя радистом?

— Ну, о чем спрашиваешь! Конечно, радистом будешь ты. Это железно!

События не спешили развернуться. Я уехал на Северную Землю, откуда был снят для работы на дрейфующей станции СП-1. В феврале 1937 года, когда подготовка к полюсу была в самом разгаре, в два часа ночи раздался звонок. В одних подштанниках я побежал к двери. Звонок в такое время не сулил ничего хорошего.

— Кто там?

— Открой, это я, Сигизмунд!

— Что ты шляешься по ночам? Пугаешь добрых людей!

— Я из Кремля. Лично докладывал Сталину план перелета в Америку через полюс. Получил разрешение. Значит, летим?

Я невразумительно что-то ответил. То ли от звонка, то ли от разговоров проснулась моя жена и, просунув голову в дверь, испуганно спросила:

— Что случилось, кто пришел?

— Не волнуйся, Наташа, это Сигизмунд, да еще с интересными новостями.

Интересные новости требовали обсуждения. Между окнами, на холодке, нашлась недопитая поллитровка, лежал хвост селедки и огрызок огурца. Банкет начался незамедлительно. Выпив по рюмочке за успех предстоящего полета, перешли на чай. Леваневский изложил все подробности беседы со Сталиным и закончил словами:

— Ну, Эрнст, собирайся. Мы летим!

— Дорогой Сигизмунд, извини, но я с тобой не полечу!

— Но мы же договорились!

— Да, но меня уже утвердили в четверке на полюс. Менять это решение не в моей власти.

Тогда Леваневский решил действовать через жену.

— Слушай, Наташа, объясни своему дурню, что лететь со мной проще и быстрее. Экспедиция может разбиться при посадке о лед. В каком направлении их потянет дрейф, неизвестно. Они там передерутся, зарежут друг друга, сойдут с ума. Врача у них нет. Простой аппендицит или заворот кишок — и кончен роман! Затем, их просто могут не найти в Ледовитом океане. Одним словом, полтора года сплошных волнений. А тут сутки, максимум двое — и сверли дырку в пиджаке для Золотой Звезды.

— Знаешь, Сигизмунд, я в ваши мужские дела не хочу вмешиваться. Пусть Эрпст решает сам.

Пришлось мне выдвинуть наиболее убедительную аргументацию:

— Вот, Сигизмунд, ты умный человек. Представь себе, что в высокое учреждение приходит Кренкель, чтобы сказать — не хочу лететь с Папаниным на полюс, хочу с Леваневским в Америку. Ну, что бы ты ответил?

— Я бы погнал тебя поганой метлой, и ты бы не попал ни туда и ни сюда!

— Правильно. Золотые слова! И на эту тему говорить больше не стоит.

Леваневский замолчал. Мы посидели еще немного. Разговор пошел уже про другое. Около четырех часов утра Сигизмунд ушел домой. Провожая его, я вышел на лестничную клетку. Спустившись на один марш лестницы, Леваневский остановился на площадке, обернулся и спросил:

— Ну, как, летишь со мной или нет?

— Давай, давай, иди спать. Не лечу.

В ту ночь я видел его последний раз. Вся эта картина возникла перед глазами, когда в ночь на 13 августа я начал слушать Леваневского.

В 13 часов 45 минут поймал радио: «Пролетаем полюс. Достался он нам трудно. Начиная с середины Баренцева моря все время, мощная облачность высотой до 6000 метров. Температура минус 35. Стекла кабины покрыты изморозью. Встречный ветер...»

В 14 часов 32 минуты ряд станций принял телеграмму № 19. Леваневский сообщал, что крайний правый мотор вышел из строя в связи с повреждением маслопровода. Самолет вошел в сплошную облачность, и больше его никто не видел и не слышал.



Сорок часов я провел без сна, слушая Леваневского. Под конец я уже слушал стоя, чтобы не заснуть. От длительной работы с телефоном болят уши. Не знаю, выдержал ли я бы эту адскую нагрузку, если бы не черный кофе, который старательно варил мне Папанин.

Утром 14 августа Леваневского слушала уже вся Арктика. Помимо советских полярных станций, включились в дело и американские. Были мобилизованы все радиостанции, в том числе и военные и любительские.

Главсевморпуть запросил: возможна ли на нашей льдине посадка самолетов? Какие работы необходимо для этого проделать и в какой срок?

Постарались быстро осмотреть поле, нашли одно направление, возможное для посадки, и радиовали об этом в Москву. Вечером услышали сообщение Правительственной комиссии: ледокол «Красин» получил приказ забрать три самолета, идти с ними к мысу Барроу (Аляска), а оттуда по меридиану как можно дальше на север. Самолеты будут работать со льда, «Красин» станет их базой. На остров полетели Водопьянов, Молоков, Алексеев.

Поиски продолжались долго. Даже в октябре, когда в Арктике наступила полярная ночь, прибыли самолеты, специально оборудованные для ночных полетов. В начале октября Москва сообщила, что вторая летная экспедиция по спасению Леваневского приземлилась в Архангельске. Я воспринимал эти сообщения с повышенной остротой, так как среди пропавших был мой друг Сигизмунд Леваневский.

В условиях полярной ночи поиски оказались невероятно сложными. В экспедицию были включены лучшие полярные летчики — Бабушкин, Мошковокий, Водопьянов, Фарих, Пивенштейн. Вылетели они на самолетах, специально оборудованных для ночных полетов. Остров сообщил подробности полета Водопьянова. В темноте Михаил Васильевич поднял двадцатипятитонную машину. Без звезд и солнца, по маяку и компасу, он повел ее над льдами. Обстановка была тяжелой. И все же Водопьянов долетел до полюса. Тут наблюдением занялся весь экипаж. Все видели «много самолетов». При ближайшем рассмотрении «самолеты» оказывались обыкновенными трещинами.

О том, что произошло с Сигизмундом Александровичем и его экипажем, оставалось только догадываться. На самолете было шесть человек. Трое из них умели управляться с радиоаппаратурой. И аппаратура была с тройной тягой: рабочая радиостанция, запасная радиостанция и маленькая аварийная с ручным приводом.

Летчики полагают, что облачность была, вероятно, настолько низкой, что доходила до самого льда, переходя в туман. Леваневский, не видя льда, не мог совершить пусть тяжелую, пусть с аварией посадку. Скорее всего, самолет как шел, снижаясь, так и врезался в лед.

\* \* \*

А тем временем, пока происходили эти трагические события, льдина продолжала дрейф. Анализ дрейфа привел наших молодых ученых к небезынтересным выводам.

Федоров часто колдовал над двумя картами — пути дрейфа и пути ветров. Первое время обе кривые были геометрически подобны, породив предположение, что главный источник сил, движущих льдину, — ветер. Однако постепенно картина дрейфа стала приобретать иной характер. Чем дальше — тем больше новостей открывалось в его механике. Сведения, которые мы трудолюбиво накапливали изо дня в день, представляли для науки большой интерес.

Сентябрь принес нам перемены. На полюсе началась зима. Термометр стал показывать мороз, причем не только снаружи, но и на полу палатки. Мы приступили к переходу на зимние квартиры.

Кухонная палатка позволяла Ширшову вести его мокрые, холодные работы по гидрологии в условиях сравнительно удовлетворительных, но, уступив Пете, площадь кухонных уголков, пришлось временно разместить наше кулинарное хозяйство в совсем крохотной палатке. Когда наступало время обеда, а обедала наша четверка, как большинство обладателей отдельных квартир, в кухне, мы еле-еле в эту палатку втискивались.

С Папаниным мы занялись лепкой новой кухни, которая по нашему архитектурному проекту должна быть примкнута к жилой палатке. Ручей, протекавший у дома, в недалеком прошлом наш

водопровод, еще не замерз. Он стал нашим цементным заводом. Опалубка — две доски, поставленные на ребро. «Бетон» — смесь снега с водой, которую мы замешиваем тут же в проруби. Набил пространство между досками мокрым снегом — через час-два это звенящая ледяная стена. Передвинул доски выше — повторяй технологический этап.

Ледяные стены кухни по крепости не уступали блиндажам. Ледовое строительство нам понравилось, и, завершив его, мы готовились к тому, чтобы натянуть на нашу палатку оболочку из гагачьего пуха и объединить жилую часть с пищеблоком общей кровлей.

Погода благоприятствовала строительству. Стоял мороз, ярко светило солнце, и мы трудились, позволяя заснять наш труд оператору местной кинохроники Евгению Федорову, неугомонно шуршавшему рядом с нами кинокамерой.

Холод наступал медленно, но настойчиво. Мы неугомонно готовились к зиме. Еще недавно великанские размеры валенок, засунутых к тому же в глубочайшие калоши, казались нам смешным недоразумением. Нет, теперь уже никому не было смешно. Валяные гиганты завоевали полное признание. Ноги, одетые в меховые чулки, легко проходили в эти богатырские снаряды, обретая там долгожданное тепло.

На должной высоте оказались и другие детали нашего зимнего мехового туалета. Очень удобны рубашки из пыжика и штаны из нерпичьих шкур. Превосходны мешки из волчьих шкур, в которых мы спим. У волков мех не только густой и теплый, но еще и не сыреет.

Пол жилой палатки, в результате подготовки к зиме, тоже стал меховым. Мы устлали его шкурами оленей. После работы приятно посидеть или полежать на мягком плотном меху.

Каждая деталь имеет две стороны. Погода, способствовавшая строительству, совсем не способствовала накоплению энергии, необходимой радиостанции. Ветра не было. Ветряк бездействовал.

Перед отлетом на полюс проблему питания радиостанции продумали и разработали в трех вариантах. Ветряк, в общем, себя вполне оправдавший, бензиновый двигатель и собственные мышцы. Так как ветер дул не всегда, оставались два запасных варианта, в которых мышцы явно уступали бензину. Конечно, нам не улыбалось

крутить до седьмого пота привод динамо-машины. С нас хватало ширшовской лебедки. Вот почему еще в августе мы занялись приведением в порядок нашего бензинового движка.

Бензиновому двигателю на полюсе не повезло. В первые дни, когда на водопьяновском самолете вышла из строя радиостанция, мы гоняли наш движок зверски. Настолько зверски, что на одном из клапанов отвалилась головка от стержня. Поломка эта в высшей степени редкая, и в запасном комплекте клапанов не оказалось. Правда, бортмеханик К. Н. Сугробов нарезал резьбу на поврежденном клапане, и движок заработал, но мы понимали — такой ремонт не надолго.

В августе, когда мы стали упорядочивать наше энергетическое хозяйство, неприятное предположение подтвердилось. Движок проработал после запуска ровно десять минут, а потом остановился с шумом, наводившим на мысль, что в цилиндре не осталось ничего, кроме большой каши обломков.

После такой неприятности извлекли запасной двигатель, все подготовили к запуску, но запускать не стали. В нашем положении всегда полезно что-то оставить на черный день. Мы немножко боялись двигателя, а он — нас. Винтиков и деталей в нем так много, а нас только четверо.

На сентябрьском морозе мы колдуем над новым источником тока, осваиваем новую технику, заставившую меня вспомнить про «солдат-мотор». Наша динамо-машина имеет ручной и ножной привод. Поковырявшись, пришли к выводу, что лучше крутить руками. Педали для ног сняли, поставили ручки, и тут же, случайно, организовалась артель из четырех корреспондентов Северного полюса под вывеской «Личный труд». Все на самообслуживании. Сами пишем, сами крутим динамо, сами передаем. Пробным камнем явилась статья Папанина «Сто дней» — тысяча двести слов. Три двигателя непрерывно сменяли друг друга, и статья была передана по назначению.

После передачи всей артелью пили чай. «Двигатели» для возмещения истраченной влаги, радист — для согревания. Опыт признали удачным. Вывод сделали правильный: чем примитивнее техника, тем она надежнее.

Девятого сентября впервые зажгли керосиновую лампу. Теперь она будет гореть до февраля. Вакантную должность ламповщика

Северного полюса занял Папанин. Но подготовка к полярной ночи не исчерпывалась тем, что была зажжена лампа. Мы привели в порядок наши аварийные базы — надо быть готовыми ко всяким неприятностям. Затем мы обставили кухню. Перетащили в нее из маленькой палатки «мебель» и кухонную утварь. Пол застелили фанерой. В одном из углов Папанин вморозил несколько досок и устроил подобие слесарного верстака. Тут же весь инструмент. Повсюду полочки для кухонного хозяйства. Другой угол занят горючим и ламповым хозяйством, здесь висят все наши шесть фонарей «летучая мышь».

Когда натянули обе гагачьи покрышки на жилую палатку и покрыли весь «жилкорпус», получилась замечательная квартира. Имеется и электричество, правда не 127 вольт, а три вольта и только одна точка — лампочка карманного фонаря над моим радиостолом.

Освещение у нас керосиновое. А керосиновое — и светит и греет.

\* \* \*

А зима все ближе и ближе. К концу сентября солнце стало редким гостем. Женя со своими теодолитами и хронометрами все время на чеку. Для наблюдений выпадают какие-то считанные секунды, а наблюдения эти очень нужны — нам надо знать наши координаты.

Я, как бессменный ночной сторож, бодрствую до шести утра. Без десяти шесть бужу Федорова, и он идет на мороз на первые утренние метеонаблюдения. Женя выполняет эту работу быстро, и через несколько минут он снова в палатке. Книга с метеошифром предельно затрепана, хотя мы даже не тратим время, чтобы рассматривать в ней обозначения таких привычных явлений, как туман, снег, полная облачность. Мы просто помним их наизусть.

В шесть пятнадцать тоненьким голоском остров требует метео. Передав сводку, вступаю в частные разговоры со Строиловым, грубо нарушая все правила радиослужбы. Делюсь с Николаем Николаевичем всем, что услышал ночью. А пока я веду светские радиобеседы, Женя кипятит чай и жарит колбасу. Размачивая сухари, чтобы не разбудить хрустом Папанина, который, по его собственному выражению, спит как заяц, завтракаем.

После завтрака Федоров уходит в свой ледяной кабинет или же в жилой палатке, зарывшись в справочники, таблицы, карты, ведет вычисления. Что же касается меня, то после ночного дежурства я получаю право на сон. Блаженный момент: ныряю в спальный мешок.

У Папанина и Ширшова в этом смысле жизнь несколько легче. Жесткий график безотлагательных дел не хватает их за горло, и они могут понежиться в мешках. Но, как ни заманчива такая возможность, и Петр Петрович и Иван Дмитриевич не позволяют себе иметь какие-то преимущества передо мной и Женей. Ширшов придумал стимул: чтобы вставать без задержки, он повесил над головой плитку шоколада. Тот, кто его будит, одновременно пускает секундомер. Если график подъема нарушается, Петр Петрович теряет свою шоколадку.

Просыпаясь днем, даже не открыв глаз, слышу бурную деятельность Папанина. Сидеть без дела он просто не может. То гремит жечь, то визжит напильник, то гудит паяльная лампа, прожигая головки непрерывно засоряющихся примусов.

Ширшов, напротив, почти не слышен. Целые дни он пропадает в своей палатке над прорубью. И посиневшими от холода руками непрерывно возится с бесконечными баночками, химикалиями, ступками. Он накапливает интереснейшие материалы.

Темнота и холод как-то незаметно для нас самих уменьшили жизненное пространство. Переход на зимнюю квартиру изменил условия работы. После того как мы натянули гагачьи покрышки, мое рабочее место ощутимо потемнело. Пришлось просить осветительную аппаратуру. Иван Дмитриевич выдал мне десятилинейную керосиновую лампу. Света лампа давала не очень много, но неприятностей я имел с ней бездну. Уж очень часто лопались стекла. В такие минуты Папанин смотрел на меня молча, но взгляд его был полон осуждения. Я робко просил:

— Дай, Дмитрич, еще одно. Ты ведь понимаешь, что я не виноват?

Папанин осуждающе качал головой: — Смотри, Теодорыч, последнее!

Потом лопалось и «последнее». Я уже не просил, думал, что больше нет, и вдруг опять стекло, новенькое, даже с соломинкой внутри.

— Откуда, Иван Дмитриевич?

— Последнее, Теодорыч, последнее... Правду говорю...

Когда же ледоколы «Таймыр» и «Мурман» пришли снимать нас со льдины, то стекол к моей лампе осталось два. Вот это были действительно последние стекла...

\* \* \*

В октябре наступила настоящая зима. Небо раскрылось, демонстрируя, к великому удовольствию Федорова, бессчетное число звезд. Делать астрономические наблюдения стало легче. Начал оживать лед.

Звон разбитого стекла, пыхтение паровоза под куполом вокзала, затем глухой сильный удар, звук сбрасываемых реек, визг собаки, крик ребенка, отдаленная стрекотня пулеметов — все эти звуки рождались от перегруппировки ледяных полей. Мы понимали, что означает весь этот адский шум. Было ясно, — такая ледовая обстановка требовала быть начеку.

Порой на несколько минут все стихало, но потом начиналось заново. Иногда казалось, что все происходит совсем рядом, под самой палаткой. Казалось, вот-вот рухнут ледяные стены нашей кухни. Тотчас же в ход шли фонари. Мы внимательно смотрели, нет ли трещин, и, убедившись, что тревога и на этот раз ложная, отправлялись назад в спальные мешки.

Сжатие при дрейфе, независимо от того, дрейфуешь ли на корабле или на льдине, всегда неприятно. Но опыт подсказывает: держитесь спокойнее, шума бывает больше, чем реальной опасности. Так мы успокаивали сами себя, отлично понимая, что шум шумом, но опасность все же существует.

В такие дни особенно приятно было получать весточки из дома. Прочитав радиogramмы, нельзя было не улыбнуться, когда даже ближайшие родственники с нормально человеческого языка переходили на высокопарно-официальный и писали: «Пламенный привет отважной славной четверке».

Наш надежный приемник — неиссякаемый источник радости и бодрости. Слова далекой Москвы не теряли в пути теплоты и человечности. Две миниатюрные мачты и натянутый между ними

обветренный бронзовый провод останавливают эти слова, открывают им вход в палатку.

В полумраке тонут фигуры товарищей. Все слушают внимательно. Информация с Большой земли всегда интересна. Оказывается, что Борис Львович Дзержевский, «бог погоды», открывший нам зеленую улицу на Северный полюс, обработав нашу метеоинформацию, сделал интереснейшее открытие. Раньше предполагали, что над Центральной Арктикой постоянно держатся антициклоны. Теперь разобрались и выяснили, что даже через полюс проходят циклоны, как и через другие районы земли. Иногда нас очень интересно просвещали.

Все четверо мы москвичи. Естественно, когда думаешь о доме, переносишься мыслями в Москву, где в то время полным ходом шла реконструкция. Нужно ли рассказывать, с каким вниманием следили мы за сообщением главного инженера реконструкции столицы, сделанном специально для нас. Слушал его рассказ, а перед глазами возникали улицы и районы, о которых шла речь.

Радио занимало в нашей жизни большое место. Мы отлично знали по голосам всех дикторов. Почему-то тут наши вкусы единодушно сошлись — наибольшими симпатиями пользовалась Головина. Её голос нам особенно нравился. Мы подсчитывали, когда она снова будет на дежурстве и с нетерпением ждали этого часа, споря, можно ли по голосу определить, кто говорит — блондинка или брюнетка.

Радиодень начинался рано, в 5 часов 35 минут. Мои друзья спали, а я слушал все подряд: первый урок гимнастики, первый утренний выпуск известий, снова гимнастика, «Пионерская зорька»...

Слушал я все. И все мне было интересно. Даже разъяснение «Пионерской зорьки», что ребятам не надо класть на трамвайные рельсы посторонние предметы. Конечно, не надо!

С особым интересом прослушивал объявления торговых и других организаций. Правда, возможность ремонта и обмена пианино и роялей меня не волновала, но зато обильный перечень разных сортов хлеба воспринимал с вожделением. Честное слово, никогда не подозревал, что существует столько разных сортов. По возвращении обязательно перепробую все эти сорта, а на льдине оставалось лишь одно — глотать слюни и с грустью думать о сухарях, которые надоели до омерзения и вызывали неприятную изжогу.



Однако такому радиокейфу можно предаваться недолго. Наступал день с его многочисленными делами. Мои товарищи углублялись в работу, я отсыпался за ночное бдение. И только вечером можно было снова прильнуть к приемнику. Мои обязанности ночного сторожа позволяли мне получать это удовольствие в гораздо больших дозах, нежели всем остальным.

Трудовой день заканчивался обычно боем часов Спасской башни. Мои товарищи расползались по спальным мешкам, а я, передав последнее метео, устраивался у приемника. После полуночи начиналось время легкой музыки и танцев. Словно сговорившись, все радиостанции на разных языках принимались воспевать лунные ночи, чарующие улыбки, объятия, любовь.

Эти голоса с далекой земли слушаешь не всегда с удовольствием. Вылезаешь из палатки. Мороз и ветер быстро отрезвляют.

Вот радиостанция Люксембурга передает архимодную музыку. В перерывах сообщается: принцесса Маргарит советует всем женщинам пользоваться изобретенным ею кремом. Способ употребления: вы смазываете на ночь лицо; наутро вас никто не узнает — настолько вы похорошели. И подумать только: так похорошеть за одну ночь! Принцесса... Танго... Крем... «Жизнь диктует свои железные законы», — говаривал Остап Бендер.

Четвертый час ночи. Нормандская радиостанция дает международную передачу. Диктор проникновенным голосом заканчивает её замечательным пожеланием: «Всем плавающим и вахтенным на семи морях света — счастливого пути, скорейшего возвращения. Служителям маяков — спокойной, без тумана, ночи. Больным — облегчения в их страданиях. Всем, всем, всем — спокойной ночи и счастливых снов». Красивая, замирающая мелодия — Европы заснула...

\* \* \*

Огромное удовольствие доставляли радиолюбительские связи...

Наверное, далеко не каждый из читателей этих записок сумеет понять азарт и увлеченность, сопутствующие этому занятию. Если вы никогда не были радиолюбителем-коротковолновиком, если вы не

вылезали в эфир с собственным передатчиком, вы очень многое потеряли. Снайпера эфира может понять только охотник. Именно поэтому отзывчивым ценителем моих чувств оказался Папанин. Моя охота напоминала ему охоту на уток, которую он очень любил.

Для радилюбительских дел наша льдина была идеальным местом. У нас не было ни трамваев, ни лифтов, создающих досадные помехи. Одним словом — идеальные условия для работы. Немудрено, что с нашим маленьким приемником можно было слушать весь мир. И мы действительно слышали все материки.

Круглые сутки, как черви в банке рыболова, копошатся в эфире радиолюбители. Хриплыми, свистящими, тонкими голосами они настойчиво зовут:

— Всем, всем, всем! Отвечайте....

Наш позывной UPOL-широко известен. Стоит только появиться в эфире, как нас начинают звать со всех сторон. Остается только выбирать наиболее интересную станцию. Обычная связь с Европой, конечно, интересна. Но еще заманчивее найти какого-нибудь редкостного радиолюбителя. Ну, например, единственного радиолюбителя с Огненной Земли!

В августе Москва объявила среди советских коротковолновиков соревнование: кто первым свяжется с полюсом. Честно говоря, я и сам несколько содействовал этому состязанию, оставив перед отлетом на полюс в редакции журнала «Радиофронт» свой личный коротковолновой приемник. Приемник — премия радиолюбителю, который первым установит с полюсом двухстороннюю радиосвязь.

Через некоторое время это удалось ленинградскому коротковолновику Салтыкову. Он и выиграл приемник. Затем первый москвич — Ветчинкин. Из иностранцев — норвежец из Олезунда. В дальнейшем связывался с коротковолновиками почти всех европейских стран, со многими американцами, с Аляской, Канадой, Новой Зеландией, Южной Австралией, Гавайскими островами.

С радиолюбителем на Гавайских островах связывался несколько раз. Он превратился в болельщика нашей экспедиции и волновался за нас, задавая наивные, но по-своему трогательные вопросы. Мистер Тролезе спрашивал: — Не растает ли снег? — Не очень ли вам страшно?

Иногда он даже рассказывал содержание наших собственных корреспонденций, опубликованных советскими газетами, а затем перепечатанных западной прессой. Его сообщения свидетельствовали, что процесс распространения информации о СП-1 проходил весьма стремительно.

Три случая связи с австралийцами — рекорд дальности в моих беседах. Мощность моего передатчика была всего лишь 20 ватт.

О чем я беседовал со своими радиокорреспондентами? Как правило, связь с любителями продолжалась 2–3 минуты. Мои корреспонденты обычно выражали радость по поводу связи с нами (не каждый день говоришь с Северным полюсом), задавали вопросы, предлагали услуги, но передаче в Москву моих телеграмм. Голландец сообщал, что в местной газете его городка ежедневно печатается сводка погоды со станции «Северный полюс», швед восторгался, что поймал меня после трехмесячной охоты за мной.

И лишь радиолюбители одной страны — гитлеровской Германии — были бесстрастно холодны. После нескольких сухих вежливых фраз спешили закончить разговор.

Особенно часто была связь с американцами. Когда они появлялись, в эфире сразу становилось тесно. Их передатчики мощностью до одного киловатта буквально оглушали и забивали друг друга. Однажды, при хорошей слышимости, я на протяжении двух часов побеседовал с одиннадцатью американцами. Они передавали меня из рук в руки:

— Позовите, пожалуйста, моего друга! Он вас слышит!

Я звал. Связь устанавливалась, чтобы затем продолжиться уже со следующим американским корреспондентом.

— Привет с пушной фактории! Вас приветствует компания Гудзонова залива!

Услышав это обращение, я решил все же, что привет был инициативой радиста. Но, будучи человеком вежливым, ответил, попросив передать привет эскимосам, работающим для этой компании.

Так проходили ночи. И сожалеть приходилось лишь об одном — о том, что наступившее утро прерывало эти занятия. Нужно было вставать и кипятить чайник. Да и с энергией дело обстояло так, что я далеко не всегда мог позволить себе подобные развлечения.

21 ноября отпраздновали полгода дрейфа. По этому поводу получили приветственную телеграмму от коллектива работников Библиотеки имени В. И. Ленина. В ответной телеграмме пригласили их в гости, указав точный адрес: пройдя по восточному берегу Гренландии, надо свернуть на лед, и через двести километров окажется наша льдина.

Лагерь замечен на расстоянии 10–15 метров. Драгоценным камнем светится ледяная обсерватория Федорова: это горят внутри лампочки карманного фонаря — Женя наблюдает. Вокруг палатки широкий проход. В пургу здесь не особенно уютно. Мелкий снег быстро мчится в этих траншеях и пробирается сквозь плотнейшую одежду.

Наша палатка похожа на кулич, обильно покрытый глазурью. Одинок торчит одна изюминка — черный изолятор антенны. Тамбур плотно застегнут тройной дверью-фартуком. Пройдя внутрь, застегните его, иначе фартук будет хлопать. Площадь тамбура вся занята четырьмя парами так называемых «тапочек». В каждой из них можно смело купать двухмесячного младенца. Пролезая сюда, нагнитесь пониже, иначе получите за шиворот солидную порцию снега. Налево расположена кухня.

Снимите обувь и стряхните веником снег. Это делается на ледяной ступени, покрытой мехом. Здесь долгое время нам мешал ходить пес Веселый. За нездоровое любопытство, проявленное к ящику с маслом, он изгнан отсюда.

Резиновая дверь на меховой подкладке открывается с трудом. Ее держит сильная резина, укрепленная на стойке палатки. Полугодовой опыт научил нас ловко проходить в дверь даже с горячим чайником в руках.

Летом в доме мало вещей. Зимние условия потребовали значительного увеличения их количества. Постепенно привыкая к этому, мы и сейчас находим наше жилище просторным.

Каждый из нас усвоил свой катехизис одевания. У меня следующие правила: садясь в мешок, не ударься головой об острый угол стола. Надевая фуфайку, не опрокинь пепельницы и пузырьков Ширшова. Встав во весь рост, берегись острой гайки на потолке.

Надевая брюки, не опрокинь правой ногой лампы, а левой не выбей из рук Ширшова его письменный стол. Каждый из нас имеет свой собственный письменный стол — кусок фанеры.

Среди необъятных просторов Арктики мы топчемся на трех квадратных метрах. Это все, что осталось после размещения вещей. Мы не ощущаем ни запаха керосина, ни запаха сырых оленьих шкур. Давно уже привыкли к оленьей шерсти. Наш доктор Ширшов уверял нас, что проглоченный волос может вызвать аппендицит. После этого стали из супа вылавливать большие куски шерсти, не обращая внимания на мелкую расфасовку.

Направо от входа в наш дом — стол радиостанции. Внизу аккумуляторы, инструменты. Налево от входа на стене висит ящик, гордо именуемый буфетом. На полу — ящики Ширшова с пробами воды. На них несколько прокопченных кастрюль с нехитрым обедом. Тут же примостились хронометры. Продольные стенки до конца заняты двухъярусными койками.

В ногах Ширшова на веревочке подвешен потрепанный портфельчик. Смотрим на него с уважением. Здесь хранятся тайны Северного полюса. Это — осуществление мечты человечества. Для нас — это полгода напряженной жизни, многие часы тяжелой физической работы. Лучше потерять собственную голову, чем этот старенький портфельчик.

Между койками — зыбкий стол, занятый лабораторией. Над столом жестянка, предохраняющая потолок от жара ламп. Моя обязанность — засыпать эту жестянку звонкой промерзшей колбасой. Мы перещеголяли московский гастроним — у нас горячая колбаса имеется в любое время суток. Горячая колбаса вызвала у Федорова некоторые ассоциации, в результате чего на лаборатории Ширшова, очень похожей на ларек Моссельпрома, появилась надпись: «Пива нет».

У каждого из нас свой уголок, где хранится всякая мелочь. Особенно много ее у Папаняна. Он спит на веревочках, проволочках, тетрадах, спичках, книгах. Все это необходимо иметь под руками.

Днем лампы стоят посередине палатки, и мы, как огнепоклонники, мостимся вокруг них, сидя на нижних койках. Прикасаться к стеклам запрещено. Это прерогатива главного жреца — Папанина.

Немногие свободные места на стенках увешаны оружием, фонарями, связками книг. Покосившись набок, висит маленький ящик — наша аптека. Ширшов мужественно защищает остатки марли, запас которой разошелся на хозяйственные надобности.

Недавно Федорову ставили банки. Пахло горелым спальным мешком. Благодарные за развлечение зрители не скупились на советы. Время лечения прошло весело, и пациент исцелился главным образом смехом.

Серебрятся инеем стены палатки. Тускло горят лампы (им не хватает кислорода), а лампам к нехватке кислорода привыкнуть труднее, чем людям.

12 декабря 1937 года наш поселок претерпел существенные изменения, став поселением еще более необычным. Все его жители, уснув рядовыми гражданами, проснулись народными депутатами. В этот день наша четверка, в разных концах Советского Союза, была избрана в Верховный Совет СССР. Я — избранник жителей города Уфы.

Перед этим знаменательным событием нам пришлось основательно потрудиться. Из разных городов мы получали радиogramмы трудящихся, в которых запрашивалось наше согласие на баллотировку в депутаты Верховного Совета.

Не получив никаких указаний, как нам надлежит действовать, мы, ничтоже сумняшися, радостно подтверждали свое согласие во многие города. Впервые я узнал, что есть такой город — Оха, связисты которого хотели видеть меня своим избранником.

Все запрашивали, помимо нашего согласия, еще и наши подробные биографии. Вот тут-то и началось!

По объему — это несколько тысяч слов. Как на грех, держалось длительное безветрие, ветряк не хотел работать, и аккумуляторы выдохлись. А отвечать надо...

Затащили в палатку велосипедную раму с седлом и динамо-машиной. Похоже, было на велосипедные гонки — только на месте.

Ну, поехали! Мне в затылок сопят будущие депутаты Верховного Совета. Работа тяжелая.

— Ну, что ты там ковыряешься? Шуруй быстрее...

Хорошо, что на острове принимают все без переспросов. И я жму вовсю.

Лампа меркнет. Мы сожрали весь кислород в палатке. Крутильщики подменяются, им достается тяжело, да я еще время от времени покрикиваю:

«Ребятки, поднажмите, вольтаж падает».

В декабре уже стало более или менее ясно: наш дрейф подходит к концу. Мы полагали, что в апреле-мае приобщимся к цивилизации, оказавшись на палубе ледокола. Москва поддерживала в нас эту уверенность, сообщив разные варианты снятия нас с льдины. В ответ мы заказали в Ленинграде новые морские фуражки. Нам, грязным, невымытым, нечесаным, хотелось вернуться в Москву во всем блеске.

Гидробиолог профессор Богоров, с которым Ширшов поддерживал связь, предусмотрительно наставлял: кроме материалов науки, везите статьи. Готовьте их впрок и побольше.

Предупреждение Богорова понятно. Судя по сообщениям из Москвы, наша жизнь на льдине стала модной темой трамвайных дискуссий и домашних бесед. Не удовлетворить такой массовый интерес мы считали себя просто не вправе, а потому писали.

От этой усиленной творческой деятельности начал ощущаться известный недостаток в темах для корреспонденций. Чтобы избежать конфликтов на литературном поприще, мы провели общее собрание, распланировав темы и мирно разделив их, подобно сыновьям лейтенанта Шмидта, на четыре эксплуатационных участка. Тем немного, и потому все они нарасхват. Ширшов разразился даже сочинением на кухонную тему, написав трактат о примусах. Что ж! Примус в наших условиях — дело существенное, а пишет Петр Петрович как Лев Толстой — семь раз исправляет написанное, предъявляя очень высокие требования к своему творчеству.

Условия творчества на льдине плохонькие. Даже у самого захудалого писателя есть стол и стул. Мы не можем похвалиться этим. Карандаш у нас — ценность. Каждый пуще глаза бережет свои карандашные огрызки.

И все же, преодолевая трудности, мы старательно строчим. Мы понимаем, что к Новому году, который уже не за горами, спрос на наше творчество, и так немалый, повысится еще больше. Хочется пожелать к Новому году успехов всем соотечественникам. Хочется, чтобы у каждого из них был свой полюс. Пример искать долго не

пришлось: написал о замечательном мастере Иване Ивановиче Гудове, который достиг полюса фрезеровщиков.

За час до Нового года меня разбудил Папанин. Женя и Петя ушли крепить гидрологическую палатку, так как разгулявшийся южный ветер не сулил ничего доброго.

— Давай, Теодорыч, наводить красоту!

Очень не хотелось вылезать из мешка, но, чтобы встретить Новый год вымытыми и побритыми, пришлось поторопиться. Вот я и стал на четвереньки, а Папанин кромсал на затылке мои космы. Остриженный, я побрился, вымыл голову, лицо и шею (приблизительно, конечно). Затем подошли Федоров и Ширшов. Включил приемник. Услышали бой часов, а затем, передав новогоднее метео, сели пировать. Тяжелые, как свинец, лепешки на соде, приправленные паюсной икрой, картофельное пюре с охотничьими сосисками и кофе с остатками сухого торта — таков был наш шикарный новогодний стол.

Уже с первых дней нового года наши надежды на скорое возвращение начали сбываться. Первыми нам сообщили об этом журналисты. Редакция «Последних известий по радио» обратилась к нам с просьбой поддержать ходатайство о посылке на «Ермаке» ее представителя. Сомнений не оставалось — когда журналисты рвутся к финишу, значит, финиш уже не за горами.

Диагноз оказался правильным. Москву беспокоили темпы дрейфа. Мы вдруг начали двигаться гораздо быстрее, чем предполагалось. Такая быстрота могла стать для нас роковой. Вот почему на месяц раньше срока навстречу нам отправился маленький кораблик — зверобойный моторно-парусный бот «Мурманец».

На первый взгляд казалось странным, что к нам посылают такое утлое суденышко. Но возможность ходить под парусами экономила топливо, а округлый корпус позволял «Мурманцу» не бояться льдов. 10 января 1938 года экипаж из двадцати одного человека под командованием опытного капитана И. Н. Ульянова, проплававшего в северных морях сорок лет, взяв на шесть месяцев топлива и на год продовольствия, вышел в море.

«Мурманец» имел задание патрулировать у кромки потока льда, спускавшегося на юг, в Гренландское море. Где-то вблизи сидели и мы. Необходимо было предусмотреть и самый плохой вариант: нас вынесет на чистую воду на каком-то обломке нашего поля.



По указанию правительства к берегам Гренландии, куда по всем расчетам нас выносило, отправятся ледокольные пароходы «Таймыр», «Мурман» и, как только закончится ремонт, туда же двинется ледокол «Ермак». Начальником экспедиции по снятию нас со льдины назначен Отто Юльевич Шмидт, его заместителем — Знаний Владимирович Остальцев.

Первым 3 февраля 1938 года двинулся в поход «Таймыр» под командованием капитана Б. Д. Барсукова. Этот ледокольный пароход — один из старейших кораблей нашего ледового флота. Главный груз экспедиции — три больших ящика. В этих ящиках труп самолета — материальная часть летного отряда под командованием полярного летчика Геннадия Петровича Власова. И, конечно, множество корреспондентов, фотографов, кинооператоров.

Одновременно с кораблями снаряжалась отдельная летная экспедиция на двухмоторных скоростных самолетах ЦКБ-ЗО, конструкции С. В. Ильюшина. Подыскивали для них подходящие аэродромы. Начальник этой экспедиции старый знакомый — Иван Тимофеевич Спирин, флаг-штурман нашей экспедиции на полюс. Предполагалось, что из Мурманска самолеты группы Спирина либо прилетят к нам на льдину, либо будут базироваться на аэродромы около «Таймыра» вместе с летной группой Г. П. Власова.

Пока разворачивались операции по нашему спасению, жизнь на льдине становилась все сложнее. Полный штиль, безоблачное небо. Луна. Сорокоградусный мороз. Температура в палатке — от нуля до минус семи градусов. Еще никогда не было в нашем жилище такого обилия инея и льда. Еще никогда не было так мало кислорода, из-за недостатка которого лампы совсем почти не горели, а, следовательно, и не грели.

\* \* \*

21 января 1938 года давление стало катастрофически низким. И хотя погода была тихая и пасмурная, мы поняли, что неприятности не заставят себя долго ждать.

Так и произошло. Утром за завтраком похвалили льдину и, словно в ответ на эту похвалу, на востоке раздалось грозное рычание. Рев то

нарастал, то спадал, напоминая шум большого города или сильного прибоя. Такого грозного сжатия у нас еще не было. Оно продолжалось до двух часов дня, а потом наступил полный штиль.

Разошлась наша старая знакомая осенняя трещина. Мы-то наивно полагали, что после декабрьских и январских морозов она смерзлась раз и навсегда. Озабоченный Ширшов помчался смотреть свою гидропалатку и увидел ее... на другом берегу трещины, которая разошлась, образовав полынью шириной около двухсот метров.

Пришлось срочно заняться спасательными работами. Откопали байдарку и подтащили ее к полынье. Спустить удалось с большим трудом. Мешали шуга и мелкий лед. Петя и Женя отправились в плавание. Их ждала ответственная работа — срочно оттащить ширшовскую лебедку от края полыньи, чтобы при очередном сжатии она не исчезла бесследно.

Байдарка двинулась по спокойной и черной, как смоль, воде и быстро скрылась в тумане. Противоположный берег полыньи едва виднелся. Палатка серела призрачным мутным пятном. Пока Ширшов и Федоров ликвидировали опасность, угрожавшую гидрологическому хозяйству, мы повесили на ближайших торосах два фонаря «летучая мышь», чтобы создать нашим мореплавателям маяки.

Когда возвращались, туман совсем сгустился. Шли по старым следам.

Шум торожения стал нашим постоянным спутником. Он все время доносился издалека. Все это было необычно, а потому порождало какую-то тревожную неопределенность. По мелочам было заметно, что нервы у всех напряжены. Но старались сдерживаться. Работа должна идти своим ходом. Нервничай, не нервничай, этим делу не поможешь. Надо работать и терпеть...

Так продолжалось несколько дней. Затем наступила пурга, выдавшая нам бурный пятидневный концерт.

Как-то под утро Папапин предложил сразиться в шахматы. Играли вдумчиво спокойно, с полным сознанием важности выполняемого дела. И вдруг сквозь грохот ветра необычный шум.

Выполняя обязанности дежурного, я вылез из палатки. Потоптался в пургу в темноте, никаких трещин не обнаружил. В следующий вечер легли спать не раздеваясь.

Странный скрип в палатке первым услышал Папанин. Он поспешил разбудить всех. Женя пробовал, было сопротивляться:

— Это снег оседает, Дмитрич. Ты, наверное, спросонок напугался.

— Да какой там снег, — рассердился Папанин, — кухня ходуном ходит. Ну-ка, вылезайте, сами посмотрите!

Самым быстрым оказался Ширшов. Он первым напялил малицу и на четвереньках выбрался наверх. Отдаленный скрип то смолкал, то перерастал в близкий тревожный и угрожающий шорох.

Петя оказался самым глазастым. В десяти метрах от нашего жилья, за метеобудкой, его остановила темная полоса. В первый момент он не поверил своим глазам, но сомнений не было — трещина! Трещина то сходилась, превращаясь в тоненькую ниточку, то расходилась. Светя фонарем, прикрывая лицо от бешеной слепящей пурги, полусогнувшись, Петя пошел вдоль этой зловещей черной трещины. Наконец ему стало ясно: трещина уходила вдаль по направлению к хозяйственному складу. Оставалось одно — поскорее вернуться в палатку.

Трещины... Трещины вокруг палатки... Вот оно, то самое, чего мы опасались, ожидали месяцами, к чему упорно и тщательно готовились.

— Достукались, браточки, — видно, сглазил кто-то льдину...

Это замечание я адресовал своим товарищам, еще накануне без меры хвалившим льдину.

Но шутка повисла в воздухе. Тут было не до шуток. Нужно срочно принимать решение, но какое? В поисках этого решения все вчетвером выбрались из палатки. Поползали с фонарями по снегу, пытаясь определить направления новых трещин. Темень, ветер и сногшибательная пурга требовали предельной осторожности. Меня оставили с фонарем у палатки, поручив обязанности маяка. Вскоре все собрались, но темнота не позволила внести ясность, и решено было коротать время до утра за чаем.

Через час Петя ушел на разведку. На этот раз новости оказались совсем не веселыми. Пурга не утихала. Трещина разошлась местами до 4–5 метров. Там, где совсем недавно вились тонкие подозрительные черные нити, теперь широкие полосы воды. Ближайший канал образовался сразу за метеобудкой и шел к углу хозяйственного склада. Склад одной стеной висел над водой.

Времени для раздумий уже не было. Надо было срочно спасать имущество. Сквозь пургу прорвались к складу. Дверь наглухо забита снегом. Папанин несколько раз ударил топором по ледяному куполу. Свод со звоном рухнул. Внутри уже виднелась вода. Очевидно, она просачивалась по нижним слоям снега. Спрыгнув в дыру, Папанин очутился по щиколотку в воде.

Каскадом вылетали валенки, сапоги, патроны, фонари, лопаты, посуда, брезенты. Мы втроем молниеносно грузили все это на нарты. За несколько минут склад опустел. Напрягая все силы, наваливаясь корпусом, чуть ли не на четвереньках, оттаскивали нарты в центр льдины. Кое-как укрыв свою добычу брезентом, возвращались за следующим грузом.

Измучились вконец, а рассвет все не наступал. Хотелось дожждаться его, чтобы получше осмотреть льдину.

Оставив на вахте Федорова, решили поспать. Но из этого ничего не получилось. Неожиданно прекратилась пурга. Над нами, к великой радости Жени, помчались клочья разорванных облаков. Шесть дней из-за отсутствия звезд мы не могли определиться. Женья молниеносно пустил в ход свои инструменты и получил настолько ошеломляющий результат, что не поверил глазам своим. Что делать? Только одно — заново повторить наблюдения и расчеты. Женья повторил и передал мне сведения, от которых дрогнули руки уже у меня. Да, было от чего взволноваться. Такой скорости дрейфа за все восемь с половиной месяцев не было отмечено ни разу. За шесть дней мы прошли 120 миль. 20 миль в сутки!

В половине двенадцатого Федоров разбудил нас снова. Неприятности нарастали. На этот раз черная, как змея, трещина свернула от метеобудки к стенам нашей кухни и нырнула прямо под жилую палатку. Черт побери, хуже и быть не может! Но оказалось, что может. Вынырнув с противоположной стороны жилой палатки, трещина направилась прямо к ветряку. Жаль было расставаться с жилищем, к которому так привыкли, но деваться некуда, да и медлить нельзя. Разбиваем легкие шелковые палатки, которые оставили нам летчики, чтобы разместить в них радиостанцию и все ценное имущество. Однако, прежде чем демонтировать радиостанцию для эвакуации, передал на материк краткое сообщение Папанина:

«В результате шестидневного шторма в 8 часов утра 1 февраля в районе станции поле разорвало трещинами от полукилометра до пяти. Находимся на обломке поля длиной 300 метров, шириной 200. Отрезаны две базы, также технический склад с второстепенным имуществом. Из топливного и хозяйственного складов все ценное спасено. Наметилась трещина под жилой палаткой. Будем переселяться в снежный дом. Координаты сообщу дополнительно сегодня, в случае обрыва связи просим не беспокоиться».

Палатку для радиостанции поставили возле дальней мачты антенны. Почему-то казалось, что именно этот обломок не будет крошиться и продержится дольше всего.

Трещина под жилым домом пока что молчала. Но шкуры, устилавшие пол, постепенно покрывались водой. Мокрая, хлюпающая шерсть быстро смерзлась. Под ногами хрустел лед. И все же вечер 1 февраля еще провели в старом доме, готовые в любой момент покинуть его.

Долго обсуждали, что делать с научным имуществом. По предложению Папанина решили погрузить на нарты: вся наша наука переходит на кочевой образ жизни. До наступления темноты едва успели наладить связь. Но ничего радостного сообщить Москве мы не могли. Льды продолжают наступать. Появились новые трещины. Вокруг, насколько хватает глаз, видны отдельные льдины, разделенные водой. Весь день, пока я возился с рацией, Папанин, Ширшов и Федоров перетаскивали грузы к середине нашего осколка, который становится все меньше и меньше. К утру 2 февраля его габариты были тридцать на пятьдесят метров. С каждым часом становилось все неудобнее.

Женя и Петя пошли на разведку. Хотелось найти по соседству какую-нибудь льдину побольше. Действовали Женя и Петя смело и решительно, но менять наш обломок не на что. Кругом сплошной битый лед. Поле раскололось на небольшие куски, у которых, как не трудно догадаться, была одна судьба — растаять!

В километре от лагеря наши разведчики наткнулись на остатки гидрологического хутора. Из разорванного брезента торчали бамбуковые палки. Очень хотелось унести с собой и спасти лебедку, но она была слишком тяжела, чтобы тащить ее через трещины. И все же наши разведчики не пришли с пустыми руками. Пользуясь тем, что

льдины иногда поджимало одну к другой, они добрались до одной из баз продовольствия, дрейфовавшей самостоятельно на другом обломке поля. Вернулись с трофеями — взяли оттуда мешки с меховой одеждой и клиппербот.

С высокого тороса разглядели еще две базы с продовольствием и горючим, однако, прорываться к ним не рискнули. Базы отрезаны слишком широкими разводьями. Тем временем я возился с антенной. Разместить ее на нашем осколке не удавалось. Длина антенны — больше шестидесяти метров, а наибольшая длина нашего ледяного обломка не превышает пятидесяти метров. В двух местах по краям льдины воткнул бамбуковые палки и натянул антенну в виде буквы «Г». Попробовал — действует. Удалось передать на «Мурманец» ту единственную радиogramму от 2 февраля, каждое слово которой мы тщательно обсудили и взвесили, чтобы не создавать на материке поводов для излишнего беспокойства.

«В районе станции продолжает разламывать обломки полей протяжением не более 70 метров. Трещины 1–5 метров, разводья до 50. Льдины взаимно перемещаются. До горизонта лед 9 баллов, в пределах видимости посадка самолета невозможна. Живем в шелковой палатке на льдине 50 на 30 метров. С нами трехмесячный запас, аппаратура, результаты. Привет от всех».

С чувством огромной благодарности вся четверка поглядывала на ветряк, который, неуклюже размахивая своими крыльями, подзарядил аккумуляторы. Теперь радиосвязь обеспечена.

\* \* \*

Эти дни, потребовавшие от нас внутреннего напряжения, оказались полными драматизма и для наших спасателей. А для тринадцати из них они закончились трагично...

На Ленинградском Балтийском заводе невиданными темпами рабочие ремонтировали ледокол «Ермак». Отчаянно воевал со льдами, пробиваясь к нам, мотобот «Мурманец», в жестоком шторме продвигался ледокол «Таймыр», в Москве стартовал, взяв курс на север, дирижабль «СССР-В-6» под командованием Н. С. Гудованцева и И. В. Панькова.

Риск был неременным спутником всех спасательных отрядов. Рисковал «Мурманец». После того как наша льдина начала трескаться, Отто Юльевич послал капитану этого крохотного кораблика, седоусому Ульянову, приказ:

«Правительство поручило мне передать вам задание обязательно дойти до лагеря Папанина, спасти героев, снять их со льдины. Вложите все силы в выполнение этого исторического задания. Доносите о продвижении каждые шесть часов.

Шмидт».

Чтобы выполнить этот приказ, командуя утлым деревянным суденышком, надо было быть героем.

Уже, после того как все было кончено и мы благополучно вернулись в Москву, известный журналист Михаил Розенфельд опубликовал на страницах «Известий» корреспонденцию о подвиге этих людей. Небольшой отрывок из его очерка «Неустрасимый корабль „Мурманец“» дает представление об этом.

«...Неожиданный ураган погнал судно, и опять разбушевавшиеся волны обрушились на палубу, грозя каждую минуту потопить маленький корабль. Случилось это первого февраля, когда ураган разломал льдину станции „Северный полюс“ и папанинцы очутились в опасности. Капитан Ульянов тотчас же сменил курс, намереваясь сквозь разводья проникнуть к лагерю. В двадцатиградусном морозе волны, перекатываясь через корабль, мгновенно обледеневали. Палуба, борта, надстройки, мачты, люки, трапы, грузы, одежда людей покрылись коркой льда. Выбиваясь из сил, матросы, свободные машинисты, сменившиеся с вахты штурманы скалывали лед. Корабль под тяжестью льда начал терять плавучесть. Моряки „Мурманца“ напоминали движущиеся ледяные статуи. Они продолжали скалывать тонны льда. Скрываясь от урагана, капитан повел корабль во льды...»

Рисковал и «Таймыр». Шторм, в который он попал, проходя через Баренцево море, был настолько жесток, что палубные надстройки судна получили серьезные повреждения. Палуба и снасти обледенели, сделав работу моряков донельзя опасной. За борт смыло баллоны с водородом, предназначавшимся для шаров-зондов.

Труден, оказался поход и для трех подводных лодок, выделенных командованием Северного флота для участия в спасательных работах, — Д-3, Щ-402, 1Д-404, только что вернувшиеся с учений,

были направлены на помощь «Таймыру», потерявшему радиосвязь со льдиной, и для обеспечения полета дирижабля «СССР-В-6». Особенно отличилась лодка Д-3. Во время шторма, когда ей приходилось продвигаться в надводном положении, волна захлестывала рубку. Вахтенные командиры, сигнальщики привязывались ремнями к стойкам. Одежда их покрылась ледяной коркой, цепенели руки, но моряки привели лодку точно в назначенное им место.

Самая страшная судьба выпала на долю дирижаблистов. История этого трагического полета еще перед войной была описана Константином Симоновым в поэме «Мурманские дневники». Но, как ни странно, документальная литература обошла полет дирижабля «СССР-В-6» стороной, и лишь в 1966 году газета «Советская Россия» опубликовала 13–14 апреля очерк В. Анциферова «Полет дерзновенных», а в 1969 городская газета «Кандалакшский коммунист» напечатала большой документальный очерк Ю. Еремина, воздав должное памяти погибших. Авторы этих очерков провели большую работу, собрав воедино волнующий материал.

Дирижабль вылетел из Москвы вечером 5 февраля 1938 года. Он пошел в полет по маршруту Москва-Мурманск, чтобы, испытав на этом участке материальную часть и приборы, отправиться затем к нашей льдине. Полету придавали немалое значение. Провожал аэронавтов Анастас Иванович Микоян. В свете прожекторов дирижабль оторвался от земли и ушел в ночь и метель.

Днем 6 февраля, благополучно пройдя Петрозаводск и Кемь, дирижабль двигался к Кандалакше. Он шел слепым полетом через плотную завесу сильнейшего снегопада. Из района станции Жемчужная, в 59 километрах от Кандалакши, пришла последняя радиограмма о благополучном ходе полета. В 18 часов 56 минут радиостанция дирижабля замолчала, а через час — тревожные сообщения местных жителей: в районе станции Белое произошел страшнейший взрыв. Дирижабль врезался в гору.

Местным лыжникам, ринувшимся на помощь потерпевшим, открылась зловещая картина: израненный лес, согнутый остов дирижабля, разбросанные части воздушного корабля, обгоревшие моторы, оборудование, продукты, выжженная растительность, трупы погибших, а у костра, на куске оболочки, шестеро живых из девятнадцати членов экипажа.



Фосфорные шашки, бензин и вытекающий из оболочки водород за какие-то мгновения превратили дирижабль в грудку искореженных обугленных обломков.

Это было особенно страшно, так как ничто не предвещало катастрофы. Казалось, был проверен и взвешен каждый шаг. В Мурманске воздухоплавателей ждало завезенное туда горючее. Пополнив баки, дирижабль должен был отправиться прямо к берегам Гренландии, где дрейфовала наша льдина. Экипаж корабля отобран из лучших специалистов, подъем и посадка кабины тщательно отрепетированы. И вот — страшная трагедия...

В Москве, на Новодевичьем кладбище, в стене старого монастыря покоятся урны с прахом тринадцати аэронавтов: Н. С. Гудованцева, И. В. Панькова, С. В. Демина, В. Г. Лянгузова, Т. С. Кулагина, А. А. Ритсланда, Г. Н. Мячкова, Н. А. Конюшина, К. А. Шмелькова, М. В. Никитина, Н. Н. Кондрашова, В. Д. Чернова, Д. И. Градуса. Имена этих людей, погибших при исполнении служебного долга, должна знать наша молодежь.

\* \* \*

6 февраля лед внезапно сплотило до десяти баллов, на месте недавних трещин возникли торосы. Ближайший вал вырос буквально рядом с нами — метрах в семи — десяти от палатки. Затем лед снова развело, и осколки нашего поля опять заплясали вокруг нас. Эту недолгую милость океана мы постарались использовать. Правда, гидрологическую лебедку, подплывшую к нам совсем близко, взять не успели, но керосин с одной из баз забрали. А едва закончилась разгрузка, как база снова уплыла. После нескольких погожих дней погода испортилась. Пурга и норд-остовый ветер никак не радовали. В густом снегопаде ни зги не видно, и черные флажки (они стоят в 15–20 метрах от палатки), ограничивающие нашу льдину, словно растворились во тьме.

Иван Дмитриевич, Петя и Женя лежали в шелковой палатке, которую нещадно трепал ветер. Конечно, не спали. Каждый старался укрыться за чем-нибудь: за нартой, за надутым клипперботом. Впрочем, клиппербот был не самым надежным укрытием. Он все

время подсакивал и норовил сорваться с привязи. Да, положение сложное! Если бы началось сильное сжатие, то вряд ли мы смогли бы что-либо сделать. Где уж тут тащить тяжелые нарты, когда от ветра еле на ногах стоишь, да и куда их тащить? В трех шагах черная вода, пропасть, бесконечность. Ветер — 30 метров в секунду.

В девятом часу утра 8 февраля сорвало радиопалатку. Чтобы она не улетела, навалился на нее и позвал на помощь. Поднял палатку под себя, а лицо — на ветру. Вот когда до конца понял литературный образ «глаза вылезают на лоб»! Победить палатку удалось только благодаря помощи подбежавших товарищей. Пока все держали палатку, я залез внутрь, составил на пол всю аппаратуру, закрыл ее, и палатку повалили, прижав ко льду бурдюками с керосином. Связь временно прервана.

Отдыхал я после этой напряженной вахты в пашей старой палатке. Мы с Папаниным залезли на верхние полки и дремали, прислушиваясь к порывам ветра. Отдых не из приятных. Температура в палатке около нуля. Как раз столько, сколько надо, чтобы таял снег на одежде. Все сыро — ноги, одежда, шапка, капюшон. Малица как губка, хоть выжимай. Лежишь весь как в компрессе. Согреться невозможно.

Решили строить снежный дом. Мы с Папаниным резали пилами кирпичи, а Ширшов и Федоров клали стены. Выпилили яму, по ее краям возвели стены из снежных кирпичей, в дальней от входа половине оставили лежанку из снега, на которой будем лежать все рядышком, как на деревенской печке. Затем комплект новой мебели дополнили снежным кухонным столом. Вместо стропил положили палки и бамбук и натянули крышу из легкой материи. Правда, вползать в новое жилище надо на коленях, но все-таки защита от непогоды, главным образом от ветра, который в эти последние дни был непримиримо жесток.

Кончили строительство в сумерки. Дмитрич стал греть обед, а я — переносить кухонную утварь из старой палатки в новый снежный дом. Петя и Женя перетаскивали спальные мешки, одним словом — новоселье! Обедали уже в новом доме, при ярком свете керосиновой лампы. Здесь ей хватало кислорода, да и снежные стены хорошо отражали свет.

Не успели мы обжиться в новом доме и полюбоваться темнеющей на горизонте Гренландией, как к нам пожаловали медведица с двумя

медвежатами. При свете луны, затянутой к тому же облаками, Папанин и Ширшов показали себя неплохими охотниками. В нашей обстановке запас свежего мяса был совсем не лишним. Мы понимали, что снять нас должны со дня на день, но предвидеть, как развернутся спасательные работы, не может никто.

Первым приблизился к нам «Таймыр», один из самых заслуженных кораблей советского полярного флота. Четверть века назад «Таймыр» вместе с другим судном «Вайгач» участвовал в экспедиции Вилькицкого. Оба корабля прошли из Владивостока в Архангельск, открыв по пути юго-восточный берег нынешней Северной Земли.

Этот заслуженный ветеран пробился сквозь сильный шторм и добрал до кромки того ледяного поля, в которые снова вмерз осколок льдины со всем нашим цыганским хозяйством. 10 февраля мы вступили с «Таймыром» в двустороннюю радиосвязь и узнали, что к нам полным ходом спешат «Мурман» и «Ермак». Таймырцы сообщили также, что, как только стихнет шторм, они немедленно спустят на лед один из трех самолетов авиаотряда Геннадия Петровича Власова.

На следующий день во время сеанса радиосвязи с «Таймыром» приятный сюрприз: у микрофона оказался корреспондент «Известий» Эзра Виленский. Это право подойти к микрофону Эзра получил не потому, что представлял авторитетную газету. Нет, он был единственным человеком, которому вторично предстояло побывать на нашей льдине. Первый раз он прилетел вместе с нами на самолете, а вот сейчас пришел по воде. Летчикам, доставившим нас, в этой экспедиции участвовать не пришлось, штурман А. А. Ритслянд разбился на дирижабле «СССР-В-6», а Шмидт шел на «Ермаке», который прибыл в этот район уже после нашего снятия. Вот почему Виленский и оказался в столь исключительном положении.

Было приятно выслушать рассказ Эзры о Москве, получить привет от общих знакомых. Пете Ширшову он сообщил, что семья его переехала из Ленинграда в Москву и его по прибытии домой, ждет новоселье.

После радиобеседы с Виленским, которая была больше односторонней — говорил больше он, а мы слушали, так как пришлось экономить аккумуляторы, ощущение конца нашего дрейфа приобрело

вполне реальную перспективу. А на следующий день мы увидели огонь «Таймыра».

Уже несколько раз какие-то далекие звезды мы принимали за огни «Таймыра». Но на этот раз огонь был самым настоящим. Он то пропадал, то снова разгорался, но не поднимался над горизонтом, как звезда. Сомнений не было: я видел свет корабля.

Зажег бензиновый факел и помахал им. Меня заметили. Огонек замигал, подтверждая тем самым, что я вижу прожектор «Таймыра». Я разбудил товарищей, и Женя запеленговал первый огонек Родины. Это было 12 февраля, но прошла еще неделя, прежде чем нас сняли со льдины, — неделя, наполненная самыми разными событиями...

Едва стих шторм, таймырцы начали готовить рядом с кораблем аэродром. Эта работа шла ночью в свете прожектора. Одновременно шла сборка спущенного на лед самолета. Самолеты на борту «Таймыра» были заслуженными машинами нашей авиации. Их было три — Р-5, хорошо известный читателю этих записок по спасательным операциям из лагеря Шмидта, его старший брат У-2, впоследствии переименованный в Поликарпов-2, и славная маленькая «шаврушка». Лететь к нам в лагерь Власов решил на У-2.

Почти одновременно с подошедшего «Мурмана» И. И. Черевичный и Карабанов вылетели на Ш-2. Вылетели и пропали. Одним словом, дела завертелись: корабли пробивались к нам, а летчики искали и нас и друг друга...

Разыскивая Черевичного, к нам неожиданно добрался Власов. Он прилетел на У-2 со штурманом Дорофеевым, попав в объектив прильнувшего к киноаппарату Папанина. Мы были в этот момент с Иваном Дмитриевичем вдвоем. Петя и Женя ушли искать Черевичного. Папанин убежал, перескакивая через трещины, на аэродром в двух километрах от нас. Моим делом было известить «Таймыр».

— Власов у нас, все в порядке.

Папанин потом рассказывал о встрече. От волнения оба не могли говорить и принялись успокаивать друг друга:

— Ну, ты что? Ну, успокойся!

— Ничего, ничего, а ты чего волнуешься?

Иван Дмитриевич получил первую почту приятную нам посылку: пиво и мандарины. Папанин сказал Власову:

— Пока не найдете Черевичного, к нам летать не надо!

— Обещаю, Дмитрич, что Черевичного обязательно найду!

Расцеловавшись с Папаниным, Власов улетел. Когда вернулись Петя и Женя, стали читать письма из дома, грызть замерзшие мандарины, от которых в зубах ломило, и запивать леденящим душу пивом. Молодец Власов — это он привез нам бутылки с пивом. Роскошный вечер был в нашей «берлоге». На горизонте маячили горные пики Гренландии. На следующий день «Таймыр» сообщил: Власов обещание выполнил, и Черевичный со вторым пилотом доставлены им на «Таймыр».

Последние сутки были наполнены волнениями. Никакая непосредственная опасность в эти сутки нам не грозила, но было ужасно не по себе. Вечером по льдине бродил луч прожектора. Бесновался Веселый. У всех итоговое настроение, связываются тетради, укладываются рюкзаки. Кусок в рот не лезет. В кастрюле медвежий борщ, но сегодня его почему-то все дружно бойкотируют. Впрочем, бойкотируем, но не выливаем. А вдруг корабли завтра, но подойдут?

Неподалеку от нас, километра за полтора, была большая полынья. По нашим расчетам, в нее и должны войти «Таймыр» и «Мурман». Каждый из нас хотел первым увидеть там корабли. Это удалось Папанину. Раньше всех остальных он разглядел сиреневые силуэты кораблей, вошедших в наши территориальные воды.

Теперь уже ясно, что осталось нам провести на льдине считанные часы. Папанин бреется. Ширшов и Федоров проделали эту операцию еще раньше, а Иван Дмитриевич решил побриться в самый последний момент, чтобы выглядеть поэффектнее. Выглядит он действительно эффектно — нижняя часть лица после бритья явно посветлела. Мне же, побриться не довелось. Такова судьба всех радистов. В самые напряженные и интересные минуты сидишь буквально на привязи у телефона и изрядно надоевших шкатулок.

К полудню корабли были хорошо видны и без биноклей. Часто валил густой дым. Это кочегары шуровали топки. Шло неофициальное, но энергичное соревнование — кто дойдет раньше, «Мурман» или «Таймыр»? В два часа дня с кораблей, украшенных флагами рассвечивания, сошли на лед две колонны. К нам двигалась целая манифестация со знаменами и развернутыми транспарантами.

Фотографы и киношники бежали с аппаратурой на плечах. Одним словом, на нашей одинокой льдине стало внезапно оченьлюдно. Моряки сначала шли стройной колонной, затем не выдержали и побежали. Неслась атакующая лавина. Впереди развевались знамена. Вот уже видны кричащие, веселые и радостные лица.

Последними к месту события прибыли те, кому больше всего хотелось быть первыми — операторы кинохроники с гигантскими штативами и тяжеленными кинокамерами.

Папанин взял в руки знамя, и мы стояли вчетвером на высоком обломке, как на трибуне, приветствуя приближавшихся спасателей. Стоило им поравняться с нами, как встреча приняла совершенно неофициальный характер: нас стали качать. Затем состоялся митинг. Мы вытащили револьверы и салютовали нашим спасителям, фоторепортеры и кинооператоры неистовствовали. Ходили мы именинниками. За что не возьмешься — десятки добровольцев предлагают помощь. Десятки рук мгновенно делали то, что нам вчетвером приходилось осиливать часами.

Матросы стали откапывать палатку. Выдернули ее. Все было разобрано и за несколько рейсов увезено на корабли. Как всегда, хозяйственно хлопотал Папанин. Он понимал, что со льдины эвакуируется музейный экспонат. Палатка и по сей день пребывает в этой почетной роли, доступная для обозрения посетителям музея Арктики.

В берлоге еще горела лампа. В алюминиевой миске кисли остатки супа. Чашки и стаканы из пластмассы валялись где попало. Иван Дмитриевич, верный себе, поспешил навести и тут порядок: потушил лампу, начал собирать чашки. Их просят на память. Раздаем. Затем идут в ход книги. На них пишем всякие теплые слова, ставим дату «19.11.1938». Папанин выкатил из угла бочонок с остатками коньяка, выбил пробку, стал угощать всех желающих.

Пора эвакуировать радиостанцию. С нее снят брезент. Моим одиноким встречам с Большой землей наступил конец. Со всех сторон сидят гости и вдохновляются моим грязным и замерзшим видом. Прямо из-под локтя нацелился на меня объектив фотографа, ищущего оригинальную точку зрения.

Последняя радиограмма передатчика UPOL — рапорт о завершении работ. Удар ногой. Рухнула снежная стенка. Радиостанция

«Северный полюс» на рысях двинулась к кораблям.

— Надо идти, братки, дело к вечеру... Что же мы стоим? — сказал Папанин.

Вереницы нарт, переваливая через торосы и трещины, удаляются к кораблям. Надо идти... Петя и Женя ушли первыми. Я под каким-то предлогом возвратился в лагерь. Тут уже ничего нет. Обрывки перкаля, оленьих шкур, бидон с продовольствием.

Близились ночь, и, как всегда, нарастал ветер. Крепчал мороз. Ищу рукавицы, никак не могу вспомнить, куда я их задевал. А впрочем, они теперь мне и не нужны... Прощай, льдина...

Папанин укрепил красный флаг на торосе, и мы, не оглядываясь, пошли к кораблям...

Когда мы приблизились к кораблям, возник спор: на какой садиться, кто нас заберет? Нас соблазняли дозволенными и недозволенными приемами:

— Идите к нам, у нас несколько ящичков пива. А на тот корабль не ходите, у них клопов много!

Однако обольщение продолжалось недолго. Было принято соломоново решение: разыграть нас. Написали четыре записочки с нашими именами. Один из капитанов снял меховую шапку, бросил в нее эти записочки, а другой капитан тянул. Все это происходило под неустанным наблюдением двух помполитов, чтобы не было никакого жульничества.

В результате Ширшов и Федоров попали на «Таймыр», а мы с Папаниным — на «Мурман». Встретили нас «хлебом-солью». Как только мы поднялись по трапу, тотчас же проводили в кают-компанию и дали по стакану спирта. Мы выпили, крикнули и закусили очень вкусным — картошкой в мундире, огурцом, селедкой, одним словом — тем, что на протяжении девяти месяцев было для нас мечтой.

Нам объяснили, что угощают нас предварительно, пока готовится ванна. Однако предварительное угощение оказалось на таком высоком уровне, что когда я погрузился в ванну, рядом со мной посадили матроса. Мера предосторожности разумная. Не утонув за девять месяцев на полюсе, было бы досадно захлебнуться в ванне. На следующий день отправил домой телеграмму:

«Веду роскошную жизнь. Впервые залез в ванну. Кушаю апельсины. Курю папиросы. Ну, до чего же хороша жизнь!»

Уже на «Мурмане» узнали переданный по радио приказ исполняющего обязанности начальника Главсевморпути Георгия Алексеевича Ушакова:

«Приказываю с 19 февраля сего года 16 часов считать станцию „Северный полюс“ закрытой и исключить ее из списка полярных станций Главсевморпути. Личный состав станции полагать на борту ледокольных пароходов „Таймыр“ и „Мурман“. Наблюдение в эфире за сигналами радиостанции UPOЛ прекратить».

А в это время, пока мы блаженствовали на «Таймыре» и «Мурмане», на всех парах к нам спешил ледокол «Ермак». На чистой воде через сутки произошла встреча трех кораблей. На «Ермаке», которым командовал Владимир Иванович Воронин, к нам прибыл Отто Юльевич Шмидт. Мы пересели на «Ермак». Полюбовавшись на красивые горы Исландии, до которой мы, к счастью, не добрались, пошли дальше.

В Северном море попали в жесточайший шторм, оглушивший нас фантастической качкой. Если качка ощутима на пассажирских лайнерах, то на ледоколах, за счет яйцеобразности корпуса, это просто что-то совершенно сверхъестественное. Нас клало на 45°. Невозможно было не только стоять и ходить, но даже спать. Чтобы не вывалиться с коек, приходилось расчаливаться руками и ногами. Несмотря на то, что штормовая погода не способствовала комфорту, это были приятнейшие минуты, так как можно было все же рассматривать присланные из дома фотографии, читать письма.

У «Ермака» было маловато угля. Отказавшись от мысли прийти в Ленинград прямым ходом, мы направились для пополнения угольных запасов в Таллин, который был тогда столицей буржуазной Эстонии. В Таллине нас замечательно приняли работники полпредства, и полпредские дамы повели по магазинам, где мы закупили разных сувениров для своих близких.

На дипломатическом завтраке в полпредстве один из гостей задал мне каверзный вопрос:

— Скажите, господин Кренкель, кому может принадлежать Северный полюс? Арктика разделена на секторы — советский, датский, норвежский, канадский. Очевидно, так же должно быть и на полюсе?

В нарушение дипломатической вежливости я ответил:



— Северный полюс принадлежит тем, кто чаще там бывает и чаще туда летает!

Из Ленинграда навстречу «Ермаку» вышел ледокол «Трувор», на борту которого были наши жены и еще одна партия представителей печати.

К Ленинграду мы шли по каналу, который был пробит для торговых кораблей. Нас встретил целый отряд буеров, лихо мчавшихся по ледяным полям навстречу ледоколу. На парусах слова приветствий. Вскоре мы вошли в торговый порт, заполненный несметным количеством ленинградцев.

Начался митинг. Когда он кончился, нас рассадили по машинам, и мы поехали в город. Невский проспект забит до отказа. Милиция пыталась установить какой-то порядок, но не получалось. Машины двигались черепашьям шагом, с трудом протискиваясь через людское море. Кое-как добрались до гостиницы «Европейской». В «Европейской» нас разместили в роскошных номерах. Каминьки... Китайские вазы... Рояли, на которых, к слову сказать, никто из нас играть не умел... Одним словом, принимали нас не хуже, чем вдовствующую императрицу или какого-нибудь индийского набоба. Все было очень здорово...

Вечером состоялся концерт, потом танцы, и лишь поздно вечером мы отправились на вокзал. Опять цветы, фотографии. Заснули мы далеко за полночь.

На всем пути от Ленинграда на станциях нас радостно приветствовали соотечественники. Даже ночью, в темноте, люди стояли с развернутыми знаменами, чтобы передать нам слова приветия. Это было тепло и трогательно, но поезд спешил. Иван Дмитриевич не спал всю ночь. Он выходил на остановках и произносил прочувствованные речи.

На станции Клин вошел парикмахер и сказал, что нас приказано побрить. Мы сообразили: значит, с вокзала нас куда-то повезут. Нетрудно было понять, по какому адресу предстоит нам ехать.

И действительно, встреча началась сразу же на Октябрьском вокзале. Нас приветствовал Народный комиссар иностранных дел М. М. Литвинов, новый начальник Гражданского воздушного флота Герой Советского Союза В. С. Молоков, наш славный дядя Вася. Мы встретились здесь на вокзале с пролетающими над полюсом летчиками.

Нас приветствуют М. М. Громов, В. П. Чкалов, А. В. Беляков и А. Б. Юмашев. Вся Комсомольская площадь от края до края представляла собой море голов. Перед Октябрьским вокзалом была сооружена маленькая трибуна. Митинг открыл секретарь Московского городского комитета партии А. И. Угаров.

Это был пасмурный сырой мартовский день. Раскисший снег. Серые дома. Море москвичей на площади, над которым клубится пар от дыхания. Папанин произнес короткую речь, поблагодарил за теплую встречу. В этот момент началось страшное: на площади как бы пошла волна, задние напирала на передних. Мы понимали, чем это грозит. Любому человеку просто трудно удержаться на ногах. Понял это и Угаров. Чтобы избежать беды, он скомандовал:

— Быстро, быстро заканчивайте!

Мы закончили и спустились в ожидавшие нас машины. Молодец Угаров. Вовремя он подал команду. Мы поехали в Кремль и уж потом узнали, что на площади оказалось бесчисленное количество потерянных калош, но, слава богу, обошлось без несчастных случаев.

Через Орликов переулок мы въехали на улицу Кирова. Вдоль тротуаров шпалерами стояли москвичи и бурно аплодировали. С крыши сыпались десятки и сотни тысяч листовок. Вот и знакомая парикмахерская на улице Кирова, где я постоянный клиент. Машу мастерам. Кажется, они меня узнали. Скоро опять буду сюда заходить.

Как и после возвращения с «Челюскина», автомобили, на которых мы ехали, были увиты цветами. Как и тогда, на первой машине ехал Отто Юльевич Шмидт с Папаниным, затем все мы остальные. Машины въехали в Кремль, и мы попали в Георгиевский зал, где уже собрались все приглашенные на встречу. Вдоль зала в несколько рядов стояли накрытые всякими яствами столы. За столами 800 человек, которых мог вместить этот зал.

Один стол, стоявший в конце зала не вдоль, а поперек, пустовал. Нас провели поближе к нему. Ждать пришлось недолго. Вскоре открылась боковая дверь, и вошел Сталин с членами Политбюро. Раздались овации, приветственные крики.

Пригласили к этому столу и нас. Впереди Папанин со знаменем, которое развевалось у нас на полюсе, затем гуськом все мы. Нас радостно приветствовали и рассадили за этим первым столом.

Папанин сидел между Сталиным и Молотовым, я — между Буденным и Ждановым. Разговоры мы вели вполне светские.

— Товарищ Кренкель, — спросил Буденный, — что вы будете пить — коньяк или водку?

— Я, Семен Михайлович, воспитывался на самогоне. Поэтому, с вашего разрешения, буду пить водку.

Мой ответ явно развеселил Буденного. Затем разговор поддержал Жданов. Он сказал, что мы с ним коллеги, так как во время ссылки он работал метеорологом. Очень теплую речь о героях и героизме у нас и на Западе произнес Сталин.

Между официальной частью и концертом был объявлен небольшой перерыв. Присутствующие встали, бродили по залу, обменивались приветствиями. В самом начале зала оставалась небольшая свободная площадка. И, когда на хорах заиграл духовой оркестр, в вальсе закружилось две-три пары. Полукругом стояло и смотрело на танцы все Политбюро во главе со Сталиным.

Свое искусство танцора решил показать и я. Ох, лучше бы мне этого не делать! Последующие минуты оказались самыми страшными в моей жизни. Начнем с того, что партнершу себе я выбрал неповторимую. Подлетев и галантно шаркнув ножкой, я пригласил на вальс не кого-нибудь, а знаменитого русского соловья — замечательную певицу Антонину Васильевну Нежданову. На этом крохотном пятачке мы принялись бодро вальсировать, проходя в каком-то метре от наблюдавших за нами зрителей.

Лихо, сажеными шагами, я раскрутил Нежданову. Наполовину повиснув, она летела на моей правой руке. И вдруг я почувствовал, что талия Неждановой начинает медленно, но неуклонно выскользывать из моей руки. Но прекратить вальс было уже выше моих сил. Я раскрутил свою даму так сильно, что процесс стал в значительной степени неуправляемым. Нежданова все больше и больше выскользывала из моих рук.

Легкий хмель с меня соскочил, и от ужаса выступил холодный пот.

«Боже мой, что произойдет, если я не удержу Нежданову и она, вылетев как из пращи, угодит в стоящих рядом?»

Мысль показалась столь безотрадной, что я понял: удержать! Во что бы то ни стало удержать! К счастью, мои ногти были острижены

не чересчур коротко. И я буквально когтями впился в одежду моей дамы, закончив таким образом этот очень опасный для меня вальс. Раздались аплодисменты, но я не настаивал на овациях. Жена сказала, что я был бледен как смерть. С тех пор я как-то не очень люблю вальс.

Потом состоялся концерт. Он продолжался долго, и домой мы с женой вернулись поздно. Уже светало. Маленький дворик заполнили наши соседи. Несмотря на ночное время, гроыхал духовой оркестр. С одной стороны — очень мило и приятно. С другой — как-то совсем не по-добрососедски. Ведь эта ночная встреча не давала спать всем остальным. Разумеется, меня попросили произнести речь. Я постарался быть кратким:

— Дорогие товарищи! Простите, что я вас так задержал. Мы сейчас были в Кремле. Посидели там, и пили не только воду и главным образом не воду. А потому, вы понимаете, произносить длинные речи мне сейчас трудно...

Соседи встретили откровенную речь дружными аплодисментами, и мы с женой направились домой. Жили мы на третьем этаже без лифта. И когда мы вступили на лестницу, то увидели, что, несмотря на март, когда вся зелень в Москве под снегом, лестница уставлена цветами. На каждой ступеньке горшок. Скромные горшки, скромные цветы, но было ясно, что они сошлись здесь, на ступенях лестницы, уйдя с подоконников многих квартир. И от этого простые незаметные цветы стали какими-то удивительно трогательными.

Вскоре после возвращения с полюса стало известно, что при очередной баллотировке в Академию наук СССР мы котируемся как возможные академики. Это известие не столько обрадовало, как огорчило меня. Я понимал, что даже при самой большой снисходительности не могу считать себя достойным такого высокого звания. В смятении чувств я помчался к Шмидту:

— Отто Юльевич, дорогой, что же это за напасть такая? Неужели это правда?

Отто Юльевич подтвердил, что такой вариант возможен, а я в ответ стал доказывать, что этого наверняка не следует делать, что такого рода выборы вряд ли будут содействовать укреплению советской науки вообще и Академии наук СССР в частности.

Отто Юльевич поулыбался, а потом сказал:

— А, пожалуй, вы правильно оцениваете свои возможности как академика. Видимо, надо по этому вопросу посоветоваться в ЦК.

Я попросился на прием в ЦК. Там выслушали мою точку зрения и согласились с ней, после чего я снова пришел к Шмидту, но на этот раз с вполне конкретным вопросом:

— Ну, а что надо сделать практически?

— Написать вежливое письмо президенту Академии наук. Поблагодарить за честь и отказаться от баллотировки.

Как депутат Верховного Совета СССР, я имел отличные бланки с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и телефонов. Напечатаны эти бланки на толстой, слегка желтоватого цвета бумаге. Вот на таком шикарном бланке я и отправил письмо президенту Академии наук СССР академику Комарову.

«Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич!

Благодарю вас за высокую честь возможной баллотировки моей кандидатуры в Академию наук СССР, но считаю себя недостойным этой высокой чести. Прошу мою кандидатуру с баллотировки снять».

Я расписался и отправил письмо. Кто его читал? Что по поводу него говорили, не знаю. Но зато знаю другое: академиком я не стал. Членами-корреспондентами Академии наук выбрали наших молодых ученых Ширшова и Федорова, что меня очень обрадовало, так как по их работе это была вполне заслуженная честь.

На этом я пока окончу мои записки. После возвращения с полюса прошло более тридцати лет. За это время произошло много разных событий, о которых, быть может, тоже интересно рассказать. Соберусь ли я это сделать? Как говорят в таких случаях — видно будет. Сейчас же остается одно: попрощаться.

Москва. 1969–1971 гг.